



А.И. КУПРИН

А.И.  
КУПРИН

**СИЛЬНЕЕ  
СМЕРТИ**



**А. И.  
КУПРИН  
СИЛЬНЕЕ  
СМЕРТИ**







# А.И. КУПРИН

**СИЛЬНЕЕ  
СМЕРТИ**



**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ  
О ЛЮБВИ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ЛЕНИЗДАТ  
1993**

84Р  
К92

**Куприн. А. И.**

**К92** Сильнее смерти: Повести и рассказы о любви/Составление и послесловие Л. А. Иезуитовой.— СПб.: Лениздат, 1993.— 480 с.

ISBN 5-289-01323-7

В однотомник избранных произведений А. И. Куприна вошли повести и рассказы о любви: «Гранатовый браслет», «Олеся», «Суламифь», «Яма» и другие.

К  $\frac{4702010101-035}{M171(03)-93}$  61—93

84Р

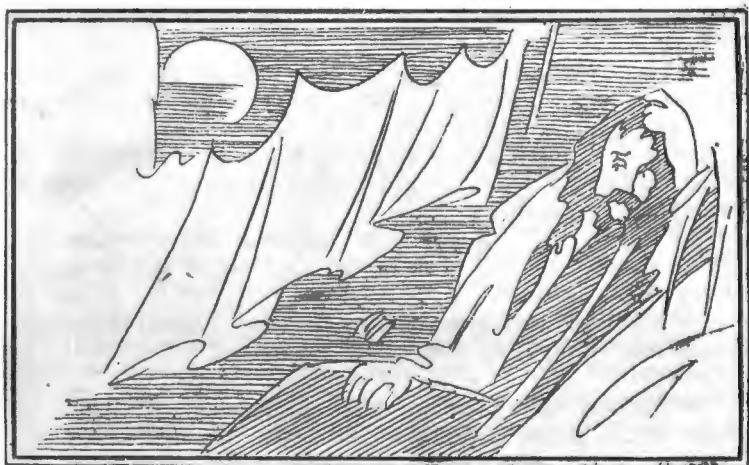
Текст печатается по изданию: *Куприн А. И.* Собрание сочинений в девяти томах,— М.: Художественная литература, 1970—1973,

Составление и послесловие  
Л. А. ИЕЗУИТОВОЙ

Редактор  
А. Г. КАЗАКОВА

К  $\frac{4702010101-035}{M171(03)-93}$  61—93  
ISBN 5-289-01323-7

© Л. А. Иезуитова, составление, послесловие, 1993  
© Г. П. Фильчаков, оформление, 1993



## СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ



рощай...

— Ах, нет, милый... Не говори: прощай...  
До свиданья...

— Прощай...

— Значит... никогда?

— Ты сама знаешь... прощай.

— Никогда?

Он не нашел ответа на этот страстный вопрос. Он радовался тому, что уезжал, разрывая наконец эту тягостную трехлетнюю наскучившую связь, но смутное чувство жалости не позволяло ему быть жестоким.

Зазвонил второй звонок.

Сверху, с площадки вагона, он видел ее, стоящую на платформе, такую маленькую и печальную, с таким давно знакомым, грустным лицом, в том же самом давно знакомом платье... И ему припомнился афоризм какого-то остряка: «Часто в любви бегство является победой».

Он сказал с нетерпением:

— К чему нам в сотый раз тревожить одно и то же? Ведь и ты, и я согласились, что разлука неизбежна.

Она ответила еле слышно:

— Да. Ты этого хотел...

— А ты? Разве ты только что не соглашалась со мной?



Или тебе еще мало тех унижений, которые мы перенесли в этом браке втроем?

Она молчала. Он мысленно нашел в ее взгляде сходство со взглядом умной и преданной собаки, которую только что побил сгоряча хозяин.

Звонок залился мелкой длинной трелью, потом замер на мгновение, и один за другим прозвучали три медленных громких удара.

Он сошел вниз, и она уже подняла вверх вуаль для прощального поцелуя, как вдруг внезапная мысль заставила ее отшатнуться.

— Дорогой мой,— прошептала она, задыхаясь.— Дорогой мой... еще одна последняя просьба...

— Что?

— Сейчас мы расстанемся... Навсегда... Я знаю, ты меня не любишь больше... Но... подари мне еще час... Смотри, теперь без четверти одиннадцать. Дай мне слово, что сегодня в двенадцать часов ты обо мне вспомнишь... Ведь это тебе не будет трудно?..

Он засмеялся:

— Хорошо. В этом нет никакого труда. Но для чего ты просишь?

— Ты даешь слово?

— Да. Даю слово. Только зачем ты просишь меня об этом?

— Видишь ли. В это же самое время, минута в минуту, секунда в секунду, я буду думать о тебе. Думать со всем напряжением воли, со всей силой любви. Почему знать? Может быть, для воли не существует расстояний и мы увидимся еще раз.

— Как ты странно говоришь...

— Но помни, ты дал слово...

— Я его сдержу. Не беспокойся.

— Ты будешь думать, крепко, глубоко, страстно?

— Да, да. Прощай.

— До свидания...

Он сидел в купе и невольно следил за ритмическим постукиванием колес... Странно-радостное чувство свободы почти мгновенно исчезло из его души, уступив место неожиданной, тусклой, невыносимой тоске. Какая-то таинственная сила с неумолимой ясностью вызвала в его памяти самые тонкие, самые незначительные подробности этого романа, который он только что закончил, с облегчением прочитав его последнюю страницу. Почему же

выходили из его ума эти две удивительные строки великого поэта:

Но, как вино, печаль мипувших дней  
В моей душе чем старей, тем сильнее?

Было около полуночи.

Ритм колес, колыхание красной занавески фонаря, нервные свистки паровоза не давали ему спать... А мысль все упорнее летела к печальной, маленькой, давно знакомой, покинутой женщине... Теперь этот гордый, свободолюбивый человек отдал бы и свою гордость, и свою свободу за возможность на один только миг увидеть брошенную им женщину. И вдруг, открыв глаза и точно очнувшись от минутной полудремоты, он увидел ее перед собою, сидящую на диване, покрытом полотняным чехлом... Она ничего не говорила, но глаза ее глядели с бесконечной любовью и молчаливым упреком.

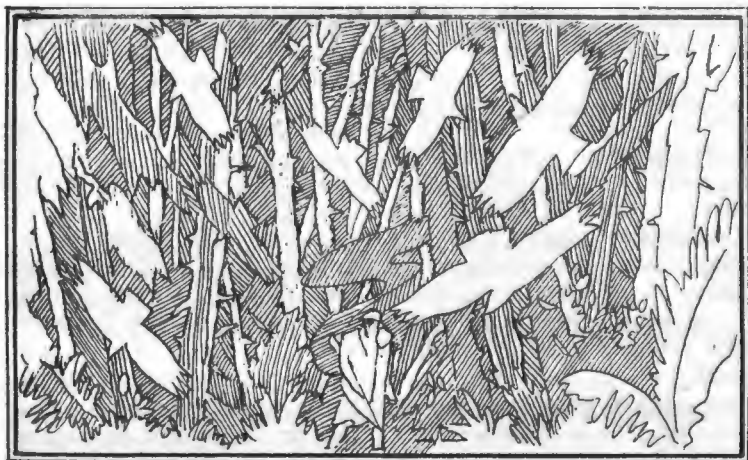
— Кто ты? Зачем ты здесь?! — закричал он, вскакивая в ужасе со своего места.

Она печально покачала головой и вмиг рассеялась, расплылась, как предутренний туман.

На другой день он узнал, что она отравилась в ту же ночь, когда он уехал из города.

1897





## ОЛЕСЯ

### I



ой слуга, повар и спутник по охоте — полевосовщик Ярмола вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы.

— У, какой ветер, паныч, на дворе, — сказал он, садясь на корточки перед заслонкой. — Нужно хорошо в грубке протопить. Позвольте запалочку, паныч.

— Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ярмола?

— Нет... не можно... слышите, какая завируха. Заяц теперь лежит и — а ни мур-мур... Завтра и одного следа не увидите.

Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии, на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. «Полесье... глушь... лоно природы... простые нравы... первобытные натуры, — думал я, сидя в вагоне, — совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком... и уж, наверно, какое множество поэтических легенд, преданий и песен!» А я в то время (рассказывать, так все рассказы-



вать) уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы.

Но... или перебродские крестьяне отличались какою-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело,— отношения мои с ними ограничивались только тем, что, увидев меня, они еще издали снимали шапки, а поравнявшись со мной, угрюмо произносили: «Гай буг», что должно было означать: «Помогай Бог». Когда же я пробовал с ними разговаривать, то они глядели на меня с удивлением, отказывались понимать самые простые вопросы и все порывались целовать у меня руки — старый обычай, оставшийся от польского крепостничества.

Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки — хотя это сначала казалось мне неприятным — я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице ксендза, жившего за пятнадцать верст, находившегося при нем «пана органиста», местного урядника и конторщика соседнего имения из оставших унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло.

Потом я пробовал заниматься лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были: касторовое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же: «в середине болит» и «ни есть, ни пить не могу».

Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. Я прячу руки и убеждаю старуху: «Да полно, бабка... оставь... я не поп... мне этого не полагается... Что у тебя болит?»

— В середине у меня болит, панычу, в самой что ни на есть середине, так что даже ни пить, ни есть не могу.

— Давно это у тебя сделалось?

— А я знаю? — отвечает она также вопросом. — Там и печет и печет. Ни пить, ни есть не могу.

И сколько я ни бьюсь, более определенных признаков болезни не находится.

— Да вы не беспокойтесь, — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, — сами вылечатся. Присохнет,

как на собаке. Я, доложу вам, только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. «Что тебе?» — «Я, говорит, больной»... Сейчас же ему под нос склянку нашатырного спирту. «Нюхай!» Нюхает... «Нюхай еще... сильнее!» Нюхает... «Что, легче?» — «Як будто полегшало...» — «Ну так и ступай с Богом».

К тому же мне претило это целование рук (а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облобызать мои сапоги). Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. И я только удивлялся тому же самому конторщику из унтеров и уряднику, глядя, с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы...

Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовывался твердый, льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя взаперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полесовщика Ярмола.

Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ярмолу, подошедшего, как и всегда, беззвучно в своих мягких лаптях.

— Что тебе, Ярмола? — спросил я.

— Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так... Нет, нет... не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь... — Мне бы только мое фамилие...

— Зачем это тебе? — удивился я... (Надо заметить, что Ярмола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем Переброе; жалованье и свой крестьянский заработок он пропивает; таких плохих волов, как у него, нет нигде в окрестности. По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты.) Я еще раз спросил с сомнением: — Для чего же тебе надо уметь писать фамилию?

— А видите, какое дело, паныч, — ответил Ярмола необыкновенно мягко, — ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда гумагу какую нужно подписать, или в волости дело, или что... никто не может... Староста печатать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано... То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться.

Такая заботливость Ярмолы — заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, — такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа — все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму! Ярмола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодно месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, — этот самый Ярмола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «м» и «а» вместе составляют «ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше, причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения.

— Ну скажи, Ярмола, — «ма». Просто только скажи — «ма», — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори — «ма»...

Тогда Ярмола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно:

— Нет... не могу...

— Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто — «ма», вот как я говорю.

— Нет... не могу, паныч... забыл...

Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ярмолы к просвещению вовсе не ослабевало.

— Мне бы только мою фамилию! — застенчиво упрашивал он меня. — Больше ничего не нужно. Только фамилию: Ярмола Попружук — и больше ничего.

Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ярмоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается до имени, то его ввиду облегчения задачи мы решили совсем отбросить.

По вечерам, окончив топку печей, Ярмола с нетерпением дожидался, когда я позову его.

— Ну, Ярмола, давай учиться, — говорил я.

Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просовывал между своими черными, заскоруз-



лыми, несгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови:

— Писать?

— Пиши.

Ярмола довольно уверенно чертил первую букву — «П» (эта буква у нас носила название: «два стояка и сверху перекладина»); потом он смотрел на меня вопро- сительно.

— Что ж ты не пишешь? Забыл?

— Забыл...— досадливо качал головой Ярмола.

— Эх, какой ты! Ну, ставь колесо.

— А-а! Колесо, колесо!.. Знаю...— оживлялся Ярмо- ла и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фи- гуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивши этот труд, он некоторое время молча любо- вался им, наклоняя голову то на левый, то на правый бок и щуря глаза.

— Что же ты стал? Пиши дальше.

— Подождите немного, панычу... сейчас.

Минуты две он размышлял и потом робко спра- шивал:

— Так же, как первая?

— Верно. Пиши.

Так мало-помалу мы добрались до последней буквы — «к» (твердый знак мы отвергли), которая была у нас из- вестна как «палка, а посредине палки кривуля хвостом набок».

— А что вы думаете, панычу,— говорил иногда Яр- мола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью,— если бы мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете?

## II

Ярмола сидел на корточках перед заслонкой, переме- шивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диаго- нали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огром- ного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штоф- ная мебель, диковинная бронза и портреты XVIII сто- летия.

Ветер за стенами дома бесился, как старый, озьябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. Снару- жи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого

сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой...

Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воюющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрипели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми и бесшумными шагами. Чудится мне затем, что рядом с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дверьми, или, забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то опуская его вниз, до звериного рычания. Порою Бог весть откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату, пробежал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром.

На меня нашло странное, неопределенное беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, в сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора... И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти, и так же будет реветь за окнами ветер, так же тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, так же тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, так же будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ярмола — странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете: и к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной разъедающей тоске.

Мне вдруг нестерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил:

— Как ты думаешь, Ярмола, откуда это сегодня такой ветер?

— Ветер? — отозвался Ярмола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает?

— Конечно, не знаю. Откуда же мне знать?

— И вправду не знаете? — оживился вдруг Ярмола. —

Это я вам скажу,— продолжал он с таинственным оттенком в голосе,— это я вам скажу: чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет.

— Ведьмака — это колдунья, по-вашему?

— А так, так... колдунья.

Я с жадностью накинудся на Ярмолу. «Почем знать,— думал я,— может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками?..»

— Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы?— спросил я.

— Не знаю... Может, есть,— ответил Ярмола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке.— Старые люди говорят, что были когда-то... Может, и неправда...

Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ярмолы была упорная несловоохотливость, и я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке:

— Была у нас лет пять тому назад такая ведьма... Только ее хлопцы с села прогнали!

— Куда же они ее прогнали?

— Куда!.. Известно, в лес... Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось... А саму ее вывели за вышницы и по шее.

— За что же так с ней обошлись?

— Вреда от нее много было: ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите... Один раз просила она у нашей молодежи злот (пятнадцать копеек). Та ей говорит: «Нет у меня злота, отстань». — «Ну, добре, говорит, будешь ты помнить, как мне злото не дала...» И что же вы думаете, паньчу: с тех самых пор стало у молодежи дитя болеть. Болело, болело, да и совсем умерло. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали, пусть ей очи повылазят...

— Ну, а где же теперь эта ведьмака?— продолжал я любопытствовать.

— Ведьмака?— медленно переспросил, по своему обыкновению, Ярмола.— А я знаю?

— Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни?

— Нет, не осталось. Да она чужая была, из кацапок чи из цыганок... Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была: дочка или внучка... Обоих прогнали...



— А теперь к ней разве никто не ходит: погадать там или зелья какого-нибудь попросить?

— Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ярмола.

— Ага! Значит, все-таки известно, где она живет?

— Я не знаю... Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет... Знаете — болото, что за Ириновским шляхом. Так вот в этом болоте она и сидит, трясься ее матери!

«Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома... настоящая, живая, полесская ведьма!» Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня.

— Послушай, Ярмола, — обратился я к полесовщику, — а как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой?

— Тыфу! — сплюнул с негодованием Ярмола. — Вот еще добро нашли.

— Добро или недобро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь?

Ярмолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу.

— Я?! — воскликнул он с негодованием. — А и ни за что! Пусть оно там Бог ведает что, а я не пойду.

— Ну вот, глупости, пойдешь.

— Нет, панычу, не пойду... ни за что не пойду... Чтобы я?! — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? Да пусть меня Бог боронит. И вам не советую, паныч.

— Как хочешь... а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть.

— Ничего там нет любопытного, — пробурчал Ярмола, с сердцем захлопывая печную дверку.

Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил:

— Как зовут эту ведьму?

— Мануйлиха, — ответил Ярмола с грубой мрачностью.

Он хотя и не высказывал никогда своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался; привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а главным образом за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ярмола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой

привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку — Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал и отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ярмолей, не переставая скулить.

### III

Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ярмола вошел в мою комнату и заявил небрежно:

— Нужно ружья почистить, паныч.

— А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом.

— Заяц ночью сильно походил: следов много. Может, пойдем на пановку?

Я видел, что Ярмоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо.

Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след: две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк.

— Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ярмола. — Как дал столба, так тут сейчас и ляжет. Вы, паныч, идите... — Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. — ...Вы идите до старой корчмы. А я его обойду от Замлына. Как только собака его выгонит, я буду гукать вам.

И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его браконьерской походки, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми в лыковые постолы.

Я неторопливо дошел до старой корчмы — нежилой, развалившейся хаты — и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их книзу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая,

с легким треском задевала за другие ветви. Снег розовел на солнце и синел в тени. Мной овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня...

Вдруг далеко, в самой чаще, раздался лай Рябчика — характерный лай собаки, идущей за зверем: тоненький, залихватый и нервный, почти переходящий в визг. Тотчас же услышал я и голос Ярмола, кричавшего с ожесточением вслед собаке: «У — бый! У — бый!», первый слог — протяжным резким фальцетом, а второй — отрывистой басовой нотой (я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать»).

Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто бы не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел Рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнался за зайцем.

Ярмола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи.

— Что же вы, паньч, не стали ему на дороге? — крикнул он и укориженно зачмокал языком.

— Да ведь далеко было... больше двухсот шагов.

Видя мое смущение, Ярмола смягчился.

— Ну, ничего... Он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, — он сейчас туда выйдет.

Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты две услышал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес, сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречу с Ярмолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ярмолу. Он не откликался.

Между тем машинально я шел все дальше. Лес редел понемногу, почва опускалась и становилась кочко-

ватой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнел и наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колена. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку; в покрывавшем их густом буром мху ноги тонули, точно в мягком ковре.

Кустарник скоро совсем кончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. «Вероятно, здесь живет ириновский лесник,— подумал я.— Надо зайти и расспросить у него дорогу».

Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою.

Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол; их заменяли какие-то грязные веточки, выпиравшие горбом наружу.

Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги; поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате.

— Эй, добрые люди, кто из вас дома?— спросил я громко.

Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидел старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю.

«Да ведь это — Мануйлиха, ириновская ведьма»,— мелькнуло у меня в голове, едва я только повнимательнее взгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо: худые щеки, втянутые внутрь, переходили вниз в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом; провалившийся беззубый рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то; выцветшие, когда-

то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели, точно глаза певиданной зловещей птицы.

— Здравствуй, бабка!— сказал я как можно приветливее.— Тебя уж не Мануйлихой ли зовут?

В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи; потом из ее беззубого, шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающееся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую обрывающуюся фистулу:

— Прежде, может, и Мануйлихой звали хорошие люди... А теперь зовут зовуткой, а величают уткой. Тебе что надо-то?— спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия.

— Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется?

— Нет молока,— сердито отрезала старуха.— Много вас по лесу ходит... Всех не напоишь, не накормишь...

— Ну, бабушка, неласковая же ты до гостей.

— И верно, батюшка: совсем неласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится: «Приходите к нам на завалинке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся». Так-то вот...

Эти обороты речи сразу убедили меня, что старуха действительно пришла в этом крае; здесь не любят и не понимают хлесткой, уснащенной редкими словцами речи, которой так охотно щеголяет краснобай-северянин. Между тем старуха, продолжая механически свою работу, все еще бормотала что-то себе под нос, но все тише и невнятное. Я разбирал только отдельные слова, не имевшие между собой никакой связи: «Вот тебе и бабушка Мануйлиха... А кто такой — неведомо... Лета-то мои не маленькие... Ногами егозит, стрекочит, сокочит — чистая сорока...»

Я некоторое время молча прислушивался, и внезапная мысль, что передо мною — сумасшедшая женщина, вызвала у меня ощущение безразличного страха.

Однако я успел осмотреться вокруг себя. Большую часть избы занимала огромная облупившаяся печка. Образов в переднем углу не было. По стенам, вместо обычных охотников с зелеными усами и фиолетовыми собаками и портретов никому не ведомых генералов, висели пучки засушенных трав, связки сморщенных корешков и кухонная посуда. Ни совы, ни черного кота я не заме-

тил, но зато с печки два рябых солидных скворца глядели на меня с удивленным и недоверчивым видом.

— Бабушка, а воды-то у вас, по крайней мере, можно напиться?— спросил я, возвышая голос.

— А вон, в кадке,— кивнула головой старуха.

Вода отзывала болотной ржавчиной. Поблагодарив старуху (на что она не обратила ни малейшего внимания), я спросил ее, как мне выйти на шлях.

Она вдруг подняла голову, поглядела на меня пристально своими холодными птичьими глазами и забормотала торопливо:

— Иди, иди... Иди, молодец, своей дорогой. Нечего тут тебе делать. Хорош гость в гостинку... Ступай, бабюшка, ступай...

Мне действительно ничего больше не оставалось, как уйти. Но вдруг мне пришло в голову попытать последнее средство, чтобы хоть немного смягчить суровую старуху. Я вынул из кармана новый серебряный четвертак и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся: при виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами.

— Э, нет, бабка Мануйлиха, даром не дам,— поддразнил я ее, пряча монету.— Ну-ка, погадай мне.

Коричневое сморщенное лицо колдуньи собралось в недовольную гримасу. Она, по-видимому, колебалась и нерешительно глядела на мой кулак, где были зажаты денюги. Но жадность взяла верх.

— Ну, ну, пойдем, что ли, пойдем,— прошамкала она, с трудом подымаясь с полу.— Никому я не ворожу теперь, касатик... Забыла... Стара стала, глаза не видят. Только для тебя разве.

Держась за стену, сотрясаясь на каждом шагу сгорбленным телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне.

— Сыми-ка... Левой ручкой сыми... От сердца...

Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу. Карты падали на стол с таким звуком, как будто бы они были сваляны из теста, и укладывались в правильную восьмиконечную звезду. Когда последняя карта легла рубашкой вверх на короля, Мануйлиха протянула ко мне руку.

— Позолоти, барин хороший.. Счастлив будешь, богат будешь...— запела она попрошайническим чисто цыганским тоном.

Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно, по-обезьяньи, спрятала ее за щеку.

— Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу,— начала она привычной скороговоркой.— Встреча с бубновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. Вскорости получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь... Не так чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в шестьдесят семь лет не умрешь, то...

Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова грациозной малорусской песенки:

Ой, чи цвіт, чи не цвіт  
Калиноньку ломит.  
Ой, чи сон, чи не сон  
Головоньку клонит.

— Ну иди, иди теперь, соколик,— тревожно засуетилась старуха, отстраняя меня рукой от стола.— Нечего тебе по чужим хатам околачиваться. Иди, куда шел...

Она даже ухватила меня за рукав моей куртки и тянула к двери. Лицо ее выражало какое-то звериное беспокойство.

Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты, громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные птичьи головки с красными шейками и черными блестящими глазенками.

— Смотри, бабушка, зяблики опять за мною увязались,— воскликнула она, громко смеясь,— посмотри, какие смешные... Голодные совсем. А у меня, как нарочно, хлеба с собой не было.

Но, увидев меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху.

— Вот барин зашел... Пытает дорогу,— пояснила старуха.— Ну, батюшка,— с решительным видом обернулась она ко мне,— будет тебе прохладяться. Напились водицы, поговорил, да пора и честь знать. Мы тебе не компания...

— Послушай, красавица,— сказал я девушке.— Покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься.

Должно быть, на нее подействовал мягкий, просительный тон, который я придал этим словам. Она бережно посадила на печку, рядом со скворцами, своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты.

Я последовал за ней.

— Это у тебя все ручные птицы?— спросил я, догоняя девушку.

— Ручные,— ответила она отрывисто и даже не взглянув на меня.— Ну вот, глядите,— сказала она, останавливаясь у плетня.— Видите тропочку, вон, вон, между соснами-то? Видите?

— Вижу...

— Идите по ней все прямо. Как дойдете до дубовой колоды, повернете налево. Так прямо, все лесом, лесом и идите. Тут сейчас вам и будет Ириновский шлях.

В то время когда она вытянутой правой рукой показывала мне направление дороги, я невольно залюбовался ею. В пей не было ничего похожего на местных «дивчат», лица которых под уродливыми повязками, прикрывающими сверху лоб, а снизу рот и подбородок, носят такое однообразное, испуганное выражение. Моя незнакомка, высокая брюнетка лет около двадцати — двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обвивала ее молодую, здоровую грудь. Оригинальную красоту ее лица, раз его увидев, пельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, темных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом топе кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперед с решительным и капризным видом.

— Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши?— спросил я, остановившись у забора.

Она равнодушно пожала плечами.

— Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят.

— Да разве волки одни... Снегом вас занести может, пожар может случиться... И мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет.

— И слава Богу!— махнула она пренебрежительно



рукой. — Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так лучше бы было, а то...

— А то что?

— Много будете знать, скоро состаритесь, — отрезала она. — Да вы сами-то кто будете? — спросила она тревожно.

Я догадался, что, вероятно, и старуха и эта красавица бояться каких-нибудь утеснений со стороны «предержащих», и поспешил ее успокоить:

— О! Ты, пожалуйста, не тревожься. Я не урядник, не писарь, не акцизный, словом — я никакого начальство.

— Нет, вы правду говорите?

— Даю тебе честное слово. Ей-Богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь?

Лицо девушки немного прояснилось.

— Ну, значит, козь не врете, так правду говорите. А вы как: раньше об нас слышали или сами зашли?

— Да я и сам не знаю, как тебе сказать... Слышать-то я слышал, положим, и даже хотел когда-нибудь забрести к вам, а сегодня зашел случайно — заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам влого делают?

Она поглядела на меня с испытующим недоверием. Но совесть у меня была чиста, и я, не сморгнув, выдержал этот пристальный взгляд. Тогда она заговорила с возрастающим волнением:

— Плохо нам от них приходится... Простые люди еще ничего, а вот начальство... Приедет урядник — тащит, приедет становой — тащит. Да еще прежде, чем взять-то, над бабкой надругается: ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница... Эх! Да что и говорить!

— А тебя не трогают? — сорвался у меня неосторожный вопрос.

Она с надменной самоуверенностью повела головой спизу вверх, и в ее сузившихся глазах мелькнуло злое торжество...

— Не трогают... Один раз сунулся ко мне землемер какой-то... Поласкаться ему, видишь, захотелось... Так, должно быть, и до сих пор не забыл, как я его приласкала.

В этих насмешливых, но своеобразно гордых словах прозвучало столько грубой независимости, что я невольно подумал: «Однако недаром ты выросла среди полесского бора, — с тобой и впрямь опасно шутить».

— А мы разве трогаем кого-нибудь! — продолжала она, проникаясь ко мне все большим доверием. — Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю, — чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть.

— Ну, я вижу, вы с бабушкой людей не жалуете... А мне можно когда-нибудь зайти на минуточку?

Она засмеялась, и — как странно, как неожиданно изменилось ее красивое лицо! Прежней суровости в нем и следа не осталось: оно вдруг сделалось светлым, застенчивым, детским.

— Да что у нас вам делать? Мы с бабкой скучные... Что ж, заходите, пожалуй, коли вы и впрямь добрый человек. Только вот что... вы уж если когда к нам забредете, так без ружья лучше...

— Ты боишься?

— Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. — И в ее голосе опять послышалась уверенность в своей силе. — А только не люблю я этого. Зачем бить пташек или вот зайцев тоже? Никому они худого не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю: они маленькие, глупые такие... Ну, однако, до свидания, — заторопилась она, — не знаю, как величать-то вас по имени... Боюсь, бабка браниться станет.

И она легко и быстро побежала в хату, наклонив вниз голову и придерживая руками разбившиеся от ветра волосы.

— Постой, постой! — крикнул я. — Как тебя зовут-то? Уж будем знакомы как следует.

Она остановилась на мгновение и обернулась ко мне:

— Аленой меня зовут... По-здешнему — Олесья.

Я вскинул ружье на плечи и пошел по указанному мне направлению. Поднявшись на небольшой холмик, откуда начиналась узкая, едва заметная лесная тропинка, я оглянулся. Красная юбка Олеси, слегка колеблемая ветром, еще виднелась на крыльце хаты, выделяясь ярким пятном на ослепительно белом, ровном фоне снега.

Через час после меня пришел домой Ярмола. По своей обычной неохоте к праздному разговору он ни слова не спросил меня о том, как и где я заблудился. Он только сказал как будто бы вскользь:

— Там... я зайца на кухню занес... жарить будем или пошлете кому-нибудь?

— А ведь ты не знаешь, Ярмола, где я был сего-

дня? — сказал я, заранее представляя себе удивление полесовщика.

— Отчего же мне не знать? — грубо проворчал Ярмола. — Известно, к ведьмакам ходили...

— Как же ты узнал это?

— А почему же мне не узнать? Слышу, что вы голоса не подаете, ну я и вернулся на ваш след... Эх, паны-ыч! — прибавил он с укоризненной досадой. — Не следует вам такими делами заниматься... Грех!..

#### IV

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и — как всегда на Полесье — неожиданная. Побежали по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки, сердито пенясь вокруг встречающих камней и быстро вертя щепки и гусиный пух; в огромных лужах воды отразилось голубое небо с плывущими по нему круглыми, точно крутящимися, белыми облаками; с крыш посыпались частые звонкие капли. Воробьи, стаями обсыпавшие придорожные ветлы, кричали так громко и возбужденно, что ничего нельзя было расслышать за их криком. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.

Снег сошел, оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощинах и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму и теперь полная свежих соков, полная жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей земли — тем свежим, вкрадчивым и могучим пьяным запахом весны, который даже и в городе узнаешь среди сотен других запахов. Мне казалось, что вместе с этим ароматом вливалась в мою душу весенняя грусть, сладкая и нежная, исполненная беспокойных ожиданий и смутных предчувствий, — поэтическая грусть, делающая в ваших глазах всех женщин хорошенькими и всегда приправленная неопределенными сожалениями о прошлых вёснах. Ночи стали теплее; в их густом влажном мраке чувствовалась незримая спешная творческая работа природы...

В эти весенние дни образ Олеси не выходил из моей головы. Мне нравилось, оставшись одному, лечь, зажмурить глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и беспрестанно вызывать в своем воображении ее то суровое, то лукавое, то сияющее нежной улыбкой лицо, ее молодое

тело, выросшее в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые елочки, ее свежий голос, с неожиданными низкими бархатными нотками... «Во всех ее движениях, в ее словах,— думал я,— есть что-то благородное (конечно, в лучшем смысле этого довольно пошлого слова), какая-то врожденная изящная умеренность...» Также привлекал меня в Олесе и некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности — эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в немногих обращенных ко мне словах.

Нет ничего мудреного, что, как только немного просохли лесные тропинки, я отправился в избушку на курьих ножках. На случай, если бы понадобилось успокоить ворчливую старуху, я захватил с собой полфунта чаю и несколько пригоршней кусков сахара.

Я застал обеих женщин дома. Старуха возилась около ярко пылавшей печи, а Олеся пряла лен, сидя на очень высокой скамейке; когда я, входя, стукнул дверью, она обернулась, нитка оборвалась под ее руками, и веретено покатилося по полу.

Старуха некоторое время внимательно и сердито вглядывалась в меня, сморщившись и заслоняя лицо ладонью от жара печи.

— Здравствуй, бабуся!— сказал я громким, бодрым голосом.— Не узнаешь, должно быть, меня? Помнишь, я в прошлом месяце заходил про дорогу спрашивать? Ты мне еще гадала?

— Ничего не помню, батюшка,— зашамкала старуха, недовольно тряся головой,— ничего не помню. И что ты у нас позабыл,— никак не пойму. Что мы тебе за компания? Мы люди простые, серые... Нечего тебе у нас делать. Лес велик, есть место, где разойтись... так-то...

Ошеломленный нелюбезным приемом, я совсем потерялся и очутился в том глупом положении, когда не знаешь, что делать: обратить ли грубость в шутку, или самому рассердиться, или, наконец, не сказав ни слова, повернуться и уйти назад. Невольно я повернулся с беспомощным выражением к Олесе. Она чуть-чуть улыбнулась с оттенком незлой насмешки, встала из-за прялки и подошла к старухе.

— Не бойся, бабка,— сказала она примирительно,— это не лихой человек, он нам худого не сделает. Милости просим садиться,— прибавила она, указывая мне на лавку в переднем углу и не обращая более внимания на воркотню старухи.

Ободренный ее вниманием, я догадался выдвинуть самое решительное средство.

— Какая же ты сердитая, бабуся... Чуть гости на порог, а ты сейчас и бранишься. А я было тебе гостинцу принес,— сказал я, доставая из сумки свои свертки...

Старуха бросила быстрый взгляд на свертки, но тотчас же отвернулась к печке.

— Никаких мне твоих гостинцев не нужно,— проворчала она, ожесточенно разгребая кочергой уголья.— Знаем мы тоже гостей этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом... Что у тебя в кулечке-то?— вдруг обернулась она ко мне.

Я тотчас же вручил ей чай и сахар. Это подействовало на старуху смягчающим образом, и хотя она и продолжала ворчать, но уже не в прежнем, непримиримом тоне.

Олеся села опять за пряжу, а я поместился около нее на низкой, короткой и очень шаткой скамеечке. Лево́й рукой Олеся быстро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель, а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то пускала падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа, такая простая на первый взгляд, но, в сущности, требующая огромного, многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки: они загрубели и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы.

— А вот вы мне тогда и не сказали, что вам бабка гадала,— произнесла Олеся. И, видя, что я опасливо обернулся назад, она прибавила:— Ничего, ничего, она немного на ухо туга, не услышит. Она только мой голос хорошо разбирает.

— Да, гадала. А что?

— Да так себе... Просто спрашиваю... А вы верите?— кинула она на меня украдкой быстрый взгляд.

— Чему? Тому, что твоя бабка мне гадала, или вообще?

— Нет, вообще...

— Как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почему знать? Говорят, бывают случаи... Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить.

Олеся улыбнулась.

— Да, это правда, что она теперь плохо гадает. Стара стала, да и боится она очень. А что вам карты сказали?

— Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Что обыкновенно говорят: дальняя дорога, трефовый интерес... Я и позабыл даже.

— Да, да, плохая она стала ворожка. Слова многие позабыла от старости... Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так согласится.

— Чего же она боится?

— Известно чего,— начальства боится... Урядник придет, так завсегда грозит: «Я, говорит, тебя во всякое время могу упрятать. Ты знаешь, говорит, что вашему брату за чародейство полагается? Ссылка в каторжную работу, без срока, на Соколиный остров». Как вы думаете, врет он это или нет?

— Нет, врать он не врет; действительно за это что-то полагается, но уже не так страшно... Ну, а ты, Олеся, умеешь гадать?

Она как будто бы немного замаялась, но всего лишь на мгновение.

— Гадаю... Только не за деньги,— добавила она поспешно.

— Может быть, ты и мне кинешь карты?

— Нет,— тихо, но решительно ответила она, покачав головой.

— Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь после... Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь.

— Нет. Не стану. Ни за что не стану.

— Ну, уж это нехорошо, Олеся. Ради первого знакомства нельзя отказывать... Почему ты не согласна?

— Потому, что я на вас уже бросала карты, в другой раз нельзя...

— Нельзя? Отчего же? Я этого не понимаю.

— Нет, нет, нельзя... нельзя...— зашептала она с суевренным страхом.— Судьбу нельзя два раза пытаться... Не годится... Она узнает, подслушает... Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все ворожки несчастные.

Я хотел ответить Олеся какой-нибудь шуткой и не мог: слишком много искреннего убеждения было в ее словах, так что даже, когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение.

— Ну, если не хочешь мне погадать, так Расскажи, что у тебя тогда вышло?— попросил я.

Олеся вдруг бросила прялку и притронулась рукой к моей руке.

— Нет... Лучше не надо,— сказала она, и ее глаза приняли умоляюще-детское выражение.— Пожалуйста, не просите... Нехорошо вам вышло... Не просите лучше...

Но я продолжал настаивать. Я не мог разобрать: были ли ее отказ и темные намеки на судьбу наигранным приемом гадалки, или она действительно сама верила в то, о чем говорила, но мне стало как-то не по себе, почти жутко.

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу,— согласилась наконец Олеся.— Только смотрите, уговор лучше денег: не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также... Ну да все равно, говорить, так уж все по порядку... До нашей сестры больно охочи, и через это вам много в жизни будет зла... Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете — богаты никогда не будете... Говорить дальше?

— Говори, говори! Все, что знаешь, говори!

— Дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь, так холостым и умрете. Радостей вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы... Настанет такое время, что руки сами на себя наложить захотите... Такое у вас дело одно выйдет... Но только не посмеете, так снесете... Сильную нужду будете терпеть, однако под конец жизни судьба ваша переменится через смерть какого-то близкого вам человека и совсем для вас неожиданно. Только все это будет еще через много лет, а вот в этом году... Я не знаю, уж когда именно,— карты говорят, что очень скоро... Может быть, даже и в этом месяце...

— Что же случится в этом году?— спросил я, когда она опять остановилась.

— Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка, а знаю, что с темными волосами...

Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олеси.

— Что вы смотрите?— покраснела вдруг она, почувствовав мой взгляд с пониманием, свойственным некото-

рым женщинам.— Ну да, вроде моих,— продолжала она, машинально поправляя волосы и еще больше краснея.

— Так ты говоришь — большая трефовая любовь? — пошутил я.

— Не смейтесь, не надо смеяться,— серьезно, почти строго, заметила Олеся.— Я вам все только правду говорю.

— Ну хорошо, не буду, не буду. Что же дальше?

— Дальше... Ох! Нехорошо выходит этой трефовой даме, хуже смерти. Позор она через вас большой примет, такой, что во всю жизнь забыть нельзя, печаль долгая ей выходит... А вам в ее планете ничего дурного не выходит.

— Послушай, Олеся, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный, а ты столько страхов про меня наговорила.

— Ну, уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете,— не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется... Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда вспомните.

— И все это тебе карты сказали, Олеся?

Она ответила не сразу, уклончиво и как будто бы неохотно:

— И карты... Да я и без них узнаю много, вот хоть бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я это сейчас у него на лице прочитаю; даже говорить мне с ним не нужно.

— Что же ты видишь у него в лице?

— Да я и сама не знаю. Страшно мне вдруг делается, точно он неживой передо мной стоит. Вот хоть у бабушки спросите, она вам скажет, что я правду говорю. Трофим, мельник, в позапрошлом году у себя на млине удавился, а я его только за два дня перед тем видела и тогда же сказала бабушке: «Вот посмотри, бабуся, что Трофим на днях дурной смертью умрет». Так оно и вышло. А на прошлые святки зашел к нам конокрад Яшка, просил бабушку погадать. Бабушка разложила на него карты, стала ворожить. А он шутя спрашивает: «Ты мне скажи, бабка, какой я смертью умру?» А сам смеется. Я как поглядела на него, так и пошевеливаться не могу: вижу, сидит Яков, а лицо у него мертвое, зеленое... Глаза закрыты, а губы черные... Потом, через неделю, слышим, что поймали мужики Якова, когда он лошадей хотел свести... Всю ночь его били... Злой у



нас народ здесь, безжалостный... В пятки гвозди ему заколотили, перебили кольями все ребра, а к утру из него и дух вон.

— Отчего же ты ему не сказала, что его беда ждет?

— А зачем говорить? — возразила Олеся. — Что у судьбы положено, разве от этого убежишь? Только бы понапрасну человек свои последние дни тревожился... Да мне и самой гадко, что я так вижу, сама себе я противна делаюсь... Только что ж? Это ведь у меня от судьбы. Бабка моя, когда помоложе была, тоже смерть узнавала, и моя мать тоже, и бабкина мать — это не от нас... это в нашей крови так.

Она перестала пряхь и сидела, низко опустив голову, тихо положив руки вдоль колен. В ее неподвижно остановившихся глазах с расширившимися зрачками отразился какой-то темный ужас, какая-то невольная покорность таинственным силам и сверхъестественным знаниям, осенявшим ее душу.

## V

В это время старуха разостлала на столе чистое полотенце с вышитыми концами и поставила на него дымящийся горшок.

— Иди ужинать, Олеся, — позвала она внучку и после минутного колебания прибавила, обращаясь ко мне: — Может быть, и вы, господи, с нами откусаете? Милости просим... Только неважные у нас кушанья-то, супов не варим, а просто крупничок полевой...

Нельзя сказать, чтобы ее приглашение отзывалось особенной настойчивостью, и я уже было хотел отказаться от него, но Олеся, в свою очередь, попросила меня с такой милой простотой и с такой ласковой улыбкой, что я поневоле согласился. Она сама налила мне полную тарелку крупника — похлебки из гречневой крупы с салом, луком, картофелем и курицей — чрезвычайно вкусного и питательного кушанья. Садясь за стол, ни бабушка, ни внучка не перекрестились. За ужином я не переставал наблюдать за обеими женщинами, потому что, по моему глубокому убеждению, которое я и до сих пор сохраняю, нигде человек не высказывается так ясно, как во время еды. Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дряблыми щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в мапере есть была какая-то врожденная порядочность.

Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.

— Хотите, я вас провожу немножко?— предложила Олеся.

— Какие такие проводы еще выдумала!— сердито прошамкала старуха.— Не сидится тебе на месте, стрекоза...

Но Олеся уже накинула на голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала.

— Бабушка! Милая, дорогая, золотая... я только на минуточку, сейчас и назад.

— Ну ладно, уж ладно, верченая,— слабо отбивалась от нее старуха.— Вы, господин, не обессудьте: совсем дурочка она у меня.

Пройдя узкую тропинку, мы вышли на лесную дорогу, черную от грязи, всю истоптанную следами копыт и изборозжденную колеями, полными воды, в которой отражался пожар вечерней зари. Мы шли обочиной дороги, сплошь покрытой бурыми прошлогодними листьями, еще не высохшими после снега. Кое-где сквозь их мертвую желтизну подымали свои лиловые головки крупные колокольчики «сна» — первого цветка Полесья.

— Послушай, Олеся,— начал я,— мне очень хочется спросить тебя кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься... Скажи мне, правду ли говорят, что твоя бабка... как бы это выразиться?..

— Колдунья?— спокойно помогла мне Олеся.

— Нет... Не колдунья...— замялся я.— Ну да, если хочешь — колдунья... Конечно, ведь мало ли что болтают. Почему ей просто-напросто не знать каких-нибудь трав, средств, заговоров?.. Впрочем, если тебе это неприятно, ты можешь не отвечать.

— Нет, отчего же,— отозвалась она просто,— что ж тут неприятного? Да она, правда, колдунья. Но только теперь она стала стара и уж не может делать того, что делала раньше.

— Что же она умела делать?— полюбопытствовал я.

— Разное. Лечить умела, от зубов пользовала, руду заговаривала, отчитывала, если кого бешеная собака укусит или змея, клады указывала... да всего и не перечислишь.

— Знаешь что, Олеся?.. Ты меня извини, а я ведь этому всему не верю. Ну, будь со мною откровенна, я тебя никому не выдам: ведь все это — одно притворство, чтобы только людей морочить?

Она равнодушно пожала плечами.

— Думайте как хотите. Конечно, бабу деревенскую обморочить ничего не стоит, но вас бы я не стала обманывать.

— Значит, ты твердо веришь колдовству?

— Да как же мне не верить? Ведь у нас в роду чары... Я и сама многое умею.

— Олеся, голубушка... Если бы ты знала, как мне это интересно... Неужели ты мне ничего не покажешь?

— Отчего же, покажу, если хотите,— с готовностью согласилась Олеся.— Сейчас желаете?

— Да, если можно, сейчас.

— А бояться не будете?

— Ну вот глупости. Ночью, может быть, боялся бы, а теперь еще светло.

— Хорошо. Дайте мне руку.

Я повиновался. Олеся быстро засучила рукав моего пальто и расстегнула запонку у манжетки, потом она достала из своего кармана небольшой, вершка в три, финский ножик и вынула его из кожаного чехла.

— Что ты хочешь делать?— спросил я, чувствуя, как во мне шевельнулось подленькое опасение.

— А вот сейчас... Ведь вы же сказали, что не будете бояться!

Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия. Кровь тотчас же выступила во всю ширину пореза, полилась по руке и частыми каплями закапала на землю. Я едва удержался от того, чтобы не крикнуть, но, кажется, побледнел.

— Не бойтесь, живы останетесь,— усмехнулась Олеся.

Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием. Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина.

— Ну что? Довольно с вас?— с лукавой улыбкой спросила она, пряча свой ножик.— Хотите еще?

— Конечно, хочу. Только, если бы можно было, не так уж страшно и без кровопролития, пожалуйста.

— Что бы вам такое показать?— задумалась она.— Ну хоть разве это вот: идите впереди меня по дороге... Только смотрите не оборачивайтесь назад.

— А это не будет страшно?— спросил я, стараясь беспечной улыбкой прикрыть боязливое ожидание неприятного сюрприза.

— Нет, нет... Пустяки... Идите.

Я пошел вперед, очень заинтересованный опытом, чувствуя за своей спиной напряженный взгляд Олеси. Но, пройдя около двадцати шагов, я вдруг споткнулся на совсем ровном месте и упал ничком.

— Идите, идите!— закричала Олеся.— Не оборачивайтесь! Это ничего, до свадьбы заживет... Держитесь крепче за землю, когда будете падать.

Я пошел дальше. Еще десять шагов, и я вторично растянулся во весь рост.

Олеся громко захохотала и захлопала в ладоши.

— Ну что? Довольны?— крикнула она, сверкая своими белыми зубами.— Верите теперь? Ничего, ничего!.. Полетели не вверх, а вниз.

— Как ты это сделала?— с удивлением спросил я, отряхиваясь от приставших к моей одежде веточек и сухих травинок.— Это не секрет?

— Вовсе не секрет. Я вам с удовольствием расскажу. Только боюсь, что, пожалуй, вы не поймете... Не сумею я объяснить...

Я действительно не совсем понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мною следом шаг за шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же время старается подражать каждому, самому малейшему моему движению, так сказать, отождествляет себя со мною. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться ногой к этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает падающее движение, и тогда, по ее словам, самый крепкий человек должен непременно упасть... Только много времени спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им над двумя пациентками Сальпетриера, профессиональными колдуньями, страдавшими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья прибегали в подобных случаях совершенно к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма.

— О! Я еще много чего умею,— самоуверенно заявила Олеся.— Например, я могу нагнать на вас страх.

— Что это значит?

— Сделаю так, что вам страшно станет. Сидите вы, например, у себя в комнате вечером, и вдруг на вас найдет ни с того ни с сего такой страх, что вы задрожите и оглянуться назад не посмеете. Только для этого мне нужно знать, где вы живете, и раньше видеть вашу комнату.

— Ну, уж это совсем просто,— усомнился я.— Подойдешь к окну, постучишь, крикнешь что-нибудь.

— О, нет, нет... Я буду в лесу в это время, никуда из хаты не выйду... Но я буду сидеть и все думать, что вот я иду по улице, вхожу в ваш дом, отворяю двери, вхожу в вашу комнату... Вы сидите где-нибудь... ну, хоть у стола... я подкрадываюсь к вам сзади тихонько... вы меня не слышите... я хватаю вас за плечо руками и начинаю давить... все крепче, крепче, крепче... а сама гляжу на вас... вот так — смотрите...

Ее тонкие брови вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились на мне с грозным и притягивающим выражением, зрачки увеличились и посинели. Мне тотчас же вспомнилась виденная мною в Москве, в Третьяковской галерее, голова Медузы — работа уж не помню какого художника. Под этим пристальным, странным взглядом меня охватил холодный ужас сверхъестественного.

— Ну полно, полно, Олеся... будет,— сказал я с деланным смехом.— Мне гораздо больше нравится, когда ты улыбаешься,— тогда у тебя такое милое, детское лицо.

Мы пошли дальше. Мне вдруг вспомнилась выразительность и даже для простой девушки изысканность фраз в разговоре Олеси, и я сказал:

— Знаешь, что меня удивляет в тебе, Олеся? Вот ты выросла в лесу, никого не выдавши... Читать ты, конечно, тоже много не могла...

— Да я вовсе не умею и читать-то.

— Ну, тем более... А между тем ты так хорошо говоришь, не хуже настоящей барышни. Скажи мне, откуда у тебя это? Понимаешь, о чем я спрашиваю?

— Да, понимаю. Это все от бабушки... Вы не глядите, что она такая с виду. У! Какая она умная! Вот, может быть, она и при вас разговорится, когда побольше привыкнет... Она все знает, ну просто все на свете, про что ни спросишь. Правда, постарела она теперь.

— Значит, она много видела на своем веку? Откуда она родом? Где она раньше жила?

Кажется, эти вопросы не понравились Олесе. Она ответила не сразу, уклончиво и неохотно:

— Не знаю... Да она об этом и не любит говорить.

Если же когда и скажет что, то всегда просит забыть и не вспоминать больше... Ну, однако, мне пора,—заторопилась Олеся,—бабушка будет сердиться. До свиданья... Простите, имени вашего не знаю.

Я назвался.

« — Иван Тимофеевич? Ну, вот и отлично. Так до свиданья, Иван Тимофеевич! Не брезгуйте нашей хатой, заходите.

На прощанье я протянул ей руку, и ее маленькая крепкая рука ответила мне сильным, дружеским пожатием.

## VI

С этого дня я стал частым гостем в избушке на курьих ножках. Каждый раз, когда я приходил, Олеся встречала меня с своим привычным сдержанным достоинством. Но всегда, по первому певольному движению, которое она делала, увидев меня, я замечал, что она радуется моему приходу. Старуха по-прежнему не переставала бурчать что-то себе под нос, но явного недоброжелательства не выражала благодаря невидимому для меня, но несомненному заступничеству внучки; также немалое влияние в благотворном для меня смысле оказывали приносимые мною кое-когда подарки: то теплый платок, то банка варенья, то бутылка вишневой наливки. У нас с Олесей, точно по безмолвному обоюдному уговору, вошло в обыкновение, что она меня провожала до Ириновского шляха, когда я уходил домой. И всегда у нас в это время завязывался такой живой, интересный разговор, что мы оба старались поневоле продлить дорогу, идя как можно тише безмолвными лесными опушками. Дойдя до Ириновского шляха, я ее провожал обратно с полверсты, и все-таки, прежде чем проститься, мы еще долго разговаривали, стоя под пахучим навесом сосновых ветвей.

Не одна красота Олеси меня в ней очаровывала, но также и ее цельная самобытная, свободная натура, ее ум, одновременно ясный и окутанный непоколебимым наследственным суеверием, детски невинный, но и не лишенный лукавого кокетства красивой женщины. Она не уставала меня расспрашивать подробно обо всем, что занимало и волновало ее первобытное, яркое воображение: о странах и народах, об явлениях природы, об устройстве земли и вселенной, об ученых людях, о больших городах... Многое ей казалось удивительным, сказочным, неправдоподобным. Но я с самого начала нашего знакомства взял с нею такой серьезный, искренний и простой

тон, что она охотно принимала на бесконтрольную веру все мои рассказы. Иногда, затрудняясь объяснить ей что-нибудь, слишком, по моему мнению, непонятное для ее полудикарской головы (а иной раз и самому мне не совсем ясное), я возражал на ее жадные вопросы: «Видишь ли... Я не сумею тебе этого рассказать... Ты не поймешь меня».

Тогда она принималась меня умолять:

— Нет, пожалуйста, пожалуйста, я постараюсь... Вы хоть как-нибудь скажите... хоть и непонятно...

Она принуждала меня пускаться в чудовищные сравнения, в самые дерзкие примеры, и если я затруднялся подыскать выражение, она сама помогала мне целым дождем нетерпеливых вопросов, вроде тех, которые мы предлагаем зайке, мучительно застрявшему на одном слове. И действительно, в конце концов ее гибкий, подвижной ум и свежее воображение торжествовали над моим педагогическим бессилием. Я поневоле убеждался, что для своей среды, для своего воспитания (или, вернее сказать, отсутствия его) она обладала изумительными способностями.

Однажды я вскользь упомянул что-то про Петербург. Олеся тотчас же заинтересовалась:

— Что такое Петербург? Местечко?

— Нет, это не местечко; это самый большой русский город.

— Самый большой? Самый, самый, что ни на есть? И больше его нету?— наивно пристала она ко мне.

— Ну да... Там все главное начальство живет... господа большие... Дома там все каменные, деревянных нет.

— Уж, конечно, гораздо больше нашей Степани?— уверенно спросила Олеся.

— О да... немножко побольше... так, раз в пятьсот. Там такие есть дома, в которых в каждом народе живет вдвое больше, чем во всей Степани.

— Ах, Боже мой! Какие же это дома?— почти в испуге спросила Олеся.

Мне пришлось, по обыкновению, прибегнуть к сравнению.

— Ужасные дома. В пять, в шесть, а то и в семь этажей. Видишь вот ту сосну?

— Самую большую? Вижу.

— Так вот такие высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках, точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает. А другие внизу живут,

под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у себя в комнате круглый год не видят.

— Ну, уж я б ни за что не променяла своего леса на ваш город,— сказала Олеся, покачав головой.— Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно сделается. Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом,— так бы бросила все и без оглядки побежала... Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда.

— Ну а если твой муж будет из города?— спросил я с легкой улыбкой.

Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули.

— Вот еще!— сказала она с пренебрежением.— Никакого мне мужа не надо.

— Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое говорят и все же замуж выходят. Подожди немного: встретишься с кем-нибудь, полюбишь — тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.

— Ах, нет, нет... пожалуйста, не будем об этом,— досадливо отмахивалась она.— Ну, к чему этот разговор?.. Прощу вас, не надо.

— Какая ты смешная, Олеся. Неужели ты думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты — такая молодая, красивая, сильная. Если в тебе кровь загорится, то уж тут не до зарок будет.

— Ну что ж — и полюблю!— сверкнув глазами, с вызовом ответила Олеся.— Спрашиваться ни у кого не буду...

— Стало быть, и замуж пойдешь,— поддразнил я.

— Это вы, может быть, про церковь говорите? — догадалась она.

— Конечно, про церковь... Священник вокруг аналая будет водить, дьякон запоеет «Исаия, ликуй», на голову тебе наденут венец...

Олеся опустила веки и со слабой улыбкой отрицательно покачала головой.

— Нет, голубчик... Может быть, вам и не понравится, что я скажу, а только у нас в роду никто не венчался: и мать и бабка без этого прожили... Нам в церковь и заходить-то нельзя...

— Все из-за колдовства вашего?

— Да, из-за нашего колдовства,— со спокойной серьезностью ответила Олеся.— Как же я посмею в церковь показаться, если уже от самого рождения моя душа продана ему.

— Олеся... Милая... Поверь мне, что ты сама себя об-



манываешь... Ведь это дико, это смешно, что ты говоришь.

На лице Олеси опять показалось уже замеченное мною однажды странное выражение убежденной и мрачной покорности своему таинственному предназначению.

— Нет, нет... Вы этого не можете понять, а я это чувствую... Вот здесь,— она крепко притиснула руку к груди,— в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами: кто же нам помогает, как не он? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от него идет.

И каждый раз наш разговор, едва коснувшись этой необычайной темы, кончался подобным образом. Напрасно я истощал все доступные пониманию Олеси доводы, напрасно говорил в простой форме о гипнотизме, о внушении, о докторрах-психиатрах и об индийских факирах, напрасно старался объяснить ей физиологическим путем некоторые из ее опытов, хотя бы, например, заговаривание крови, которое так просто достигается искусным нажатием на вену,— Олесья, такая доверчивая ко мне во всем остальном, с упрямой настойчивостью опровергала все мои доказательства и объяснения... «Ну хорошо, хорошо, про заговор крови я вам, так и быть, подарю,— говорила она, возвышая голос в увлечении спора,— а откуда же другое берется? Разве я одно только и знаю, что кровь заговаривать? Хотите, я вам в один день всех мышей и тараканов выведу из хаты? Хотите, я в два дня вылечу простой водой самую сильную огневиду, хоть бы все ваши доктора от больного отказались? Хотите, я сделаю так, что вы какое-нибудь одно слово совсем позабудете? А сны почему я разгадываю? А будущее почему узнаю?»

Кончался этот спор всегда тем, что и я и Олесья умолкали не без внутреннего раздражения друг против друга. Действительно, для многого из ее черного искусства я не умел найти объяснения в своей небольшой науке. Я не знаю и не могу сказать, обладала ли Олесья и половиной тех секретов, о которых говорила с такой наивной верой, но то, чему я сам бывал нередко свидетелем, вслило в меня непоколебимое убеждение, что Олесе были доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в темной, замкнутой народной массе, передаваясь, как величайшая тайна, из поколения в поколение.

Несмотря на резкое разногласие в этом единственном пункте, мы все сильнее и крепче привязывались друг к другу. О любви между нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потребностью, и часто в молчаливые минуты, когда наши взгляды нечаянно и одновременно встречались, я видел, как увлажнялись глаза Олеси и как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске...

Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. Для него, очевидно, не были тайной мои посещения избушки на курьих ножках и вечерние прогулки с Олесей: он всегда с удивительной точностью знал все, что происходит в *его* лесу. С некоторого времени я заметил, что он начинает избегать меня. Его черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольствием каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания своего он не высказывал ни одним словом. Наши комически серьезные занятия грамотой прекратились. Если же я иногда вечером звал Ярмолу учиться, он только махал рукой.

— Куда там! Пустое это дело, паныч,— говорил он с лепивым презрением.

На охоту мы тоже перестали ходить. Всякий раз, когда я подымал об этом разговор, у Ярмолы находился какой-нибудь предлог для отказа: то ружье у него неисправно, то собака больна, то ему самому некогда. «Немачасу, паныч... нужно пашню сегодня орать»,— чаще всего отвечал Ярмола на мое приглашение, и я отлично знал, что он вовсе не будет «орать пашню», а проведет целый день около монополии в сомнительной надежде на чье-нибудь угощение. Эта безмолвная, затаенная вражда начинала меня утомлять, и я уже подумывал о том, чтобы отказаться от услуг Ярмолы, воспользовавшись для этого первым подходящим предлогом... Меня останавливало только чувство жалости к его огромной нищей семье, которой четыре рубля Ярмолова жалованья помогали не умереть с голода.

## VII

Однажды, когда я, по обыкновению, пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания. Олеся поздоровалась со мной,

как и всегда, ласково, но разговор у нас не вязался. Повидимому, она слушала меня рассеянно и отвечала невпопад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы.

— Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся,— сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке.

Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и задрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу.

— Нет... что же у нас могло случиться особенного?— произнесла она глухим голосом.— Все как было, так и осталось.

— Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны... А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали.

— Право же, ничего нет... Так... свои заботы, пустячные...

— Нет, Олеся, должно быть, не пустячные. Посмотри — ты сама на себя непохожа сделалась.

— Это вам так кажется только.

— Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам.. Ну, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем.

— Ах, да правда, не стоит и говорить об этом,— с нетерпением возразила Олеся.— Ничем вы тут нам не можете пособить.

Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор:

— Чего ты фордыбачишься, дурочка! Тебе дело говорят, а ты нос дерешь. Точно умнее тебя и на свете-то нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку,— повернулась она в мою сторону.

Размеры неприятности оказались гораздо значительнее, чем я мог предположить из слов гордой Олеся. Вчера вечером в избушку на курьих ножках заезжал местный урядник.

— Сначала-то он честь честью сел и водки потребовал,— говорила Мануйлиха,— а потом и пошел, и пошел. «Выбирайся, говорит, из хаты в двадцать четыре часа со всеми своими потрохами. Если, говорит, я в следующий раз приеду и застаю тебя здесь, так и знай, не миновать тебе этапного порядка. При двух, ~~говорит~~, солдатах отправлю тебя, анафему, на родину». А моя роди-

на, батюшка, далекая, город Амченск... У меня там теперь и души знакомой нет, да и пачпорта наши просрочены-распросрочены, да еще к тому неисправные. Ах ты, Господи, несчастье мое!

— Почему же он раньше позволял тебе жить, а только теперь надумался? — спросил я.

— Да вот поди ж ты... Брехал он что-то такое, да я, признаться, не поняла. Видишь, какое дело: хибарка эта, вот в которой мы живем, не наша, а помещичья. Ведь мы раньше с Олесей на селе жили, а потом...

— Знаю, знаю, бабушка, слышал об этом... Мужики на тебя рассердились...

— Ну вот это самое. Я тогда у старого помещика, господина Абросимова, эту халупу выпросила. Ну, а теперь будто бы купил лес новый помещик и будто бы хочет он какие-то болота, что ли, сушить. Только чего же я-то им помешала?

— Бабушка, а может быть, все это вранье одно? — заметил я. — Просто-напросто уряднику «красненькую» захотелось получить.

— Давала, родной, давала. Не берет-ет! Вот история... Четвертной билет давала, не берет... Куд-да тебе! Так на меня выверился, что я уж не знала, где стою. Заладил в одну душу: «Вон да вон!» Что ж мы теперь делать будем, сироты мы несчастные! Батюшка родимый, хотя бы ты нам чем помог, усовестил бы его, утробу ненасытную. Век бы, кажется, была тебе благодарна.

— Бабушка! — укоризненно, с расстановкой произнесла Олеся.

— Чего там — бабушка! — рассердилась старуха. — Я тебе уж двадцать пятый год — бабушка. Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? Нет, господин, вы ее не слушайте. Уж будьте милостивы, если что можете сделать, то сделайте.

Я в неопределенных выражениях обещал похлопотать, хотя, по правде сказать, надежды было мало. Если уж наш урядник отказывался «взять», значит, дело было слишком серьезное. В этот вечер Олеся простилась со мной холодно и, против обыкновения, не пошла меня провожать. Я видел, что самолюбивая девушка сердится на меня за мое вмешательство и немного стыдится бабушкиной плаксивости.

## VIII

Было серенькое теплое утро. Уже несколько раз принимался идти крупный, короткий, благодатный дождь,

после которого на глазах растет молодая трава и вытягиваются новые побеги. После дождя на минутку выглядывало солнце, обливая радостным сверканием облитую дождем молодую, еще нежную зелень сиреней, сплошь наполнявших мой палисадник; громче становился задорный крик воробьев на рыхлых огородных грядках; сильнее благоухали клейкие коричневые почки тополя. Я сидел у стола и чертил план лесной дачи, когда в комнату вошел Ярмола.

— Есть врядник,— проговорил он мрачно.

У меня в эту минуту совсем вылетело из головы отданное мною два дня тому назад приказание уведомить меня в случае приезда урядника, и я никак не мог сразу сообразить, какое отношение имеет в настоящую минуту ко мне этот представитель власти.

— Что такое?— спросил я в недоумении.

— Говорю, что врядник приехал,— повторил Ярмола тем же враждебным тоном, который он вообще принял со мною за последние дни.— Сейчас я видел его на плотине. Сюда едет.

На улице послышалось тарахтение колес. Я поспешно бросился к окну и отворил его. Длинный, худой, покладного цвета мерин, с отвислой нижней губой и обиженной мордой, степенной рысцой влек высокую тряскую плетушку, с которой он был соединен при помощи одной лишь оглобли,— другую оглоблю заменяла толстая веревка (злые уездные языки уверяли, что урядник нарочно завел этот печальный «выезд» для пресечения всевозможных нежелательных толкований). Урядник сам правил лошадью, занимая своим чудовищным телом, облеченным в серую шинель щегольского офицерского сукна, оба сиденья.

— Мое почтение, Евпсихий Африканович! — крикнул я, высовываясь из окошка.

— А-а, мое почтение-с! Как здоровыце?— отозвался он любезным, раскатистым начальническим баритоном.

Он сдержал мерина и, прикоснувшись выпрямленной ладонью к козырьку, с тяжеловесной грацией наклонил вперед туловище.

— Зайдите на минуточку. У меня к вам делишко одно есть.

Урядник широко развел руками и затряс головой:

— Не могу-с! При исполнении служебных обязанностей. Еду в Волошу на мертвое тело — утопленник-с.

Но я уже знал слабые стороны Евпсихия Африкановича и потому сказал с деланным равнодушием:

— Жаль, жаль... А я из экономии графа Ворцеля добыл пару таких бутылочек...

— Не могу-с. Долг службы...

— Мне буфетчик по знакомству продал. Он их в погребе как детей родных воспитывал... Зашли бы... А я вашему коньку овса прикажу дать.

— Ведь вот вы какой, право,— с упреком сказал урядник.— Разве не знаете, что служба прежде всего?.. А они с чем, эти бутылки-то? Сливянка?

— Какое сливянка!— махнул я рукой.— Старка, ба-тюшка, вот что!

— Мы, признаться, уж подзакусили,— с сожалением почесал щеку урядник, невероятно сморщив при этом лицо.

Я продолжал с прежним спокойствием:

— Не знаю, правда ли, но буфетчик божился, что ей двести лет. Запах — прямо как коньяк, и самой янтарной желтизны.

— Эх! Что вы со мной делаете!— воскликнул в комическом отчаянии урядник.— Кто же у меня лошадь-то примет?

Старки у меня действительно оказалось несколько бутылок, хотя и не такой древней, как я хвастался, но я рассчитывал, что сила внушения прибавит ей несколько десятков лет... Во всяком случае, это была подлинная домашняя, ошеломляющая старка, гордость погреба разорившегося магната. (Евпсихий Африканович, который происходил из духовных, немедленно выпросил у меня бутылку на случай, как он выразился, могущего произойти простудного заболевания...) И закуска у меня нашлась гастрономическая: молодая редиска со свежим, только что сбитым маслом.

— Ну-с, а дельце-то ваше какого сорта?— спросил после пятой рюмки урядник, откинувшись на спинку затрепавшего под ним старого кресла.

Я принялся излагать ему положение бедной старухи, упомянул про ее беспомощность и отчаяние, вскользь прошелся насчет ненужного формализма. Урядник слушал меня с опущенной вниз головой, методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску и пережевывая ее с аппетитным хрустением. Изредка он быстро вскидывал на меня равнодушные, мутные до смешного маленькие и голубые глаза, но на его красной огромной физиономии я не мог ничего прочесть: ни сочувствия, ни сопротивления. Когда я, наконец, замолчал, он только спросил:

— Ну, так чего же вы от меня хотите?

— Как чего?— заволновался я.— Вникните же, пожалуйста, в их положение. Живут две бедные, незащищенные женщины...

— И одна из них прямо бутон садовый!— ехидно вставил урядник.

— Ну уж там бутон или не бутон — это дело девятое. Но почему, скажите, вам и не принять в них участия? Будто бы вам уж так к спеху требуется их выселить? Ну хоть подождите немного, покамест я сам у помещика похлопочу. Чем вы рискуете, если подождете с месяц?

— Как чем я рискую-с?!— взвился с кресла урядник.— Помилуйте, да всем рискую, и прежде всего службой-с. Бог его знает, каков этот господин Ильяшевич, новый помещик. А может быть, каверзник-с... из таких, которые, чуть что, сейчас бумажку, перышко и доносик в Петербург-с? У нас ведь бывают и такие-с!

Я попробовал успокоить расходившегося урядника:

— Ну полноте, Евпсихий Африканович. Вы преувеличиваете все это дело. Наконец что же? Ведь риск риском, а благодарность все-таки благодарностью.

— Фью-ю-ю!— протяжно свистнул урядник и глубоко засунул руки в карманы шаровар.— Тоже благодарность пазывается! Что же вы думаете, я из-за каких-нибудь двадцати пяти рублей поставлю на карту свое служебное положение? Нет-с, это вы обо мне плохо понимаете.

— Да что вы горячитесь, Евпсихий Африканович? Здесь вовсе не в сумме дело, а просто так... Ну хоть по человечеству...

— По че-ло-ве-че-ству? — иронически отчеканил он каждый слог.— Позвольте-с, да у меня эти человеки вот где сидят-с!

Он энергично ударил себя по могучему бронзовому затылку, который свешивался на воротник жирной безволосой складкой.

— Ну, уж это вы, кажется, слишком, Евпсихий Африканович.

— Ни капельки не слишком-с. «Это — язва здешних мест», по выражению знаменитого баснописца, господина Крылова. Вот кто эти две дамы-с! Вы не изволили читать прекрасное сочинение его сиятельства князя Урусова под заглавием «Полицейский урядник»?

— Нет, не приходилось.

— И очень напрасно-с. Прекрасное и высоконравственное произведение. Советую на досуге ознакомиться...

— Хорошо, хорошо, я с удовольствием ознакомлюсь. Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к двум бедным женщинам?

— Какое? Очень прямое-с. Пункт первый (Евпсихий Африканович загнул толстый, волосатый указательный палец на левой руке): «Урядник имеет неослабное наблюдение, чтобы все ходили в храм Божий с усердием, пребывая, однако, в оном без усилия...» Позвольте узнать, ходит ли эта... как ее... Мануйлиха, что ли?.. Ходит ли она когда-нибудь в церковь?

Я молчал, удивленный неожиданным оборотом речи. Он поглядел на меня с торжеством и загнул второй палец.

— Пункт второй: «Запрещаются повсеместно лжепредсказания и лжепредзнаменования...» Чувствуете-с? Затем пункт третий-с: «Запрещается выдавать себя за колдуна или чародея и употреблять подобные обманы-с». Что вы на это скажете? А вдруг все это обнаружится или стороной дойдет до начальства? Кто в ответе? — Я. Кого из службы по шапке? — Меня. Видите, какая штука.

Он опять уселся в кресло. Глаза его, поднятые вверх, рассеянно бродили по стенам комнаты, а пальцы громко барабанили по столу.

— Ну, а если я вас попрошу, Евпсихий Африканович?— начал я опять умильным тоном.— Конечно, ваши обязанности сложные и хлопотливые, но ведь сердце у вас, я знаю, предоброе, золотое сердце. Что вам стоит пообещать мне не трогать этих женщин?

Глаза урядника вдруг остановились поверх моей головы.

— Хорошенькое у вас ружьишко,— небрежно уронил он, не переставая барабанить.— Славное ружьишко. Прошлый раз, когда я к вам заезжал и не застал дома, я все на него любовался... Чудное ружьецо!

Я тоже повернул голову назад и поглядел на ружье.

— Да, ружье недурное,— похвалил я.— Ведь оно старинное, фабрики Гастин-Реннета, я его только в прошлом году на центральное переделал. Вы обратите внимание на стволы.

— Как же-с, как же-с... я на стволы-то главным образом и любовался. Великолепная вещь... Просто, можно сказать, сокровище.



Наши глаза встретились, и я увидел, как в углах губ урядника дрогнула легкая, многозначительная улыбка. Я поднялся с места, снял со стены ружье и подошел с ним к Евпсихию Африкановичу.

— У черкесов есть очень милый обычай дарить гостю все, что он похвалит,— сказал я любезно.— Мы с вами хотя и не черкесы, Евпсихий Африканович, но я прошу вас принять от меня эту вещь на память.

Урядник для виду застыдился:

— Помилуйте, такую прелесть! Нет, нет, это уже чересчур щедрый обычай!

Однако мне не пришлось его долго уговаривать. Урядник принял ружье, бережно поставил его между своих колен и любовно отер чистым носовым платком пыль, осевшую на спусковой скобе. Я немного успокоился, увидев, что ружье по крайней мере перешло в руки любителя и знатока. Почти тотчас Евпсихий Африканович встал и заторопился ехать.

— Дело не ждет, а я тут с вами забалакался,— говорил он, громко стуча о пол неналежавшими калошами.— Когда будете в наших краях, милости просим ко мне.

— Ну, а как же насчет Мануйлихи, господин начальство?— деликатно напомнил я.

— Посмотрим, увидим...— неопределенно буркнул Евпсихий Африканович.— Я вот вас еще о чем хотел попросить... Редис у вас замечательный...

— Сам вырастил.

— Удивительный редис! А у меня, знаете ли, моя благоверная страшная обожательница всякой овощи. Так если бы, знаете, того... пучочек один.

— С наслаждением, Евпсихий Африканович. Сочту долгом... Сегодня же с нарочным отправлю корзиночку. И маслица уж позвольте заодно... Масло у меня на редкость.

— Ну, и маслица...— милостиво разрешил урядник.— А этим бабам вы дайте уж знак, что я их пока что не трону. Только пусть они ведают,— вдруг возвысил он голос,— что одним спасибо от меня не отделаются. А засим желаю здравствовать. Еще раз мерси вам за подарок и за угощение.

Он по-военному пристукнул каблуками и грузной походкой сытого важного человека пошел к своему экипажу, около которого в почтительных позах, без шапок, уже стояли сотский, сельский староста и Ярмола.

Евпсихий Африканович сдержал свое обещание и оставил на неопределенное время в покое обитательниц лесной хатки. Но мои отношения с Олесей резко и странно изменились. В ее обращении со мной не осталось и следа прежней доверчивой и наивной ласки, прежнего оживления, в котором так мило смешивалось кокетство красивой девушки с резвой ребяческой шаловливостью. В нашем разговоре появилась какая-то непреодолимая неловкая принужденность... С поспешной боязливостью Олеся избегала живых тем, дававших раньше такой безбрежный простор нашему любопытству.

В моем присутствии она отдавалась работе с напряженной, суровой деловитостью, но часто я наблюдал, как среди этой работы ее руки вдруг опускались бессильно вдоль колен, а глаза неподвижно и неопределенно устремлялись вниз, на пол. Если в такую минуту я называл Олесю по имени или предлагал ей какой-нибудь вопрос, она вздрагивала и медленно обращала ко мне свое лицо, в котором отражались испуг и усилие понять смысл моих слов. Иногда мне казалось, что ее тяготит и стесняет мое общество, но это предположение плохо вязалось с громадным интересом, возбуждаемым в ней всего лишь несколько дней тому назад каждым моим замечанием, каждой фразой... Оставалось думать только, что Олеся не хочет мне простить моего, так возмущившего ее независимую натуру, покровительства в деле с урядником. Но и эта догадка не удовлетворяла меня: откуда в самом деле могла явиться у простой, выросшей среди леса девушки такая чрезмерно щепетильная гордость?

Все это требовало разъяснений, а Олеся упорно избегала всякого благоприятного случая для откровенного разговора. Наши вечерние прогулки прекратились. Напрасно каждый день, собираясь уходить, я бросал на Олесю красноречивые, умоляющие взгляды, — она делала вид, что не понимает их значения. Присутствие же старухи, несмотря на ее глухоту, беспокоило меня.

Иногда я возмущался против собственного бессилия и против привычки, тянувшей меня каждый день к Олеся. Я и сам не подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано мое сердце к этой очаровательной, непонятной для меня девушке. Я еще не думал о любви, но я уже переживал тревожный, предшествующий любви период, полный смутных, томительно грустных ощущений. Где бы я ни был, чем бы ни ста-

рался развлечься,— все мои мысли были заняты образом Олеси, все мое существо стремилось к ней, каждое воспоминание об ее иной раз самых ничтожных словах, об ее жестах и улыбках сжимало с тихой и сладкой болью мое сердце. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым.

Однажды я провел таким образом около Олеси целый день. Уже с утра я себя чувствовал нехорошо, хотя еще не мог ясно определить, в чем заключалось мое нездоровье. К вечеру мне стало хуже. Голова сделалась тяжелой, в ушах шумело, в темени я ощущал тупую беспрестанную боль,— точно кто-то давил на него мягкой, но сильной рукой. Во рту у меня пересохло, и по всему телу постоянно разливалась какая-то ленивая, томная слабость, от которой каждую минуту хотелось зевать и тянуться. В глазах чувствовалась такая боль, как будто бы я только что пристально и близко глядел на блестящую точку.

Когда же поздним вечером я возвращался домой, то как раз на середине пути меня вдруг схватил и затряс бурный приступ озноба. Я шел, почти не видя дороги, почти не сознавая, куда иду, и шатаюсь, как пьяный, между тем как мои челюсти выбивали одна о другую частую и громкую дробь.

Я до сих пор не знаю, кто довез меня до дому... Ровно шесть дней была меня неотступная ужасная полеская лихорадка. Днем недуг как будто бы затихал, и ко мне возвращалось сознание. Тогда, совершенно изнуренный болезнью, я еле-еле бродил по комнате с болью и слабостью в коленях; при каждом более сильном движении кровь прилиwała горячей волной к голове и застилала мраком все предметы перед моими глазами. Вечером же, обыкновенно часов около семи, как буря, налетал на меня приступ болезни, и я проводил на постели ужасную, длинную, как столетие, ночь, то трясаясь под одеялом от холода, то пылая невыносимым жаром. Едва только дремота слегка касалась меня, как странные, нелепые, мучительно-пестрые сновидения начинали играть моим разгоряченным мозгом. Все мои грезы были полны мелочных, микроскопических деталей, громоздившихся и цеплявшихся одна за другую в безобразной сутолоке. То мне казалось, что я разбираю какие-то разноцветные, причудливых форм ящички, вынимая маленькие из больших, а из маленьких еще меньшие, и никак не могу прекратить этой бесконечной работы, которая мне давно уже кажет-

ся отвратительной. То мелькали перед моими глазами с одуряющей быстротой длинные яркие полосы обоев, и на них вместо узоров я с изумительной отчетливостью видел целые гирлянды из человеческих физиономий — порою красивых, добрых и улыбающихся, порою делающих страшные гримасы, высовывающих языки, скалящих зубы и вращающих огромными белками. Затем я вступал с Ярмолой в запутанный, необычайно сложный отвлеченный спор. С каждой минутой доводы, которые мы приводили друг другу, становились все более тонкими и глубокими; отдельные слова и даже буквы слов принимали вдруг таинственное, неизмеримое значение, и вместе с тем меня все сильнее охватывал брезгливый ужас перед неведомой противоестественной силой, что выматывает из моей головы один за другим уродливые софизмы и не позволяет мне прервать давно уже опротивевшего спора...

Это был какой-то кипящий вихрь человеческих и звериных фигур, ландшафтов, предметов самых удивительных форм и цветов, слов и фраз, значение которых воспринималось всеми чувствами... Но — странное дело — в то же время я не переставал видеть на потолке светлый ровный круг, отбрасываемый лампой с зеленым обгоревшим абажуром. И я знал почему-то, что в этом спокойном круге с нечеткими краями притаилась безмолвная, однообразная, таинственная и грозная жизнь, еще более жуткая и угнетающая, чем бешеный хаос моих сновидений.

Потом я просыпался, или, вернее, не просыпался, а внезапно заставал себя бодрствующим. Сознание почти возвращалось ко мне. Я понимал, что лежу в постели, что я болен, что я только что бредил, но светлый круг на темном потолке все-таки пугал меня затаенной зловещей угрозой. Слабою рукой дотягивался я до часов, смотрел на них и с тоскливым недоумением убеждался, что вся бесконечная вереница моих уродливых снов заняла не более двух-трех минут. «Господи! Да когда же настанет рассвет!» — с отчаянием думал я, мечась головой по горячим подушкам и чувствуя, как опалает мне губы мое собственное тяжелое и короткое дыхание... Но вот опять овладевала мною тонкая дремота, и опять мозг мой делался игрищем пестрого кошмара, и опять через две минуты я просыпался, охваченный смертельной тоской...

Через шесть дней моя крепкая натура, вместе с помощью хинина и настоя подорожника, победила болезнь. Я встал с постели весь разбитый, едва держась на

ногах. Выздоровление совершалось с жадной быстротой. В голове, утомленной шестидневным лихорадочным бредом, чувствовалось теперь ленивое и приятное отсутствие мыслей. Appetit явился в удвоенном размере, и тело мое крепло по часам, впивая каждой своей частицей здоровье и радость жизни. Вместе с тем с новой силой потянуло меня в лес, в одинокую покривившуюся хату. Нервы мои еще не оправились, и каждый раз, вызывая в памяти лицо и голос Олеси, я чувствовал такое нежное умиление, что мне хотелось плакать.

## Х

Прошло еще пять дней, и я настолько окреп, что пешком, без малейшей усталости, дошел до избушки на курьих ножках. Когда я ступил на ее порог, то сердце забилося с тревожным страхом у меня в груди. Почти две недели не видал я Олеси и теперь особенно ясно понял, как была она мне близка и мила. Держась за скобку двери, я несколько секунд медлил и едва переводил дыхание. В нерешимости я даже закрыл глаза на некоторое время, прежде чем толкнуть дверь...

В впечатлениях, подобных тем, которые последовали за моим входом, никогда невозможно разобраться... Разве можно запомнить слова, произносимые в первые моменты встречи матерью и сыном, мужем и женой или двумя влюбленными? Говорятся самые простые, самые обиходные фразы, смешные даже, если их записывать с точностью на бумаге. Но здесь каждое слово уместно и бесконечно мило уже потому, что говорится оно самым дорогим на свете голосом.

Я помню, очень ясно помню только то, что ко мне быстро обернулось бледное лицо Олеси и что на этом прелестном, новом для меня лице в одно мгновение отразились, сменяя друг друга, недоумение, испуг, тревога и нежная, сияющая улыбка любви... Старуха что-то шамкала, топчась возле меня, но я не слышал ее приветствий. Голос Олеси донесся до меня, как сладкая музыка:

— Что с вами случилось? Вы были больны? Ох, как же вы исхудали, бедный мой.

Я долго не мог ей ничего ответить, и мы молча стояли друг против друга, держась за руки, прямо, глубоко и радостно смотря друг другу в глаза. Эти несколько молчаливых секунд я всегда считаю самыми счастливыми в моей жизни; никогда, никогда, ни раньше, ни позднее, я

не испытывал такого чистого, полного, всепоглощающего восторга. И как много я читал в больших темных глазах Олеси: и волнение встречи, и упрек за мое долгое отсутствие, и горячее признание в любви... Я почувствовал, что вместе с этим взглядом Олеся отдает мне радостно, без всяких условий и колебаний, все свое существо.

Она первая нарушила это очарование, указав мне медленным движением век на Мануйлиху. Мы уселись рядом, и Олеся принялась подробно и заботливо расспрашивать меня о ходе моей болезни, о лекарствах, которые я принимал, о словах и мнениях доктора (два раза приезжавшего ко мне из местечка). Про доктора она заставила меня рассказать несколько раз подряд, и я порою замечал на ее губах беглую насмешливую улыбку.

— Ах, зачем я не знала, что вы захворали!— воскликнула она с нетерпеливым сожалением.— Я бы в один день вас на ноги поставила... Ну, как же им можно довериться, когда они ничего, ни-че-го не понимают? Почему вы за мной не послали?

Я замялся.

— Видишь ли, Олеся... это и случилось так внезапно... и, кроме того, я боялся тебя беспокоить! Ты в последнее время стала со мной какая-то странная, точно все сердилась на меня или надоед я тебе... Послушай, Олеся,— прибавил я, понижая голос,— нам с тобой много, много нужно поговорить... только одним... понимаешь?

Она тихо опустила веки в знак согласия, потом боязливо оглянулась на бабушку и быстро шепнула:

— Да... я и сама хотела... потом... подождите...

Едва только закатилось солнце, как Олеся стала меня торопить домой.

— Собирайтесь, собирайтесь скорее,— говорила она, увлекая меня за руку со скамейки.— Если вас теперь сыростью охватит, болезнь сейчас же назад вернется.

— А ты куда же, Олеся?— спросила вдруг Мануйлиха, видя, что ее внучка поспешно набросила на голову большой серый шерстяной платок.

— Пойду... провожу немножко,— ответила Олеся.

Она произнесла это равнодушно, глядя не на бабушку, а в окно, но в ее голосе я уловил чуть заметный оттенок раздражения.

— Пойдешь-таки?— с ударением переспросила старуха.

Глаза Олеси сверкнули и в упор остановились на лице Мануйлихи.

— Да, и пойду! — возразила она надменно. — Уж давно об этом говорено и переговорено... Мое дело, мой и ответ.

— Эх, ты!.. — с досадой и укоризной воскликнула старуха.

Она хотела еще что-то прибавить, но только махнула рукой, поплелась своей дрожащей походкой в угол и, кряхтя, закопошилась там над какой-то корзиной.

Я понял, что этот быстрый недовольный разговор, которому я только что был свидетелем, служит продолжением длинного ряда взаимных ссор и вспышек. Спускаясь рядом с Олесей к бору, я спросил ее:

— Бабушка не хочет, чтобы ты ходила со мной гулять? Да?

Олеся с досадой пожала плечами.

— Пожалуйста, не обращайтесь на это внимания. Ну да, не хочет... Что ж!.. Разве я не вольна делать, что мне нравится?

Во мне вдруг поднялось неудержимое желание упрекнуть Олеся за ее прежнюю суровость.

— Значит, и раньше, еще до моей болезни, ты тоже могла, но только не хотела оставаться со мною один на один... Ах, Олеся, если бы ты знала, какую ты причиняла мне боль... Я так ждал, так ждал каждый вечер, что ты опять пойдешь со мною... А ты, бывало, всегда такая невнимательная, скучная, сердитая... О, как ты меня мучила, Олеся!

— Ну, перестаньте, голубчик... Забудьте это, — с мягким извинением в голосе попросила Олеся.

— Нет, я ведь не в укор тебе говорю — так, к слову пришлось... Теперь я понимаю, почему это было... А ведь сначала — право, даже смешно и вспомнить — я подумал, что ты обиделась на меня из-за урядника. И эта мысль меня сильно огорчала. Мне казалось, что ты меня таким далеким, чужим человеком считаешь, что даже простую дружескую услугу тебе от меня трудно принять... Очень мне это было горько... Я ведь и не подозревал, Олеся, что все это от бабушки идет...

Лицо Олеси вдруг вспыхнуло ярким румянцем.

— И вовсе не от бабушки!.. Сама я этого не хотела! — горячо, с задором воскликнула она.

Я поглядел на нее сбоку, так что мне стал виден чистый, нежный профиль ее слегка наклоненной головы. Только теперь я заметил, что и сама Олеся похудела за это время и вокруг ее глаз легли голубоватые тени. Почувствовав мой взгляд, Олеся вскинула на меня глаза,

но тотчас же опустила их и отвернулась с застенчивой улыбкой.

— Почему ты не хотела, Олеся? Почему? — спросил я обрывающимся от волнения голосом и, схватив Олеся за руку, заставил ее остановиться.

Мы в это время находились как раз на середине длинной, узкой и прямой, как стрела, лесной просеки. Высокие, стройные сосны обступали нас с обеих сторон, образуя гигантский, уходящий вдаль коридор со сводом из душистых сплетшихся ветвей. Голые, облупившиеся стволы были окрашены багровым отблеском догорающей зари...

— Почему? Почему, Олеся? — твердил я шепотом и все сильнее сжимал ее руку.

— Я не могла... Я боялась, — еле слышно произнесла Олеся. — Я думала, что можно уйти от судьбы... А теперь... теперь...

Она задыхнулась, точно ей не хватало воздуха, и вдруг ее руки быстро и крепко обвились вокруг моей шеи, и мои губы сладко обжег торопливый, дрожащий шепот Олеси:

— Теперь мне все равно, все равно!.. Потому что я люблю тебя, мой дорогой, мое счастье, мой ненаглядный!..

Она прижималась ко мне все сильнее, и я чувствовал, как трепетало под моими руками ее сильное, крепкое, горячее тело, как часто билось около моей груди ее сердце. Ее страстные поцелуи вливались в мою еще не окрепшую от болезни голову, как пьяное вино, и я начал терять самообладание.

— Олеся, ради Бога, не надо... оставь меня, — говорил я, стараясь разжать ее руки. — Теперь и я боюсь... боюсь самого себя... Пусты меня, Олеся.

Она подняла вверх свое лицо, и все оно осветилось томной, медленной улыбкой.

— Не бойся, мой миленький, — сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. — Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану... Скажи только: любишь ли?

— Люблю, Олеся. Давно люблю и крепко люблю. Но... не целуй меня больше... Я слабею, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя...

Ее губы опять долго и мучительно сладко прильнули к моим, и я не услышал, а скорее угадал ее слова:

— Ну, так и не бойся и не думай ни о чем больше... Сегодня наш день, и никто у нас его не отнимет...

• • • • •



И вся эта ночь слилась в какую-то волшебную, чарующую сказку. Взошел месяц, и его сияние причудливо, пестро и таинственно расцветило лес, легло среди мрака неровными, иссиня-бледными пятнами на корявые стволы, на изогнутые сучья, на мягкий, как плюшевый ковер, мох. Тонкие стволы берез белели резко и отчетливо, а на их редкую листву, казалось, были наброшены серебристые, прозрачные, газовые покровы. Местами свет вовсе не проникал под густой навес сосновых ветвей. Там стоял полный, непропицаемый мрак, и только в самой середине его скользящий неведомо откуда луч вдруг ярко озарял длинный ряд деревьев и бросал на землю узкую правильную дорожку — такую светлую, нарядную и прелестную, точно аллея, убранная эльфами для торжественного шествия Оберона и Титании. И мы шли, обнявшись, среди этой улыбающейся живой легенды, без единого слова, подавленные своим счастьем и жутким безмолвием леса.

— Дорогой мой, а я ведь и забыла совсем, что тебе домой надо спешить, — спохватилась вдруг Олеся. — Вот какая гадкая! Ты только что выздоровел, а я тебя до сих пор в лесу держу.

Я обнял ее и откинул платок с ее густых темных волос и, наклонясь к ее уху, спросил чуть слышно:

— Ты не жалеешь, Олеся? Не раскаиваешься?

Она медленно покачала головой:

— Нет, нет... Что бы потом ни случилось, я не пожалую. Мне так хорошо...

— А разве непременно должно что-нибудь случиться?

В ее глазах мелькнуло отражение знакомого мне мистического ужаса.

— О да, непременно... Помнишь, я тебе говорила про трефовую даму? Ведь эта трефовая дама — я, это со мной будет несчастье, про что сказали карты... Ты знаешь, я ведь хотела тебя попросить, чтобы ты и вовсе у нас перестал бывать. А тут как раз ты заболел, и я тебя чуть не полмесяца не видала... И такая меня по тебе тоска обуяла, такая грусть, что, кажется, все бы на свете отдала, лишь бы с тобой хоть минуточку еще побыть... Вот тогда-то я и решилась. Пусть, думаю, что будет, то и будет, а я своей радости никому не отдам...

— Это правда, Олеся. Это и со мной так было, — сказал я, прикасаясь губами к ее виску. — Я до тех пор не знал, что люблю тебя, покамест не расстался с тобой. Недаром, видно, кто-то сказал, что разлука для любви то

же, что ветер для огня: маленькую любовь она тушит, а большую раздувает еще сильнее.

— Как ты сказал? Повтори, повтори, пожалуйста,— заинтересовалась Олеся.

Я повторил еще раз это не знаю кому принадлежащее изречение. Олеся задумалась, и я увидел по движению ее губ, что она повторяет мои слова.

Я близко вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестящими в них яркими лунными бликами,— и смутное предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в мою душу.

## XI

Почти целый месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие вечерние зори, эти росистые, благоухающие ландышами и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные, ленивые июньские дни... Ни разу ни скука, ни утомление, ни вечная страсть к бродячей жизни не шевельнулись за это время в моей душе. Я, как языческий бог или как молодое, сильное животное, наслаждался светом, теплом, сознательной радостью жизни и спокойной, здоровой, чувственной любовью.

Старая Мануйлиха стала после моего выздоровления так несносно брюзглива, встречала меня с такой откровенной злобой и, покамест я сидел в хате, с таким шумным ожесточением двигала горшками в печке, что мы с Олесей предпочли сходиться каждый вечер в лесу... И величественная зеленая прелесть бора, как драгоценная оправа, украшала нашу безмятежную любовь.

Каждый день я все с большим удивлением находил, что Олеся — эта выросшая среди леса, не умеющая даже читать девушка — во многих случаях жизни проявляет чуткую деликатность и особенный, врожденный такт. В любви — в прямом, грубом ее смысле — всегда есть ужасные стороны, составляющие мучение и стыд для нервных художественных натур. Но Олеся умела избегать их с такой наивной целомудренностью, что ни разу ни одно дурное сравнение, ни один циничный момент не оскорбили нашей связи.

Между тем приближалось время моего отъезда. Собственно говоря, все мои служебные обязанности в Перевале были уже покончены, и я умышленно оттягивал

срок моего возвращения в город. Я еще ни слова не говорил об этом Олесе, боясь даже представить себе, как она примет мое извещение о необходимости уехать. Вообще я находился в затруднительном положении. Привычка пустила во мне слишком глубокие корни. Видеть ежедневно Олесю, слышать ее милый голос и звонкий смех, ощущать нежную прелесть ее ласки — стало для меня больше чем необходимостью. В редкие дни, когда ненастье мешало нам встречаться, я чувствовал себя точно потерянным, точно лишенным чего-то самого главного, самого важного в моей жизни. Всякое занятие казалось мне скучным, лишним, и все мое существо стремилось в лес, к теплу, к свету, к милому привычному лицу Олеси.

Мысль жениться на Олесе все чаще и чаще приходила мне в голову. Сначала она лишь изредка представлялась мне как возможный, па крайний случай, честный исход из наших отношений. Одно лишь обстоятельство пугало и останавливало меня: я не смел даже воображать себе, какова будет Олеся, одетая в модное платье, разговаривающая в гостиной с женами моих сослуживцев, исторгнутая из этой очаровательной рамки старого леса, полного легенд и таинственных сил.

Но чем ближе подходило время моего отъезда, тем больший ужас одиночества и большая тоска овладевали мною. Решение жениться с каждым днем крепло в моей душе, и под конец я уже перестал видеть в нем дерзкий вызов обществу. «Женятся же хорошие и ученые люди на швейках, на горничных,— утешал я себя,— и живут прекрасно, и до конца дней своих благословляют судьбу, толкнувшую их на это решение. Не буду же я несчастнее других, в самом деле?»

Однажды в середине июня, под вечер, я, по обыкновению, ожидал Олесю на повороте узкой лесной тропинки между кустами цветущего боярышника. Я еще издали узнал легкий, быстрый шум ее шагов.

— Здравствуй, мой родненький,— сказала Олеся, обнимая меня и тяжело дыша.— Заждался небось? А я насили-насилу вырвалась... Все с бабушкой воевала.

— До сих пор не утихла?

— Куда там! «Ты, говорит, пропадешь из-за него... Натешится он тобою вволю, да и бросит. Не любит он тебя вовсе...»

— Это она про меня так?

— Про тебя, милый... Ведь я все равно ни одному ее словечку не верю.

— А она все знает?

— Не скажу наверно... кажется, знает. Я с ней, впрочем, об этом ничего не говорю — сама догадывается. Ну, да что об этом думать... Пойдем.

Она сорвала ветку боярышника с пышным гнездом белых цветов и воткнула себе в волосы. Мы медленно пошли по тропинке, чуть розовевшей на вечернем солнце.

Я еще прошлой ночью решил во что бы то ни стало высказаться в этот вечер. Но странная робость отяжелела мой язык. Я думал: если я скажу Олеся о моем отъезде и об женитьбе, то поверит ли она мне? Не покажется ли ей, что я своим предложением только уменьшаю, смягчаю первую боль наносимой раны? «Вот как дойдем до того клена с ободранным стволом, так сейчас же и начну», — назначил я себе мысленно. Мы равнялись с кленом, и я, бледнея от волнения, уже переводил дыхание, чтобы начать говорить, но внезапно моя смелость ослабела, разрешаясь нервным, болезненным биением сердца и холодом во рту. «Двадцать семь — мое фэральное число, — думал я несколько минут спустя, — досчитаю до двадцати семи, и тогда!..» И я принимался считать в уме, но когда доходил до двадцати семи, то чувствовал, что решимость еще не созрела во мне. «Нет, — говорил я себе, — лучше уж буду продолжать считать до шестидесяти, — это составит как раз целую минуту, — и тогда непременно, непременно...»

— Что такое сегодня с тобой? — спросила вдруг Олеся. — Ты думаешь о чем-то неприятном. Что с тобой случилось?

Тогда я заговорил, но заговорил каким-то самому мне противным тоном, с напускной, неестественной небрежностью, точно дело шло о самом пустячном предмете.

— Действительно, есть маленькая неприятность... ты угадала, Олеся... Видишь ли, моя служба здесь окончена, и меня начальство вызывает в город.

Мельком, сбоку я взглянул на Олеся и увидел, как сбежала краска с ее лица и как задрожали ее губы. Но она не ответила мне ни слова. Несколько минут я молча шел с ней рядом. В траве громко кричали кузнечики, и откуда-то издали доносился однообразный напряженный скрип коростеля.

— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службой пренебрегать нельзя...

— Нет... что же... тут и говорить нечего, — отозвалась Олеся как будто бы спокойно, но таким глухим, безжиз-

ненным голосом, что мне стало жутко. — Если служба, то, конечно... надо ехать...

Она остановилась около дерева и оперлась спиной об его ствол, вся бледная, с бессильно упавшими вдоль тела руками, с жалкой, мучительной улыбкой на губах. Ее бледность испугала меня. Я кинулся к ней и крепко сжал ее руки.

— Олесья... что с тобой? Олесья... милая!..

— Ничего... извините меня... это пройдет. Так... голова закружилась...

Она сделала над собой усилие и прошла вперед, не отнимая у меня своей руки.

— Олесья, ты теперь обо мне дурно подумала, — сказал я с упреком. — Стыдно тебе! Неужели и ты думаешь, что я могу уехать, бросив тебя? Нет, моя дорогая. Я потому и начал этот разговор, что хочу сегодня же пойти к твоей бабушке и сказать ей, что ты будешь моей женой.

Совсем неожиданно для меня, Олесью почти не удивили мои слова.

— Твоей женой? — Она медленно и печально покачала головой. — Нет, Ванечка, милый, это невозможно!

— Почему же, Олесья? Почему?

— Нет, нет... Ты и сам понимаешь, что об этом смешно и думать. Ну какая я тебе жена на самом деле? Ты барин, ты умный, образованный, а я? Я и читать не умею, и куда ступить не знаю... Ты одного стыда из-за меня не оберешься...

— Это все глупости, Олесья! — возразил я горячо. — Ты через полгода сама себя не узнаешь. Ты не подозреваешь даже, сколько в тебе врожденного ума и наблюдательности. Мы с тобой вместе прочитаем много хороших книжек, познакомимся с добрыми, умными людьми, мы с тобой весь широкий свет увидим, Олесья... Мы до старости, до самой смерти будем идти рука об руку, вот как теперь идем, и не стыдиться, а гордиться тобой я буду и благодарить тебя!..

На мою пылкую речь Олесья ответила мне признательным пожатием руки, но продолжала стоять на своем.

— Да разве это одно?.. Может быть, ты еще не знаешь?.. Я никогда не говорила тебе... Ведь у меня отца нет... Я незаконная...

— Перестань, Олесья... Это меньше всего меня останавливает. Что мне за дело до твоей родни, если ты сама для меня дороже отца и матери, дороже целого мира? Нет, все это мелочи, все это пустые отговорки!..

Олеся с тихой, покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.

— Голубчик... Лучше бы ты вовсе об этом не начал разговора... Ты молодой, свободный... Неужели у меня хватило бы духу связать тебя по рукам и по ногам на всю жизнь?.. Ну, а если тебе потом другая понравится? Ведь ты меня тогда возненавидишь, проклянешь тот день и час, когда я согласилась пойти за тебя. Не сердись, мой дорогой!— с мольбой воскликнула она, видя по моему лицу, что мне неприятны эти слова.— Я не хочу тебя обидеть. Я ведь только о твоём счастье думаю. Наконец, ты позабыл про бабушку. Ну посуди сам, разве хорошо будет с моей стороны ее одну оставить?

— Что ж... и бабушке у нас место найдется. (Признаться, мысль о бабушке меня сильно покорила.) А не захочет она у нас жить, так во всяком городе есть такие дома... они называются богадельнями... где таким старушкам дают и покой, и уход внимательный...

— Нет, что ты! Она из леса никуда не пойдет. Она людей боится.

— Ну, так ты уж сама придумай, Олеся, как лучше. Тебе придется выбирать между мной и бабушкой. Но только знай одно — что без тебя мне и жизнь будет противна.

— Солнышко мое!— с глубокой нежностью произнесла Олеся.— Уж за одни твои слова спасибо тебе... Отгреет ты мое сердце... Но все-таки замуж я за тебя не пойду... Лучше уж я так пойду с тобой, если не прогонишь... Только не спеши, пожалуйста, не торопи меня. Дай мне денька два, я все хорошенько обдумаю... И с бабушкой тоже нужно поговорить.

— Послушай, Олеся,— спросил я, осененный новой догадкой.— А может быть, ты опять... церкви боишься?

Пожалуй, что с этого вопроса и надо было начать. Почти ежедневно спорил я с Олесей, стараясь разубедить ее в мнимом проклятии, тяготеющем над ее родом вместе с обладанием чародейными силами. В сущности, в каждом русском интеллигенте сидит немножко развивателя. Это у нас в крови, это внедрено нам всей русской беллетристикой последних десятилетий. Почему знать? Если бы Олеся глубоко веровала, строго блюла посты и не пропускала ни одного церковного служения,— весьма возможно, что тогда я стал бы иронизировать (но только слегка, ибо я всегда был верующим человеком) над ее религиозностью и развивать в ней критическую пылкость ума. Но она с твердой и наивной убежденностью

исповедовала свое общение с темными силами и свое отчуждение от Бога, о котором она даже боялась говорить.

Напрасно я покушался поколебать суеверие Олеси. Все мои логические доводы, все мои иной раз грубые и злые насмешки разбивались об ее покорную уверенность в свое таинственное роковое призвание.

— Ты боишься церкви, Олеся?— повторил я.

Она молча наклонила голову.

— Ты думаешь, что Бог не примет тебя?— продолжал я с возрастающей горячностью.— Что у него не хватит для тебя милосердия? У того, который, повелевая миллионами ангелов, сошел, однако, на землю и принял ужасную, позорную смерть для избавления всех людей? У того, кто не погнушался раскаянием самой последней женщины и обещал разбойнику-убийце, что он сегодня же будет с ним в раю?..

Все это было уже не ново Олесе в моем толковании, но на этот раз она даже и слушать меня не стала. Она быстрым движением сбросила с себя платок и, скомкав его, бросила мне в лицо. Началась возня. Я старался отнять у нее цветок боярышника. Сопrotивляясь, она упала на землю и увлекла меня за собою, радостно смеясь и протягивая мне свои раскрытые частым дыханием, влажные милые губы...

Поздно ночью, когда мы простились и уже разошлись на довольно большое расстояние, я вдруг услышал за собою голос Олеси:

— Ванечка! Подожди минутку... Я тебе что-то скажу!

Я повернулся и пошел к ней навстречу. Олеся поспешно подбежала ко мне. На небе уже стоял тонкий серебряный зазубренный серп молодого месяца, и при его бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных невылившихся слез.

— Олеся, о чем ты?— спросил я тревожно.

Она схватила мои руки и стала их целовать поочередно.

— Милый... какой ты хороший! Какой ты добрый!— говорила она дрожащим голосом.— Я сейчас шла и подумала: как ты меня любишь!.. И знаешь, мне ужасно хочется сделать тебе что-нибудь очень, очень приятное.

— Олеся... Девочка моя славная, успокойся...

— Послушай, скажи мне,— продолжала она,— ты бы очень был доволен, если бы я когда-нибудь пошла в церковь? Только правду, истинную правду скажи.

Я задумался. У меня вдруг мелькнула в голове суеверная мысль: а не случится ли от этого какого-нибудь несчастья?

— Что же ты молчишь? Ну, говори скорее, был бы ты этому рад или тебе все равно?

— Как тебе сказать, Олеся?— начал я с запинкой.— Ну да, пожалуй, мне это было бы приятно. Я ведь много раз говорил тебе, что мужчина может не верить, сомневаться, даже смеяться, наконец. Но женщина... женщина должна быть набожна без рассуждений. В той простой и нежной доверчивости, с которой она отдает себя под защиту Бога, я всегда чувствую что-то трогательное, женственное и прекрасное.

Я замолчал. Олеся тоже не отзывалась, притаившись головой около моей груди.

— А зачем ты меня об этом спросила?— полюбопытствовал я.

Она вдруг встрепенулась.

— Так себе... Просто спросила... Ты не обращай внимания. Ну, до свидания, милый. Приходи же завтра.

Она скрылась. Я еще долго глядел в темноту, прислушиваясь к частым, удалявшимся от меня шагам. Вдруг внезапный ужас предчувствия охватил меня. Мне неудержимо захотелось побежать вслед за Олесей, догнать ее и просить, умолять, даже требовать, если нужно, чтобы она не шла в церковь. Но я сдержал свой неожиданный порыв и даже — помню, — пускаясь в дорогу, проговорил вслух:

— Кажется, мы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.

О, Боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое — я теперь, безусловно, верю в это! — никогда не ошибается в своих быстрых тайных предчувствиях.

## XII

На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник Св. Троицы, выпавший в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным, то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.

Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко, и я отправился туда



часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разездов я давно уже купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной пеказистой породы, но очень любовно и тщательно выхощенного прежним владельцем, уездным землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному с крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли пестрые, белые и черные пятна.

Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже замечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть пестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не показывалось ни одного облачка.

Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем доме фаршированной еврейской щукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа полтора времени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между четырьмя и пятью часами пополудни.

Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака буквально загрохотали, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно пятится

назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила домой за рукав упившегося, безобразно пьяного мужа... В тени забора густая кучка, человек в двадцать мужиков и баб, тесно обседа слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:

Ой, зийшла зоря, тай вечирняя  
Над Почаевым стала.  
Ой, вышло вийско турецкое,  
Як та черная хмара...

Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры приступом, порешили взять ее хитростью. С этой целью они послали, как будто бы в дар монастырю, огромную свечу, начиненную пороком. Привезли эту свечу на двенадцати парах волов, и обрадованные монахи уже хотели возжечь ее перед иконой Почаевской Божьей матери, но Бог не допустил совершиться злодейскому замыслу.

А приспилось старшему чтецу:  
Той свичи не брати,  
Вывезти еи в чистое поле,  
Сокирами зрубати.

И вот иноки

Вывезлы еи в чистое поле,  
Сталы еи рубати,  
Кули и патроны на вси стороны  
Сталы — геть! — роскидати...

Невыносимо жаркий воздух, казалось, весь был насыщен отвратительным смешанным запахом перегоревшей водки, лука, овчинных тулупов, крепкой махорки-бакуна и испарений грязных человеческих тел. Пробираясь осторожно между людьми и с трудом удерживая мотавшего головой Таранчика, я не мог не заметить, что со всех сторон меня провожали бесцеремонные, любопытные и враждебные взгляды. Против обыкновения, ни один человек не снял шапки, но шум как будто бы утих при моем появлении. Вдруг где-то в самой середине толпы раздался пьяный, хриплый выкрик, который я, однако, ясно не расслышал, но в ответ на него раздался сдержанный хохот. Какой-то женский голос стал испуганно урезонивать горлана:

— Тише ты, дурень... Чего орешь! Услышит...

— А что мне, что услышит?— продолжал задорно мужик.— Что же он мне, начальство, что ли? Он только в лесу у своей... . . . . .

Омерзительная, длинная, ужасная фраза повисла в воздухе вместе со взрывом неистового хохота. Я быстро повернул назад лошадь и судорожно сжал рукоятку нагайки, охваченный той безумной яростью, которая ничего не видит, ни о чем не думает и ничего не боится. И вдруг странная, болезненная, тоскливая мысль промелькнула у меня в голове: «Все это уже происходило когда-то, много, много лет тому назад в моей жизни... Так же горячо палило солнце... Так же была залита шумящим, возбужденным народом огромная площадь... Так же обернулся я назад в припадке бешеного гнева... Но где это было? Когда? Когда?..» Я опустил нагайку и галопом поскакал к дому.

Ярмола, медленно вышедший из кухни, принял у меня лошадь и сказал грубо:

— Там, паныч, у вас в комнате сидит из Мариновской экономии приказчик.

Мне почудилось, что он хочет еще что-то прибавить, очень важное для меня и неприятное, мне показалось даже, что по лицу его скользнуло беглое выражение злой насмешки. Я нарочно задержался в дверях и с вызовом оглянулся на Ярмолу. Но он уже, не глядя на меня, тащил за узду лошадь, которая вытягивала вперед шею и осторожно переступала ногами.

В моей комнате я застал конторщика соседнего имения — Никиту Назарыча Мищенку. Он был в сером пиджачке с огромными рыжими клетками, в узких брючках василькового цвета и в огненно-красном галстуке, с припомаженным прббором посередине головы, весь благоухающий персидской сиренью. Увидев меня, он вскочил со стула и принялся расшаркиваться, не кланяясь, а как-то ломаясь в пояснице, с улыбкой, обнажавшей бледные десны обеих челюстей.

— Имею честь кланяться,— любезно тараторил Никита Назарыч.— Очень приятно увидеться... А я уж тут жду вас с самой обедни. Давно я вас видел, даже соскучился за вами. Что это вы к нам никогда не заглянете? Наши степаньские барышни даже смеются с вас.

И вдруг, подхваченный внезапным воспоминанием, он разразился неудержимым хохотом.

— Вот, я вам скажу, потеха-то была сегодня!— воскликнул он, давась и прыская.— Ха-ха-ха-ха... Я даже боки рвал со смеху!..

— Что такое? Что за потеха?— грубо спросил я, не скрывая своего неудовольствия.

— После обедни скандал здесь произошел,— продолжал Никита Назарыч, прерывая свою речь залпами хохота.— Перебродские дивчата... Нет, ей-Богу, не выдержу... Перебродские дивчата поймали здесь на площади ведьму... То есть, конечно, они ее ведьмой считают по своей мужицкой необразованности... Ну, и задали же они ей встряску!.. Хотели дегтем вымазать, да она вывернулась как-то, уткнулась...

Страшная догадка блеснула у меня в уме. Я бросился к конторщику и, не помня себя от волнения, крепко вцепился рукой в его плечо.

— Что вы говорите!— закричал я неистовым голосом.— Да перестаньте же ржать, черт вас подери! Про какую ведьму вы говорите?

Он вдруг сразу перестал смеяться и выпучил на меня круглые, испуганные глаза.

— Я... я... право, не знаю-с,— растерянно залепетал он.— Кажется, какая-то Самуйлиха... Мануйлиха... или... Позвольте... Дочка какой-то Мануйлихи?.. Тут что-то такое болтали мужики, но я, признаться, не запомнил.

Я заставил его рассказать мне по порядку все, что он видел и слышал. Он говорил нелепо, несвязно, путаясь в подробностях, и я каждую минуту перебивал его нетерпеливыми расспросами и восклицаниями, почти бранью. Из его рассказа я понял очень мало и только месяца два спустя восстановил всю последовательность этого проклятого события со слов его очевидицы, жены казенного лесничего, которая в тот день также была у обедни.

Мое предчувствие не обмануло меня. Олеся переломила свою боязнь и пришла в церковь; хотя она поспела только к середине службы и стала в церковных сенях, но ее приход был тотчас же замечен всеми находившимися в церкви крестьянами. Всю службу женщины перешептывались и оглядывались назад.

Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы дотянуть до конца обедню. Может быть, она не поняла настоящего значения этих враждебных взглядов, может быть, из гордости пренебрегла ими. Но когда она вышла из церкви, то у самой ограды ее со всех сторон обступила кучка баб, становившаяся с каждой минутой все больше и больше и все теснее сдвигавшаяся вокруг Олеси. Сначала они только молча и бесцеремонно разглядывали беспомощную, пугливо озирающуюся по сторонам девушку. Потом посыпались грубые насмешки, крепкие слова,

ругательства, сопровождаемые хохотом, потом отдельные восклицания слились в общий пронзительный бабий гвалт, в котором ничего нельзя было разобрать и который еще больше взвинчивал нервы расходившейся толпы. Несколько раз Олеся пыталась пройти сквозь это живое ужасное кольцо, но ее постоянно отталкивали опять на середину. Вдруг визгливый старушечий голос заорал откуда-то позади толпы: «Дегтем ее вымазать, стерву!» (Известно, что в Малороссии мазанье дегтем даже ворот того дома, где живет девушка, сопряжено для нее с величайшим, несмываемым позором.) Почти в ту же минуту над головами беснующихся баб появилась мазница с дегтем и кистью, передаваемая из рук в руки.

Тогда Олеся в припадке злобы, ужаса и отчаяния бросилась на первую попавшуюся из своих мучительниц так стремительно, что сбила ее с ног. Тотчас же на земле закипела свалка, и десятки тел смешались в одну общую кричащую массу. Но Олесе прямо каким-то чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге — без платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали... Отбежав шагов на пятьдесят, Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное, окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:

— Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!

Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый взрыв брани.

Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил, что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль забора. Я быстро взнуздal лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.

### XIII

Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное, — сознание, похожее на тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре человеком. И в то же время — как это странно! — у меня в голове не переставал дрожать, в такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирика:

Ой, вышло вийско турецкое,  
Як та черная хмара...

Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика, на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным, безостановочным насосом.

Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел, лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не обернулась на шум отворяемой двери.

Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала на меня руками.

— Тише! Не шуми ты, окаянный, — с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную. И, взглянув мне прямо в глаза своими выпцветшими, холодными глазами, она прошипела злобно: — Что? Доигрался, голубчик?

— Послушай, бабка, — возразил я сурово, — теперь не время считаться и выговаривать. Что с Олесею?

— Тсс... тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесею... Кабы ты не лез, куда тебе не следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура петая, смотрела, потворствовала... А ведь чуяло мое сердце беду... Чуяло оно недоброе с того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее подбил в церковь потащиться? — вдруг с искривленным от ненависти лицом накинулась на меня старуха. — Не ты, барчук проклятый? Да не лги — и не верти лисьим хвостом-то, срамник! За чем тебе понадобилось ее в церковь манить?

— Не манил я ее, бабка... Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.

— Ах ты, горе, горе мое! — всплеснула руками Мануйлиха. — Прибежала оттуда — лица на ней нет, вся рубаша в шматки растерзана... Простоволосая... Рассказывает, как что было, а сама — то хохочет, то плачет... Ну, прямо вот как кликуша какая... Легла в постель... все плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было: вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо поправить, затекет рука-то... Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся так жаром и пышет... Значит, огневица с ней началась... С час без умолку говорила, быстро да жалостно так... Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? — с новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.

И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача: губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали, брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завывала нараспев вполголоса:

— Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне, то-о-ошно!..

— Да не реви ты, старая, — грубо прервал я Мануйлиху. — Разбудишь!

Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол... Так прошло минут с десять. Я сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа, бьется об оконное стекло муха...

— Бабушка! — раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. — Бабушка, кто у нас?

Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завывала:

— Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне ста-а-арой, тошно мне-е-е-е...

— Ах, бабушка, да перестань ты! — с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала Олеся. — Кто у нас в хате сидит?

Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.

— Это я, Олеся,— сказал я, понижая голос.— Я только что приехал верхом из деревни... А все утро я в городе был... Тебе нехорошо, Олеся?

Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных синих пятна — одно над кистью, а другое повыше локтя — резко выделялись на белой, нежной коже.

— Голубчик мой,— заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от другого.— Хочется мне... на тебя посмотреть... да не могу я... Всю меня... изуродовали... Помнишь... тебе... мое лицо так нравилось?.. Правда, ведь нравилось, родной?.. И я так этому всегда радовалась... А теперь тебе противно будет... смотреть на меня... Ну, вот... я... и не хочу...

— Олеся, прости меня,— шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.

Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.

— Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты виноват здесь? Все я одна, глупая... Ну, чего я полезла... в самом деле? Нет, солнышко, ты себя не виновать...

— Олеся, позволь мне... Только обещай сначала, что позволишь...

— Обещаю, голубчик... все, что ты хочешь...

— Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором... Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласишься, Олеся.

— Ох, милый... В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала, так и то к себе доктора не подпустила бы. А теперь я разве больна? Это просто у меня от испугу так сделалось, это пройдет к вечеру. А пет — так бабушка мне лавдышевой настойки даст или малины в чайнике заварит. Зачем же тут доктор? Ты — мой доктор самый лучший. Вот ты пришел, и мне сразу легче сделалось... Ах, одно мне только нехорошо: хочу поглядеть на тебя хоть одним глазком, да боюсь...

Я с нежным усилием отнял ее голову от подушки. Лицо Олеси пылало лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали. Длинные красные ссадины избороздили ее лоб, щеки и шею. Темные синяки были на лбу и под глазами.



— Не смотри на меня... Прошу тебя... Гадкая я теперь,— умоляюще шептала Олеся, стараясь своею ладонью закрыть мне глаза.

Сердце мое переполнилось жалостью. Я приник губами к Олесиной руке, неподвижно лежавшей на одеяле, и стал покрывать ее долгими, тихими поцелуями. Я и раньше целовал иногда ее руки, но она всегда отнимала их у меня с торопливым, застенчивым испугом. Теперь же она не противилась этой ласке и другой, свободной рукой тихо гладила меня по волосам.

— Ты все знаешь?— шепотом спросила она.

Я молча наклонил голову. Правда, я не все понял из рассказа Никиты Назарыча. Мне не хотелось только, чтобы Олеся волновалась, вспоминая об утреннем происшествии. Но вдруг при мысли об оскорблении, которому она подверглась, на меня сразу нахлынула волна неудержимой ярости.

— О! Зачем меня там не было в это время! — вскричал я, выпрямившись и сжимая кулаки.— Я бы... я бы...

— Ну, полно... полно... Не сердись, голубчик,— кротко прервала меня Олеся.

Я не мог более удерживать слез, давно давивших мне горло и жегших глаза. Припав лицом к плечу Олеся, я беззвучно и горько зарыдал, сотрясаясь всем телом.

— Ты плачешь? Ты плачешь?— В голосе ее зазвучали удивление, нежность и сострадание.— Милый мой... Да перестань же, перестань... Не мучь себя, голубчик. Ведь мне так хорошо возле тебя. Не будем же плакать, пока мы вместе. Давай хоть последние дни проведем весело, чтобы нам не так тяжело было расставаться.

Я с изумлением поднял голову. Неясное предчувствие вдруг медленно сжало мое сердце.

— Последние дни, Олеся? Почему — последние? Зачем же нам расставаться?

Олеся закрыла глаза и несколько секунд молчала.

— Надо нам проститься с тобой, Ванечка,— заговорила она решительно.— Вот как только чуть-чуть поправлюсь, сейчас же мы с бабушкой и уедем отсюда. Нельзя нам здесь оставаться больше...

— Ты боишься чего-нибудь?

— Нет, мой дорогой, ничего я не боюсь, если понадобится. Только зачем же людей в грех вводить? Ты, может быть, не знаешь... Ведь я там... в Переброеде... погрозила со зла да со стыда... А теперь чуть что случится, сейчас на нас скажут: скот ли начнет падать, или хата у кого загорится,— все мы будем виноваты. Бабушка,—

обратилась она к Мануйлихе, возвышая голос,— правду ведь я говорю?

— Чего ты говорила-то, внученька? Не расслышала я, признаться!— прошамкала старуха, подходя поближе и приставляя к уху ладонь.

— Я говорю, что теперь, какая бы беда в Переброде ни случилась, все на нас с тобой свалят.

— Ох, правда, правда, Олеся, все на нас, горемычных, свалят... Не жить нам на белом свете, изведут нас с тобой, совсем изведут, проклятики... А тогда, как меня из села выгнали... Что ж? Разве не так же было? Погрози-лась я... тоже вот с досады... одной дурище полосатой, а у нее — хватъ — ребенок помер. То есть ни сном ни духом тут моей вины не было, а ведь меня чуть не убили, окаянные... Камнями стали шибать... Я бегу от них, да только тебя, малолетку, все оберегаю... Ну, думаю, пусть уж мне попадет, а за что же дитю-то неповинную обижать?.. Одно слово — варвары, висельники поганые!

— Да куда же вы поедете? У вас ведь нигде ни родных, ни знакомых нет... Наконец, и деньги нужны, чтобы на новом месте устроиться.

— Обойдемся как-нибудь, — небрежно проговорила Олеся.— И деньги у бабушки найдутся, припасла она кое-что.

— Ну уж и деньги тоже!— с неудовольствием возразила старуха, отходя от кровати.— Копеечки сиротские, слезами облитые...

— Олеся... А я как же? Обо мне ты и думать даже не хочешь!— воскликнул я, чувствуя, как во мне подымается горький, больной, недобрый упрек против Олеси.

Она привстала и, не стесняясь присутствием бабки, взяла руками мою голову и несколько раз подряд поцеловала меня в лоб и щеки.

— Об тебе я больше всего думаю, мой родной. Только... видишь ли... не судьба нам вместе быть... вот что!.. Помнишь, я на тебя карты бросала? Ведь все так и вышло, как они сказали тогда. Значит, не хочет судьба нашего с тобой счастья... А если бы не это, разве, ты думаешь, я чего-нибудь испугалась бы?

— Олеся, опять ты про свою судьбу?— воскликнул я нетерпеливо.— Не хочу я в нее верить... и не буду никогда верить!..

— Ох, нет, нет... не говори этого,— испуганно зашептала Олеся.— Я не за себя, за тебя боюсь, голубчик. Нет, лучше ты уж об этом разговора и не начинай совсем.

Напрасно я старался разубедить Олеся, напрасно рисовал перед ней картины безмятежного счастья, которому не помешают ни завистливая судьба, ни грубые, злые люди. Олеся только целовала мои руки и отрицательно качала головой.

— Нет... нет... нет... я знаю, я вижу,— твердила она настойчиво.— Ничего нам, кроме горя, не будет... ничего... ничего...

Растерянный, сбитый с толку этим суеверным упорством, я наконец спросил:

— Но ведь, во всяком случае, ты дашь мне знать о дне отъезда?

Олеся задумалась. Вдруг слабая улыбка пробежала по ее губам.

— Я тебе на это скажу маленькую сказочку... Однажды волк бежал по лесу, увидел зайчика и говорит ему: «Заяц, а заяц, я ведь тебя съем!» Заяц стал проситься: «Помилуй меня, волк, мне еще жить хочется, у меня дома детки маленькие». Волк не соглашается. Тогда заяц говорит: «Ну, дай мне хоть три дня еще на свете пожить, а потом и съешь. Все же мне легче умирать будет». Дал ему волк эти три дня, не ест его, а только все стережет. Прошел один день, прошел другой, наконец и третий кончается. «Ну, теперь готовься,— говорит волк,— сейчас я начну тебя есть». Тут мой заяц и заплакал горючими слезами: «Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил! Лучше бы ты сразу меня съел, как только увидел. А то я все три дня не жил, а только терзался!» Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал. Как ты думаешь?

Я молчал, охваченный тоскливым предчувствием близкого одиночества. Олеся вдруг поднялась и присела на постели. Лицо ее стало сразу серьезным.

— Ваня, послушай...— произнесла она с расстановкой.— Скажи мне: покамест ты был со мною, был ли ты счастлив? Хорошо ли тебе было?

— Олеся! И ты еще спрашиваешь!

— Подожди... Жалел ли ты, что узнал меня? Думал ли ты о другой женщине, когда виделся со мною?

— Ни одного мгновения! Не только в твоём присутствии, но даже и оставшись один я ни о ком, кроме тебя, не думал.

— Ревновал ли ты меня? Был ли ты когда-нибудь на меня недоволен? Не скучал ли ты со мною?

— Никогда, Олеся! Никогда!

Она положила обе руки мне на плечи и с невыразимой любовью поглядела в мои глаза.

— Так и знай же, мой дорогой, что никогда ты обо мне не вспомнишь дурно или со злом,— сказала она так убедительно, точно читала у меня в глазах будущее.— Как расстанемся мы с тобой, тяжело тебе в первое время будет, ох, как тяжело... Плакать будешь, места себе не найдешь нигде. А потом все пройдет, все изгладится. И уж без горя ты будешь обо мне думать, а легко и радостно.

Она опять откинулась головой на подушки и прошептала ослабевшим голосом:

— А теперь поезжай, мой дорогой... Поезжай домой, голубчик... Устала я немножко. Подожди... поцелуй меня... Ты бабушки не бойся... она позволит. Позволишь ведь, бабушка?

— Да уж простись, простись как следует,— недовольно проворчала старуха.— Чего же передо мной таяться-то?.. Давно знаю...

— Поцелуй меня сюда, и сюда еще... и сюда,— говорила Олеся, притрагиваясь пальцем к своим глазам, щекам и рту.

— Олеся! Ты прощаешься со мною так, как будто бы мы уже не увидимся больше!— воскликнул я с испугом.

— Не знаю, не знаю, мой милый. Ничего не знаю. Ну, поезжай с Богом. Нет, постой... еще минуточку... Наклони ко мне ухо... Знаешь, о чем я жалею? — зашептала она, прикасаясь губами к моей щеке.— О том, что у меня нет от тебя ребеночка. Ах, как я была бы рада этому!

Я вышел на крыльцо в сопровождении Мануйлихи. Полнеба закрыла черная туча с резкими курчавыми краями, но солнце еще светило, склоняясь к западу, и в этом смещении света и надвигающейся тьмы было что-то зловещее. Старуха посмотрела вверх, прикрыв глаза, как зонтиком, ладонью, и значительно покачала головой.

— Быть сегодня пад Перебродом грозе,— сказала она убедительным тоном.— А чего доброго, даже и с градом.

#### XIV

Я подъезжал уже к Переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые — редкие и тяжелые — капли дождя.

Мануйлиха не ошиблась. Гроза, медленно накапливавшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над Перебродом. Молния блистала почти непрерывно, и от раскатов грома дрожали и звепели стекла в окнах моей комнаты. Часов

около восьми вечера гроза утихла на несколько минут, но только для того, чтобы потом начаться с новым ожесточением. Вдруг что-то с оглушительным треском посыпалось на крышу и на стены старого дома. Я бросился к окну. Огромный град, с грецкий орех величиной, стремительно падал на землю, высоко подпрыгивая потом кверху. Я взглянул на тутовое дерево, росшее около самого дома, — оно стояло совершенно голое, все листья были сбиты с него страшными ударами града... Под окном показалась еле заметная в темноте фигура Ярмолы, который, накрывшись с головой свиткой, выбежал из кухни, чтобы притворить ставни. Но он опоздал. В одно из стекол вдруг с такой силой ударил громадный кусок льду, что оно разбилось, и осколки его со звоном разлетелись по полу комнаты.

Я почувствовал себя утомленным и прилег, не раздеваясь, на кровать. Я думал, что мне вовсе не удастся заснуть в эту ночь и что я до утра буду в бессильной тоске ворочаться с боку на бок, поэтому я решил лучше не снимать платья, чтобы потом хоть немного утомить себя однообразной ходьбой по комнате. Но со мной случилась очень странная вещь: мне показалось, что я только на минутку закрыл глаза; когда же я раскрыл их, то сквозь щели ставен уже тянулись длинные яркие лучи солнца, в которых кружились бесчисленные золотые пылинки.

Над моей кроватью стоял Ярмола. Его лицо выражало суровую тревогу и нетерпеливое ожидание: должно быть, он уже давно дожидался здесь моего пробуждения.

— Паныч, — сказал он своим глухим голосом, в котором слышалось беспокойство. — Паныч, треба вам отсюда уезжать...

Я свесил ноги с кровати и с изумлением поглядел на Ярмолу.

— Уезжать? Куда уезжать? Зачем? Ты, верно, с ума сошел?

— Ничего я с ума не сходил, — огрызнулся Ярмола. — Вы не чули, что вчерашний град наробил? У половины села жито как ногами потоптано. У кривого Максима, у Козла, у Мута, у Прокопчуков, у Гордия Олефира... Наслала-таки шкodu ведьмака чертова... чтоб ей сгинуть!

Мне вдруг, в одно мгновение, вспомнился весь вчерашний день, угроза, произнесенная около церкви Олесей, и ее опасения.

— Теперь вся громада бунтуется, — продолжал Ярмола. — С утра все опять перепились и орут... И про вас, папычу, кричат недоброе... А вы знаете, яка у нас грома-

да?.. Если они ведьмакам что зробят, то так и треба, то справедливое дело, а вам, паньчу, я скажу одно — утекайте скорейше.

Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее о грозившей ей и Мануйлихе беде. Я торопливо оделся, на ходу сполоснул водою лицо и через полчаса уже ехал крупной рысью по направлению Бисова Кута.

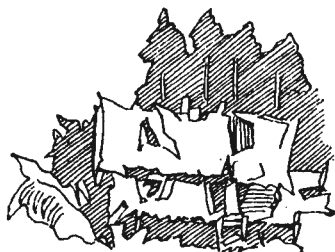
Чем ближе подвигался я к избушке на курьих ножках, тем сильнее возрастало во мне неопределенное тоскливое беспокойство. Я с уверенностью говорил самому себе, что сейчас меня постигнет какое-то новое, неожиданное горе.

Почти бегом пробежал я узкую тропинку, вившуюся по песчаному пригорку. Окна хаты были открыты, дверь растворена настежь.

— Господи! Что же такое случилось? — прошептал я, входя с замиранием сердца в сени.

Хата была пуста. В ней господствовал тот печальный, грязный беспорядок, который всегда остается после поспешного выезда. Кучи сора и тряпок лежали на полу, да в углу стоял деревянный остов кровати...

С стесненным, переполненным слезами сердцем я хотел уже выйти из хаты, как вдруг мое внимание привлек яркий предмет, очевидно нарочно повешенный на угол оконной рамы. Это была нитка дешевых красных бус, известных в Полесье под названием «кораллов», — единственная вещь, которая осталась мне на память об Олесе и об ее нежной, великодушной любви.





## ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ



ой милый, сердитый друг! Я потому пишу — сердитый, что заранее воображаю себе: сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узнаете из него, что я не сдержала слова, обманула вас, уехав внезапно из города, вместо того чтобы ждать вас завтра вечером, как это было условлено, в моей гостиной. Дорогой мой, я просто-напросто бежала от вас, или нет, вернее — от нас обоих, бежала от того мучительного, неловкого и ненужного, что неминуемо должно было произойти между нами.

И не торопитесь с едкой улыбкой на губах обвинять меня в спасительном благоразумии: ведь вам больше всех на свете известно, как оно покидает меня в самых нужных случаях! Бог свидетель, до последней минуты я не знала, поеду ли я на самом деле или не поеду. Вот и теперь я совсем не уверена в том, что до конца устою против нестерпимого соблазна еще один раз, хоть мельком, хоть издали, взглянуть на вас.

Я даже не знаю, удержусь ли я от того, чтобы не выскочить из вагона после третьего звонка, и потому, окончив это письмо (если только мне удастся его окончить), я отдам его носильщику и прикажу ему опустить письмо

в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется. А я буду из окна следить за ним и чувствовать, точно при прощании с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце.

Простите меня: все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы уславших меня сюда из Петербурга, все это было неправдой! Я приехала только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам, потянуло снова изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари.

Я думаю, из моих рассказов вы могли составить себе довольно ясное понятие об образе моей жизни среди того громадного зверинца, который называется петербургским обществом. Визиты, театры, балы, обязательные четверги у нас, благотворительные базары и т. д. и т. д., и во всем этом я должна участвовать в качестве красивой вывески над служебными и коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, лживости, — я уж не помню, как это говорится в романах, — нашего общества. Я втянулась в эту жизнь, полную комфорта, приличных манер, свежих новостей, связей и влияний, и у меня никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце мое не участвует в ней. Мечутся предо мной какие-то люди, говорят какие-то слова, и сама я что-то делаю, что-то говорю, но ни люди, ни слова не затрагивают моей души, и мне минутами кажется, что все это происходит где-то в страшном отдалении от меня, точно в книге или на картине, точно «понарочку», как выражалась когда-то моя нянька — Домнушка.

И вдруг среди этой тусклой и равнодушной жизни меня, точно волной, взмыло наше милое, сладкое прошлое. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться под впечатлением одного из тех странных снов, которые так радостны, что после них целый день ходишь в каком-то блаженном опьянении, и в то же время так бедны содержанием, что если их рассказать не только постороннему, но даже самому близкому человеку, — выйдет ничтожно и плоско до смешного. Рассказывающие хорошо свои сны часто лгут, говорит у Шекспира Меркуцио, и — Боже мой, какая в этом глубокая психологическая правда!

Ну, так вот и я однажды проснулась утром после такого сна. Я видела себя в лодке вместе с вами где-то далеко-далеко в море. Вы сидели на веслах, а я лежала



на корме и глядела в голубое небо. Вот и все. Лодка тихонько покачивалась, а небо было такое глубокое, что мне временами казалось, будто я гляжу вниз, в бездонную пропасть. И какое-то непостижимое, радостное чувство так нежно, так гармонично овладело моей душой, что мне захотелось в одно и то же время заплакать и засмеяться от избытка счастья. Я проснулась, но этот сон остался в моей душе, точно прирос к ней. Небольшим усилием воображения мне часто удавалось вызывать его в памяти и вместе с этим вновь испытать слабую тень той радости, которая его сопровождала.

Иногда это случалось в гостинной, во время какого-нибудь пустого разговора, который слушаешь не слыша, и тогда я должна была закрывать на несколько мгновений руками глаза, чтобы не выдать их неожиданного сияния. О, как сильно, как неотступно повлекло меня к вам! Точно живая, воскресла предо мной пленительная волшебная сказка, в которой промелькнула шесть лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Все мне вдруг вспомнилось: внезапные ссоры, с нелепой ревностью и смешными подозрениями, и веселые примирения, после которых наши поцелуи приобретали новую прелесть первого поцелуя; нетерпеливые ожидания в условленном месте; чувство тоскливой пустоты в те минуты, когда мы, расставшись вечером, чтобы сойтись опять на другой день утром, по многу раз оборачивались одновременно назад и издали, из-за плеч разделявшей нас толпы, розовой от пыльного солнечного заката, встречались глазами; вспоминалась мне вся эта сверкающая жизнь, полная могучего, неудержимого счастья!

Мы не могли усидеть на месте. Нас жадно тянуло к новым местам и новым впечатлениям. Как хороши были наши далекие поездки в этих допотопных, душных дилижансах, завешанных грязной парусиной, в обществе хмурых немцев, с жилистыми красными шеями, с лицами, точно вырезанными грубо из куска дерева, и чинных тощих немок, которые делали широкие, изумленные глаза, прислушиваясь к нашему сумасшедшему хохоту. А эти случайные завтраки у какого-нибудь «добрého, старого, честного колониста», под тенью цветущей акации, в глубине маленького, чистенького дворика, обнесенного белой низкой стеной и усыпанного морским песком? С каким невероятным аппетитом набрасывались мы на жареную скумбрию и на местное мутное и кислое вино, не переставая делать тысячи нежных и смешных глупостей, вроде того исторического дерзкого поцелуя, который заста-

вил всех дачников в негодовании обернуться к нам спинами. А теплые июльские ночи на тонях?.. Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярк, что казался преувеличенным, неправдоподобным; это спокойное озаренное море, играющее переливами серебристого муара, а на его блестящем фоне темные силуэты рыбаков, которые, выбирая сети, однообразно и ритмично, все сразу наклоняются в одну и ту же сторону?

Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое, оно живет во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него... Понимаете ли,— никогда; а между тем его на самом деле нет, и я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа,— я уж не знаю кто,— дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и неизбежность, невозвратность прошедшего.

Получив мою короткую записочку, которую я послала вам из гостиницы, вы тотчас же поспешили ко мне. Вы торопились и были взволнованы: это я узнала издали по вашим скорым, нервным шагам и по тому еще, что, прежде чем постучаться, вы довольно долго стояли в коридоре около моего номера. Я сама взволновалась в эту минуту не меньше вас, представляя себе, как вы стоите там, за дверью, всего в двух шагах от меня, бледный, крепко притиснув руку к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание... И почему-то в то же время мне казалось невозможным, несбыточным, что я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Я испытывала настроение, похожее на то, которое бывает в полусне, когда довольно ясно видишь образы, но вместе с тем, не просыпаясь, говоришь себе: это неправда, это — сон.

Вы изменились за это время, возмужали и как будто бы выросли; черный сюртук идет к вам гораздо больше, чем студенческий мундир, манеры у вас стали сдержанней, глаза смотрят уверенней и холодней, модная остроконечная бородка положительно красит вас. Вы нашли, что я тоже похорошела, и я охотно верю, что вы сказали

это искренне, тем более что я прочла это в вашем первом, беглом и несколько удивленном взгляде. Ведь каждая женщина, если она не безнадежно глупа, никогда не ошибется насчет того впечатления, которое произвела ее наружность...

Когда я ехала сюда, то всю дорогу, сидя в вагоне, старалась представить себе нашу встречу. Признаюсь, я никак не думала, что она выйдет такой странной, напряженной и неловкой для нас обоих. Мы обменивались незначительными, обыденными словами о моей дороге, о Петербурге, о здоровье, но глазами мы пытливо всматривались в лица друг друга, ревниво отыскивая в них новые черты, наложенные временем и чужой, незнакомой жизнью... Разговор у нас не вязался. Начав его на «вы», в искусственно оживленном тоне, мы оба скоро почувствовали, что нам с каждой минутой становится все тяжелее и скучнее его поддерживать. Между нами как будто бы стояло какое-то постороннее, громоздкое, холодное препятствие, и мы не знали, каким образом удалить его.

Весенний вечер тихо угасал. В комнате сделалось темно. Я хотела позвонить, чтоб приказать принести лампу, но вы попросили меня не зажигать огня. Может быть, темнота способствовала тому, что мы решились наконец коснуться нашего прошлого. Мы заговорили о нем с той добродушной и снисходительной насмешкой, с какой взрослые говорят о своих детских шалостях, но, странно, чем больше мы старались притворяться друг перед другом и сами перед собой — веселыми и небрежными, — тем печальнее становились наши слова... Наконец мы и совсем замолчали и долго сидели — я в углу дивана, вы — на кресле, — не шевелясь, почти не дыша. В открытое окно к нам плыл смутный гул большого города, слышался стук колес, хриплые вскрикивания трамвайных рожков, отрывистые звонки велосипедистов, и, как это всегда бывает весенними вечерами, эти звуки доносились до нас смягченными, нежными и грустно-тревожными. Из окна была видна узкая полоса неба — цвета бледной, вылинявшей бронзы, — и на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкавшей своими стеклами. В темноте я не различала вашей фигуры, но видела блеск ваших глаз, устремленных в окно, и мне казалось, что в них стоят слезы.

Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время, когда мы молчали, перебирая в уме наши милые, трогательные воспоминания? Мы точно встретились с вами после многих лет разлуки на могиле человека, ко-

тогого мы оба когда-то любили одинаково горячо. Тихое кладбище... весна... везде молодая травка... сирени цветут, а мы стоим над знакомой могилой и не можем уйти, отряхнуться от объявших нас смутных, печальных, бесконечно милых призраков. Этот покойник — наша старая любовь, дорогой мой!

Вы вдруг прервали молчание, вскочив с кресла и резко его отодвинув.

— Нет, так нельзя! Мы совсем измучим себя! — воскликнули вы, и я слышала, как тоскливо задрожал ваш голос. — Ради Бога, пойдемте на воздух, потому что иначе я расплачусь или сойду с ума!..

Мы вышли. В воздухе была уже разлита полупрозрачная, мягкая, смуглая тьма весеннего вечера, и в ней необыкновенно легко, тонко и четко рисовались углы зданий, ветки деревьев и контуры человеческих фигур. Когда мы прошли бульвар и вы подозвали коляску, я уже знала, куда вы хотите меня повезти.

Там все по-прежнему. Огромная площадка, плотно утрамбованная и усыпанная крупным желтым песком, яркий голубой свет висячих электрических фонарей, резвые, бодрящие звуки военного оркестра, длинные ряды легких мраморных столиков, занятых мужчинами и женщинами, стук ножей, неразборчивый и монотонный говор толпы, торопливо снующие лакеи — все та же подмывающая обстановка дорожного ресторана... Боже мой! Как быстро, безостановочно меняется человек и как постоянны, непоколебимы окружающие его места и предметы. В этом контрасте всегда есть что-то бесконечно печальное и таинственное. Знаете ли, попадались мне иногда дурные квартиры, даже не просто дурные, а отвратительные, невозможные и притом связанные с целой кучей неприятных событий, огорчений, болезней. Переменишь такую квартиру, и прямо кажется, что в царство небесное попал. Но стоит через неделю-другую проехать случайно мимо этого дома и взглянуть на пустые окна с приклеенными белыми билетиками, и — душа сожмется от какого-то мучительного, томного сожаления. Правда, было здесь гадко, было тяжело, но все-таки здесь как будто бы осталась навеки целая полоса твоей жизни — невозвратимая полоса!

Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами цветов. Помнишь, ты всегда выбирал для меня две розы: темно-карминную и чайную? Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты и теперь хочешь сделать то же

самое, но ты вовремя остановился, и как я тебе за это благодарна, милый!

• Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через перила, то не видишь берега и кажется, что плаваешь в воздухе. Под нашими ногами шумело море: сверху оно казалось таким черным и жутким! Недалеко от берега торчат из воды большие, черные, угловатые камни. На них то и дело набегали волны и, разбившись, покрывали их буграми белой пены; когда же волны уходили назад, то отшлифованные прибоем мокрые бока камней блестели, как лакированные, отражая свет электрических фонарей. Иногда налетал легкий ветерок, насыщенный таким крепким, здоровым запахом морских водорослей, рыбы и соленой влаги, что от него сама собой расширялась грудь и вдрагивали ноздри...

А нас все сильнее, все тягостнее сковывало что-то нехорошее, скучное, принужденное... Когда принесли шампанское, ты, наливая мой бокал, сказал с мрачной шутливостью:

— Попробуем хоть искусственно приподнять себя. Выпьем этого храброго, доброго вина, как говорят пыльные французы.

Нет, нам все равно не помогло бы и храброе, доброе вино. Ты сам понимал это, потому что сейчас же прибавил с длинным вздохом:

— А помните, как мы с вами бывали от утра до вечера пьяны без вина, одной нашей любовью и радостью существования?

Внизу, в море, около камней показалась лодка. Большой, белый, стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и поднимаясь на волнах. В лодке слышался женский смех, и кто-то, должно быть иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодии вальдтей-фелевского вальса.

Ты тоже следил глазами за парусом и, не отрываясь от него, промолвил мечтательно:

— Хорошо было бы теперь сесть в такую шляпку и уехать далеко-далеко в море, так, чтоб берега не было видно... Помните, как в прежние времена?

— Да, умерло наше прежние время...

Я сказала эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли, и тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на тебя мои слова. Ты

вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь... Через минуту ты заговорил глухим, точно сразу охрипшим голосом:

— Как странно сошлись наши мысли! Я только что думал о том же самом. Мне представляется чем-то диким, невероятным, невозможным, что именно мы с вами, а не какие-то двое совсем посторонних нам людей, шесть лет тому назад так безумно любили друг друга и так полно, так красиво наслаждались жизнью. Тех двоих давно нет на свете. Они умерли... умерли...

Мы поехали обратно в город... Дорога шла все время через дачные поселки, застроенные виллами местных миллионеров. Мимо нас проходили изящные чугунные решетки и высокие каменные стены, из-за которых свешивалась на улицу густая зелень платанов; огромные, все в резьбе, точно в кружевах, ворота; сады, увешанные гирляндами разноцветных фонарей; ярко освещенные роскошные веранды; экзотические растения в цветниках перед дачами, похожими на волшебные дворцы. Белые акации пахли так сильно, что их сладкий, приторный, конфетный аромат чувствовался на губах и во рту. Иногда откуда-то нас вдруг обдавало на несколько секунд сырватым холодком, но тотчас же опять мы попадали в душистую теплоту тихой весенней ночи.

Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча подковами. Мы плавно покачивались на рессорах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовала, что твоя рука осторожно, медленно обвивается вокруг моей талии и тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе. Я не сопротивлялась, но и не отдавалась этому объятию. И ты понял, тебе стало стыдно. Ты оставил меня, и когда я, отыскав в темноте твою руку, признательно пожала ее, твоя рука ответила мне дружеским извиняющимся пожатием...

Но я знала, что в тебе все-таки заговорит оскорбленное мужское самолюбие. И я не ошиблась. Перед тем как расстаться, у подъезда гостиницы, ты попросил позволения навещать меня. Я назначила день, и вот... прости меня... я тайком убежала от тебя. Дорогой мой! Если не завтра, то через два дня, через неделю в нас вспыхнула бы просто-напросто чувственность, против которой бессильны и честь, и воля, и рассудок. Мы обокрали бы тех двух умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отмстили бы нам за это, поселив между нами ссору, не-

доверие, холодность и — что всего ужаснее — постоянное, ревнивое сравнение настоящего с прошлым.

Прощайте. Сгоряча я и не заметила, как перешла в письме на «ты». Я уверена, что через несколько дней, когда утихнет у вас первая боль оскорбленного самолюбия, вы согласитесь со мною и перестанете сердиться на мой неожиданный отъезд.

Сейчас в дверь вошел швейцар и прозвонил первый звонок. Но теперь я уже уверена, что устою от искушения и не выскочу из вагона...

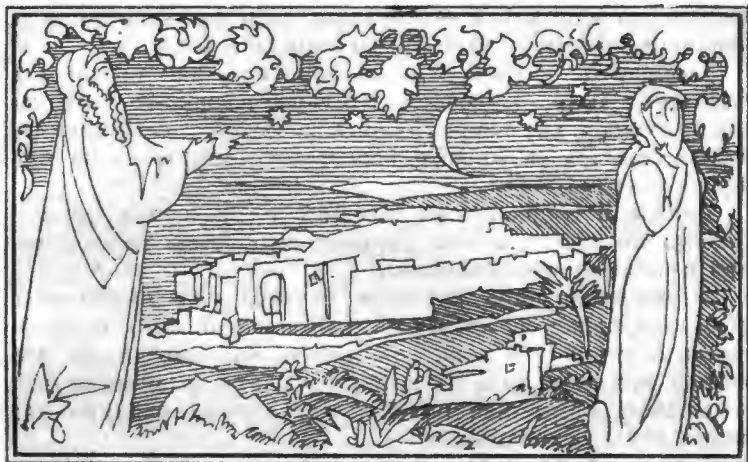
И все-таки наша короткая встреча уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то нежной, тихой, поэтической, покорной грусти. Знакомо ли вам это чудное стихотворение Пушкина: «Цветы осенние милей роскошных первоцветов полей... Так иногда разлуки час живее самого свиданья...»?

Да, мой дорогой, именно осенние цветы! Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дождливое утро выйти в сад? Деревья — почти голые, сквозят и качаются, на дорожках гниют опавшие листья, везде смерть и запустение. И только на клумбах, над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов, ярко цветут осенние астры и георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? Стоишь, бывало, в странном оцепенении около клумбы, дрожа от холода, слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах, и тоскуешь. Все есть в этой тоске: и сожаление о быстро промелькнувшем лете, и ожидание холодной зимы со снегами и с воем в печных трубах, и грусть по своему собственному, так быстро пронесшемуся лету... Милый мой, дорогой, единственный! Совершенно такое же чувство владеет теперь моей душой. Пройдет еще немного времени, и воспоминание о нашей последней встрече станет и для вас таким же нежным, сладким, печальным и трогательным. Прощайте же. Целую вас в ваши умные красивые глаза.

*Ваша З.*

1901





## СУЛАМИФЬ

Положи мя, яко печать, на сердце твоем, яко печать, на мышце твоей: зане крепка, яко смерть, любовь, жестока, яко смерть, ревность: стрелы ее — стрелы огненные.

*Песнь песней.*

### I

**Ц**арь Соломон не достиг еще среднего возраста — сорока пяти лет, — а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Йемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного — с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его.

В 480 году по истреблении Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифе, предпринял царь сооружение великого храма Господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков непрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправля-



лись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжелой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизеке употреблено было такое несметное количество рабочих.

Три тысячи шестьсот приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были водчим Хиром-Авием из Сидона, сыном медника из рода Нафалимова.

Через семь лет, в месяце Буле, был завершен храм Господень и через тринадцать лет — царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарсис, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнуры, щипцы, сетки, лотки, лампады, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованные чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов — подарил Соломон Тирскому царю Хирому, соименнику водчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хиром нашел этот подарок ничтожным, — с такой неслыханной роскошью были выстроены храм Господень, и дворец Соломонов, и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Сусакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количеством ароматных курений, благовонных масел и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле.

С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его корабли: «Фарсис», ходив-

ший по Средиземному морю, и «Хирам», ходивший по Черному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп; богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на шестьсот шестьдесят талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассурские и калахские ковры с удивительными рисунками — дружественные дары царя Тиглат-Пилеазара, художественную мозаику из Ниневии, Нимруда и Саргона; чудные узорчатые ткани из Хатуара; золотокованные кубки из Тира; из Сидона — цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-эль-Мандеба, те редкие благовония — нард, алоэ, трость, кипнамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны. Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как простой камень, и красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах.

Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Ваал-Гамоне.

Было у Соломона сорок тысяч стойл для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы; ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. Десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, тридцать коров пшеничной муки и шестьдесят прочей, сто батов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков, — все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем войске, держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.

## II

Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жеп было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью

Соломон, потому что Бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил белолицых, черноглазых, красногубых хеттеянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же равно и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса; смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах, а на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой; нежных, маленьких, гибких аммореянок, сложенных без упрека, — их верность и покорность в любви вошли в пословицу; женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках; образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна; желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности; сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы; дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары; молчаливых, застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи; беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме; хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.

Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти; и с Ависагой-сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ванеи, сына Иодаева.

И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем.

Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева, с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатрами из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями — лю-

божными дарами жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств среди народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины!

Бледно было его лицо, губы — точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них — украшение мудрости — блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами.

Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю.

Но бывали минуты сердечного веселия, когда царь оцепенялся любовью, или вином, или сладостью власти, или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались, точно искры в черных брильянтах, теплые огни ласкового, нежного смеха; и те, кто видел эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу — так она была неопишимо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщин, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви.

Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещения. И он, находивший веселие сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тка-

ней, в сладостной музыке, в топком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном нинуанском потире, — он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов, любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания.

Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.

### III

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Так сказал Соломону Бог, и по слову его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времени, проник в тайну вечного волюобразного и кругового возвращения событий; у астрономов Библиоса, Акры, Саргона, Борсиппы и Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческого — глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадкой непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым писцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облакал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от едипого пастыря. «Слово — искра в движении сердца» — так говорил царь. И была мудрость Соломона выше муд-

рости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотою обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую Господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соломон.

Изучил царь учения магов халдейских и вавилонских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов ассирийских, и прорицателей из Бактры и Персеполя и убедился, что знания их были знаниями человеческими.

Также искал он мудрости в тайнодействиях древних языческих верований и потому посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Бэлom у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его — грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора, и Деркетю, рыбообразной богине тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Авденаго ассирийскому, и Утсабу, идолу вавилонскому, и мрачной Кибелле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона — богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору — богу вечного огня, и таинственной Омороге — праматери богов, которую Бэл рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы — людей; и поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело, как священную жертву, на пороге храмов.

Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, и в догматах их видел суетность и обман. Но никому из подданных не воспрещал приношение жертв любимому богу и даже сам постро-

ил на Масличной горе капище Хамосу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой Эллаан — моавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью — жертвоприношение детей.

И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И понял царь, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание — умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии:

— Все суета сует и томление духа, — так говорит Екклезиаст.

Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему Бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.

#### IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ватн-эль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикie яблони, попережку с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу сребреников каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не оуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но проникательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал, в свою очередь, тонкую политическую сеть, которою он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с лстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами

с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык.

И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, на верху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царе, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов — символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря — туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце.

Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда — тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебристо-зеленые листья олив.

Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветки, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место.

Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

День дохнул прохладой,  
Убегают ночные тени.  
Возвращайся скорее, мой милый,  
Будь легок, как серна,  
Как молодой олень среди горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна — никто не видит и не слышит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее, и



вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,  
Они портят наши виноградники,  
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,  
Будь подобен серне  
Или молодому оленю  
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:

— Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновение, пока она не становится спиной к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

— Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно!— говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи, и разбегаются по спине, и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

— Я не заметила тебя!— говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты.— Откуда ты пришел?

— Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

— Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

— У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого...

Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко перекликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

— Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

— Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

— Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот — погляди, как опалило меня солнце!

— О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои — как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои — точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы — наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

— Как башня Давидова! — повторяет она в упоении.

— Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню...

— О, говори, говори еще...

— А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилиями. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

— И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза — изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твое.

Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона, и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

— Скажи мне, кто ты? — говорит она медленно, с недоумением. — Я никогда не видела подобного тебе.

— Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

— Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видела тебя однажды в день великого праздника, мне даже помнится — я бежала за твоей колесницей.

— Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты, я главный повар царя. И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аминодавовой в день праздника Пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя!

— Суламифь, — говорит она.

— За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

— Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

— А ты потеряла деньги?

— Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

— Кроме хлеба и сыра я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

— И ты скрыла это от братьев?

— Да...

И она произносит еле слышно:

— Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

— Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

— Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

— Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

— Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья — все старше меня — они от первого брака, а от второго я и сестра.

— Твоя сестра так же красива, как и ты?

— Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает к себе и говорит ей на ухо:

— Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

— Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем пард, — говорит он, жарко касаясь губами ее уха. — И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

— О, не гляди на меня! — просит Суламифь. — Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни.

Так проходит минута и две.

— Что ты делаешь со мною! — слабо говорит Суламифь, закрывая глаза. — Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:

— Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь

за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.

— Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.

— Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!

Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у степы царского виноградника, но Соломон удерживает испуганную девушку.

— Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе, — говорит он быстро.

— Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе.

— Я не пущу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!

— Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!

— Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?

— Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.

— А где же там твоё окно, Суламифь?

— Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так. Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня еще...

— Где же твоё окно, единственная моя?

— Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... Маленькое, высокое окно с решеткой.

— И решетка отворяется изнутри?

— Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?

Соломон тихо гладит ее волосы и щеки.

— Я приду к тебе этой ночью, — говорит он настойчиво. — В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.

— Милый!

— Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.

— Прощай, возлюбленный мой... О нет, не уходи еще. Скажи мне твое имя, я не знаю его.

Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.

— У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

## V

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему.

Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и окапчивались капителями в виде лилий; пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышенному тропу, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.

На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял троп для матери его, Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.

Ассирийские гости, с суровыми чернобородами лицами, сидели вдоль степ на яшмовых скамьях: на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, пачальники провинций и придворные. Здесь был Ванея — некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семея, — теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с длинной седой бородой; его выпцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели по-старчески тупо; рот был открыт и мокр, а мя-

систая красная нижняя губа бессильно свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историкограф, и Ахелар, начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери Соломона — Тафафии, и Бен-Геввер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением паходилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копьё на расстоянии тридцати парасангов, и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын Ахилуда.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой пекто Ахиор, ремеслом гравильщик. Работая в Беле Филикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, — это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; по тот уверял, и тоже с клятвою, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо — Ахиор, Захария и двое свидетелей — стояли перед троном царя Израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

— Отведите их всех в отдельные покои и запирайте каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.

— Пусть каждый из них, — повелел царь, — вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой — в виде овечьей головы, и только у двоих — у Ахиора и Захарии — слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь.

И царь сказал:

— Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору, и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек, и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее — для старшего, среднее — для среднего, нижнее — для меньшего из братьев». И когда после его смерти они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему, и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед троном, не воздержались они от взаимных упреков и обид.

Царь покачал головой, выслушал их и сказал:

— Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глуща тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему — весь скот и всех рабов, а младшему — дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев — недавние враги — с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

— Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас



метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

— Я исполнил все, что ты приказал, царь,— сказал этот человек.— Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

— Прекрасный выстрел,— сказал Соломон.— А младший?

— Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

— Так пусть ему и принадлежит имение его отца,— решил царь.— Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

— Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его:

«Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше пред лицом Бога — девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же пахотил самым великодушным поступок разбойника. И сказал царь последнему:

— Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

— Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него!

Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

— Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

— Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.

— Когда это было? — спросил царь.

— Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых кушцов, корабли которых должны были в этот день от-

правляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

— Молили ли вы Бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?

И они ответили:

— Да, царь! Это так. И Богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

— Я радуюсь за вас,— сказал Соломон.— Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:

— Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, и дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар.

И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.

Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за незаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной.

Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темнокрасным сумрачным лицом, с черною густою бородою, с воловьею шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:

— Царь!..

В бронзовом чреве его бога было семь отделений: одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя.

Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руку и воскликнул с мольбой:

— Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.

Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.

## VI

Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три драхмы и один динарий свою единственную драгоценность — праздничные серьги, серебряные, кольцами, с золотой звездочкой каждая.

Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише, среди бавок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами — сидел, поджав под себя ноги и щуря лепивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и когда он окопчил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла с горлышка и лукаво смеясь:

— Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: «Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюбленная!» — ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли.

И вот, когда наступила ночь и луна поднялась над Силоамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевой теней и с матовой зеленью деревьев, встала Суламифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у степы, на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо лежала на полу.

Дрожа от робости, ожидания и счастья, расстегнула Суламифь свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную мирру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную

каплю, стала быстро растирать масло по ногам, под мышками, вокруг шеи. И гладкое, скользящее прикосновение ее ладоней и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И улыбаясь, и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя:

— Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюбленный мой. Милый мой лучше десяти тысяч других, голова его — чистое золото, волосы его волнистые, черные, как вороп. Уста его — сладость, и весь он — желание. Вот кто возлюбленный мой, вот кто брат мой, дочери иерусалимские!..

И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну; руки она, как дитя, зажала между коленями, сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грезится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косяе. Кричат цикады, монотонно лепечет Кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сторож.

«Что, если он не придет сегодня? — думает Суламифь. — Я просила его, и вдруг он послушался меня?.. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми лилиями: не будите любви, доколе она не придет... Но вот любовь посетила меня. Приди скорей, мой возлюбленный! Невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горах бальзамических».

Песок захрустел на дворе под легкими шагами. И души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно. Темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого:

— Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой.

Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевелить рукою и не может. И, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно:

— Ах, кудри его полны ночью влагой! Но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его?

— Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет

свое благоухание, время пения настало, голос горлицы доносится с гор.

— Я вымыла ноги мои,— шепчет Суламифь,— как же мне ступить ими на пол?

Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку.

Тогда Суламифь встает, крепко прижимает ладони к грудям и шепчет в страхе:

— Сестра моя спит, я боюсь разбудить ее.

Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверху него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался — ушел, даже шагов его не слышно. Луна уменьшилась и побледнела и стоит высоко. На востоке над волнами гор холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские.

— Возлюбленный мой! Царь жизни моей! — кричит Суламифь во влажную темноту. — Вот я здесь. Я жду тебя... Вернись!

Но никто не отзывается.

«Побегу же я по дороге, догоню, догоню моего милого,— говорит про себя Суламифь.— Пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя соком гранатовых яблоков. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».

Так говорит она самой себе и легкими, послушными шагами бежит по дороге к городу. У Навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загораживает ей дорогу распростертыми руками.

— Подожди, подожди, красавица! — восклицает он со смехом. — Куда так скоро? Ты провела тайком ночь в постели у своего любезного и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами.

Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы. Лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом:

— И правда. Чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка! Закрой глаза, и ты не отличишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверно, поопытнее его.

Они хватают ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умащенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха — она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенной, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съеживается, как молодая кошка, и на цыпочках, беззвучно пробегает мимо.

Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силоамской деревни и каменной дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-эль-Хава, в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будит его, но он не может проснуться, окованный молодым утрепшином своим.

Как и вчера, зоря пылает над Апазе. Подымается ветер. Струится аромат виноградного цветения.

— Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный, — говорит Суламифь. — Прикоснусь руками к камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами.

Легко скользит она между лозами. Роса падает с них, и холодит ей ноги, и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник! Царь стоит за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки.

Легче птицы переносится Суламифь через ограду и без слов, со стоном счастья обвивается вокруг царя.

Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, и голос его дрожит:

— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

— О, как ты прекрасен, возлюбленный мой!

Слезы восторга и благодарности — блаженные слезы блестят на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю, едва слышно шепчет безумные слова:

— Ложь у нас — зелень. Кедр — потолок над нами... Лобзай меня лобзанием уст своих. Ласки твои лучше вина...

Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона. Его левая рука обнимает ее.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущения она говорит:

— Братья мои поставили меня стережь виноградики... а своего виноградника я не уберегла.

Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам.

— Ты не жалеешь об этом, Суламифь?

— О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня и если бы я осуждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду произносить с благодарностью твое имя, Соломон!

— Скажи мне еще, Суламифь... Только прошу тебя, скажи правду, чистая моя... Знала ли ты, кто я?

— Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что здесь, на горе Ватн-эль-Хав, иногда бродят языческие боги... Многие из них, говорят, прекрасны... И я думала: не Гор ли ты, сын Озириса, или иной бог?

— Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом месте я целую твою милую руку, опаленную солнцем, и кляпсь тебе, что еще никогда: ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы — не горело мое сердце таким неутолимим желанием, которое будит во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ! Ты прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы в храме Соломоновом! Ласки твои опьяняют меня. Вот груди твои — они ароматны. Сосцы твои — как вино!

— О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. Глаза твои волнуют меня! О, какая радость: ведь это ко мне, ко мне обращено желание твое! Волосы твои душисты. Ты лежишь, как мирровый пучок у меня между грудей!



Время прекращает свое течение и смыкается над **ним** солнечным кругом. Ложь у них — зелень, кровля — кедры, стены — кинарисы. И знамя над их шатром — любовь.

## VII

Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белая с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами.

Перед тем как войти Суламифь в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поглубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала:

«Все это для тебя, мой царь!»

Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели на нее короткую белую тунику из топчайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили ее темно-огненные кудри, и перевили их пятью крупного черного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями. В таком наряде предстала она пред Соломоном, и царь воскликнул радостно:

— Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О Суламифь, красота твоя грознее, чем полки с распушенными знаменами! Семьсот жеп я знал, и триста паложниц, и девиц без числа, но единственная — ты, прекрасная моя! Увидят тебя царицы и превознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца.

Она же подошла к резной масляной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала:

— Я хочу быть только твоею рабою, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку. И прошу тебя: по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства пред тобою.

Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко-красных карбункулов, обделанных в виде удлинённых груш. Он сам продел их в уши Суламифь и сказал:

— Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей.

И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.

## VIII

Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламифь в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею.

Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги в сандалиях!» — восклицал он с восторгом, и, становясь перед нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах, и панизовал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на эфодее первосвященника. Суламифь заслушивалась его, когда он рассказывал ей о внутренней природе камней, о их волшебных свойствах и таинственных значениях.

— Вот анфракс, священный камень земли Офир, — говорил царь. — Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распутившийся цвет граната, как густое вино из виноградинок эгедских, как твои губы, моя Суламифь, как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Падень его на руки, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях не следует его носить, потому что он будит вокруг себя любовные страсти.

Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Фа. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египет-

ский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь — он некрасив, по цене его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Мгнадис-Фза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорыстна.

Посмотри, Суламифь, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие на осеннее небо, иные на море в ясную погоду. Это камень девственности — холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказу и всякие злые нарывы. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме посят его на указательном пальце.

Царь всех камней — камень Шамир. Греки называют его Адамас, что значит — неодолимый. Он крепче всех веществ на свете и остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит Шамир, — угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские; зарытые глубоко в землю, они способны размножаться.

Лупный камень, бледный и кроткий, как сияние луны, — это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится девушкой.

Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд — любимый камень Соломона, царя израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит чер-

ные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченный смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испариной; смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадюк, а растертый с шафраном и приложенный к больным глазам, исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия Ливийских гор, — аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз — оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время землетрясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый, мутно-прозрачный онихий — сторож хозяина от огня и сумасшествия; и яспис, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит — друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены, — поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз, — кроме того, он останавливает кровотечение из носа и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом.

Надевал царь на шею Суламифи многоценные ожерелья из жемчуга, который ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее

пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Сирского.

Златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе, готовя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселии сердца:

— Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь, по священной реке, среди белых ароматных цветов.

Так посетила царя Соломона — величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов — его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, — царица, потому что любовь прекрасна!

## IX

Семь дней прошло с той поры, когда Соломон — поэт, мудрец и царь — привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. Семь дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние.

Стояли светлые, теплые, лунные ночи — сладкие ночи любви! На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мареотиса, и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы.

— Скажи мне, мой царь, — спросила однажды Суламифь, — не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения,

когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?

И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил:

— Тысячи жепшип до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непопятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змея на скале, корабля среди моря и путь мужины к сердцу жепшины. Это не моя мудрость, Суламифь, это слова Агура, сына Иакеева, слышанные от него учениками. Но почти и чужую мудрость.

— Да, — сказала Суламифь задумчиво, — может быть, и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стакти. Но ты вышел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять: как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?

— И кроме тебя, кроме тебя, Суламифь! Каждый час я благодарю Бога, что он послал тебя на моем пути.

— Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: «Вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой!»

— Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под топким платьем я увидел твоё тело, твоё прекрасное тело, которое я люблю как Бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой, ты прекрасна, как колесница Аминодавова. Глаза твои как два голубя, сидящих у истока вод.

— О милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня. О мой царь, ноги твои как мраморные столбы. Живот твой точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.

Окруженные, осиянные молчаливым светом лупы, они забывали о времени, о месте, и вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря.

Также сказала однажды Суламифь:

— Ты знал, мой возлюбленный, жеп и девиц без числа, и все они были самые красивые жепщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой, неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем.

Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бескопечной любовью и благодарностью:

— Ты царица, Суламифь. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. Семьсот жен у меня и триста паложниц, а девиц я знал без числа, по ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из жепщин. Я нашел тебя, подобно тому как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает Бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил Бога, столь милостивого ко мне.

Еще однажды спросила Суламифь:

— Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех жепщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, семь, может быть, восемь лет, я помню верблюдов в золотой сбруе, покрытых пурпурными попоами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах; они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только восемь лет.

— О дитя, тебе тогда было только восемь лет,— сказал Соломон с грустью.

— Ты любил ее больше, чем меня, Соломон? Расскажи мне что-нибудь о ней.

И царь рассказал ей все об этой удивительной жепщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и покорить его сердце. Это была пышная сорокалетняя жепщина, которая уже пачинала увядать. Но тайными, волшебными средствами она достигала того, что ее рыхлеющее

тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной, нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины.

Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему пятьдесят юношей в самом нежном возрасте и пятьдесят девушек. Все они так хитроумно были одеты, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь,— сказала Балкис,— если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина».

Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вытирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам. Так просто разрешил царь первую загадку Балкис-Македы.

Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковинку. И мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за собой следом тончайшую шелковую паутинку.

Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим,— повелела она сказать царю,— если ты его наполнишь влагою, взятою ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице.

Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унизить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить его любви. И когда наскучила она царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею.

Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног и потому носила длинное, до земли, платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу.

Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью; другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том,



что мать царицы Балкис однажды, после купанья, села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую.

И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что непредупрежденный человек ни за что не заметит бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой.

И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная пышной свитой, она идет по комнатам Ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями и приветливым взглядом черных глаз. Дверь отворяется перед царицей, и она делает шаг вперед, но вскрикивает и...

**Суламифь** смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши

— Она нагибается и приподымает платье? — спрашивает Суламифь.

— Да, моя возлюбленная, она поступила так, как поступила бы каждая из женщин, она подняла кверху край своей одежды, и хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я, и весь мой двор увидели, что у прекрасной Савской царицы Балкис-Македы обыкновенные человеческие поги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала с своим великоленным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, которому приказал передать царице пучок редкой горной травы — лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы.

Рассказывал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей и что Суламифь унесла с собой в могилу. Он говорил ей о долгих и тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адоппи, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишения. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал:

— Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец.

Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворце, а когда старший повар умер, то он заступил на его место. Дальше говорил Соломон о том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему невольно в любви, как они однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы.

Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело Суламифи казалось пепло-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она говорила с нежной улыбкою:

— Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви.

## Х

В храме Изиы на горе Ватн-эль-Хав только что отошла первая часть великого тайнодействия, на которую допускались верующие малого посвящения. Очередной жрец — древний старец в белой одежде, с бритой головой, безусый и безбородый — повернулся с возвышения алтаря к народу и произнес тихим, усталым голосом:

— Пребывайте в мире, сыновья мои и дочери. Усовершенствуйтесь в подвигах. Прославляйте имя богини. Благословение ее над вами да пребудет во веки веков.

Он вознес свои руки над народом, благословляя его. И тотчас же все, посвященные в малый чин таинств, простерлись на полу и затем, встав, тихо, в молчании направились к выходу.

Сегодня был седьмой день египетского месяца Фаме-вота, посвященный мистериям Озириса и Изиы. С вечера торжественная процессия трижды обходила вокруг храма со светильниками, пальмовыми листьями и амфорами, с таинственными символами богов и со священными изображениями Фаллуса. В середине шествия на плечах у жрецов и вторых пророков возвышался закрытый «наос» из драгоценного дерева, украшенного жемчугом, слоновой костью и золотом. Там пребывала сама богиня, Она,

Невидимая, Подающая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и Жена богов.

Злобный Сет заманил своего брата, божественного Озириса, на пиршество, хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Нил. Изида, только что родившая Гора, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прибило к Библосу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе тело бога и его плавучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней поконится сам бог Озирис, великий податель жизни. Изида идет в Библос, приходит туда утомленная зноем, жаждой и тяжелой каменистой дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собой и прячет в землю у городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Озириса, разрезает его на четырнадцать частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта.

И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плачу ее присоединяет свои жалобы сестра ее, богиня Нефтис, и могущественный Тоот, и сын богини, светлый Гор, Горизит.

Таков был тайный смысл выпешней процессии в первой половине священнослужения. Теперь, по уходе простых верующих и после небольшого отдыха, надлежало совершиться второй части великого тайнодействия. В храме остались только посвященные в высшие степени — мистагоги, эпопты, пророки и жрецы.

Мальчики в белых одеждах разносили на серебряных подносах мясо, хлеб, сухие плоды и сладкое пелузское вино. Другие разливали из узкогорлых тирских сосудов сикеру, которую в те времена давали перед казнью преступникам для возбуждения в них мужества, но которая также обладала великим свойством порождать и поддерживать в людях огонь священного безумия.

По знаку очередного жреца мальчики удалились. Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск вынешней ночи. Два других жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Синим, густым, пьянящим, ароматным

фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней, — лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях. В давнее время этот храм Озириса и Изиды отличался небольшими размерами и беднотою и был выдолблен наподобие пещеры в глубине горы. Узкий подземный коридор вел к нему спаружи. Но во дни царствования Соломона, взявшего под свое покровительство все религии, кроме тех, которые допускали жертвоприношения детей, и благодаря усердию царицы Астис, родом египтянки, храм разросся в глубину и в высоту и украсился богатыми приношениями.

Прежний алтарь так и остался неприкосновенным в своей первоначальной суровой простоте, вместе со множеством маленьких покоев, окружавших его и служивших для сохранения сокровищ, жертвенных предметов и священных принадлежностей, а также для особых тайных целей во время самых сокровенных мистических оргий.

Зато поистине был великолепен наружный двор с пилонами в честь богини Гатор и с четырехсторонней колоннадой из двадцати четырех колонн. Еще пышнее была устроена внутренняя подземная гипостильная зала для молящихся. Ее мозаичный пол весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земноводных и пресмыкающихся. Потолок же был покрыт голубой глазурью, и на нем сияло золотое солнце, светилась серебряная луна, мерцали бесчисленные звезды, и царили на распростертых крыльях птицы. Пол был землею, потолок — небом, а их соединяли, точно могучие древесные стволы, круглые и многогранные колонны. И так как все колонны завершались капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо.

Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными, по желанию царицы Астис, из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюме под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен кон-

чик, и Баст из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха — лев, Ита — апис, Гатор — богиня веселья — корова, Анупис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и контекий Мипу, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиасменту, что значит «Живущий на Западе».

Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображения Изиды. Трое ворот — большие, средние и двое боковых маленьких — вели в святилище. Перед средними стоял жертвенник со священным каменным ножом из эфиопского обсидиана. Ступени вели к алтарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами.

Царица Астис возлежала в маленьком потайном **покое**. Небольшое квадратное отверстие, искусно скрытое тяжелым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегало тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на тридцатилетний возраст царицы, не утеряло **своей** гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, окрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их уборы бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно парумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди.

С тех пор как Соломон охладел к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной жемской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мерно обвеивал ее голову онахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикос-

нуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибеллы и Ашеры переступала все человеческие возможности. И, ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий.

Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда; ее имя боялись произносить на супружеском ложе, как знак осквернения и опасности. Но волнуемое, опьяняющее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий грех, на всякое унижение и преступление, они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него и только ему одному поклоняются и одно его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни.

Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованных запавесок показывалось прекрасное, светлое лицо израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царице и дочери царя, по душа его была мертва для нее. И часто гордая царица приказывала в урочные часы проносить себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их.

Прежде и Соломон посещал храм Изиы в дни великих празднеств и приносил жертвы богине и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства «Кровавой жертвы Оплодотворения» отвратили его ум и сердце от служения Матери богов.

— Оскопленный по неведению, или пасилием, или случайно, или по болезни — не унижен перед Богом, — сказал царь. — Но горе тому, кто сам изуродует себя.

И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные запавески.

Между тем вино, сикера и одуряющие курения уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаще слышались крик, и смех, и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая, таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими.

Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников: Беп-Гервер, властитель области Арговии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васемафи, и остроумный Бен-Декер, и Зовуф, носивший, по восточным обычаям, высокий титул «друга царя», и брат Соломона от первого брака Давидов — Далуа, расслабленный, полумертвый человек, преждевременно вваливший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были — иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей — поклонниками Изиы.

И вот глаза царицы остановились долго и внимательно, с напряженной мыслью, на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей.

Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такою страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва двинутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинувшись минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду — во дворце, в храме, на улицах — два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые покорно провожали ее.

Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва за-

метным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахало и сказала тихо:

— Выйдите все. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один.

## XI

Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду, оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынный, который провел десять лет в тяжелом подвижническом искусе на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу. Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тигровой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.

Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:

— Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)

И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож.

После небольшого молчания он возгласил:

— Оплачете Озириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Опа!

Два кастрата в женских одеждах — Изиды и Нефтис — тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами:

«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя — блаженство.

Изида закликает тебя, Изиды, которая была зачата от тебя в одном чреве, жена твоя и сестра.

Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы. В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Озирис, возвратись в дом свой!»



Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Осириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.

Потом, с тем же немением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую покрывалом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадилыц и шепот, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.

Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса: «Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Осирис.

Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты.

И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия.

И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».

Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Осириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, создающего новую вечную жизнь.

Теперь приближался самый великий акт в мистерии Осириса и Изиды...

— Это ты, Элиав? — спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.

В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желания. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла:

— Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.

— О, как ты его любишь, царица! — сказал Элиав с горьким стоном.

— Говори... — приказала Астис.

— Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.

— Говори!

— Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстаётся с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расстачает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.

— Говори!

— О, как ты терзаешь меня, царица! И она... она — вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива, она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти...

— Говори! — яростно простонала царица, и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.

А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание сistr.

Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ударами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с неподстижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.

— Фаллус! Фаллус! Фаллус! — кричали в экстазе обезумевшие жрецы. — Где твой Фаллус, о светлый Бог? Приди, оплодотвори богиню. Грудь ее томится от желания! Чрево ее как пустыня в жаркие летние месяцы!

И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса.

Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению

Изиды и бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй.

Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом.

Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиав. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:

— Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирней и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?

— Нет, царица, я хочу только тебя...

— Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!

Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:

— Иди!

— Я иду,— ответил покорно Элиав.

## ХII

И была седьмая ночь великой любви Соломона.

Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуй и объятия.

Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.

— Как называется эта звезда, мой возлюбленный? — спросила она.

— Это звезда Сопдит,— ответил дарь.— Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.

— Ты веришь этому, царь?

Соломон не ответил. Правая рука его была под голову Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.

— Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? — спросила тревожно Суламифь.

Царь опять промолчал.

— Ответь мне что-нибудь, возлюбленный, — робко попросила Суламифь.

Тогда царь сказал:

— Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы тем веков, все в мире повторяется — повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.

— Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росой!» — я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?

И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:

— Не говори так никогда... Не говори так, о Суламифь! Ты избранная Богом, ты настоящая, ты царица души моей... Смерть не коснется тебя...

Резкий медленный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.

— Это в храме Изида окончилось таинство, — сказал царь.

— Мне страшно, прекрасный мой! — прошептала Суламифь. — Темный ужас проник в мою душу... Я не хочу смерти... Я еще не успела насладиться твоими объятиями... Обойми меня... Прижми меня к себе крепче... Положи меня, как печать, на сердце твоём, как печать, на мышце твоей!..

— Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь... Отгони грустные мысли... Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пиррах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитья?

— Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растёт от радости! Но я хочу тебя попросить о чём-то...

— О Суламифь, — **все, что хочешь!** Попроси у меня мою жизнь — я с восторгом отдам её тебе. Я буду только **жалеть**, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.

Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо:

— Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда... на виноградник... Туда, где зелень, и кипарисы, и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу... Прошу тебя об этом, возлюбленный... Там снова окажу я тебе ласки мои...

В упоении поцеловал царь губы **своей милой**. Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.

— Что с тобою, дитя мое?.. **Что испугало тебя?** — спросил Соломон.

— Подожди, мой милый... сюда идут... Да... Я слышу шаги...

Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец.

Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.

— Кто там? — воскликнул Соломон.

Но Суламифь уже прыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.

Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет почной лампы. Он увидел Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Со-

ломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испуганный шакал, стал выползать из компании. Но царь остановил его, сказав только три слова:

— Кто принудил тебя?

Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:

— Царица Астис...

— Выйди, — приказал Соломон. — Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.

Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя.

Старший врач сказал:

— Царь, теперь не поможет ни наука, ни Бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.

Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойной улыбкой:

— Я хочу пить.

И когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкой остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обгажены алою кровью.

Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:

— Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифи.

И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:

— До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.

К утру Суламифи не стало.

Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золоты-

ми скарабеем, и возложил на свою голову венец из кроваво-красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно:

— Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.

Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.

— Царь, Элиав — мой внук!

— Ты слышал меня, Ванея?

— Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.

Но царь возразил:

— Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?

— Прости меня! Пощади меня, царь!

— Подними лицо твое, — приказал Соломон.

И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.

Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:

— Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.

И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.

Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцем к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.

За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:

— Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.

И вспомнил царь, как много лет тому назад скопчался его отец, и лежал на песке, и уже начал быстро раз-

лагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И, как и теперь, спросил его первосвященник, отец Авари, дряхлый старик:

— Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп... Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?

Тогда ответил Соломон:

— Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.

И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха.

Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.

Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и черпила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:

— Пишите!

«Положи меня, как печать, на сердце твоем, как перстень, на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь и жестока, как ад, ревность: стрелы ее -- стрелы огненные».

И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:

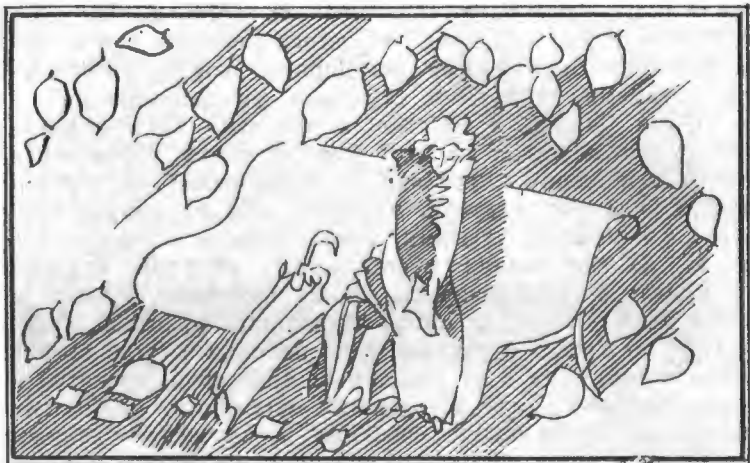
— Оставьте меня одного.

И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища.

1908







## ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

L. van Beethoven.  
2 Son. (op. 2, № 2).  
Largo Appassionato

### I



В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго везы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи, свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, казалось, будто кто-то бежит по ним в подкованных сапогах, вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбацких баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю по выбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.

Обитатели пригородного морского курорта — большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как

все южане,— поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменялась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли листья.

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, стаившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

## II

Кроме того, сегодня был день ее именин — 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых.

Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратить на большой парадный обед, пожалуй даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шенц, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть, и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем разстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой — наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручках, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе слышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры — Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-каре́та, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной показностью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах.

тюрах. Младшая — Анна, — наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Лапг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцы. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рту, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, — лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непопятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная прекрасность возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, по числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей — мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры — та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, по почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеющих малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми лопатыми кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней пажобностью, которая заставила ее даже приять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она облачалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надетая власница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

### III

— Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. — Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь — и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе — резедой.

Вера ласково усмехнулась:

— Ты фантазерка.

— Нет, нет. Я помню также раз, падо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттепок. А па днях художник Борицкий — вот тот, что пишет мой портрет, — согласился, что я была права и что художники об этом давно знают.

— Художник — твое новое увлечение?

— Ты всегда придумашь! — засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

— У, как высоко! — произнесла она ослабленным и вадрагивающим голосом. — Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее:

— Анна, дорогая моя, ради Бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

— Ну хорошо, хорошо, села... Но ты только посмотри, какая красота, какая радость — просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе па минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом — такими они казались маленькими, — неподвижно дремали в морской глади, педалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми стройными парусами.

— Я тебя понимаю, — задумчиво сказала старшая сестра, — но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой... Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

— Чему ты? — спросила сестра.

— Прошлым летом, — сказала Анна лукаво, — мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы всё поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе: узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревья внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады — как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось, — я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мне все это надоед. Каждый день видим».

— Благодарю за сравнение, — засмеялась Вера, — нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая... прохлада.

— Мне все равно, я все люблю, — ответила Анна. — А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

— Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забы-

ла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени сипем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты,— очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к топенькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

— Какая прекрасная вещь! Прелесть! — сказала Вера и поцеловала сестру. — Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

— В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать — листочки, застёжки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застёжки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он Бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

— Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? — спросила она.

— Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого...

— Как странно, — сказала Вера с задумчивой улыбкой. — Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты... Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский *sacnet*<sup>1</sup>. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица жепщии сра-  
ву побледнели.

---

<sup>1</sup> Записная книжка (франц.).

— Ты велишь здесь накрывать? — спросила Анна.

— Да, я сама так думала сначала... Но теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

— Будет кто-нибудь интересный?

— Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

— Ах, дедушка милый. Вот радость! — воскликнула Анна и всплеснула руками. — Я его, кажется, сто лет не видала.

— Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать — и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе — ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов — заказал знакомому охотнику — и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной, — увы! — неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

— Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусо поест.

— Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес морского петуха. Я сама видала. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

— Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, — сказал он с особенной поварской гордостью. — Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. — Сейчас болгарин принес две ды-



ни. Анапасные. На манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масле?

— Делай как знаешь. Ступай! — приказала княгиня.

#### IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючку, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе умением петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой — за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, выдавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнав его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

— Точно... архиерея! — сказал генерал ласковым хрипловатым басом.

— Дедушка, миленький, дорогой! — говорила Вера тоном легкого упрека. — Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

— Дедушка у пас на юге всякую совесть потерял, — засмеялась Анна. — Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

— Девочки... подождите... не бранитесь, — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. — Честное слово... докторишки разнесчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то грязном... киселе, ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидеться... Как прыгаете?... Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

— Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

— Не отчаивайся... все впереди... Молись Богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Пойдите-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

— Я уже давно имел эту честь! — сказал полковник Понамарев, кланяясь.

— Я был представлен княгине в Петербурге, — подхватил гусар.

— Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю пещную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время — как и до сих пор — он был комендантом большой, но почти неразрушенной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сра-

жениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах — неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, — черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, — сказал он, — но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877—1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то что был малообразован, или, как он сам выражался, кончил только «медвежьёю академью». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре — легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и отнеслись к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, — это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных во время балканского перехода пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели было по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. — должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали от мала до велика и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, лепивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда, во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, по генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за brave, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекавать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольству-

ется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, плепясь его бархатной курткой и кружевными мажетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

## V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свежи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так стущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся жепитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городской, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг за-

бастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также будучи принципиальным противником стачек и забастовок, паотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лже-свидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» — хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой — сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Начав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющей отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно паходиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притропуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто стаповилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось — тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне рапыше не пришло в голову посчитать? И Вася выповат — ничего не сказал по телефону».

Когда у Шейных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои пра-

вила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, — тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста — двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом звала из гостиной горничная.

— Что такое, Даша? — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. — Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

— Я, ей-Богу, не виновата, ваше сиятельство, — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. — Он пришел и сказал...

— Кто такой — он?

— Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный...

— И что же?

— Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

— Подите и догоните его.

— Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

— Ну хорошо, идите.

Она разрежала пожницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, по, как настоящая жен-

щина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, пизкопробный, очень толстый, по дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными грапатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,  
Глубокоуважаемая Княгиня  
Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это — тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не пайдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната — зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки,



Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, пепужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга  
Г. С. Ж.».

«Показать Васе или не показать? И если показать — то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после — теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

## VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сестру играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

— Так нельзя! — сказала с комической обидчивостью Анна. — Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей — Спешпики, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, — были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как прибитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Жени Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Жени Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

— Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь,— весело говорила Анна, щуря па офицера свои милые, задорные татарские глаза.— Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

— На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? — вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, целкнул под креслом шпорами.

— Благодарю... Но самое, самое мое больное место — это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей...

— О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

— Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

— Гм!..

— ...поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними — ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, — так можете представить — они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово — и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

— Анна Николаевна, — серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. — Зачем премию? Возьмите меня бесцельно

но. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

— Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно,— расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных походов храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николая Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

— Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны,— говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру.— Часть первая — детство. «Ребенок рос, его называли Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

— Иногда меня пикто не называл Лимой,— засмеялась Людмила Львовна.

— Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —  
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот — критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний проворопя,  
И вот за нами вслед ужасная погоня...  
Как хочешь с пей разделяйся ты,  
А я бегу в кусты.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

— Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами,— объяснял серьезно Василий Львович.— Текст еще изготавливается.

— Это что-то новое,— заметил Аносов,— я еще этого не видал.

— Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

— Лучше не нужно,— сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придавал им настоящего значения.

— Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, kloчующее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии — она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, постé рeстантé»<sup>1</sup>. Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шенну. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шенн, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью,— говорит он,— по, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я,— увы! — я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет непъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

---

<sup>1</sup> До востребования (искаж. франц. *poste restante*).

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов — наполненный его слезами...

— Господа, кто хочет чаю? — спросила Вера Николаевна.

## VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Rommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анпа. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант жмурился от блаженства.

— Да-с... Осень, осень, осень, — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. —

Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что пастали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

— И пожили бы у нас, дедушка,— сказала Вера.

— Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо мне было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

— Спасибо, Верочка.— Аносов нагнул голову к борту шивели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

— Пришли мы, помню я, в Бухарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половинки, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастью, они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

— Дедушка, скажите откровенно,— попросила Анна,— скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

— Как это странно, Анюшка: боялся — не боялся. Понятное дело — боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а умение держать себя от практики все возрастает; отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

— Расскажите, дедушка,— попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и паивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому, древнему стереотипу.

— Рассказ очень короткий,— отозвался Аносов.— Это было на Шипке, зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помогил голову, и рассудок мой воротился.

— Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над жепщинами,— сказала пианистка Женни Рейтер. — Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

— О, наш дедушка и теперь красавец! — воскликнула Анна.

— Красавцем не был,— спокойно улыбаясь, сказал Аносов.— Но я мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пупечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с прозрачной водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке капарейка. Капарейка в воде! — это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что капарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень педогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после капонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про капарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот

среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу — пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

— Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? — спросила пианистка.

— Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это произошло так...

— Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — заметила Анна, лукаво смеясь.

— Нет, нет, — роман был самый приличный. Видите ли: всюду, где мы останавливались на постояе, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, падо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все делные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

— И все? — спросила разочарованно Людмила Львовна.

— А чего же вам больше? — возразил комендант.

— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините — это не любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

— Не знаю, милая моя, ей-Богу, не знаю — любовь это была или иное чувство...

— Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной любовью... неземной... Неужели не любили?

— Право, не сумею вам ответить, — замылся старик, поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся — и вижу, что я уже развалина... Ну, а



теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрошась... Гусар,— обратился он к Бахтинскому,— ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

— И я пойду с вами, дедушка,— сказала Вера.

— И я,— подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

— Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

## VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

— Смешная эта Людмила Львовна,— вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей.— Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

— Ну как же это так, дедушка? — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку.— Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

— Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит — грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мякоть, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь — за дверями этикие быстрые поцелуйчики... За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет... Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверь-

те, что это святое существо...» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет... «Милый! Я давно догадывался... Ну, дай вам Бог... Смотри только береги это сокровище...» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, печесанные, в папилютках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, тёмно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, перяха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые... Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен... Слава Богу, что детей не было...

— Вы простили им, дедушка?

— Простил — это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вычужный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь... Нет! Все к лучшему, Верочка.

— Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида... А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливый?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

— Ну, хорошо... скажем — исключение... Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подружки уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой самостоятельной... К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей, и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, — я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете... нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем

случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о прида-  
ном. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, само-  
отверженная, не ждущая награды? Та, про которую ска-  
зано — «сила, как смерть»? Понимаешь, такая любовь,  
для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пой-  
ти на мучение — вовсе не труд, а одна радость. Постой,  
постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего  
Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. По-  
чем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в  
свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я  
говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей  
тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и  
компромиссы не должны ее касаться.

— Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? —  
тихо спросила Вера.

— Нет, — ответил старик решительно. — Я, правда,  
знаю два случая похожих. Но один был продиктован глу-  
постью, а другой... так... какая-то кислота... одна жа-  
лость... А если хочешь, я расскажу... Это недолго.

— Прошу вас, дедушка.

— Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не  
в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я те-  
бе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая,  
длинная, худущая, ротастая... Штукатурка с нее так и сы-  
палась, как со старого московского дома. Но, понимаешь,  
этакая полковая Мессалина: темперамент, властность,  
презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок —  
морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк но-  
воиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья,  
только что из военного училища. Через месяц эта ста-  
рая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он  
раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и пла-  
ток, в одном мундирчике выскакивает на мороз, звать ее  
лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый  
мальчишка положит свою первую любовь к ногам ста-  
рой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сей-  
час выскочил невредим — все равно в будущем считай  
его погибшим. Это — штамп на всю жизнь.

К Рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к од-  
ной из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог.  
Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал,  
почернел. Говоря высоким штилем — «смерть уже лежа-  
ла на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят,  
целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-

то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, по при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обратнo возвращались почью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы всё говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу — вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом — и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и разрезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

— Ох, какой ужас! — воскликнула Вера.

— Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей, и всему полку. И пропал человек... самым подлым образом... Стал попрошайкой... замерз где-то на пристани в Петербурге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж — ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке — точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, — нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится — уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть.

Он был храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный — он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него Богу молились.

Но *она* велела... Его Лепочка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, — как нянька, как мать. На почлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-Богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

— Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?

— О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается — и она *уже* мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни — всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к пекности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества — поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машепьки Леско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

— О, конечно, конечно, дедушка...

— А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут оде-

ваться, как индийские идола. Они будут попираць нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

— Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

— Разве вам интересно, дедушка?

— Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

— Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, — о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала па вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на Пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

— Да-а, — протянул генерал наконец. — Может быть, это просто ненормальный малый, маниак, а — почему знать? — может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постойка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рывканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

— Анночка, я захватил твои вещи. Садись,— сказал он.— Ваше превосходительство, не позволите ли довести вас?

— Нет уж, спасибо, мой милый,— ответил генерал.— Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать,— говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.

## IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

— Я давно настаивал! — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть.— Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятами, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоём сумасшедшем, о твоём Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

— Переписки вовсе не было,— холодно остановил его Шеин.— Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

— Я извиняюсь за выражение,— сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

— А я не понимаю, почему ты называешь его моим,— вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа.— Он так же мой, как и твой...

— Хорошо, еще раз извиняюсь... Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь,— так это только о добром имени Веры и твоём, Василий Львович.

— Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля,— возразил Шеин.

— Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

— Не вижу, каким способом,— сказал князь.

— Вообрази себе, что этот идиотский браслет... — Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место,— что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное кольцо, а там — глядишь — сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князя Шеины будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

— Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! — воскликнул Василий Львович.

— Я тоже так думаю,— согласилась Вера,— и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

— О, это-то совсем пустое дело! — возразил пренебрежительно Николай Николаевич.— Нам известны инициалы этого Пе Пе Же... Как его, Вера?

— Ге Эс Же.

— Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

— Что ты думаешь сделать? — спросил князь Василий.

— Что? Поеду к губернатору и попрошу...

— Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения... Тут прямая опасность попасть в смешное положение.



— Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под посом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

— Фи! Через жандармов! — поморщилась Вера.

— И правда, Вера, — подхватил князь. — Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни... Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках... Лучше уж я сам пойду к этому... юноше... хотя Бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию.

— Тогда и я с тобой, — быстро прервал его Николай Николаевич. — Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить... А теперь, друзья мои, — он вынул карманные часы и поглядел на них, — вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.

— Мне почему-то стало жалко этого несчастного, — перешиительно сказала Вера.

— Жалеть его нечего! — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. — Если бы такую выходку с браслетом и письмами позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

## Х

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

— Подожди немножко, — сказал он шурипу. — Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо от какой-то болезни, туловищем.

— Господин Желтков дома?— спросил Николай Николаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.

— Дома, прошу,— сказала она, открывая дверь.— Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.

— Войдите,— отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине — стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

— Если не ошибаюсь, господин Желтков? — спросил высокомерно Николай Николаевич.

— Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

— Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь:

— Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

— Благодарю вас,— сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.

— Merci,— коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять.— Мы к вам всего только на несколь-

ко минут. Это — князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия — Мирза-Булат-Тугановский. Я — товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя, и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

— Я к вашим услугам, ваше сиятельство, — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич.

— Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. — Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

— Простите... Я сам знаю, что очень виноват, — прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. — Может быть, позволите стаканчик чаю?

— Видите ли, господин Желтков, — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. — Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

— Да, — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

— И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя — согласитесь — это не только можно было бы, а даже и *нужно* было сделать. Не правда ли?

— Да.

— Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? — кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было — обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому

что — повторяю — я сразу угадал в вас благородного человека.

— Простите. Как вы сказали? — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. — Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

— Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? — обратился он к Шеину. — Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

— Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, — с легкой пагlostью продолжал Николай Николаевич. — Врываться в чужое семейство...

— Виноват, я вас перебыю...

— Нет, виноват, теперь уж я вас перебыю... — почти закричал прокурор.

— Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

— Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... Вы меня выслушаете?

— Слушаю, — сказал Шеин. — Ах, Коля, да помолчи ты, — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. — Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатылся, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

— Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, был еще большей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда... Скажите, князь... предположим, что вам это неприятно... скажите, — что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Ни-

колаевну, как здесь. Заключение меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть... Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

— Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, — сказал Николай Николаевич, надевая шляпу. — Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если па это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят паше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

— Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

— Идите, — сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

— Так нельзя, — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. — Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

— Подожди, — сказал князь Василий Львович, — сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, — чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. — Подумав, князь сказал: — Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

— Это декадентство, — сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестя и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь.

— Я готов,— сказал он, — и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие — это я *вам* говорю, князь Василий Львович, — видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

— Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем,— закричал Николай Николаевич.

— Хорошо, пишите,— сказал Шеин.

— Вот и все,— произнес, надменно улыбаясь, Желтков.— Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

— Оставь меня,— я знаю, что этот человек убьет себя.

## XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Апосова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо.

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничего: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей — для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя — это не болезнь, не маниакальная идея — это любовь, которою Богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: *«Да святится имя Твое»*.

Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. — ну, что же? — ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, — о, как я ее целовал, — ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Кончено. Я все отрезал, по все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, — так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

— Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

— Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

— Он умер? — спросила Вера.

— Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение, каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

— Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу па него?



— Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

## XII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

— Кого вам угодно?

— Господина Желткова,— сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм — шляпа, перчатки — и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

— Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там... сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие паши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот-семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.

— Я друг вашего покойного квартиранта,— сказала она, подбирая каждое слово к слову.— Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

— Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежкий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья — прислуга — приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

— Расскажите мне что-нибудь о браслете,— приказала Вера Николаевна.

— Ах, ах, ах, браслет — я и забыла. Почему вы знаете? Он, перед тем как написать письмо, пришел ко мне

п сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай — так он и сказал: милый обычай — вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

— Вы мне его покажете? — спросила Вера.

— Прощу, прощу, пани. Вот его первая дверь палево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христианску. Прощу, прощу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате нахло ладаном и горели три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, труп, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев — Пушкина и Наполеона.

— Если прикажете, пани, я уйду? — спросила старая женщина, и в ее топе послышалось что-то чрезвычайно интимное.

— Да, я потом вас позову, — сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок.

В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви — почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней лстивым польским тоном:

— Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение...» — он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите...

— Покажите,— сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала.— Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком:

«L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato».

### XIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

— Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь,— и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она одновременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «*Да святится имя Твое*».

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою — одна молитва: «*Да святится имя Твое*».

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. «*Да святится имя Твое*».

Вспомниваю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я уйду один, молча, так угодно было Богу и судьбе. «*Да святится имя Твое*».

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: *«Да святится имя Твое»*.

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою — слава Тебе.

Вот она идет, все умиротворяющая смерть, а я говорю — слава Тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахи звезды табака... И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

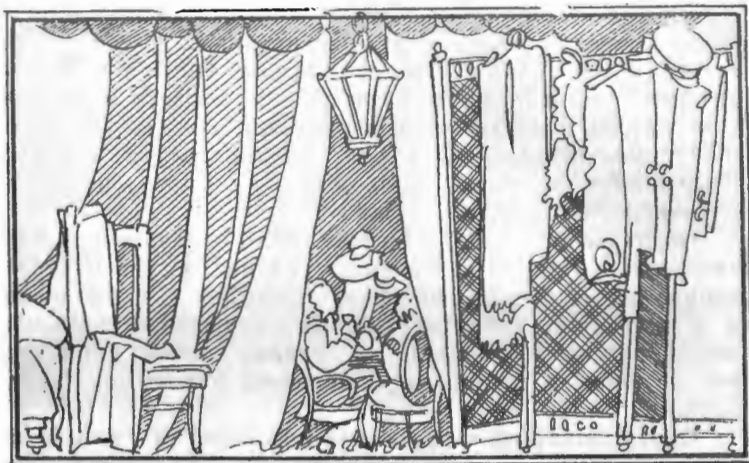
Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидела княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

— Что с тобой? — спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

— Нет, нет, — он меня простил теперь. Все хорошо.





## ЯМА

Знаю, что многие найдут эту повесть безправственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее матерям и юношеству.

А. К.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I



Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики — казенные и вольные. Оттого и вся местность называется Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила копытый извоз, лихое ямщицье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет — даже до сего времени — осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, драчливом и в ночную пору небезопасном.

Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатики и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешен-

ные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные парочитым суровым правилам. К концу XIX столетия обе улицы Ямы — Большая Ямская и Малая Ямская — оказались занятыми сплошь, и по ту и по другую сторону, исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пяти-шести, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надобности ямской проституции.

Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати с лишком заведений, разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно, и в некоторых внешних мелочах: в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки.

Самое шикарное заведение — Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Теперешний владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложнорусском, ёрническом, ропетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами; ковер с белой дорожкой на лестнице; в передней чучело медведя, держащее в протянутых лапах деревянное блюдо для визитных карточек; в танцевальном зале паркет, на окнах малиновые шелковые тяжелые занавеси и тюль, вдоль стен белые с золотом стулья и зеркала в золоченых рамах; есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пуфами; в спальнях голубые и розовые фонари, канаусовые одеяла и чистые подушки; обитательницы одеты в открытые бальные платья, опушенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбаков, гимназисток, и большинство из них — остзейские немки, — крупные, белотелые, грудастые красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь — десять.

Три двухрублевых заведения — Софьи Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны — несколько поплотнее, победнее. Остальные дома по Большой Ямской — рублевые; они еще хуже обставлены. А на Малой Ямской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники и вообще народ серый и где берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скудно: пол в зале кривой, облупленный и занозистый, окна завешены красными кумачовыми кусками, спальни, точно стойла,

разделены тонкими перегородками, не достающими до потолка, а на кроватях, сверх сбитых сенников, валяются скомканные кое-как, рваные, темные от времени, пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла; воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений; женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплы или гнусавы, с полупровалившимися носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин и наивно раскрашенными при помощи послюпенной красной коробочки от папирос.

Круглый год, всякий вечер, — за исключением трех последних дней страстной недели и кануна Благовещения, когда птица гнезда не вьет и стриженная девка косы не заплетает, — едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом, над шатровыми резными подъездами, висячие красные фонари. На улице точно праздник — Пасха: все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и роялей доносится сквозь стекла, непрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы: крутая лестница, и узкий коридор вверх, и белое сверканье многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены сеней, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин поднимаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищущие искусственных возбуждений, и мальчики — кадеты и гимназисты — почти дети; бородатые отцы семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодожены, и влюбленные женихи, и почтенные профессора с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности — педагоги, и передовые писатели — авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину и старые развратники, истрепанные всеми видами порока; ясноглазые красавцы и уроды, злобно исковерканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешивые, трясущиеся, покрытые паразитами — брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделявая гнусные телодвижения, имитирующие

акт половой любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают любую жепщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деьги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых таинств — таинство зарождения новой жизни. И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины, их желания, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами припять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале.

Так проходит вся ночь. К рассвету Яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и будут готовиться к следующей ночи.

И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладострастия, оберегательницы семейной чести — четирыста глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин.

## II

Два часа дня. Во второстепенном, двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье», с хрустальной люстрой посреди — тоже спит и в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носились, вихля бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами.

Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и от того в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда.



Тускло поблескивает фортепьяно своим черным, изогнутым, глянцевым боком, слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, щербатые клавиши. Застоявшийся, неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах: пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня Троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампы перед всеми образами. Девицы по традиции не смеют этого делать своими окверненными за ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах, около крылец, перил и дверей, красуются сваружи белые тонкие стволы с жидкой умирающей зеленью.

Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно, сладко выпалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала, в десять часов, и с удовольствием помогала кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепь и храпя от удушья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью:

— Ну, ты, болван! Я т-тебе дам! Как смеешь?

Но она от души рада волнению и ласке Амура, и своей минутной власти над собакой, и тому, что выпалась и провела ночь без мужчины, и Троице, по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть.

Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час.

В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, — Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мала ростом, но кругло-толста: ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара — большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков; это — ее юбка, торс и голова. Странно: глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно, мокрой нижней малиновой губой. Ее муж — Исай Саввич — тоже маленький, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком; был швейцаром в этом же доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез.

Затем две экономки — старшая и младшая. Старшая — Эмма Эдуардовна. Она — высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз, к щекам, и землистого цвета; глаза маленькие, черные; горбатый нос, строго подобранные губы; выражение лица спокойно-властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через два Анна Марковна, удалясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть — в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои.

Другую зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, лстыиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической барашком; обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подбострастием.

Наконец, пятое лицо — местный околоточный надзиратель Кербеш. Это атлетический человек; он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозой

жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах.

У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой семидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее; однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные четверо тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому как старинные бретеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом как на неизбежные маленькие неприятности профессий. Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околоточный — с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение.

— Так как же, Фома Фомич? — спрашивает искательно хозяйка. — Это же дело выеденного яйца не стоит... Ведь вам только слово сказать...

Кербеш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по нёбу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопясь кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.

— Подумайте сами, мадам Шойбес, — говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь, — подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь! Девушка была обманным образом вовлечена в это... в как его... ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое... Наконец след находится у вас, и главное, — подумайте! — в моем околотке! Что я могу поделаться?

— Господин Кербеш, но ведь она же совершеннолетняя, — говорит хозяйка.

— Оне совершеннолетние, — подтверждает Исай Саввич. — Оне дали расписку, что по доброй воле...

Эмма Эдуардовна произносит басом, с холодной уверенностью:

— Ей-Богу, она здесь как за родную дочь.

— Да ведь я не об этом говорю, — досадливо морщится околоточный. — Вы вникните в мое положение... Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься!

Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным блекло-голубым глазом:

— Господин Кербеш, я прошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение.

— А-а! С удовольствием...

Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербеша хрустит в кармане новенькой сто-рублевкой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов:

— Вот у меня сын-гимназист — Павел. Приходит, подлец, и заявляет: «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский, и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов». Ну, скажите, ради Бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?

— Ай-ай-ай!.. И какие тут взятки?.. Вот и у меня тоже...

— Я ему говорю: «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». Что же вы думаете? Приходит и говорит: «Я тебе больше не сын,— ищи себе другого сына». Аргумент! Ну, и всыпал же я ему по первое число! Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу!

— Ах, и не рассказывайте,— вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю мальшовую губу и затаманив свои блеклые глаза.— Мы нашу Берточку,— она в гимназии Флейшера,— мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела.

— Ей-Богу, Аппочка вся покраснела,— подтверждает Исай Саввич.

— Покраснеешь!— горячо соглашается околоточный.— Да, да, да, я вас вполне понимаю. Но, Боже мой, куда мы идем! Куда мы только идем! Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты, или... как их там! И пусть пеняют на самих себя. Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям. Расстреливать их надо.

— А вот у нас был третьего дня случай,— вмешивается суетливо Зося.— Пришел один гость, толстый человек...

— Не кандай,— строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околоточного, набожно кивая склоненной набок головой.— Вы бы лучше пошли распорядились завтраком для барышень.

— И ни на одного человека нельзя положиться,— продолжает ворчливо хозяйка.— Что ни прислуга, то стер-

ва, обманщица. А девушки только и думают что о своих любовниках. Чтобы только им свое удовольствие иметь. А о своих обязанностях и не думают.

Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону дверей:

— Экономочка! Примите деньги и пожалуйста мне марочки. Петя ушел.

Околоточный встает и оправляет пашку.

— Однако пора и на службу. Всего лучшего, Анна Марковна. Всего хорошего, Исая Саввич.

— Может, еще рюмочку, на дорожку?— тычется над столом подслеповатый Исая Саввич.

— Благодарю-с. Не могу. Укомплектован. Имею честь!..

— Спасибо вам за компанию. Заходите.

— Ваши гости-с. До свидания.

Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно:

— А все-таки мой совет вам: вы эту девуцу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый — предупреждаю-с.

Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно:

— Фараон! Хочет и здесь и там взять деньги...

Понемногу все расползаются из комнаты. В доме темно. Сладко пахнет полувядшей осокой. Тишина.

### III

До обеда, который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток — самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые, пустые часы, которые переживаются в большие праздники в институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подруги разъехались, когда много свободы и много безделья и целый день царит светлая, сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком, женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату, все немытые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепьяно, лениво раскладывают гаданье на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера.

Любка после завтрака снесла Амуру остатки хлеба и обрезки ветчины, но собака скоро надоела ей. Вместе с Нюрой она купила барбарисовых конфет и подсолнухов, и обе стоят теперь за забором, отделяющим дом от улицы, грызут семечки, скорлупа от которых остается у них на подбородках и на груди, и равнодушно судачат обо всех, кто проходит по улице: о фонарщике, наливавшем керосин в уличные фонари, о городском с разносной кпигой под мышкой, об экономке из чужого заведения, перебегающей через дорогу в мелочную лавку...

Нюра — маленькая, лупоглазая, синеглазая девушка; у нее белые, льняные волосы, синие жилки на висках. В лице у нее есть что-то тупое и невинное, напоминающее белого пасхального сахарного ягненочка. Она жива, суетлива, любопытна, во все лезет, со всем согласна, первая знает все новости, и если говорит, то говорит так много и так быстро, что у нее летят брызги изо рта и на красных губах вскипают пузыри, как у детей.

Напротив, из пивной, на минуту выскакивает курчавый, испитой, бельmistый парень, служающий, и бежит в соседний трактир.

— Прохор Иванович, а Прохор Иванович, — кричит Нюра, — не хотите ли, подсолнухами угощу?

— Заходите к нам в гости, — подхватывает Люба.

Нюра фыркает и добавляет сквозь давящий ее смех:

— На теплые ноги!

Но парадная дверь открывается, в ней показывается грозная и строгая фигура старшей экономки.

— Пфуй! Что это за безобразие? — кричит она начальственно. — Сколько раз вам повторять, что нельзя высказывать на улицу днем и еще — пфуй! — в одном белье. Не понимаю, как это у вас нет никакой совести. Порядочные девушки, которые сами себя уважают, не должны вести себя так публично. Кажется, слава Богу, вы не в солдатском заведении, а в порядочном доме. Не на Малой Ямской.

Девуцы возвращаются в дом, забираются на кухню и долго сидят там на табуретках, созерцая сердитую кухарку Прасковью, болтая ногами и молча грызя семечки.

В комнате у Маленькой Маньки, которую еще называют Мапькой Скандалисткой и Манькой Беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девушка, Зоя, высокая, красивая девушка, с круглыми бровями, с серыми глазами навывкате, с самым типичным белым, добрым лицом русской проститутки, играют в карты, в шестьдесят шесть. Ближайшая подруга Маньки Ма-

ленькой, Женя, лежит за их спинами на кровати павзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы», сочинение г. Дюма, и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но, против ожидания, усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не раскислило ее воображения. Более всего ей нравится в романах длинная, хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные поединки, перед которыми виконт развязывает банты у своих башмаков в знак того, что он не намерен отступить ни на шаг от своей позиции, и после которых маркиз, проткнувши насквозь графа, извиняется, что сделал отверстие в его прекрасном новом камзоле; кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые палево и направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха IV, — словом, весь этот прятный, в золоте и кружевах, героизм прошедших столетий французской истории. В обыденной жизни она, наоборот, трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе — тиранствующей и обожаемой. Она — высокая, худая брюнетка, с прекрасными карими, горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым, нездоровым румянцем на щеках.

Не выпуская из рта папироски и щурясь от дыма, она то и дело переворачивает страницы намусоленным пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы: ниже больших пальцев резко выдаются внаружу острые, некрасивые, неправильные желваки.

Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись, с шитьем в руках, сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рыжеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, который бывает у лисы зимою на хребте. Настоящее ее имя Гликерия, или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишний обычай домов терпимости — заменять грубые имена Матрен, Агафий, Сиклитий звучными, преимущественно экзотическими именами. Тамара когда-то была монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре, и до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не

дружит, никого не посвящает в свою прошлую жизнь. Но, должно быть, у нее, кроме монашества, было еще много приключений: что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густо- и темно-золотых глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромной, но развратной святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть не с благоговейным ужасом услышали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренняя сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и сговорчивость, все в заведении относится к ней с почтением и осторожностью: и хозяйка, и подруги, и обе экономки, и даже швейцар, этот истинный султан дома терпимости, всеобщая гроза и герой.

— Прикрыла,— говорит Зоя и поворачивает козырь, лежавший под колодой, рубашкой кверху.— Выхожу с сорока, хожу с туза пик, пожалуйста, Манечка, десяточку. Кончила. Пятьдесят семь, одиннадцать, шестьдесят восемь. Сколько у тебя?

— Тридцать,— говорит Манька обиженным голосом, надувая губы,— ну да, тебе хорошо, ты все ходы помнишь. Сдавай... Ну, так что же дальше, Тamarочка?— обращается она к подруге.— Ты говори, я слушаю.

Зоя стасовывает старые, черные, замаслившиеся карты и дает Мане снять, потом сдает, поплевав предварительно на пальцы.

Тамара в это время рассказывает Маньке тихим голосом, не отрываясь от шитья:

— Вышивали мы гладью, золотом, на престольники, воздухи, архиерейские облачения... травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь, бывало, у окна,— окошки маленькие, с решетками,— свету немного, маслицем пахнет, ладаном, кипарисом, разговаривать нельзя было: матушка была строгая. Кто-нибудь от скуки затянет великопостный ирмос... «Вонми небо и возглаголю и воспою...» Хорошо пели, прекрасно, и такая тихая жизнь, и запах такой прекрасный, снежок за окном, ну вот точно во сне...

Женя опускает истрепанный роман себе на живот, бросает папиросу через Зоину голову и говорит насмешливо:

— Знаем мы вашу тихую жизнь. Младенцев в нужники выбрасывали. Лукавый-то все около ваших святых мест бродит.

— Сорок объявляю. Сорок шесть у меня было! Кончила!— возбужденно восклицает Манька Маленькая и плещет ладонями.— Открываю три.



Тамара, улыбаясь на слова Жени, отвечает с едва заметной улыбкой, которая почти не растягивает губы, а делает в их концах маленькие, лукавые, двусмысленные углубления, совсем как у Моны Лизы на портрете Леонардо да Винчи.

— Плетут много про монахинь-то мирские... Что же, если и бывал грех...

— Не согрешишь,— не покаешься,— вставляет серьезно Зоя и мочит палец во рту.

— Сидишь, вышиваешь, золото в глазах рябит, а от утреннего стояния так вот спину и ломит и ноги ломит. А вечером опять служба. Постучишься к матушке в келию: «Молитвами святых отец наших Господи помилуй нас». А матушка из келии так баском ответит: «Аминь».

Женя смотрит на нее несколько времени пристально, покачивает головой и говорит многозначительно:

— Странная ты девушка, Тамара. Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Ну, я понимаю, что эти дуры, вроде Соньки, любовь крутят. На то они и дуры. А ведь ты, кажется, во всех золах печена, во всех щелоках стирана, а тоже позволяешь себе этакие глупости. Зачем ты эту рубашку вышиваешь?

Тамара не торопясь перекалывает поудобнее ткань на своем колене булавкой, заглаживает наперстком шов и говорит, не поднимая сощуренных глаз, чуть склонив голову набок:

— Надо что-нибудь делать. Скучно так. В карты я не играю и не люблю.

Женя продолжает качать головой.

— Нет, странная ты девушка, право, странная. От гостей ты всегда имеешь больше, чем мы все. Дура, чем копить деньги, на что ты их тратишь? Духи покупаешь по семи рублей за склянку. Кому это нужно? Вот теперь набрала на пятнадцать рублей шелку. Это ведь ты Сеньке своему?

— Конечно, Сенечке.

— Тоже нашла сокровище. Вор несчастный. Приедет в заведение, точно полководец какой. Как еще он не бьет тебя. Воры, они это любят. И обдирает небось?

— Больше, чем захочу, я не дам,— кротко отвечает Тамара и перекусывает нитку.

— Вот этому-то я и удивляюсь. С твоим умом, с твоей красотой я бы себе такого гостя захороводила, что на содержание бы взял. И лошади свои были бы, и бриллы.

— Что кому правится, Женечка. Вот и ты тоже хорошенькая и милая девушка, и характер у тебя такой независимый и смелый, а вот застряли мы с тобой у Анны Марковны.

Женя вспыхивает и отвечает с непритворной горечью:

— Да! Еще бы! Тебе везет!.. У тебя все самые лучшие гости. Ты с ними делаешь, что хочешь, а у меня все — либо старики, либо грудные младенцы. Не везет мне. Одни сопливые, другие желторотые. Вот больше всего я мальчишек не люблю. Придет, гаденыш, трусит, торопится, дрожит, а сделал свое дело, не знает, куда глаза девать от стыда. Корчит его от омерзения. Так и дала бы по морде. Прежде чем рубль дать, он его в кармане в кулаке держит, горячий весь рубль-то, даже потный. Молокосос! Ему мать на французскую булку с колбасой дает гривенник, а он на девку сэкономил. Был у меня на днях один кадетик. Так я нарочно, назло ему говорю: «На тебе, миленький, на тебе карамелек на дорогу, пойдешь обратно в корпус — пососеешь». Так он сперва обиделся, а потом взял. Я потом нарочно поглядела с крыльца: как вышел, оглянулся, и сейчас карамельку в рот. Поросенок!

— Ну, со стариками еще хуже,— говорит нежным голосом Манька Маленькая и лукаво заглядывает на Зою,— как ты думаешь, Зоенька?

Зоя, которая уже кончила играть и только что хотела зевнуть, теперь никак не может раззеваться. Ей хочется не то сердиться, не то смеяться. У нее есть постоянный гость, какой-то высокопоставленный старичок с извращенными эротическими привычками. Над его визитами к ней потешается все заведение.

Зое удастся, наконец, раззеваться.

— Ну вас к чертовой матери,— говорит она сиплым, после зевка, голосом,— будь он проклят, старая анафема!

— А все-таки хуже всех,— продолжает рассуждать Женя,— хуже твоего директора, Зоенька, хуже моего кадета, хуже всех — ваши любовники. Ну что тут радостного: придет пьяный, ломается, издевается, что-то такое хочет из себя изобразить, но только ничего у него не выходит. Скажите пожалуйста: мальчи-шечка. Хам хамом, грязный, избитый, вонючий, все тело в шрамах, только одна ему хвала: шелковая рубашка, которую ему Тамарка вышьет. Ругается, сукин сын, по-матерному, драться лезет! Тьфу! Нет,— вдруг воскликнула она веселым задорным голосом,— кого люблю верно и нелицемерно, во веки веков, так это мою Манечку, Маньку Беленькую, Маньку Маленькую, мою Маньку Скандалисточку.

И неожиданно, обняв за плечи и грудь Маню, она притянула ее к себе, повалила на кровать и стала долго и сильно целовать ее волосы, глаза, губы. Манька с трудом вырвалась от нее с растрепанными светлыми, тонкими, пушистыми волосами, вся розовая от сопротивления и с опущенными, влажными от стыда и смеха глазами.

— Оставь, Женечка, оставь. Ну что ты, право... Пуст!

Маня Маленькая — самая кроткая и тихая девушка во всем заведении. Она добра, уступчива, никогда не может никому отказать в просьбе, и невольно все относятся к ней с большой нежностью. Она краснеет по всякому пустяку и в это время становится особенно привлекательна, как умеют быть привлекательны очень нежные блондинки с чувствительной кожей. Но достаточно ей выпить три-четыре рюмки ликера бенедиктина, который она очень любит, как она становится неузнаваемой и выделяет такие скандалы, что всегда требуется вмешательство экономок, швейцара, иногда даже полиции. Ей ничего не стоит ударить гостя по лицу или бросить ему в глаза стакан, наполненный вином, опрокинуть лампу, обругать хозяйку. Женья относится к ней с каким-то странным, нежным покровительством и грубым обожанием.

— Барышни, обедать! Обедать, барышни! — кричит, пробегая вдоль коридора, экономок Зося. На бегу она открывает дверь в Манину комнату и кидает торопливо:

— Обедать, обедать, барышни!

Идут опять на кухню, все так же в нижнем белье, все немывшиеся, в туфлях и босиком. Подают вкусный борщ со свиной кожицей и с помидорами, котлеты и пирожное: трубочки со сливочным кремом. Но ни у кого нет аппетита благодаря сидячей жизни и неправильному сну, а также потому, что большинство девиц, как институтки в праздник, уже успели днем послать в лавочку за халвой, орехами, рахат-лукумом, солеными огурцами и тянучками и этим испортили себе аппетит. Одна только Нина, маленькая, курносая, гнусавая деревенская девушка, всего лишь два месяца назад обольщенная каким-то коммивояжером и им же проданная в публичный дом, ест за четверых. У нее все еще не пропал чрезмерный, запасливый аппетит простолюдинки.

Женья, которая лишь брезгливо поковыряла котлету и съела половину трубочки, говорит ей тоном лицемерного участия:

— Ты бы, Феклуша, скушала бы и мою котлетку. Кушай, милая, кушай, не стесняйся, тебе надо поправляться. А знаете, барышни, что я вам скажу, — обращается она к

подругам,— ведь у нашей Феклуши солитер, а когда у человека солитер, то он всегда ест за двоих: половину за себя, половину за глисту.

Нипа сердито сопит и отвечает неожиданным для ее роста басом и в нос:

— Никаких у меня нет глистов. Это у вас есть глисты, оттого вы такая худая.

И она невозмутимо продолжает есть и после обеда чувствует себя сонной, как удав, громко рыгает, пьет воду, икает и украдкой, если никто не видит, крестит себе рот по старой привычке.

Но вот уже в коридорах и комнатах слышится звонкий голос Зоси:

— Одеваться, барышни, одеваться. Нечего рассиживаться... На работу...

Через несколько минут во всех комнатах заведения пахнет паленым волосом, борно-тимоловым мылом, дешевым одеколоном. Девуцы одеваются к вечеру.

#### IV

Настали поздние сумерки, а за ними теплая, темная ночь, но еще долго, до самой полупочи, тлела густая малиновая заря. Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по стенам залы и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек, с прямыми широкими плечами, брюнет, шадровитый, с вылезшими от оспы плешинками бровями и усами и с черными, матовыми, наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка.

Пришел тапер — высокий, белобрысый, деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, он с Исай Саввичем потихоньку разучивали «*pas d'Espagne*»<sup>1</sup> — танец, начплавший входить в то время в моду. За каждый танец, заказанный гостями, они получали тридцать копеек за легкий тапек и по полтиннику за кадрили. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка, Анна Марковна, другую же музыканты делили поровну. Таким образом, тапер получал только четверть из общего заработка, что, конечно, было несправедливо, потому что Исай Саввич играл самоучкой и отличался дере-

---

<sup>1</sup> Падеспань (франц.).

вянным слухом. Таперу приходилось постоянно его на-таскивать на новые мотивы, поправлять и заглушать его ошибки громкими аккордами. Девиды с некоторой гордостью рассказывали гостям о тапере, что он был в консерватории и шел все время первым учеником, но так как он еврей и к тому же заболел глазами, то ему не удалось окончить курса. Все они относились к нему очень бережно и внимательно, с какой-то участливой, немножко приторной жалостливостью, что весьма вяжется с внутренними, закулисными нравами домов терпимости, где под внешней грубостью и щегольством похабными словами живет такая же слащавая, истеричная сентиментальность, как и в женских пансионах и, говорят, в каторжных тюрьмах.

Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением своих любовников, полное, даже несколько брезгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды: неизвестно, кто их выберет, не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного, не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь? В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги. Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утратили самого главного, инстинктивного стремления женщин — нравиться.

И правда, иногда приходили в дом совсем диковинные лица и происходили сумбурные, пестрые события. Являлась вдруг полиция вместе с переодетыми сыщиками и арестовывала каких-нибудь приличных на вид, безукоризненных джентльменов и уводила их, толкая в шею. Порою завязывались драки между пьяной скандальной компанией и швейцарами из всех заведений, сбегавшими на выручку товарищу, швейцару, — драки, во время которых разбивали стекла в окнах и фортепьянные деки, когда выламывались, как оружие, ножки у плюшевых стульев, кровь заливала паркет в зале и ступеньки лестницы, и люди с проткнутыми боками и проломленными головами валялись в грязь у подъезда, к звериному, жадному восторгу Жененьки, которая с горящими глазами, со счастливым смехом лезла в самую гущу свалки, хлопала себя по бедрам, бранилась и науськивала, в то время

как ее подружки визжали от страха и прятались под кровати.

Случалось, приезжал со стаей прихлебателей какой-нибудь артельщик или кассир, давно уже зарвавшийся в многотысячной растрате, в карточной игре и безобразных кутежах и теперь дошвыривающий, перед самоубийством или скамьей подсудимых, в угарном, пьяном, нелепом бреду последние деньги. Тогда запирались наглухо двери и окна дома, и двое суток кряду шла кошмарная, скучная, дикая, с выкриками и слезами, с надругательством над женским телом, русская оргия, устраивались райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и женщины с дряблыми, желтыми, обвисшими, жидкими телами, пили и жрали, как свиньи, в кроватях и на полу, среди душной, проспиритованной атмосферы, загаженной человеческим дыханием и испарениями печистой кожи.

Изредка появлялся в заведении цирковой атлет, производивший в невысоких помещениях странно-громоздкое впечатление, вроде лошади, введенной в комнату, китаец в синей кофте, белых чулках и с косой, негр из кафешантана в смокинге и клетчатых панталонах, с цветом в петлице и в крахмальном белье, которое, к удивлению девиц, не только не пачкалось от черной кожи, но казалось еще более ослепительно блестящим.

Эти редкие люди будоражили пресыщенное воображение проституток, возбуждали их истощенную чувственность и профессиональное любопытство, и все они, почти влюбленные, ходили за ними следом, ревнуя и огрызаясь друг на друга.

Был случай, что Симеон впустил в залу какого-то пожилого человека, одетого помещански. Ничего не было в нем особенного: строгое, худое лицо с выдающимися, как желваки, костистыми, злобными скулами, низкий лоб, борода клином, густые брови, один глаз заметно выше другого. Войдя, он поднес ко лбу сложенные для креста пальцы, но, пошарив глазами по углам и не найдя образа, несколько не смутился, опустил руку, плюнул и тотчас же с деловым видом подошел к самой толстой во всем заведении девице — Катке.

— Пойдем! — скомандовал он коротко и мотнул решительно головой на дверь.

Но во время его отсутствия всезнающий Симеон с таинственным и даже несколько гордым видом успел сообщить своей тогдашней любовнице Нюре, а она шепотом,

с ужасом в округлившихся глазах, рассказала подругам по секрету о том, что фамилия мещанина — Дядченко и что он прошлой осенью вызвался, за отсутствием палача, совершить казнь над одиннадцатью бунтовщиками и собственноручно повесил их в два утра. И — как это ни чудовищно — не было в этот час ни одной девицы во всем заведении, которая не почувствовала бы зависти к толстой Катьке и не испытала бы жуткого, терпкого, головокружительного любопытства. Когда Дядченко через полчаса уходил со своим степенным и суровым видом, все женщины безмолвно, разинув рты, провожали его до входной двери и потом следили за ним из окон, как он шел по улице. Потом кинулись в комнату одевавшейся Катьки и засыпали ее расспросами. Глядели с новым чувством, почти с изумлением на ее голые, красные, толстые руки, на смятую еще постель, на бумажный старый, засаленный рубль, который Катька показала им, вынув его из чулка. Катька ничего не могла рассказать — «мужчина как мужчина, как все мужчины», — говорила она со спокойным недоумением, но когда узнала, кто был ее гостем, то вдруг расплакалась, сама не зная почему.

Этот человек, отверженный из отверженных, так низко упавший, как только может представить себе человеческая фантазия, этот добровольный палач, обошелся с ней без грубости, но с таким отсутствием хоть бы намека на ласку, с таким пренебрежением и деревянным равнодушием, как обращаются не с человеком, даже не с собакой или лошадью и даже не с зонтиком, пальто или шляпой, а как с каким-то грязным предметом, в котором является минутная неизбежная потребность, по который по миновании надобности становится чуждым, бесполезным и противным. Всего ужаса этой мысли толстая Катька не могла объять своим мозгом откормленной индюшки и потому плакала, — как и ей самой казалось, — беспричинно и бестолково.

Бывали и другие происшествия, взбалтывавшие мутную, грязную жизнь этих бедных, больных, глупых, несчастных женщин. Бывали случаи дикой, необузданной ревности с пальбой из револьвера и отравлением; иногда, очень редко, расцветала на этом навозе нежная, пламенная и чистая любовь; иногда женщины даже покидали при помощи любимого человека заведение, но почти всегда возвращались обратно. Два или три раза случалось, что женщина из публичного дома вдруг оказывалась беременной, и это всегда бывало, по внешности, смешно и позорно, но в глубине события — трогательно.

И как бы то ни было, каждый вечер приносил с собою такое раздражающее, напряженное, пряное ожидание приключений, что всякая другая жизнь, после дома терпимости, казалась этим ленивым, безвольным женщинам пресной и скучной.

## V

Окна раскрыты настежь в душистую темноту вечера, и тюлевые занавески слабо колышутся взад и вперед от незаметного движения воздуха. Пахнет росистой травой из чахлого маленького палисадника перед домом, чуть-чуть сиренью и вянущим березовым листом от троицких деревцов у подъезда. Люба в синей бархатной кофте с низко вырезанной грудью и Нюра, одетая, как «бебе», в розовый широкий сак до колен, с распущенными светлыми волосами и с кудряшками на лбу, лежат, обнявшись, на подоконнике и поют потихоньку очень известную между проститутками злободневную песню про больницу. Нюра тоненько, в нос, выводит первый голос, Люба вторит ей глуховатым альтом:

Понедельник наступает,  
Мне на выписку идти,  
Доктор Красов не пускает...

Во всех домах отворенные окна ярко освещены, а перед подъездами горят висячие фонари. Обеим девушкам отчетливо видна внутренность залы в заведении Софьи Васильевны, что напротив: желтый блестящий паркет, темно-вишневые драпри на дверях, перехваченные шнурами, конец черного рояля, трюмо в золоченой раме и то мелькающие в окнах, то скрывающиеся женские фигуры в пышных платьях и их отражения в зеркалах. Резное крыльцо Треппеля, направо, ярко озарено голубоватым электрическим светом из большого матового шара.

Вечер тих и тепел. Где-то далеко-далеко, за линией железной дороги, за какими-то черными крышами и тонкими черными стволами деревьев, низко над темной землей, в которой глаз не видит, а точно чувствует могучий зеленый весенний тон, рдеет алым золотом, прорезавшись сквозь сизую мглу, узкая, длинная полоска поздней зари. И в этом неясном дальнем свете, в ласковом воздухе, в запахах наступающей ночи была какая-то тайная, сладкая, сознательная печаль, которая бывает так нежна в вечера между весной и летом. Плыл неясный шум города, слышался скучающий, гнусавый напев гармонии, мычание коров, сухо шаркали чьи-то подошвы, и звонко стучала око-



ванная палочка о плиты тротуара, лениво и неправильно погромыхивали колеса извозчицкой пролетки, катившейся шагом по Яме, и все эти звуки сплетались красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера. И свистки паровозов на линии железной дороги, обозначенной в темноте зелеными и красными огоньками, раздавались с тихой, певучей осторожностью.

Вот сиделочка прихо-одит,  
Булку с сахаром несет...  
Булку с сахаром несет,  
Всем пор-ровну раздает.

— Прохор Иванович!— вдруг окликает Нюра кудрявого слугу из пивной, который легким черным силуэтом перебегаёт через дорогу.— А Прохор Иваныч!

— Ну вас!— силло огрызается тот.— Чего еще?

— Вам велел кланяться один ваш товарищ. Я его сегодня видела.

— Какой такой товарищ?

— Такой хорошенький! Брюнетик симпатичный... Нет, а вы спросите лучше, где я его видела?

— Ну где?— Прохор Иванович приостанавливается на минуту.

— А вот где: у нас на гвозде, на пятой полке, где дохлые волки.

— А! Дура еловая.

Нюра хохочет визгливо на всю Яму и валится на подоконник, брыкая ногами в высоких черных чулках. Потом, перестав смеяться, она сразу делает круглые, удивленные глаза и говорит шепотом:

— А знаешь, девушка, ведь он в позапрошлом годе женщину одну зарезал. Прохор-то. Ей-Богу.

— Ну? До смерти?

— Нет, не до смерти. Выкачалась,— говорит Нюра, точно с сожалением.— Однако два месяца пролежала в Александровской. Доктора говорили, что если бы на вот-вот столечко повыше,— то кончено бы. Амба!

— За что же он ее?

— А я знаю? Может быть, деньги от него скрывала или изменила. Любовник он у ней был — кот.

— Ну и что же ему за это?

— А ничего. Никаких улик не было. Была тут общая сколка. Человек сто дралось. Она тоже в полицию заявила, что никаких подозрений не имеет. Но Прохор сам потом хвалился: я, говорит, в тот раз Дуньку не зарезал, так в другой раз дорежу. Она, говорит, от моих рук не уйдет. Будет ей амба!

Люба вздрагивает всей спиной.

— Отчаянные они, эти коты! — произносит она тихо, с ужасом в голосе.

— Страсть до чего! Я, ты знаешь, с нашим Симеоном крутила любовь целый год. Такой ирод, подлец! Живого места на мне не было, вся в синяках ходила. И не то чтобы за что-нибудь, а просто так, пойдет утром со мной в комнату, запрется и давай меня терзать. Руки выкручивает, за груди щиплет, душить начинает за горло. А то целует-целует, да как куснет за губы, так кровь аж и брызнет... я заплачу, а ему только этого и нужно. Так зверем на меня и кинется, аж задрожит. И все деньги от меня отбирал, ну вот все до копеечки. Не на что было десятка папирос купить. Он ведь скупой, Симеон-то, все на книжку, на книжку относит... Говорит, что, как соберет тысячу рублей, — в монастырь уйдет.

— Ну?

— Ей-Богу. Ты посмотри у него в комнатке: круглые сутки, днем и ночью, лампадка горит перед образами. Он очень до Бога усердный... Только я думаю, что он оттого такой, что тяжелые грехи на нем. Убийца он.

— Да что ты?

— Ах, да ну его, бросим о нем, Любочка. Ну, давай дальше.

Пойду в хаптеку, куплю я ха-ду,  
Саму себя я хатравлю,—

заводит Нюра тоненьким голоском.

Женя ходит взад и вперед по зале, подбоченившись, раскачиваясь на ходу и заглядывая на себя во все зеркала. На ней надето короткое атласное оранжевое платье с прямыми глубокими складками на юбке, которая мерно колеблется влево и вправо от движения ее бедер. Маленькая Манька, страстная любительница карточной игры, готовая играть с утра до утра не переставая, дуется в шестьдесят шесть с Пашей, причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собою пустой стул, а взятки собирают себе в юбки, распяленные между коленями. На Маньке коричневое, очень скромное платье, с черным передником и плеченым черным нагрудником; этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса.

Ее партнерша Паша — очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы пужно было не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного первого недуга, заставляющего ее иступленно, с болезнен-

ной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее ни выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порок, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет нарасхват и зарабатывает вчетверо, впятеро больше любой из остальных девушек — зарабатывает так много, что в бойкие праздничные дни ее вовсе не выводят к гостям «посерее» или отказывают им под предлогом Пашиной болезни, потому что постоянные хорошие гости обижаются, если им говорят, что их знакомая девушка занята с другим. А таких постоянных гостей у Паши пропасть; многие совершенно искренно, хотя и по-скотски, влюблены в нее, и даже не так давно двое почти одновременно звали ее на содержание: грузин — приказчик из магазина кахетинских вин — и какой-то железнодорожный агент, очень гордый и очень бедный дворянин высокого роста, с махровыми манжетами, с глазом, замененным черным кружком на резинке. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострастия, конечно, пошла бы за всяким, кто позвал бы ее, но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком тихом смехе — смехе идиотки. И вместе с тем она — эта истинная жертва общественного темперамента — в обиходной жизни очень добродушна, уступчива, совершенная бессребреница и очень стыдится своей чрезмерной страстности. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею все как будто бы немного брезгуют.

— Манечка, душечка, миленькая, — говорит умильно Паша, дотрагиваясь до Маниной руки, — погадай мне, золотая моя деточка.

— Ну-у,— надувает Маня губы, точно ребенок.— Поигра-аем еще.

— Манечка, хорошенькая, пригоженькая, золотце мое, родная, дорогая...

Маня уступает и раскладывает колоду у себя на коленях. Червонный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с трефовым королем.

Паша всплескивает радостно руками:

— Ах, это мой Леванчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Леванчик.

— Это твой грузин?

— Да, да, мой грузинчик. Ох, какой он приятный. Так бы никогда его от себя не отпустила. Знаешь, он мне в последний раз что сказал? «Если ты будешь еще жить в публичном доме, то я сделаю и тебе смерть и себе сделаю смерть». И так глазами на меня сверкнул.

Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно:

— Это кто это так сказал?

— А мой грузинчик Леван. И тебе смерть, и мне смерть.

— Дура. Ничего он не грузинчик, а просто армяшка. Сумасшедшая ты дура.

— Ан нет, грузин. И довольно странно с твоей стороны...

— Говорю тебе — армяшка. Мне лучше знать. Дура!

— Чего же ты ругаешься, Женя? Я же тебя первая не ругала.

— Еще бы ты первая стала ругаться. Дура! Не все тебе равно, кто он такой? Влюблена ты в него, что ли?

— Ну и влюблена!

— Ну и дура. А в этого, с кокардой, в кривого, тоже влюблена?

— Так что же? Я его очень уважаю. Он очень солидный.

— И в Кольку-бухгалтера? И в подрядчика? И в Антошку-картошку? И в актера толстого? У-у, бесстыдница! — вдруг вскрикивает Женя. — Не могу видеть тебя без омерзения. Сука ты! Будь я на твоём месте такая несчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета. Гадина ты!

Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее.

— Что уж это ты так, Женечка... Зачем ты на нее так...

— Эх, все вы хороши! — резко обрывает ее Женя. —

Никакого самолюбия!.. Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика, по таксе, для любви на час, а ты и раскисла: «Ах, любовничек! Ах, неземная страсть!» Тьфу!

Она гневно поворачивается к ним спиной и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и шурясь на себя в каждое зеркало.

В это время Исаак Давидович, тапер, все еще бьется с неподатливым скрипачом.

— Не так, не так, Исай Саввич. Вы бросьте скрипку на минуточку. Прислушайтесь немножко ко мне. Вот мотив.

Он играет одним пальцем и напевает тем ужасным козлиным голосом, каким обладают все капельмейстеры, в которые он когда-то готовился:

— Эс-там, эс-там, эс-тиам-тиам. Ну теперь повторяйте за мною первое колено за первый раз... Ну... ейц, цвей...

За их репетицией внимательно следят: сероглазая, круглолицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румянами и белилами Зоя, которая облокотилась на фортепьяно, и Вера, жиденькая, с испитым лицом, в костюме жокея — в круглой шапочке, с прямым козырьком, в шелковой полосатой, синей с белым, курточке, в белых обтянутых туго рейтузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Вера и в самом деле похожа на жокея, с своим узким лицом, на котором очень блестящие голубые глаза, под спущенной на лоб лихой гривкой, слишком близко посажены к горбату, нервному, очень красивому носу. Когда наконец, после долгих усилий, музыканты слаживаются, низенькая Вера подходит к рослой Зое той мелкой, связанной походкой, с оттопыренным задом и локтями на отлете, какой ходят только женщины в мужских костюмах, и делает ей, широко разводя вшиз руками, комический мужской поклон. И они с большим удовольствием начинают носиться по зале.

Прыткая Нюра, всегда первая объявляющая все новости, вдруг соскакивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости:

— К Треппелю... подъехали... лихач... с электричеством... Ой, девоньки... умереть на месте... на оглоблях электричество.

Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около треппелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит

свежим лаком, на концах оглобелей горят желтым светом два крошечных электрических фонарика, высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе, перебирает на месте ногами и прыдет тонкими ушами; сам бородатый, толстый кучер сидит на козлах, как изваяние, вытянув прямо вдоль колен руки.

— Вот бы прокатиться! — взвизгивает Нюра. — Дяденька-лихач, а дяденька-лихач, — кричит она, перевешиваясь через подоконник, — прокатай бедную девчонку... Прокатай за любовь...

Но лихач смеется, делает чуть заметное движение пальцами, и белая лошадь тотчас же, точно она только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера.

— Пфуй! Безобразие! — раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны. — Ну где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу. О, скандал! И все Нюра, и всегда эта ужасная Нюра!

Она величественна в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами, с тремя висящими дрожащими подбородками. Девиды, как провинившиеся пансионеры, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив, к дому Софьи Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны.

Швейцар Симеон помогает кому-то раздеться в передней. Женя заглядывает туда, держась обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой.

— Не знаю, какой-то совсем незнакомый, — говорит она вполголоса. — Никогда у нас не был. Какой-то папашка, толстый, в золотых очках и в форме.

Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим, как призывная кавалерийская труба:

— Барышни, в залу! В залу, барышни!

Одна за другой надменными походками выходят в залу: Тамара с голыми белыми руками и обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга, толстая Катька с мясистым четырехугольным лицом и пизким лбом — она тоже декольтирована, но кожа у нее красная

и в пупырышках; повестькая Нипа, курпосая и неуклюжая, в платье цвета зеленого попугая; другая Манька — Манька Большая, или Манька Крокодил, как ее называют, и — последней — Сонька Руль, еврейка с некрасивым темным лицом и чрезвычайно большим носом, за который она и получила свою кличку, но с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими и влажными, какие среди женщин всего земного шара бывают только у евреек.

## VI

Пожилой гость в форме благотворительного ведомства вошел медленными, нерешительными шагами, наклоняясь при каждом шаге немного корпусом вперед и потирая кругообразными движениями свои ладони, точно умывая их. Так как все женщины торжественно молчали, точно не замечая его, то он пересек залу и опустился на стул рядом с Любой, которая, согласно этикету, только подобрала немного юбку, сохраняя рассеянный и независимый вид девицы из порядочного дома.

— Здравствуйте, барышня, — сказал он.

— Здравствуйте, — отрывисто ответила Люба.

— Как вы поживаете?

— Спасибо, благодарю вас. Угостите покурить.

— Извините — некурящий.

— Вот так так. Мужчина и вдруг не курит. Ну так угостите лафитом с лимонадом. Ужас как люблю лафит с лимонадом.

Он промолчал.

— У, какой скупой, папашка! Вы где это служите? Вы — чиновники?

— Нет, я учитель. Учю немецкому языку.

— А я вас где-то видела, напочка. Ваша физиономия мне знакома. Где я с вами встречалась?

— Ну уж не знаю, право. На улице разве.

— Может быть, и на улице... Вы хотя бы апельсином угостили. Можно спросить апельсин?

Он опять замолчал, озираясь кругом. Лицо у него заблестело, и прыщи на лбу стали красными. Он мысленно оценивал всех женщин, выбирая себе подходящую и в то же время стесняясь своим молчанием. Говорить было совсем не о чем; кроме того, равнодушная назойливость Любы раздражала его. Ему нравилась своим большим коровьим телом толстая Катя, но, должно быть, — решал он в уме, — она очень холодна в любви, как все полные

жепщины, и к тому же некрасива лицом. Возбуждала его также и Вера своим видом мальчишки и крепкими ляжками, плотно охватываемыми белым трико, и Беленькая Маня, так похожая на невинную гимназистку, и Жена с своим энергичным, смуглым, красивым лицом. Одну минуту он совсем уж было остановился на Жене, но только дернулся на стуле и не решился: по ее развязному, недоступному и небрежному виду и по тому, как она искренно не обращала на него никакого внимания, он догадывался, что она — самая избалованная среди всех девиц заведения, привыкшая, чтобы на нее посетители шире тратились, чем на других. А педагог был человек расчетливый, обремененный большим семейством и истощенной, исковерканной его мужской требовательностью женой, страдавшей множеством жепских болезней. Преподавая в женской гимназии и в институте, он постоянно жил в каком-то тайном сладострастном бреду, и только немецкая выдержка, скупость и трусость помогали ему держать в узде свою вечно возбужденную похоть. Но раз за два-три в год он с невероятными лишениями выкраивал из своего нищенского бюджета пять или десять рублей, отказывая себе в любимой вечерней кружке пива и выгадывая на копках, для чего ему приходилось делать громадные концы по городу пешком. Эти деньги он отделял на жепщин и тратил их медленно, со вкусом, стараясь как можно более продлить и удешевить наслаждение. И за свои деньги он хотел очень многого, почти невозможного: его немецкая септиментальная душа смутно жаждала невинности, робости, поэзии в белокуром образе Гретхен, но, как мужчина, он мечтал, хотел и требовал, чтобы его ласки приводили жепщину в восторг, и трепет, и в сладкое изнеможение.

Впрочем, того же самого добивались все мужчины — даже самые ледящие, уродливые, скрюченные и бессильные из них, — и древний опыт давно уже научил жепщин имитировать голосом и движениями самую пылкую страсть, сохраняя в бурные минуты самое полнейшее хладнокровие.

— Хоть, по крайности, закажите музыкантам сыграть полечку. Пусть барышни потанцуют, — попросила ворчливо Люба.

Это было ему с руки. Под музыку, среди толкотни танцев, было гораздо удобнее решиться встать, увести из залы одну из девиц, чем сделать это среди общего молчания и чопорной неподвижности.

— А сколько это стоит? — спросил он осторожно.



— Кадриль — полтинник, а такие танцы — тридцать копеек.

— Ну что ж... пожалуйста... Мне не жаль... — согласился он, притворяясь щедрым. — Кому здесь скавать?

— А вон, музыкантам.

— Отчего же... я с удовольствием... Господин музыкант, пожалуйста, что-нибудь из легких танцев, — сказал он, кладя серебро на фортепьяно.

— Что прикажете? — спросил Исай Саввич, пряча деньги в карман. — Вальс, польку, польку-мазурку?

— Ну... что-нибудь такое...

— Вальс, вальс! — закричала с своего места Вера, большая любительница танцевать.

— Нет, польку!.. Вальс!.. Венгерку!.. Вальс! — требовали другие.

— Пускай играют польку, — решила капризным тоном Люба. — Исай Саввич, сыграйте, пожалуйста, полечку. Это мой муж, и он для меня заказывает, — прибавила она, обнимая за шею педагога. — Правда, папочка?

Но он высвободился из-под ее руки, втянув в себя голову, как черепаха, и она без всякой обиды пошла танцевать с Нюрой. Кружились и еще три пары. В танцах все девицы старались держать талию как можно прямее, а голову как можно неподвижнее, с полным безучастием на лицах, что составляло одно из условий хорошего тона заведения. Под шумок учитель подошел к Маньке Маленькой.

— Пойдемте? — сказал он, подставляя руку калачиком.

— Поедемте, — ответила она, смеясь.

Она привела его в свою комнату, убранную со всей кокетливостью спальни публичного дома средней руки: комод, покрытый вязаной скатертью, и на нем зеркало, букет бумажных цветов, несколько пустых бонбоньерок, пудреница, выцветшая фотографическая карточка белобрысого молодого человека с гордо-изумленным лицом, несколько визитных карточек; над кроватью, покрытой пикейным розовым одеялом, вдоль стены прибит ковер с изображением турецкого султана, нежащегося в своем гареме, с кальяном во рту; на стенах еще несколько фотографий франтоватых мужчин лакейского и актерского типа; розовый фонарь, свешивающийся на цепочках с потолка; круглый стол под ковровой скатертью, три венских стула, эмалированный таз и такой же кувшин в углу на табуретке.

— Угости, милочка, лафитом с лимонадом,— попросила, по заведенному обычаю, Манька Маленькая, расстегивая корсаж.

— Потом,— сурово ответил педагог.— Это от тебя самой будет зависеть. И потом: какой же здесь у вас может быть лафит? Бурда какая-нибудь.

— У нас хороший лафит,— обидчиво возразила девушка.— Два рубля бутылка. Но если ты такой скупой, купи хоть пива. Хорошо?

— Ну, пива, это можно.

— А мне лимонаду и апельсинов. Да?

— Лимонаду бутылку — да, а апельсинов — нет. Потом, может быть, я тебя даже и шампанским угощу, все от тебя будет зависеть. Если постарайшься.

— Так я спрошу, папашка, четыре бутылки пива и две лимонаду? Да? И для меня хоть плиточку шоколаду. Хорошо? Да?

— Две бутылки пива, бутылку лимонаду и больше ничего. Я не люблю, когда со мной торгуются. Если надо, я сам потребую.

— А можно мне одну подругу пригласить?

— Нет, уж пожалуйста, без всяких подруг.

Манька Маленькая высунулась из двери в коридор и крикнула звонко:

— Экономочка! Две бутылки пива и для меня бутылку лимонаду.

Пришел Симеон с подносом и стал с привычной быстротой откупоривать бутылки.

Следом за ним пришла экономка Зося.

— Ну вот, как хорошо устроились. С закопным браком! — поздравила она.

— Папаша, угости экономочку пивом,— попросила Манька.— Кушайте, экономочка.

— Ну, в таком случае за ваше здоровье, господин. Что-то лицо мне ваше точно знакомо?

Немец пил пиво, обсасывая и облизывая усы, и нетерпеливо ожидал, когда уйдет экономка. Но она, поставив свой стакан и поблагодарив, сказала:

— Позвольте, господин, получить с вас деньги. За пиво, сколько следует, и за время. Это и для вас лучше, и для нас удобнее.

Требование денег покорило учителя, потому что совершенно разрушало сентиментальную часть его намерений. Он рассердился:

— Что это, в самом деле, за хамство! Кажется, я бегать не собираюсь отсюда. И потом, разве вы не умеете

разбирать людей? Видите, что к вам пришел человек порядочный, в форме, а не какой-нибудь босяк. Что за назойливость такая!

Экономка немного сдалась.

— Да вы не обижайтесь, господин. Конечно, за визит вы сами барышние отдадите. Я думаю, не обидите, она у нас девочка славная. А уж за пиво и лимонад потрудитесь заплатить. Мне тоже хозяйке надо отчет отдавать. Две бутылки пива, по пятидесяти — рубль и лимонад тридцать — рубль тридцать.

— Господи, бутылка пива пятьдесят копеек! — возмутился немец. — Да я в любой портерной достану его за двенадцать копеек.

— Ну и идите в портерную, если там дешевле, — обиделась Зося. — А если вы пришли в приличное заведение, то это уже казенная цена — полтинник. Мы ничего лишнего не берем. Вот так-то лучше. Двадцать копеек вам сдачи?

— Да, непременно сдачи, — твердо подчеркнул учитель. — И прошу вас, чтобы больше никто не входил.

— Нет, нет, нет, что вы, — засуетилась около двери Зося. — Располагайтесь, как вам будет угодно, в полное свое удовольствие. Приятного вам аппетита.

Манька заперла за нею дверь на крючок и села немцу на одно колено, обняв его голой рукой.

— Ты давно здесь? — спросил он, прихлебывая пиво. Он чувствовал смутно, что то подражание любви, которое сейчас должно произойти, требует какого-то душевного сближения, более интимного знакомства, и поэтому, несмотря на свое нетерпение, начал обычный разговор, который ведется почти всеми мужчинами наедине с проститутками и который заставляет их лгать почти механически, лгать без огорчения, увлечения или злобы, по одному престарелому трафарету.

— Недавно, всего третий месяц.

— А сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — соврала Маленькая Манька, убаюпав себе пять лет.

— О, такая молоденькая! — удивился немец и стал, нагнувшись и кряхтя, снимать сапоги. — Как же ты сюда попала?

— А меня один офицер лишил невинности там... у себя на родине. А мамаша у меня ужас какая строгая. Если бы она узнала, она бы меня собственными руками задушила. Ну вот я и убежала из дому и поступила сюда...

— А офицера-то ты любила, который первый-то?

— Коли не любила бы, то не пошла бы к нему. Он, подлец, жениться обещал, а потом добился, чего ему было нужно, и бросил.

— Что же, тебе стыдно было в первый раз?

— Конечно, что стыдно... Ты как, папашка, любишь со светом или без света? Я фонарь немножко притушу. Хорошо?

— А что же, ты здесь не скучаешь? Как тебя зовут?

— Маней. Понятно, что скучаю. Какая наша жизнь!

Немец поцеловал ее крепко в губы и опять спросил:

— А мужчин ты любишь? Бывают мужчины, которые тебе приятны? Доставляют удовольствие?

— Как не бывать,— засмеялась Манька.— Я особенно люблю вот таких, как ты, симпатичных, толстеньких.

— Любишь? А? Отчего любишь?

— Да уж так люблю. Вы тоже симпатичный.

Немец соображал несколько секунд, задумчиво отхлебывая пиво. Потом сказал то, что почти каждый мужчина говорит проститутке в эти минуты, предшествующие случайному обладанию ее телом:

— Ты знаешь, Маришен, ты мне тоже очень нравишься. Я бы охотно взял тебя на содержание.

— Вы женат,— возразила она, притрогиваясь к его кольцу.

— Да, но, понимаешь, я не живу с женой, она не здорова, не может исполнять супружеских обязанностей.

— Бедная! Если бы она узнала, куда ты, папашка, ходишь, она бы, наверно, плакала.

— Оставим это. Так знаешь, Мари, я себе все время ищу вот такую девочку, как ты, такую скромную и хорошенькую. Я человек состоятельный, я бы тебе нашел квартиру со столом, с отоплением, с освещением. И на булавки сорок рублей в месяц. Ты бы пошла?

— Отчего не пойти, пошла бы.

Он поцеловал ее взасос, но тайное опасение быстро проскользнуло в его трусливом сердце.

— А ты здорова? — спросил он враждебным, вздрагивающим голосом.

— Ну да, здорова. У нас каждую субботу докторский осмотр.

Через пять минут она ушла от него, пряча на ходу в чулок заработанные деньги, на которые, как на первый почин, она предварительно поплевала, по суеверному обычаю. Ни о содержании, ни о симпатичности не было больше речи. Немец остался недоволен холодностью Маньки и велел позвать к себе экономку.

— Экономочка, вас мой муж к себе требует! — сказала Маня, войдя в залу и поправляя волосы перед зеркалом.

Зоя ушла, потом вернулась и вызвала в коридор Пашу. Потом вернулась в залу уже одна.

— Ты что это, Манька Маленькая, не угодила своему кавалеру? — спросила она со смехом. — Жалуетесь на тебя: «Это, говорит, не женщина, а бревно какое-то деревянное, кусок льду». Я ему Пашку послала.

— Э, противный какой! — сморщилась Манька и отплюнулась. — Лезет с разговорами. Спрашивает: ты чувствуешь, когда я тебя целую? Чувствуешь приятное волнение? Старый пес. На содержание, говорит, возьму.

— Все они это говорят, — заметила равнодушно Зоя.

Но Женя, которая с утра была в злом настроении, вдруг вспыхнула.

— Ах, он хам этакий, хамло несчастное! — воскликнула она, покраснев и энергично упершись руками в бока. — Да я бы взяла его, поганца старого, за ухо да подвела бы к зеркалу и показала бы ему его гнусную морду. Что? Хорош? А как ты еще будешь лучше, когда у тебя слюни изо рта потекут, и глаза перекосяшь, и начнешь ты захлебываться, и хрипеть, и сопеть прямо женщине в лицо. И ты хочешь за свой проклятый рубль, чтобы я перед тобой в лепешку растрепалась и чтобы от твоей мерзкой любви у меня глаза на лоб полезли? Да по морде бы его, подлца, по морде! До крови!

— О Женя! Перестань же! Пфуй! — остановила ее возмущенная ее грубым тоном щепетильная Эмма Эдуардовна.

— Не перестану! — резко оборвала она. Но сама замолчала и гневно отошла прочь с раздувающимися ноздрями и с огнем в потемневших красивых глазах.

## VII

Зал понемногу наполнялся. Пришел давно знакомый всей Яме Ванька Встанька — высокий, худой, красноносый седой старик, в форме лесного кондуктора, в высоких сапогах, с деревянным аршином, всегда торчащим из бокового кармана. Целые дни и вечера проводил он за всегдатаем в бильярдной при трактире, вечно вполпьяна, рассыпая свои шуточки, рифмы и приговорочки, фамильярничая со швейцаром, с экономками и девушками. В домах к нему относились все — от хозяйки до горничных — с небрежной, немного презрительной, но без злобы

насмешечкой. Иногда он бывал и не без пользы: передавал записочки от девиц их любовникам, мог сбегать на рынок или в аптеку. Нередко, благодаря своему развязно привешенному языку и давно угасшему самолюбию, втирался в чужую компанию и увеличивал ее расходы, а деньги, взятые при этом займы, он не уносил на сторону, а тут же тратил на женщин — разве-разве оставлял себе мелочь на папиросы. И его добродушно, по привычке, терпели.

— Вот и Ванька Встанька пришел,— доложила Нюра, когда он, уже успев поздороваться дружески за руку со швейцаром Симеоном, остановился в дверях залы, длинный, в форменной фуражке, сбитой набекрень.— Ну-ка, Ванька Встанька, валяй!

— Имею честь представиться,— тотчас же закривлялся Ванька Встанька, по-военному прикладывая руку к козырьку, — тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Тпрутинкевич-Фьютинковский. Господину Бетховену! Господину Шопену! — поздоровался он с музыкантами.— Сыграйте мне что-нибудь из оперы «Храбрый и славный генерал Анисимов, или Суматоха в коридоре». Политической экономочке Зосе мое почтение. А-га! Только на Пасху целуетесь? Запишем-с. У-ти, моя Тамалочка, мусисюпинькая ты моя!

Так, с шутками и со щипками, он обошел всех девиц и, наконец, уселся рядом с толстой Катей, которая положила ему на ногу свою толстую ногу, оперлась о свое колено локтем, а на ладонь положила подбородок и равнодушно и пристально стала смотреть, как землемер крутил себе папиросу.

— И как тебе не надоест, Ванька Встанька? Всегда ты вертишь свою козью ногу.

Ванька Встанька сейчас же задвигал бровями и кожей черепа и заговорил стихами:

Папироска, друг мой тайный,  
Как тебя мне не любить?  
Но по прихоти случайной  
Стали все тебя курить.

— Ванька Встанька, а ведь ты скоро подохнешь,— сказала равнодушно Катька.

— И очень просто.

— Ванька Встанька, скажи еще что-нибудь посмешнее, стихами,— просила Верка.

И он сейчас же послушно, встав в смешную позу, начал декламировать:

Много звезд на небе ясном,  
Но их счесть никак нельзя,  
Ветер шепчет, будто можно,  
А сонсем никак нельзя.  
Расцветают лопухи,  
Поют птицы петухи.

Балагуря таким образом, Ванька Встанька просиживал в залах заведения целые вечера и ночи. И по какому-то странному душевному сочувствию девицы считали его почти своим; иногда оказывали ему маленькие временные услуги и даже покупали ему на свой счет пиво и водку.

Через некоторое время после Ваньки Встаньки ввалилась большая компания парикмахеров, которые в этот день были свободны от работ. Они были шумны, веселы, по да же и здесь, в публичном доме, не прекращали своих мелочных счетов и разговоров об открытых и закрытых бенефисах, о хозяевах, о женах хозяев. Все это были люди в достаточной степени развращенные, лгуны, с большими надеждами на будущее, вроде, например, поступления на содержание к какой-нибудь графине. Они хотели как можно шире использовать свой довольно тяжелый заработок и потому решили сделать ревизию положительно во всех домах Ямы, только к Треппелю не решились зайти, так как там было слишком для них шикарно. Но у Анны Марковны они сейчас же заказали себе кадрили и плясали ее, особенно пятую фигуру, где кавалеры выделывают соло, совершенно как настоящие парижане, даже заложив большие пальцы в проймы жилетов. Но остаться с девицами они не захотели, а обещали прийти потом, когда закончат всю ревизию публичных домов.

И еще приходили и уходили какие-то чиновники, курчавые молодые люди в лакированных сапогах, несколько студентов, несколько офицеров, которые страшно боялись уронить свое достоинство в глазах владетельницы и гостей публичного дома. Понемногу в зале создавалась такая шумная, чадная обстановка, что никто уже там не чувствовал неловкости. Пришел постоянный гость, любовник Соськи Руль, который приходил почти ежеднeвно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, мле л и делал ей сцены за то, что она живет в публичном доме, что грешит против субботы, что ест трeфное мясо и что отбилась от семьи и великой еврейской церкви.

По обыкновению, — а это часто случалось, — экономка

Зоя подходила к нему под шумок и говорила, кривя губы:

— Ну, что вы так сидите, господин? Зад себе греете? Шли бы заниматься с девочкой.

Оба они, еврей и еврейка, были родом из Гомеля и, должно быть, были созданы самим Богом для нежной, страстной, взаимной любви, но многие обстоятельства, как, например, погром, происшедший в их городе, обеднение, полная растерянность, испуг, на время разлучили их. Однако любовь была настолько велика, что аптекарский ученик Нейман с большим трудом, усилиями и унижениями сумел найти себе место ученика в одной из местных аптек и разыскал любимую девушку. Он был настоящим правоверным, почти фанатическим евреем. Он знал, что Сонька была продана одному из скупщиков живого товара ее же матерью, знал много унижительных, безобразных подробностей о том, как ее перепродавали из рук в руки, и его набожная, брезгливая, истинно еврейская душа корчилась и содрогалась при этих мыслях, но тем не менее любовь была выше всего. И каждый вечер он появлялся в зале Анны Марковны. Если ему удавалось с громадным лишением вырезать из своего нищенского дохода какой-нибудь случайный рубль, он брал Соньку в ее комнату, но это вовсе не бывало радостью ни для него, ни для нее: после мгновенного счастья — физического обладания друг другом — они плакали, укоряли друг друга, ссорились с характерными еврейскими театральными жестами, и всегда после этих визитов Сонька Рудь возвращалась в залу с набрякшими, покрасневшими веками глаз.

Но чаще всего у него не было денег, и он просиживал около своей любовницы целыми вечерами, терпеливо и ревниво дожидаясь ее, когда Соньку случайно брал гость. И когда она возвращалась обратно и садилась с ним рядом, то он незаметно, стараясь не обращать на себя общего внимания и не поворачивая головы в ее сторону, все время осыпал ее упреками. И в ее прекрасных, влажных, еврейских глазах всегда во время этих разговоров было мученическое, но кроткое выражение.

Приехала большая компания немцев, служащих в оптическом магазине, приехала партия приказчиков из рыбного и гастрономического магазина Керешковского, приехали двое очень известных на Ямках молодых людей, — оба лысые, с редкими, мягкими, нежными волосами вокруг лысин — Колька-бухгалтер и Мишка-певец, так называли в домах их обоих. Их так же, как Карла Карло-



вича из оптического магазина и Володьку из рыбного, встречали очень радушно, с восторгами, криками и поцелуями, лстя их самолюбию. Шустрая Нюрка выскакивала в переднюю и, осведомившись, кто пришел, докладывала возбужденно, по своему обыкновению:

— Женька, твой муж пришел!

Или:

— Манька Маленькая, твой любовник пришел!

И Мишка-певец, который вовсе не был певцом, а владельцем аптекарского склада, сейчас же, как вошел, запел вибрирующим, пресекающимся, козлиным голосом:

Чу-у-уют пра-а-а-авду!

Ты ж, заря-я-я... —

что он проделывал в каждое свое посещение Анны Марковны.

Почти беспрерывно играли кадрили, вальс, польку и танцевали. Приехал и Сенька — любовник Тамары, — но, против обыкновения, он не важничал, «не разорялся», не заказывал Исай Саввичу траурного марша и не угощал шоколадом девиц... Почему-то он был сумрачен, хромал на правую ногу и старался как можно меньше обращать на себя внимание: должно быть, его профессиональные дела находились в это время в плохом обороте. Он одним движением головы, на ходу, вызвал Тамару из зала и исчез с ней в ее комнате. Приехал также и актер Эгмонт-Лаврецкий, бритый, высокий, похожий на придворного лакея своим вульгарным и нагло-презрительным лицом.

Приказчики из гастрономического магазина танцевали со всем усердием молодости и со всей чинностью, которую рекомендует самоучитель хороших нравов Германа Гоппе. В этом смысле и девицы отвечали их намерениям. У тех и у других считалось особенно приличным и светским танцевать как можно неподвижнее, держа руки опущенными вниз и головы поднятыми вверх и склоненными с некоторым гордым и в то же время утомленным и расслабленным видом. В антрактах, между фигурами нужно было со скучающим и небрежным видом обмахиваться платками... Словом, все они делали вид, будто принадлежат к самому изысканному обществу, и если танцуют, то делают это, только снисходя до малепькой товарищеской услуги. Но все-таки танцевали так усердно, что с приказчиков Керешковского пот катился ручьями.

Случилось уже два-три скандала в разных домах. Какой-то человек, весь окровавленный, у которого лицо, при

бледном свете лунного серпа, казалось от крови черным, бежал по улице, ругался и, нисколько не обращая внимания на свои раны, искал шапку, потерянную в драке. На Малой Ямской подрались штабные писаря с матросской командой. Усталые таперы и музыканты играли, как в бреду, сквозь сон, по механической привычке. Это было на исходе ночи.

Совершенно неожиданно в заведение Анны Марковны вошло семеро студентов, приват-доцент и местный репортер.

## VIII

Все они, кроме репортера, провели целый день, с самого утра, вместе, справляя маевку со знакомыми барышнями. Катались на лодках по Днепру, варили на той стороне реки, в густом горько-пахучем лозняке, полевую кашу, купались — мужчины и женщины поочередно — в быстрой теплой воде, пили домашнюю запеканку, пели звучные малороссийские песни и вернулись в город только поздним вечером, когда темная, бегучая, широкая река так жутко и весело плескалась о борта их лодок, играя отражениями звезд, серебряными зыбкими дорожками от электрических фонарей и кланяющимися огнями бакенов. И когда вышли на берег, то у каждого горели ладони от весел, приятно ныли мускулы рук и ног, и во всем теле была блаженная бодряя усталость.

Потом они проводили барышень по домам и у калиток и подъездов прощались с ними долго и сердечно со смехом и такими размашистыми рукопожатиями, как будто бы действовали рычагом насоса.

Весь день прошел весело и шумно, даже немного криливо и чуть-чуть утомительно, но по-юношески целомудренно, не пьяно, и, что особенно редко случается, без малейшей тепи взаимных обид, или ревности, или невысказанных огорчений. Конечно, такому благодушному настроению помогало солпце, свежий речной ветерок, сладкие дыхания трав и воды, радостное ощущение крепости и ловкости собственного тела при купании и гребле и сдерживающее влияние умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств.

Но, почти помимо их сознания, их чувственность — не воображение, а простая, здоровая, инстинктивная чувственность молодых игривых самцов — зажигалась от печальных встреч их рук с женскими руками и от товарищеских услужливых объятий, когда приходилось помогать барышням входить в лодку или выскакивать на бе-

рег, от нежного запаха девичьих одежд, разогретых солнцем, от женских кокетливо-испуганных криков на реке, от зрелища женских фигур, небрежно полулежавших с наивной нескромностью в зеленой траве, вокруг самовара, от всех этих невинных вольностей, которые так обычны и неизбежны на пикниках, загородных прогулках и речных катаниях, когда в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами, водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображенный и напуганный людьми зверь.

И потому в два часа ночи, едва только закрылся уютный студенческий ресторан «Воробьи» и все восьмеро, возбужденные алкоголем и обильной пищей, вышли из прокуренного, чадного подземелья наверх, на улицу, в сладостную, тревожную темноту ночи, с ее манящими огнями на небе и на земле, с ее теплым, хмельным воздухом, от которого жадно расширяются ноздри, с ее ароматами, скользкими из невидимых садов и цветников, то у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний. Весело и гордо было ощущать после отдыха новую, свежую силу во всех мышцах, глубокое дыхание легких, красную упругую кровь в жилах, гибкую послушность всех членов. И — без слов, без мыслей, без сознания — влекло в эту ночь бежать без одежд по сонному лесу, обнюхивать торопливо следы чьих-то ног в росистой траве, громким кличем призывать к себе самку.

Но расстаться было теперь очень трудно. Целый день, проведенный вместе, сбил всех в привычное, цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое потом невозможно будет восстановить. И потому они медлили и топтались на тротуаре, около выхода из трактирного подземелья, мешая движению редких прохожих. Обсуждали лицемерно, куда бы еще поехать, чтоб доконать ночь. В сад «Тиволи» оказывалось очень далеко, да к тому же еще за входные билеты платить, и цены в буфете возмутительные, и программа давно окончилась. Володя Павлов предлагал ехать к нему: у него есть дома дюжина пива и немного коньяку. Но всем показалось скучным идти среди ночи на семейную квартиру, входить на дыпочках по лестнице и говорить все время шепотом.

— Вот что, братья... Поедьте-ка лучше к девочкам, это будет вернее, — сказал решительно старый студент Лихонин, высокий, сутуловатый, хмурый и бородатый малый. По убеждениям он был анархист-теоретик, а по

призванию — страстный игрок на бильярде, на бегах и в карты — игрок с очень широким, фатальным размахом. Только накануне он выиграл в купеческом клубе около тысячи рублей в макао, и эти деньги еще жгли ему руки.

— А что ж? И верно, — поддержал кто-то. — Айда, товарищи?

— Стоит ли? Ведь это на всю ночь заводиловка... — с фальшивым благоразумием и неискренней усталостью отозвался другой.

А третий сказал сквозь притворный зевок:

— Поедьте лучше, господа, по домам... а-а-а... спать... Довольно на сегодня.

— Во сне шубы не сошьешь, — презрительно заметил Лихонин. — Герр профессор, вы едете?

Но приват-доцент Ярченко уперся и казался по-настоящему рассерженным, хотя, быть может, он и сам не знал, что пряталось у него в каком-нибудь темном закоулке души.

— Оставь меня в покое, Лихонин. По-моему, господа, это прямое и явное свинство — то, что вы собираетесь сделать. Кажется, так чудесно, мило и просто провели время, — так нет, вам непременно надо, как пьяным скотам, полезть в помойную яму. Не поеду я.

— Однако, если мне не изменяет память, — со спокойной язвительностью сказал Лихонин, — припоминаю, что не далее как прошлой осенью мы с одним будущим Момсенсом лили где-то крюшон со льдом в фортепьяно, избражали бурятского бога, плясали танец живота и все такое прочее?..

Лихонин говорил правду. В свои студенческие годы и позднее, будучи оставленным при университете, Ярченко вел самую шалую и легкомысленную жизнь. Во всех трактирах, кафешантанах и других увеселительных местах хорошо знали его маленькую, толстую, кругленькую фигурку, его румяные, отдувшиеся, как у раскрашенного амура, щеки и блестящие, влажные, добрые глаза, помнили его торопливый, захлебывающийся говор и визгливый смех.

Товарищи никогда не могли постигнуть, где он находил время для запятий наукой, по тем не менее все экзамены и очередные работы он сдавал отлично и с первого курса был на виду у профессоров. Теперь Ярченко начинал понемногу отходить от прежних товарищей и собутыльников. У него только что завелись необходимые связи с профессорским кругом, на будущий год ему предлагали чтение лекций по римской истории, и нередко в

разговоре он уже употреблял ходкое среди приват-доцентов выражение: «Мы, ученые!» Студенческая фамильярность, припудрительное компанейство, обязательное участие во всех сходках, протестах и демонстрациях становились для него невыгодными, затруднительными и даже просто скучными. Но он знал цену популярности среди молодежи и потому не решался круто разорвать с прежним кружком. Слова Лихонина, однако, заделали его.

— Ах, Боже мой, мало ли что мы делали, когда были мальчишками? Воровали сахар, пачкали штанишки, отрывали жукам крылья,— заговорил Ярченко, горячась и захлебываясь.— Но всему есть предел и мера. Я вам, господа, не смею, конечно, подавать советов и учить вас, но надо быть последовательными. Все мы согласны, что проституция — одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом зле виноваты не жепщины, а мы, мужчины, потому что спрос родит предложение. И стало быть, если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проституткам, то я совершаю тройную подлость: перед несчастной глупой женщиной, которую я подвергаю за свой поганый рубль самой унижительной форме рабства, перед человечеством, потому что, нанимая на час или на два публичную женщину для своей скверной похоти, я этим оправдываю и поддерживаю проституцию, и, наконец, это — подлость перед своей собственной совестью и мыслью. И перед логикой.

— Фью-ю! — свистнул протяжно Лихонин и проскапировал упылым топом, кивая в такт опущенной набок головой: — Понес философ паш обычный вздор: веревка — вервие простое.

— Конечно, нет ничего легче, как паясничать,— сухо отозвался Ярченко.— А по-моему, нет в печальной русской жизни более печального явления, чем эта расхлябанность и растленность мысли. Сегодня мы скажем себе: «Э! Все равно, поеду я в публичный дом или не поеду — от одного раза дело не ухудшится, не улучшится». А через пять лет мы будем говорить: «Несомненно, взятка — страшная гадость, но, знаете, дети... семья...» И точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзавцам, которых презираем, и околачиваться у них в передних. «Потому что, знаете ли,— скажем мы, хихикая,— с волками жить, по-волчьи выть». Ей-Богу, недаром какой-то министр назвал русских студентов будущими столоначальниками!

— Или профессорами,— вставил Лихонин.

— Но самое главное,— продолжал Ярченко, пропустив мимо ушей эту шпильку,— самое главное то, что я вас всех видел сегодня на реке и потом там... на том берегу... с этими милыми, славными девушками. Какие вы все были внимательные, порядочные, услужливые, но едва только вы простились с ними, вас уже тянет к публичным женщинам. Пускай каждый из вас представит себе на минутку, что все мы были в гостях у его сестер и прямо от них поехали в Яму... Что? Приятно такое предположение?

— Да, но должны же существовать какие-нибудь клапаны для общественных страстей?— важно заметил Борис Собашников, высокий, немного надменный и манерный молодой человек, которому короткий китель, едва прикрывавший толстый зад, модные, кавалерийского фасона брюки, пенсне на широкой черной ленте и фуражка прусского образца придавали фатоватый вид.— Неужели порядочнее пользоваться ласками своей горничной или вести за углом интригу с чужой женой? Что я могу поделать, если мне необходима женщина!

— Эх, очень обходима! — досадливо сказал Ярченко и слабо махнул рукой.

Но тут вмешался студент, которого в товарищеском кружке звали Рамзесом. Это был изжелта-смуглый горбоносый человек маленького роста; бритое лицо его казалось треугольным благодаря широкому, начинавшему лысеть двумя взлысинами лбу, впалым щекам и острому подбородку. Он вел довольно странный для студента образ жизни. В то время, когда его коллеги занимались попережку политикой, любовью, театром и немножко наукой, Рамзес весь ушел в изучение всевозможных гражданских исков и претензий, в крючкотворные тонкости имущественных, семейных, земельных и иных деловых процессов, в запоминание и логический разбор кассационных решений. Совершенно добровольно, ничуть не нуждаясь в деньгах, он прослужил один год клерком у потарнуса, другой — письмоводителем у мирового судьи, а весь прошлый год, будучи на последнем курсе, вел в местной газете хронику городской управы и нес скромную обязанность помощника секретаря в управлении синдиката сахарозаводчиков. И когда этот самый синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова, пустившего в продажу против договора избыток сахара, то Рамзес в самом начале предугадал и очень тонко мотивировал именно то решение, которое вынес впоследствии по этому делу сенат.

Несмотря на его сравнительную молодость, к его мнениям прислушивались, — правда, немного свысока, — довольно известные юристы. Никто из близко знавших Рамзеса не сомневался, что он сделает блестящую карьеру, да и сам Рамзес вовсе не скрывал своей уверенности в том, что к тридцати пяти годам он сколотит себе миллион исключительно одной практикой, как адвокат-цивилист. Его, нередко выбирали товарищи в председатели сходов и в курсовые старосты, но от этой чести Рамзес неизменно уклонялся, отговариваясь недостатком времени. Однако он не избегал участия в товарищеских третейских судах, и его доводы — всегда неотразимо логичные — обладали удивительным свойством оканчивать дела миром, к обоюдному удовольствию судящихся сторон. Он так же, как и Ярченко, знал хорошо цену популярности среди учащейся молодежи и если даже поглядывал на людей с некоторым презрением, свысока, то никогда, ни одним движением своих тонких, умных, энергичных губ этого не показывал.

— Никто вас и не тянет, Гаврила Петрович, непременно совершать грехопадение, — сказал Рамзес примирительно. — К чему этот пафос и эта меланхолия, когда дело обстоит совсем просто? Компания молодых русских джентльменов хочет скромно и дружно провести остаток ночи, повеселиться, попеть и принять внутрь несколько галлонов вина и пива. Но все теперь закрыто, кроме этих самых домов. Ergol..<sup>1</sup>

— Следовательно, поедем веселиться к продажным женщинам? К проституткам? В публичный дом? — насмешливо и враждебно перебил его Ярченко.

— А хотя бы? Одного философа, желая его унижить, посадили за обедом куда-то около музыкантов. А он, сядя, сказал: «Вот верное средство сделать последнее место первым». И наконец, я повторяю: если ваша совесть не позволяет вам, как вы выражаетесь, покупать женщину, то вы можете приехать туда и уехать, сохраняя свою невинность во всей ее цветущей неприкосновенности.

— Вы передергиваете, Рамзес, — возразил с неудовольствием Ярченко. — Вы мне напоминаете тех мещан, которые еще затемно собрались глазеть на казнь и гонорят: мы здесь ни при чем, мы против смертной казни, это все прокурор и палач.

---

<sup>1</sup> Следовательно!.. (Лат.)

— Пышно сказано и отчасти верно, Гаврила Петрович. Но именно к нам это сравнение может и не относиться. Нельзя, видите ли, лечить какую-нибудь тяжкую болезнь заочно, не выдавши самого больного. А ведь все мы, которые сейчас здесь стоим на улице и мешаем прохожим, должны будем когда-нибудь в своей деятельности столкнуться с ужасным вопросом о проституции, да еще какой проституции — русской! Лихонин, я, Боря Собашников и Павлов — как юристы, Петровский и Толпыгин — как медики. Правда, у Вельтмана особенная специальность — математика. Но ведь будет же он педагогом, руководителем юношества и, черт побери, даже отцом! А уж если пугать букой, то лучше всего самому на нее прежде посмотреть. Наконец, и вы сами, Гаврила Петрович, — знаток мертвых языков и будущее светило гробкопательства, — разве для вас не важно и не поучительно сравнение хотя бы современных дубличных домов с какими-нибудь помпейскими лупанарами или с институтом священной проституции в Фивах и в Вавилоне?..

— Bravo, Рамзес, великолепно! — взревел Лихонин. — И что тут долго толковать, ребята? Берите профессора под жабы и сажайте на извозчика!

Студенты, смеясь и толкаясь, обступили Ярченко, схватили его под руки, обхватили за талию. Всех их одинаково тянуло к женищинам, но ни у кого, кроме Лихонина, не хватало смелости внять на себя почин. Но теперь все это сложное, неприятное и лицемерное дело счастливо свелось к простой, легкой шутке над старшим товарищем. Ярченко и упирался, и сердился, и смеялся, стараясь вырваться. Но в это время к возившимся студентам подошел рослый черноусый городской, который уже давно глядел на них зорко и неприязненно.

— Господа студенты, прошу не скопляться. Невозможно! Проходите, куда шли.

Они двинулись гурьбою вперед. Ярченко начинал понемногу смягчаться.

— Господа, я, пожалуй, готов с вами поехать... Не подумайте, однако, что меня убедили софизмы египетского фараона Рамзеса... Нет, просто мне жаль разбивать компанию... Но я ставлю одно условие: мы там выпьем, поврем, посмеемся и все прочее... но чтобы ничего больше, никакой грязи... Стыдно и обидно думать, что мы, цвет и краса русской интеллигенции, раскиснем и пустим слюни от вида первой попавшейся юбки.

— Клянусь! — сказал Лихонин, поднимая вверх руку.

— Я за себя ручаюсь, — сказал Рамзес.



— И я! И я! Ей-Богу, господа, дадимте слово... Ярченко прав,— подхватили другие.

Они расселись по двое и по трое на извозчиков, которые уже давно, зубоскаля и переругиваясь, вереницей следовали за ними, и поехали. Лихонин для верности сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на колени к себе и соседу посадил маленького Толпыгина, розового миловидного мальчика, у которого, несмотря на его двадцать три года, еще белел на щеках детский — мягкий и светлый — пух.

— Станция у Дорошенки! — крикнул Лихонин вслед отъезжавшим извозчикам. — У Дорошенки остановка, — повторил он, обернувшись назад.

У ресторана Дорошенки все остановились, вошли в общую залу и столпились около стойки. Все были сыты, и никому не хотелось ни пить, ни закусывать. Но у каждого оставался еще в душе темный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужно-позорное, собираются принять участие в каком-то судорожном, искусственном и вовсе не веселом веселье. И у каждого было стремление довести себя через опьянение до того туманного и радужного состояния, когда всё — всё равно и когда голова не знает, что делают руки и ноги и что болтает язык. И должно быть, не одни студенты, а все случайные и постоянные посетители Ямы испытывали в большей или меньшей степени трение этой внутренней душевной занозы, потому что Дорошенко торговал исключительно только поздним вечером и ночью, и никто у него не засиживался, а так только заезжали мимоходом, па перепутье.

Пока студепты пили коньяк, пиво и водку, Рамзес все приглядывался к самому дальнему углу ресторанный зала, где сидели двое: лохматый, седой крупный старик и против него, спиной к стойке, раздвинув по столу локти и опершись подбородком на сложенные друг на друга кулаки, сгорбился какой-то плотный, низко стриженный господин в сером костюме. Старик перебирал струны лежавших перед ним гуслей и тихо напевал сиплым, но приятным голосом:

Долина моя, долипушка,  
Раздолье широ-о-о-окое.

— Позвольте-ка, ведь это наш сотрудник, — сказал Рамзес и пошел здороваться с господином в сером костюме. Через минуту он подвел его к стойке и познакомил с товарищами.

— Господа, позвольте вам представить моего соратника по газетному делу. Сергей Иванович Платонов. Самый ленивый и самый талантливый из газетных работников.

Все перезнакомились с ним, невнятно пробурчав свои фамилии.

— И поэтому высьем,— сказал Лихонин.

Ярченко же спросил с утонченной любезностью, которая никогда его не покидала:

— Позвольте, позвольте, ведь я же с вами немного знаком, хотя и заочно. Не вы ли были в университете, когда профессор Приклонский защищал докторскую диссертацию?

— Я,— ответил репортер.

— Ах, это очень приятно,— мило улыбнулся Ярченко и для чего-то еще раз крепко пожал Платонову руку.— Я читал потом ваш отчет: очень точно, обстоятельно и ловко составлено... Не будете ли добры?.. За ваше здорье!

— Тогда позвольте и мне,— сказал Платонов.— Онуфрий Захарыч, налейте нам еще... раз, два, три, четыре... девять рюмок коньяку...

— Нет, уж так нельзя... вы — наш гость, коллега,— возразил Лихонин.

— Ну, какой же я ваш коллега,— добродушно засмеялся репортер.— Я был только на первом курсе и то только полгода, вольнослушателем. Получите, Онуфрий Захарыч. Господа, прошу...

Кончилось тем, что через полчаса Лихонин и Ярченко ни за что не хотели расстаться с репортером и потащили его с собой в Яму. Впрочем, он и не сопротивлялся.

— Если я вам не в тягость, я буду очень рад,— сказал он просто.— Тем более что у меня сегодня сумасшедшие деньги. «Днепровское слово» заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть двести тысяч на билет от театральной вешалки. Виповат, я сейчас...

Он подошел к старику, с которым раньше сидел, сунул ему в руку какие-то деньги и ласково попрощался с ним.

— Куда я еду, дедушка, туда тебе ехать нельзя, завтра опять там же встретимся, где и сегодня. Прощай!

Все вышли из ресторана. В дверях Боря Собашников, всегда пемного фатоватый и без нужды высокомерный, остановил Лихопина и отозвал его в сторону.

— Удивляюсь я тебе, Лихонин,— сказал он брезгливо.— Мы собрались своей тесной компанией, а тебе не-

пременно нужно было затащить какого-то бродягу. Черт его знает, кто он такой!

— Оставь, Боря, — дружелюбно ответил Лихонин. — Он парень теплый.

## IX

— Ну, уж это, господа, свинство! — говорил ворчливо Ярченко на подъезде заведения Анны Марковны. — Если уж поехали, то, по крайности, надо было ехать в приличный, а не в какую-то трущобу. Право, господа, поедете лучше рядом, к Треппеля, там хоть чисто и светло.

— Пожалуйста, пожалуйста, синьор, — настаивал Лихонин, отворяя с придворной учтивостью дверь перед приват-доцентом, кланяясь и простирая вперед руку. — Пожалуйста.

— Да ведь мерзость... У Треппеля хоть женщины покрасивее.

Рамзес, шедший сзади, сухо рассмеялся.

— Так, так, так, Гаврила Петрович. Будем продолжать в том же духе. Осудим голодного воришку, который украл с лотка пятачковую булку, но если директор банка растратил чужой миллион на рысаков и сигары, то смягчим его участь.

— Простите, не понимаю этого сравнения, — сдержанно ответил Ярченко. — Да по мне все равно; идемте.

— И тем более, — сказал Лихонин, пропуская вперед приват-доцента, — тем более что этот дом хранит в себе столько исторических преданий. Товарищи! Десятки студенческих поколений смотрят на нас с высоты этих вешалок, и, кроме того, в силу обычного права, дети и учащиеся здесь платят половину, как в паноптикуме. Не так ли, гражданин Симеон?

Симеон не любил, когда приходили большими компаниями, — это всегда пахло скандалом в недалеком будущем; студентов же он вообще презирал за их мало понятный ему язык, за склонность к легкомысленным шуткам, за безбожие и, главное, за то, что они постоянно бунтуют против начальства и порядка. Недаром же в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов, Симеон, едва узнав об этом, вскочил на проезжавшего лихача и, стоя, точно полицеймейстер, в пролетке, помчался на место драки, чтобы принять в ней участие. Уважал он людей солидных, толстых и пожилых, которые приходили в одиночку, по секрету, заглядывая опасливо из передней в залу, боясь встретиться со знакомыми, и очень

скоро и торопливо уходили, щедро давая на чай. Таких он всегда величал «ваше превосходительство».

И потому, снимая легкое серое пальто с Ярченко, он мрачно и многозначительно огрызнулся на шутку Лихонина:

— Я здесь не гражданин, а вышибала.

— С чем имею честь поздравить, — с вежливым поклоном ответил Лихонин.

В зале было много народу. Оттанцевавшие приказчики сидели около своих дам, красные и мокрые, быстро обмахиваясь платками; от них крепко пахло старой козлиной шерстью. Мишка-певец и его друг бухгалтер, оба лысые, с мягкими, пушистыми волосами вокруг обнаженных черепов, оба с мутными, перламутровыми, пьяными глазами, сидели друг против друга, облокотившись на мраморный столик, и всё покушались запеть в унисон такими дрожащими и скачущими голосами, как будто бы кто-то часто-часто колотил их сзади по шейным позвонкам:

Чу-у-уют пра-а-в-ду,

а Эмма Эдуардовна и Зося из всех сил уговаривали их не безобразничать. Ванька Встанька мирно дремал на стуле, свесив вниз голову, положив одну длинную ногу на другую и обхватив сцепленными руками острое колено.

Девушки сейчас же узнали некоторых из студентов и побежали им навстречу.

— Тamarочка, твой муж пришел — Володенька. И мой муж тоже! Мишка! — взвизгнула Нюра, вешаясь на шею длинному, носатому, серьезному Петровскому. — Здравствуй, Мишенька. Что так долго не приходил? Я за тобой соскучилась.

Ярченко с чувством неловкости озирался по сторонам.

— Нам бы как-нибудь... Знаете ли... отдельный кабинетик, — деликатно сказал он подошедшей Эмме Эдуардовне. — И дайте, пожалуйста, какого-нибудь красного вина... Ну там еще кофе... Вы сами знаете.

Ярченко всегда внушал прислуге и метрдотелям доверие своей щегольской одеждой и вежливым, но барским обхождением. Эмма Эдуардовна охотно закивала головой, точно старая, жирная цирковая лошадь.

— Можно, можно... Пройдите, господа, сюда, в гостиную. Можно, можно... Какого ликеру? У нас только бенедиктин. Так бенедиктину? Можно, можно... И барышням позвольте войти?

— Если уж это так необходимо? — развел руками со вздохом Ярченко.

И тотчас же девушки одна за другой потянулись в маленькую гостиную с серой плюшевой мебелью и голубым фонарем. Они входили, протягивали всем поочередно непривычные к рукопожатиям, негнущиеся ладони, называли коротко, вполголоса, свое имя: Маня, Катя, Люба... Садясь к кому-нибудь на колени, обнимали за шею и, по обыкновению, начинали кланяться.

— Студентик, вы такой красивенький... Можно мне спросить апельцинов?

— Володенька, купи мне конфет! Хорошо?

— А мне шоколаду.

— Толстенский! — ластилась одетая жокеем Вера к приват-доценту, карабкаясь к нему на колени, — у меня есть подруга одна, только она больная и не может выходить в залу. Я ей снесу яблок и шоколаду? Позволяешь?

— Ну уж это выдумки про подругу! А главное, не лезь ты ко мне со своими нежностями. Сиди, как сидят умные дети, вот здесь, рядышком на кресле, вот так. И ручки сложи!

— Ах, когда я не могу!.. — извивалась от кокетства Вера, закатывая глаза под верхние веки. — Когда вы такие симпатичные.

А Лихонин на это профессиональное попрошайничество только важно и добродушно кивал головой, точно Эмиа Эдуардовна, и твердил, подражая ее немецкому акценту:

— Мощно, мощно, мощно...

— Так я скажу, дуся, лакею, чтобы он отнес моей подруге сладкого и яблок? — приставала Вера.

Такая навязчивость входила в круг их негласных обязанностей. Между девушками существовало даже какое-то вздорное, детское, странное соревнование в умении «высадить гостя из денег», — странное потому, что они не получали от этого никакого барыша, кроме разве некоторого благоволения экономки или одобрительного слова хозяйки. Но в их мелочной, однообразной, привычно праздной жизни было вообще много полуребяческой, полустерической игры.

Симеон принес кофейник, чашки, приземистую бутылку бенедиктина, фрукты и конфеты в стеклянных вазах и весело и легко захлопал пивными и винными пробками.

— А вы что же не пьете? — обратился Ярченко к репортеру Платову. — Позвольте... Я не ошибаюсь? Сергей Иванович, кажется?

— Так.

— Позвольте предложить вам, Сергей Иванович, чашку кофе. Это освежает. Или, может быть, выпьем с вами вот этого сомнительного лафита?

— Нет, уж вы разрешите мне отказаться. У меня свой напиток... Симеон, дайте мне...

— Коньяку! — поспешно крикнула Нюра.

— И с грушей! — так же быстро подхватила Манька Беленькая.

— Слушаю, Сергей Иванович, сейчас, — неторопливо, но почтительно отозвался Симеон и, нагнувшись и крякнув, звонко вырвал пробку из бутылочного горла.

— В первый раз слышу, что в Яме подают коньяк! — с удивлением произнес Лихонин. — Сколько я ни спрашивал, мне всегда отказывали.

— Может быть, Сергей Иванович знает такое петушиное слово? — пошутил Рамзес.

— Или состоит здесь на каком-нибудь особом почетном положении? — колко, с подчеркиванием вставил Борис Собащников.

Репортер вяло, не поворачивая головы, покосился на Собащникова, на нижний ряд пуговиц его короткого франтовского кителя, и ответил с растяжкой:

— Ничего нет почетного в том, что я могу пить как лошадь и никогда не пьянею, но зато я ни с кем и не ссорюсь и никого не задираю. Очевидно, эти хорошие стороны моего характера здесь достаточно известны, а потому мне оказывают доверие.

— Ах, молодчинище! — радостно воскликнул Лихонин, которого восхищала в репортере какая-то особенная, ленивая, немногословная и в то же время самоуверенная небрежность. — Вы и со мной поделитесь коньяком?

— Очень, очень рад, — приветливо ответил Платонов и вдруг поглядел на Лихонина со светлой, почти детской улыбкой, которая скрасила его некрасивое, скуластое лицо. — Вы мне тоже сразу понравились. И когда я увидел вас еще там, у Дорошенки, я сейчас же подумал, что вы вовсе не такой шершавый, каким кажется.

— Ну вот и обменялись любезностями, — засмеялся Лихонин. — Но удивительно, что мы именно здесь ни разу с вами не встречались. По-видимому, вы таки частенько бываете у Анны Марковны?

— Даже весьма.

— Сергей Иваныч у нас самый главный гость! — наивно взвизгнула Нюра. — Сергей Иваныч у нас вроде брата!

— Дура! — остановила ее Тамара.

— Это мне странно,— продолжал Лихонин.— Я тоже завсегдатай. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии.

— Местный староста! — сказал, скривив сверху вниз губы, Борис Собашников, но сказал настолько вполголоса, что Платонов, если бы захотел, мог притвориться, что он ничего не расслышал. Этот репортер давно уже возбуждал в Борисе какое-то слепое и колючее раздражение. Это еще ничего, что он был не из своего стада. Но Борис, подобно многим студентам (а также и офицерам, юнкерам и гимназистам), привык к тому, что посторонние «штатские» люди, попадавшие случайно в кутящую студенческую компанию, всегда держали себя в ней несколько независимо и подобострастно, лестили учащейся молодежи, удивлялись ее смелости, смеялись ее шуткам, любовались ее самолюбованием, вспоминали со вздохом подавленной зависти свои студенческие годы. А в Платонове не только не было этого привычного влияния хвостом перед молодежью, но, наоборот, чувствовалось какое-то рассеянное, спокойное и вежливое равнодушие.

Кроме того, сердило Собашникова — и сердило мелкой ревнивой досадой — то простое и вместе предупредительное внимание, которое репортеру оказывали в заведении все, начиная со швейцара и кончая мясистой, молчаливой Катей. Это внимание сказывалось в том, как его слушали, в той торжественной бережности, с которой Тамара наливала ему рюмку, и в том, как Манька Беленькая заботливо чистила для него грушу, и в удовольствии Зои, поймавшей ловко брошенный ей репортером через стол портсигар, в то время как она напрасно просила папироску у двух заговорившихся соседей, и в том, что ни одна из девиц не выпрашивала у него ни шоколаду, ни фруктов, и в их живой благодарности за его маленькие услуги и угощение. «Кот!» — злобно решил было про себя Собашников, но и сам себе не поверил: уж очень был некрасив и небрежно одет репортер и, кроме того, держал себя с большим достоинством.

Платонов опять сделал вид, что не расслышал дерзости, сказанной студентом. Он только нервно скомкал в пальцах салфетку и слегка отшвырнул ее от себя. И опять его веки дрогнули в сторону Бориса Собашникова.

— Да, я здесь, правда, свой человек,— спокойно продолжал он, медленными кругами двигая рюмку по столу.— Представьте себе: я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно четыре месяца.

— Нет? Серьезно? — удивился и засмеялся Ярченко.

— Совсем серьезно. Тут очень недурно кормят, между прочим. Сытно и вкусно, хотя тересчур жирно.

— Но как же это вы?..

— А так, что я подготавливал дочку Анны Марковны, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию. Ну и выговорил себе условие, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды.

— Что за странная фантазия! — сказал Ярченко. — И это вы добровольно? Или... Простите, я боюсь показаться вам нескромным... может быть, в это время... крайняя нужда?..

— Вовсе нет. Анна Марковна о меня содрала раза в три дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок.

— А-а! Я, кажется, начинаю понимать! — просиял Ярченко. — Наш новый друг, — извините за маленькую фамильярность, — по-видимому, собирает бытовой материал? И может быть, через несколько лет мы будем иметь удовольствие прочесть...

— Трррагедию из публичного дома! — вставил громко, по-актерски, Борис Собашников.

В то время, когда репортер отвечал Ярченко, Тамара тихо встала со своего места, обошла стол и, нагнувшись над Собашниковым, сказала ему шепотом на ухо:

— Миленский, хорошенький, вы бы лучше этого господина не трогали. Ей-Богу, для вас же будет лучше.

— Чтой-та? — высокомерно взглянул на нее студент, поправляя двумя расставленными пальцами пенсне. — Он — твой любовник? Кот?

— Клянусь вам чем хотите, он ни разу в жизни ни с одной из нас не оставался. Но, повторяю, вы его не задирайте.

— Ну да! Ну, конечно! — возразил Собашников, презрительно кривляясь. — У него такая прекрасная защита, как весь публичный дом. И должно быть, все вышибалы с Ямской — его близкие друзья и приятели.

— Нет, не то, — возразила ласковым шепотом Тамара. — А то, что он возьмет вас за воротник и выбросит в окно, как щенка. Я такой воздушный полет однажды уже видела. Не дай Бог никому. И стыдно, и опасно для здоровья.

— Пошла вон, сволочь! — крикнул Собашников, заматываясь на нее локтем.

— Иду, миленский, — кротко ответила Тамара и отошла от него своей легкой походкой.



Все на мгновение обернулись к студенту.

— Не буянь, барбарис! — погрозил ему пальцем Лихонин. — Ну, ну, говорите, — попросил он репортера, — все это так интересно, что вы рассказываете.

— Нет, я ничего не собираю, — продолжал спокойно и серьезно репортер. — А материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный... И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее и так далее, старая, всем надоевшая шарманка! Нет, ужасы будничные, привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчеты, эта тысячелетняя наука любовного обхождения, этот прозаический обиход, устоявшийся веками. В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд. Остается сухая профессия, контракт, договор, почти что честная торговлишка, ни хуже, ни лучше какой-нибудь бакалейной торговли. Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса! Мещанские будни — и только. Да еще привкус закрытого учебного заведения с его наивностью, грубостью, сентиментальностью и подражательностью.

— Это верно, — подтвердил Лихонин, а репортер продолжал, глядя задумчиво в свою рюмку:

— Читаем мы в публицистике, в передовых статьях разные вопли суетливых душ. И женщины-врачи тоже стараются по этой части, и стараются довольно противно. «Ах, регламентация! Ах, аболиционизм! Ах, живой товар! Крепостное положение! Хозяйки, эти жадные гетеры! Эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток!...» Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка: визгу много, а шерсти мало. Страшнее всяких страшных слов, в сто раз страшнее, какой-нибудь этакий маленький прозаический штришок, который вас вдруг точно по лбу опарашит. Возьмите хотя бы здешнего швейцара Симеона. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься: вышибала в публичном доме, зверь, почти наверно — убийца, обирает проституток, делает им «черный глаз», по здешнему выражению, то есть просто-напросто бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? На пышных подробностях архиерейского служения, на каноне честного Андрея, пастыря Критского, на творениях отца преблаженного Иоанна Дамаскина. Религиозен — необычайно! Заведу его, бывало, и он со-слезами на глазах поет мне: «Приидите, последнее целование дадимте, братие, усоп-

шему...» Из чина погребения мирских человек. Нет, вы подумайте: ведь только в одной русской душе могут ужиться такие противоречия!

— Да. Такой помолится-помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом,— сказал Рамзес.

— Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Признаться ли вам? Я, когда разговариваю один на один с Симеоном,— а говорим мы с ним подолгу и неторопливо так, часами,— я испытываю минутами настоящий страх. Суеверный страх! Точно вот я стою в сумерках на зыбкой дощечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем, и едва-едва различаю, как там, на дне, копошатся гады. А ведь он по-настоящему набожен и, я уверен, пойдет когда-нибудь в монахи и будет великим постником и молитвенником, и, черт его знает, каким уродливым образом переплетется в его душе настоящий религиозный экстаз с богохульством, с кощунством, с какой-нибудь отвратительной страстью, с садизмом или еще с чем-нибудь вроде этого?

— Однако вы не щадите объекта ваших наблюдений,— сказал Ярченко и осторожно показал глазами на девиц.

— Э, все равно. У нас с ним теперь прохладные отношения.

— Почему так? — спросил Володя Павлов, поймавший конец разговора.

— Да так... не стоит и рассказывать... — уклончиво улыбнулся репортер. — Пустяк... Давайте-ка сюда вашу рюмку, господин Ярченко.

Но торопливая Нюра, у которой ничто не могло удержаться во рту, вдруг выпалила скороговоркой:

— Потому что Сергей Иванович ему по морде дали... Из-за Нинки. К Нинке пришел один старик... И остался на ночь... А у Нинки был красный флаг... И старик все время ее мучил... А Нинка заплакала и убежала.

— Брось, Нюра, скучно,— сказал, сморщившись, Платонов.

— Одейне! (отстань) — строго приказала на жаргоне домов терпимости Тамара.

Но разбежавшуюся Нюру невозможно было остановить.

— А Нинка говорит: я, говорит, ни за что с ним не останусь, хоть режьте меня на куски... всю, говорит, меня слюнями обмочил. Ну старик, понятно, пожаловался швейцару, а швейцар, понятно, давай Нинку бить. А Сер-

гей Иваныч в это время писал мне письмо домой, в провинцию, и как услышал, что Нинка кричит...

— Зоя, зажми ей рот! — сказал Платонов.

— Так сейчас вскочил и... ап!..— И Нюрин поток мгновенно прервался, заткнутый ладонью Зои.

Все засмеялись, только Борис Собашников под шумок пробормотал с презрительным видом:

— Oh, chevalier sans peur et sans reproche!<sup>1</sup>

Он уже был довольно сильно пьян, стоял прислонившись к степе, в вызывающей позе, с заложенными в карманы брюк руками, и нервно жевал папиросу.

— Это какая же Нинка? — спросил с любопытством Рамзес. — Она здесь?

— Нет, ее нету. Такая маленькая, курносая девчонка. Наивная и очень сердитая. — Репортер вдруг внезапно и искренне расхохотался. — Извините... это я так... своим мыслям, — объяснил он сквозь смех. — Я сейчас очень живо вспомнил этого старика, как он в испуге бежал по коридору, захватив верхнюю одежду и башмаки... Такой почтенный старец, с наружностью апостола, я даже знаю, где он служит. Да и вы все его знаете. Но всего курьезнее было, когда он наконец в зале почувствовал себя в безопасности. Понимаете: сидит на стуле, надевает панталоны, никак не попадет ногой куда следует и орет на весь дом: «Безобразия! Гнусный притон! Я вас выведу на чистую воду!.. Завтра же в двадцать четыре часа!..» Знаете ли, это соединение жалкой беспомощности с грозными криками было так утомительно, что даже мрачный Симеон рассмеялся... Ну вот, кстати о Симеоне... Я говорю, что жизнь поражает, ставит в тупик своей диковиной путаницей и неразберихой. Можно наскзать тысячу громких слов о сутенерах, а вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразна и пестра жизнь! Или еще возьмите здешнюю хозяйку Анну Марковну. Эта кровопийца, гиена, мегера и так далее... — самая нежная мать, какую только можно себе представить. У нее одна дочь — Берта, она теперь в пятом классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И всё — для Берточки, всё — ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать, бонится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки, глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая,

---

<sup>1</sup> О, рыцарь без страха и упрека! (Франц.)

преданная нянька, как старей, верный, омаршивевший пудель. Ей уж давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть, и занятие ее здесь тяжелое и хлопотное, и годы ее уже почтенные. Так ведь нет! надо еще лишнюю тысячу, а там и еще и еще — все для Берточки. А у Берточки лошади, у Берточки англичанка, Берточку каждый год возят за границу, у Берточки на сорок тысяч брильянтов — черт их знает, чьи они, эти брильянты? И ведь я не только уверен, но я твердо знаю, что для счастья этой самой Берточки, нет, даже не для счастья, а предположим, что у Берточки сделается на пальчике заусеница, — так вот, чтобы эта заусеница прошла, — вообразите на секунду возможность такого положения вещей! — Анна Марковна, не сморгнув, продаст на растление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Что? Вы скажете — чудовище? А я скажу, что ее движет та же великая, неразумная, слепая, эгоистическая любовь, за которую мы все называем наших матерей святыми женщинами.

— Легче на поворотах! — заметил сквозь зубы Борис Собащников.

— Простите: я не сравнивал людей, а только обобщал первоисточник чувства. Я мог бы привести для примера и самоотверженную любовь матерей-животных. Но вижу, что затеял скучную материк. Лучше бросим.

— Нет, вы договорите, — возразил Лихонин. — Я чувствую, что у вас была цельная мысль.

— И очень простая. Давеча профессор спросил меня, не наблюдаю ли я здешней жизни с какими-нибудь писательскими целями. И я хотел только сказать, что я умею видеть, но именно не умею наблюдать. Вот я привел вам в пример Симеона и бандершу. Я не знаю сам почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная, непреодолимая действительность жизни, но ни рассказать ее, ни показать ее я не умею, — мне не дано этого. Здесь нужно великое умение взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный, бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Люди ищут ужасного в словах, в криках, в жестах. Ну вот, например, читаю я описание какого-нибудь погрома, или избиения в тюрьме, или усмирения. Конечно, описываются городовые, эти слуги произвола, эти опричники современности, шагающие по колену в крови, или как там еще пишут в этих случаях?

Конечно, возмутительно, и больно, и противно, но все это — умом, а не сердцем. Но вот я иду утром по Ле-

блуждай улице, вижу — собралась толпа, в середине девочек пяти лет, — оказывается, отстала от матери и заблудилась, или, быть может, мать ее бросила. А перед девочкой на короточках городской. Расспрашивает, как ее зовут, да откуда, да как зовут папу, да как зовут маму. Вспотел, бедный, от усилия, шапка на затылке, огромное усталое лицо, такое доброе, и жалкое, и беспомощное, а голос ласковый-преласковый. Наконец, что вы думаете? Так как девочка вся переволновалась, и уже осипла от слез, и всех дичится — он, этот самый «имеющийся постовой городской», вытягивает вперед два своих черных, заскорузлых пальца, указательный и мизинец, и начинает делать девочке козу! «Ро-огами забоду, ногами затопу!..» И вот, когда я глядел на эту милую сцену и подумал, что через полчаса этот самый постовой будет в участке бить ногами в лицо и в грудь человека, которого он до сих пор ни разу в жизни не видал и преступление которого для него совсем неизвестно, то — вы понимаете! — мне стало невыразимо жутко и тоскливо. Не умом, а сердцем. Такая чертовская путаница эта жизнь. Выпьем, Лихонин, коньяку?

— Хотите на «ты»? — предложил вдруг Лихонин.

— Хорошо. Только без поцелуйчиков, правда? Будь здоров, мой милый... Или вот еще пример. Читаю я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Громко, сильно, блестяще описывает, а я читаю ш... ну, никакого впечатления: ни волнения, ни возмущения — одна скука. Но вот на днях попадаете мне короткая хроникерская заметка о том, как где-то во Франции казнили убийцу. Прокурор, который присутствовал при последнем туалете преступника, видит, что тот надевает башмаки на босу ногу, и — болван! — напоминает: «А чулки-то?» А тот посмотрел на него и говорит так раздумчиво: «Стоит ли?» Понимаете: эти две коротенькие реплики меня камнем по черепу! Сразу раскрылся передо мною весь ужас и вся глупость насильственной смерти... Или вот еще о смерти. Умер один мой приятель, пехотный капитан, — пьяница, бродяга и душевнейший человек в мире. Мы его звали почему-то электрическим капитаном. Я был поблизости, и мне пришлось одевать его для последнего парада. Я взял его мундир и стал надевать к нему эполеты. Там, знаете, в ушке эполетных пуговиц продевается шнурок, а потом два конца этого шнурка просовываются сквозь две дырочки под воротником и изнутри, с подкладки, завязываются. И вот проделал я всю эту процедуру, завязываю шнурок петелькой, и, знаете, все у меня никак не

выходит петля: то чересчур некрепко связана, то один конец слишком короток. Копошусь я над этой ерундой, и вдруг мне в голову приходит самая удивительно простая мысль, что гораздо проще и скорее завязать узлом — ведь все равно *никто развязывать не будет*. И сразу я всем своим существом почувствовал смерть. До тех пор я видел остекленевшие глаза капитана, щупал его холодный лоб и все как-то не осязал смерти, а подумал об узле — и всего меня пронизало и точно пригнуло к земле простое и печальное сознание о невозвратимой, неизбежной гибели всех наших слов, дел и ощущений, о гибели всего видимого мира... И таких маленьких, но поразительных мелочей я мог бы привести сотню... Хотя бы о том, что такое люди испытывали на войне... Но я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим мимо этих характерных мелочей равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник, и разглядит, и подберет. И вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. «Ах, Боже мой! Да ведь это я сам — сам! — лично видел. Только мне просто не пришло в голову обратить на это пристального внимания». Но наши русские художники слова — самые совестливые и самые искренние во всем мире художники — почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, не трудно ответить на это. Может быть, по безразличности, по малодушию, из-за боязни прослыть порнографическим писателем, наконец, просто из страха, что наша кумовская критика отождествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдет копать в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга.

— Пишут же! — нехотя заметил Рамзес.

— Пишут, — в тон ему скучно повторил Платонов. — Но все это или ложь, или театральные эффекты для детей младшего возраста, или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. А самой жизни никто еще не трогал. Один большой писатель — человек с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом — подошел однажды к этой теме, и вот все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей он не ре-

шил. Он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал: «А ведь и у него, наверно, была мать». Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать. Замечательно, что этот же писатель, обаятельный своей честностью и правдивостью, приглядывался не однажды и к мужику. Но он почувствовал, что и язык, и склад мысли, и душа народа для него темны и непонятны... И он с удивительным тактом, скромно обошел душу народа стороной, а весь запас своих прекрасных наблюдений преломил сквозь глаза городских людей. Я нарочно об этом упомянул. У нас, видите ли, пишут о сыщиках, об адвокатах, об акцизных надзирателях, о педагогах, о прокурорах, о полиции, об офицерах, о сладострастных дамах, об инженерах, о баритонах,— и пишут, ей-Богу, совсем хорошо,— умно, тонко и талаптивно. Но ведь все эти люди — сор, и жизнь их не жизнь, а какой-то надуманный, призрачный, ненужный бред мировой культуры. Но вот есть две странных действительности — древних, как само человечество: проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусальных, пряничных, ернических изобразений в литературе. Я вас спрашиваю: что русская литература выжала из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Что она дала о мужике, кроме паскудных, фальшивых народнических пасторалей? Одно, всего лишь одно, но зато, правда, величайшее в мире произведение,— потрясающую трагедию, от правдивости которой захватывает дух и волосы становятся дыбом. Вы знаете, о чем я говорю...

— «Коготок увяз...» — тихо подсказал Лихонин.

— Да,— ответил репортер и с благодарностью, ласково поглядел на студента.

— Ну, что касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип,— заметил уверенно Ярченко.— Так сказать, психологическая схема...

Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя, с развальцей, вдруг загорячился:

— Сто раз слышал это суждение, сто раз! И вовсе это неправда. Под грубой и похабной профессией, под матерными словами, под пьяным, безобразным видом — и все-таки жива Сонечка Мармеладова! Судьба русской проститутки — о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь все совместилося: русский Бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, рус-

ское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальни, поглядите, поглядите на них хорошенько, — ведь все они — дети, ведь им всем по одиннадцати лет. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, навивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса — совсем как дети. Эту светлую и смешную детскость я видел у самых опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозчики клячи. И не умирает в них никогда эта бессилая жалость, это бесполезное сочувствие к человеческому страданию... Например...

Платонов обвел всех сидящих медленным взглядом и, вдруг махнув рукой, сказал усталым голосом:

— А впрочем... к черту! Я сегодня наговорился лет на десять... И все это ни к чему.

— Но в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому? — спросил Ярченко. — У вас так живо сосредоточено внимание на этом вопросе.

— Пробовал! — с невеселой усмешкой ответил Платонов. — Но ничего не выходит. Начну писать и сейчас же заплутаюсь в разных «что», «который», «был». Эпитеты выходят пошлыми. Слова простывают на бумаге. Какая-то жвачка. Знаете ли, здесь однажды проездом был Терехов... Тот... известный... Я пришел к нему и стал рассказывать ему многое-многое о здешней жизни, чего я вам не говорю из боязни наскучить. Я просил его воспользоваться моим материалом. Он выслушал меня с большим вниманием, и вот что он сказал буквально: «Не обижайтесь, Платонов, если я вам скажу, что нет почти ни одного человека из встречаемых мною в жизни, который не совал бы мне тем для романов и повестей или не учил бы меня, о чем надо писать. Тот материал, что вы мне сейчас сообщили, прямо необъятен по своему смыслу и весу. Но что я с ним поделаю? Чтобы написать такую колоссальную книгу, о которой вы думаете, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Слова его меня обескуражили и в то же время окрылили. С этих пор я верю, что не теперь, не скоро, лет через пятьдесят, но придет гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю



мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов. И все мы скажем: «Да ведь это всё мы сами видели и знали, но мы и предположить не могли, что это так ужасно!» В этого грядущего художника я верю всем сердцем.

— Амины! — сказал серьезно Лихонин. — Выпьем за него.

— А, ей-Богу, — вдруг отозвалась Манька Маленькая. — Хотя бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, б... несчастные...

В дверь постучали, и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье.

## Х

Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме поздоровалась со всеми мужчинами в села около Сергея Ивановича, позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на Мане Беленькой, а потом переменял ее, по рекомендации экономки, на Пашу. Но задорная и самоуверенная красота Жени, должно быть, сильно уязвила его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость — Карл Карлович из оптического магазина, — и взял ее в комнату.

На безмолвный — глазами — вопрос Тамары Женя с отвращением поморщилась, содрогнулась спиною и утвердительно кивнула головой.

— Ушел... Бррр!..

Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко-насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по ярко и неровно рдевшим на щеках нездоровому румянцу, по искусанным запекшимся губам чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее больная, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал (и впоследствии часто вспоминал об этом), что никогда он не видел Женю такой блестяще-красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее — иные откровенно, другие украдкой и точно мель-

ком, — с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение.

— С тобой что-то такое творится, Женя, — сказал тихо Платонов.

Она ласково, чуть-чуть провела пальцами по его руке.

— Не обращай внимания. Так... наши бабские дела... Тебе будет неинтересно.

Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских и конокрадских словечек.

— Не звони метлічка, мѣтлик фартовы, — прервала ее Тамара и с улыбкой показала глазами на репортера.

Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшний вечер и ночь, благодаря наплыву дешевой публики, несчастную Пашу брали в комнату больше десяти раз — и все разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием.

— О чем это она? — в недоумении спросил Ярченко, высоко подымая брови.

— Не беспокойтесь... ничего особенного... — ответила Женя еще взволнованным голосом. — Так... наш маленький семейный вздор... Сергей Иванович, можно мне вашего вина?

Она налила себе полстакана и выпила коньяк залпом, широко раздувая тонкие ноздри.

Платонов молча встал и пошел к двери.

— Не стоит, Сергей Иванович. Бросьте... — остановила его Женя.

— Да нет, отчего же? — возразил репортер. — Я сделаю самую простую и невинную вещь: возьму Пашу сюда, а если придется — так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет... Нюра, живо сбегай за подушкой!

Едва закрылась дверь за его широкой, неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью:

— На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы? Очень нужно связываться со всякой рванью. Черт его знает, кто он такой, — может

быть, даже шпик? Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин.

— Ну какая тебе, Боря, опасность от шпики? — добродушно возразил Лихонин.

— Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми, — сказал Рамзес. — Я его знаю за вполне порядочного человека и за хорошего товарища.

— Э! Чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет. Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип завсегдатая при публичном доме, и всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей.

— Оставь, Боря. Глупо, — укоризненно заметил Ярченко.

Но Боря не мог оставить. У него была несчастная особенность: опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык, но приводило его в мрачное, обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно-искренним и серьезным тоном, так мало подходящим к отдельному кабинету публичного дома. Но еще больше сердило Собашникова то кажущееся равнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговор.

— И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе! — продолжал кипятиться Собашников. — Какой-то апломб, снисходительность, профессорский тон... Паршивый трехкопеечный писака! Бутербродник!

Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши.

— Вот так! Браво, студентик! Браво, bravo, bravo!.. Так его, хорошенько!.. В самом деле, что это за безобразие! Вот он придет сюда, — я ему все это повторю.

— Пож-жалуйста! С-сколько угодно! — по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомерно-брезгливые складки. — Я сам повторю то же самое.

— Вот это — молодчина, за это люблю! — воскликнула радостно и зло Женя, ударив кулаком о стол. — Сразу видно сову по полету, доброго молодца по соплям!

Маня Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее глазах, и ее нервно подрагивающие ноздри, обе поняли и улыгнулись.

Маня Беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная

душа чуяла, что приближается ею же самой вызвавший скандал.

— Не ершишь, Боренька, — сказал Лихонин. — Здесь все равны.

Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван.

— Это еще зачем? — прикрикнул на нее Собащников. — Пшла, сейчас же унеси юн. Здесь не ночлежка.

— Ну, оставь ее, голубчик. Что тебе? — возразила сладким голосом Женья и спрятала подушку за спину Тамары. — Погоди, миленький, вот я лучше с тобой посижу.

Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взобралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило дыхание. Совсем вплотную около своих глаз он увидел глаза женщины — странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть секунды, на мгновение ему показалось, что в этих неживых глазах запечатлелось выражение острой, бешеной ненависти; и холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной, неизбежной беды пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки и оттолкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша:

— Вот так темперамент. Ах ты, Мессалина Пафнутьевна!.. Тебя, кажется, Женькой звать? Хорошенькая, шельма.

Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, с синим отечным отливом, мутные полузакрытые глаза улыбались слабой, идиотской улыбкой, открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки, и шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой — маленький. Она послушно подошла к дивану и послушно удеглась головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно.

— Извините, господа, я разденусь, — сказал Лихонин, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутки. — Тамара, дай ей шоколада и вина.

Борис Собащников опять картинно стал в углу, в наклонном положении, заложив ногу за ногу и задрав вверх голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самым фатовским тоном, обращаясь прямо к Платонову:

— Э... послушайте... как вас?.. Это, должно быть, и

есть ваша любовница? Э? — И он концом сапога показал по направлению лежавшей Паши.

— Что-о? — спросил протяжно Платонов, сдвигая брови.

— Или вы ее любовник — это все равно... Как эта должность здесь у вас называется? Ну, вот те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делаются своим честным заработком?.. Э?..

Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки.

— Слушайте, — сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова. — Это уже не в первый раз сегодня, что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а во-вторых, я щащу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки.

— Что за чушь? — воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом. — Какие очки? Почему очки? — Но машинально, двумя вытянутыми пальцами, он поправил дужку пенсне на переносице.

— Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз, — равнодушно сказал репортер.

Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька Беленькая удивленно ахнула и всплеснула руками. Жёня с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому.

— Ну, положим! Я и сам так дам сдачи, что не обрадуешься! — грубо, совсем по-мальчишески, выкрикнул Собашников. — Только не стоит рук марать обо всякого... — он хотел прибавить новое ругательство, но не решился, — со всяким... И вообще, товарищи, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы панибратствовать с подобными субъектами.

Он быстро и гордо пошел к дверям.

Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза, по-звериному, следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно, сбоку, ударить Платонова и отскочить — товарищи, наверно, разняли бы их и не допустили до драки. Но он тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким, бессознательным инстинктом, увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову с широким лбом и все неуклюже-ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно

сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовое каждую секунду к быстрому и страшному толчку. И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь.

— Баба с возу, кобыле легче, — насмешливо, скороговоркой сказала вслед ему Женя. — Тамарочка, налей мне еще коньяку.

Но встал с своего места длинный студент Петровский и счел нужным вступить за Собашникова.

— Вы как хотите, господа, это дело вашего личного взгляда, но я принципиально уйду вместе с Борисом. Пусть он там не прав и так далее, мы можем выразить ему порицание в своей интимной компании, но раз нашему товарищу нанесли обиду — я не могу здесь оставаться. Я уйду.

— Ах ты, Боже мой! — И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок. — Борис же все время вел себя в высокой степени пошло, грубо и глупо. Что это за такая корпоративная честь, подумаешь? Коллективный уход из редакций, из политических собраний, из публичных домов. Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища.

— Все равно, как хотите, но я уйду из чувства солидарности! — сказал, важно Петровский и вышел.

— Будь тебе земля пухом! — послала ему вдогонку Женя.

Но как извилисты и темны пути человеческой души! Оба они — и Собашников и Петровский — поступили в своем негодовании довольно искренно, но первый только на половину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки стучалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровский, совершенно с тою же целью и имея в виду ту же Женю, пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы три рубля. В общей зале они поладили между собою, а через десять минут в полуотворенную дверь кабинета просунула свое косенькое, розовое, хитрое лицо экономка Зося.

— Женечка, — позвала она, — иди, там тебе белое принесли, посчитай. А тебя, Нюра, актер просит прийти к нему на минутку, выпить шампанского. Он с Генриеттой и с Маней Большой.

Быстрая и нелепая ссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и тер-

зания совести. И несмотря на то что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе:

— Господа, ей-Богу, я лучше уйду. К чему я буду расстраивать ваш кружок? Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь, я уже все уплатил Симеону, когда ходил за Пашей.

Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал.

— Да нет, черт побери, я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята — и Борис, и Васька. Но еще молоды и на свой собственный хвост лают. Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится.

Он ушел, но вернулся через пять минут.

— Упокоятся,— мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой.— Оба.

## XI

В это время в кабинет вошел Симеон с подносом, на котором стояли два бокала с игристым золотым вином и лежала большая визитная карточка.

— Позвольте успросить, кто здесь будет Гаврила Петрович господин Ярченко? — сказал он, оглядывая сидевших.

— Я! — отозвался Ярченко.

— Пожалуйте-с. Господин актер прислали.

Ярченко взял визитную карточку, украшенную сверху громадной маркизской короной, и прочитал вслух:

### ЕВМЕНИЙ ПОЛУЭКТОВИЧ ЭГМОНТ-ЛАВРЕЦКИЙ

*Драматический артист столичных театров*

— Замечательно,—сказал Володя Павлов,— что все русские Гаррики носят такие странные имена, вроде Хрисанфов, Фетисов, Мамантов и Епимахов.

— И кроме того, самые известные из них обязательно или картавят, или пришепетывают, или заикаются,— прибавил репортер.

— Да, но замечательнее всего то, что я совсем не имею высокой чести знать этого артиста столичных театров. Впрочем, здесь на обороте что-то еще написано. Судя по почерку, писано человеком сильно пьяным и слабо грамотным.

— «Пю» — не пью, а пю,— пояснил Ярченко.— «Пю за здоровье светила русской науки Гаврила Петровича Ярченко, которого случайно увидел, проходя мимо по коллатору. Желал бы чокнуться лично. Если не помните, то

вспомните Народный театр, «Бедность не порок» и скромного артиста, игравшего Африкана».

— Да, это верно, — сказал Ярченко. — Мне как-то навязали устроить этот благотворительный спектакль в Народном театре. Смутно мелькает у меня в памяти и какое-то бритое гордое лицо, но... Как быть, господа?

Лихонин ответил добродушно:

— А волоките его сюда. Может быть, он смешной?

— А вы? — обратился приват-доцент к Платонову.

— Мне все равно. Я его немножко знаю. Сначала будет кричать: «Кёльнер, шампанского!», потом распиалется о своей жене, которая — ангел, потом скажет патристическую речь и, наконец, поскандалит из-за счета, но не особенно громко. Да ничего, он занятый.

— Пусть идет, — сказал Володя Павлов из-за плеча Кати, сидевшей, болтая ногами, у него на коленях.

— А ты, Вельтман?

— Что? — встрепнулся студент. Он сидел на диване спиной к товарищам около лежавшей Паши, нагнувшись над ней, и давно уже с самым дружеским, сочувственным видом поглаживал ее то по плечам, то по волосам на затылке, а она уже улыбалась ему своей застенчиво-бесстыдной и бессмысленно-страстной улыбкой сквозь полуопущенные и трепетавшие ресницы. — Что? В чем дело? Ах да, можно ли сюда актера? Ничего не имею против. Пожалуйста.

Ярченко послал через Симеона приглашение, и актер пришел и сразу же начал обычную актерскую игру. В дверях он остановился, в своем длинном сюртуке, сиявшем шелковыми отворотами, с блестящим цилиндром, который он держал левой рукой перед серединой груди, как актер, изображающий на театре пожилого светского льва или директора банка. Приблизительно этих лиц он внутренне и представлял себе.

— Будет ли мне позволено, господа, вторгнуться в вашу тесную компанию? — спросил он жирным, ласковым голосом, с полупоклоном, сделанным несколько набок.

Его попросили, и он стал знакомиться. Пожимая руки, он оттопыривал вперед локоть и так высоко подымал его, что кисть оказывалась гораздо ниже. Теперь это уже был не директор банка, а этаким лихой, могодцеватый малый, спортсмен и кутила из золотой молодежи. Но его лицо, с взъерошенными дикими бровями и с обнаженными безволосыми веками, было вульгарным, суровым и низменным лицом типичного алкоголика, развратника и мелко жестокого человека. Вместе с ним пришли две его



дамы: Генриетта — самая старшая по годам девица в заведении Анны Марковны, опытная, все видевшая и ко всему притерпевшаяся, как старая лошадь на приводе у молотилки, обладательница густого баса, но еще красивая женщина, и Манька Большая, или Манька Крокодил. Генриетта еще с прошлой ночи не расставалась с актером, бравшим ее из дома в гостиницу.

Усевшись рядом с Ярченко, он сейчас же заиграл новую роль — он сделался чем-то вроде старого добряка-помещика, который сам был когда-то в университете и теперь не может глядеть на студентов без тихого отеческого умиления.

— Поверьте, господа, что душой отдыхаешь среди молодежи от всех этих житейских дрязг, — говорил он, придавая своему жестокому и порочному лицу по-актерски преувеличенное и неправдоподобное выражение растроганности. — Эта вера в святой идеал, эти честные порывы!.. Что может быть выше и чище нашего русского студенчества?.. Кёльнер! Шампанскава-а! — заорал он вдруг оглушительно и треснул кулаком по столу.

Лихонин и Ярченко не захотели остаться у него в долгу. Началась попойка. Бог знает каким образом в кабинете очутились вскоре Мишка-певец и Колька-бухгалтер, которые сейчас же запели своими скачущими голосами:

Чу-у-у-уют пра-а-а-авду,  
Ты ж, заря-я-я-я, скорре-е-е-е...

Появился и проснувшийся Ванька Встанька. Опустив умильно набок голову и сделав на своем морщинистом, старом лице Дон-Кихота узенькие, слезливые, сладкие глазки, он говорил убедительно-просящим тоном:

— Господа студенты... угостили бы старичка... Ей-Богу, люблю образование... Довольте!

Лихонин всем был рад, но Ярченко сначала — пока ему не бросилось в голову шампанское — только поднимал вверх свои коротенькие черные брови с боязливым, удивленным и наивным видом. В кабинете вдруг сделалось тесно, дымно, шумливо и душно. Симеон с грохотом запер снаружи болтами ставни. Женщины, только что отделившись от визита или в промежутке между танцами, заходили в комнату, сидели у кого-нибудь на коленях, курили, пели вразброд, пили вино, целовались, и опять уходили, и опять приходили. Приказчики от Керешковского, обиженные тем, что девицы больше уделяли внимания кабинету, чем залу, затеяли было скандал и пробовали вступать со студентами в вадорное объяснение, но Симеон в

один миг укротил их двумя-тремя властными словами, брошенными как будто бы мимоходом.

Вернулась из своей комнаты Нюра и немного спустя вслед за ней Петровский. Петровский с крайне серьезным видом заявил, что он все это время ходил по улице, обдумывая происшедший инцидент, и, наконец, пришел к заключению, что товарищ Борис был действительно не прав, но что есть и смячающее его вину обстоятельство — опьянение. Пришла потом и Женья, но одна: Собашников зашел в ее комнату.

У актера оказалась пропасть талантов. Он очень верно подражал жужжанию мухи, которую пьяный ловит на оконном стекле, и звукам пилы; смешно представлял, став лицом в угол, разговор нервной дамы по телефону, подражал пению граммофонной пластинки и, наконец, чрезвычайно живо показал мальчишку-персиянина с ученой обезьянкой. Держась рукой за воображаемую цепочку и в то же время оскаливаясь, приседая, как мартышка, часто моргая веками и почесывая себе то зад, то волосы на голове, он пел гнусавым, однотонным и печальным голосом, коверкая слова:

Малядой кизак па войпа пишол,  
Малядой баришня под забором валаются,  
Айна, айпа, ай-на-на-на, ай-на-на-па-на.

В заключение он взял на руки Маню Беленькую, завернул ее бортами сюртука и, протянув руку и сделав плачущее лицо, закивал головой, склоненной набок, как это делают черномазые, грязные восточные мальчишки, которые шляются по всей России в длинных старых солдатских шинелях, с обнаженной, бронзового цвета грудью, держа за пазухой кашляющую, облезлую обезьянку.

— Ты кто такой? — строго спросила толстая Катя, зная и любившая эту шутку.

— Сербиян, барина-а-а, — жалобно простонал в нос актер. — Подари что-нибудь, барина-а-а.

— А как твою обезьянку зовут?

— Матрешка-а-а... Он, барина, голодни-и-ий... он кушай хочи-и-ить.

— А паспорт у тебя есть?

— Ми сербия-а-ан. Дай что-нибудь, барина-а-а...

Актер оказался совсем не лишним. Он произвел сразу много шума и поднял подавленное настроение. И поминутно он кричал зычным голосом: «Кёльнер! Шампанскава-а-а!» — хотя привыкший к его манере Симеон очень мало обращал внимания на эти крики.

Началась настоящая русская, громкая и непонятная бестолочь. Розовый, белокурый, миловидный Толпыгин играл на пианино сегидилью из «Кармен», а Ванька Встанька плясал под нее камаринского мужика. Подпяв кверху узкие плечи, весь искособочившись, растопырив пальцы опущенных вниз рук, он затейливо перебирал на месте длинными, тонкими ногами, потом вдруг пронзительно ухал, вскидывался и выкрикивал в такт своей дикой пляски:

Ух! Пляши, Матвей,  
Не жалея лаптей!..

— Эх, за одну выходку четвертной мало!— приговаривал он, встряхивая длинными седеющими волосами.

— Чу-у-уют пра-а-а-авду!— ревели два приятеля, с трудом подымая отяжелевшие веки над мутными, закисшими глазами.

Актер стал рассказывать похабные анекдоты, высыпая их как из мешка, и женщины визжали от восторга, сгибались пополам от смеха и отваливались на спинки кресел. Вельтман, долго шептавшийся с Пашей, незаметно, под шумок, ускользнул из кабинета, а через несколько минут после него ушла и Паша, улыбаясь своей тихой, безумной и стыдливой улыбкой.

Да и все остальные студенты, кроме Лиховина, один за другим, кто потихоньку, кто под каким-нибудь предлогом, исчезали из кабинета и подолгу не возвращались. Володе Павлову захотелось поглядеть на танцы, у Толпыгина разболелась голова, и он попросил Тамару провести его умыться, Петровский, тайно перехватив у Лиховина три рубля, вышел в коридор и уже оттуда послал экономку Зосю за Манькой Беленькой. Даже благоразумный и брезгливый Рамзес не смог справиться с тем прямым чувством, какое в нем возбуждала сегодняшняя странная яркая и болезненная красота Жени. У него оказалось на нынешнее утро какое-то важное, неотложное дело, надо было поехать домой и хоть два часика поспать. Но, простившись с товарищами, он, прежде чем выйти из кабинета, быстро и многозначительно указал Жене глазами на дверь. Она поняла, медленно, едва заметно, опустила ресницы в знак согласия, и когда опять их подняла, то Платонова, который, почти не глядя, видел этот немой разговор, поразило то выражение злобы и угрозы в ее глазах, с каким она проводила спину уходившего Рамзеса. Выждав пять минут, она встала, сказала: «Извините,

я сейчас», — и вышла, раскачивая своей оранжевой короткой юбкой.

— Что же? Теперь твоя очередь, Лихонин? — спросил насмешливо репортер.

— Нет, брат, ошибся! — сказал Лихонин и прищелкнул языком. — И не то что я по убеждению или из принципа... Нет! Я, как анархист, исповедываю, что чем хуже, тем лучше. Но, к счастью, я игрок и весь свой темперамент трачу на игру, поэтому во мне простая брезгливость говорит гораздо сильнее, чем это самое неземное чувство. Но удивительно, как совпали наши мысли. Я только что хотел тебя спросить о том же.

— Я — нет. Иногда, если сильно устану, я ночую здесь. Беру у Исаея Саввича ключ от его комнатки и сплю на диване. Но все девицы давно уже привыкли к тому, что я — существо третьего пола.

— И неужели... никогда?..

— Никогда.

— Уж что верно, то верно! — воскликнула Нюра. — Сергей Иванович как святой отшельник.

— Раньше, лет пять тому назад, я и это испытал, — продолжал Платонов. — Но, знаете, уж очень это скучно и противно. Вроде тех мух, которых сейчас представлял господин артист. Слепились на секунду на подоконнике, а потом в каком-то дурацком удивлении почесали задними лапками спину и разлетелись навеки. А разводить здесь любовь?.. Так для этого я герой не их романа. Я некрасив, с женщинами робок, стеснителен и вежлив. А они здесь жаждут диких страстей, кровавой ревности, слез, отравлений, побоев, жертв — словом, истеричного романтизма. Да оно и понятно. Женское сердце всегда хочет любви, а о любви им говорят ежедневно разными кислотами, слюнявыми словами. Невольно хочется в любви перцу. Хочется уже не слов страсти, а трагически страстных поступков. И поэтому их любовниками всегда будут воры, убийцы, сутенеры и другая сволочь. А главное, — добавил Платонов, — это тотчас же испортило бы мне все дружеские отношения, которые так славно наладились.

— Будет шутить! — недоверчиво возразил Лихонин. — Что же тебя заставляет здесь дневать и ночевать? Будь ты писатель — дело другого рода. Легко найти объяснение: ну, собираешь типы, что ли... наблюдаешь жизнь... Вроде того профессора-немца, который три года прожил с обезьянами, чтобы изучить их язык и нравы. Но ведь ты сам сказал, что писательством не балуешься?

— Не то что не балуюсь, а просто не умею, не могу.

— Запишем. Теперь предложим другое — что ты являешься сюда как проповедник лучшей, честной жизни, вроде такого спасителя погибающих душ. Знаешь, как на заре христианства иные святые отцы, вместо того чтобы стоять на столпе тридцать лет или жить в лесной пещере, шли на торжища, в дома веселья, к блудницам и скоморохам. Но ведь ты не так?

— Не так.

— Зачем же, черт побери, ты здесь толчешься? Я чудесно же вижу, что многое тебе самому противно, и тяжело, и больно. Например, эта дурацкая ссора с Борисом или этот лакей, бьющий женщину, да и вообще постоянное созерцание всяческой грязи, похоти, зверства, пошлости, пьянства. Ну, да раз ты говоришь, — я тебе верю, что блуду ты не предаешься. Но тогда мне еще непонятнее твой *modus vivendi*<sup>1</sup>, выражаясь штилем передовых статей.

Репортер ответил не сразу.

— Видишь ли, — заговорил он медленно, с расстановками, точно в первый раз вслушиваясь в свои мысли и взвешивая их. — Видишь ли, меня притягивает и интересует в этой жизни ее... как бы это выразиться?... ее страшная, обнаженная правда. Понимаешь ли, с нее как будто бы сдернуты все условные покровы. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества, нет никаких сделок ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни с своей совестью. Никаких иллюзий, никаких прикрас! Вот она — я! Публичная женщина, общественный сосуд, клоака для стока избытка городской похоти. Иди ко мне любой, кто хочет, — ты не встретишь отказа, в этом моя служба.

Но за секунду этого сладострастия впопыхах — ты заплатишь деньгами, отвращением, болезнью и позором. И все. Нет ни одной стороны человеческой жизни, где бы основная, главная правда сияла с такой чудовищной, безобразной голой яркостью, без всякой тени человеческого глання и самообеления.

— Ну, положим! Эти женщины врут, как зеленые лошади. Поди-ка, поговори с ней о ее первом падении. Такого наплетет.

— А ты не спрашивай. Какое тебе дело? Но если они и лгут, то лгут совсем как дети. А ведь ты сам знаешь, что дети — это самые первые, самые милые вральщики и в то же время самый искренний на свете народ. И заме-

---

<sup>1</sup> Образ жизни (лат.).

чительно, что и те, и другие, то есть и проститутки и дети, лгут только нам — мужчинам — и взрослым. Между собой они не лгут — они лишь вдохновенно импровизируют. Но нам они лгут потому, что мы сами этого от них требуем, потому что мы лезем в их совсем чуждые нам души со своими глупыми приемами и расспросами, потому, наконец, что они нас втайне считают большими дураками и бестолковыми притворщиками. Да вот хочешь, я тебе сейчас пересчитаю по пальцам все случаи, когда проститутка непременно лжет, и ты сам убедишься, что к лганью ее побуждает мужчина.

— Ну-ну, посмотрим.

— Первое: она беспощадно красится, даже иногда и в ущерб себе. Отчего? Оттого, что каждый прыщавый юнкер, которого так тяготит его половая зрелость, что он весною глупеет, точно тетерев на току, и какой-нибудь жалкий чинодрал из управы благочиния, муж беременной жены и отец девяти младенцев, — ведь оба они приходят сюда вовсе не с благоразумной и простой целью оставить здесь избыток страсти. Он, негодяй, пришел насладиться, ему, — этакому эстету! — видите ли, нужна красота. А все эти девицы, эти дочери простого, незатейливого великого русского народа, как смотрят на эстетику? «Что сладко — то вкусно, что красно — то красиво». И вот на, изволь, получай себе красоту из сурьмы, белил и румян.

Это раз. Второе то, что этот же распрекрасный кавалер, мало того что хочет красоты, — нет, ему подай еще подобие любви, чтобы в женщине от его ласк зажегся бы этот самый «агонь безумнай са-та-ра-са-ти!», о которой поется в идиотских романах. А! Ты *этого* хочешь? На! И женщина лжет ему лицом, голосом, вздохами, стонами, телодвижениями. И он сам ведь в глубине души знает про этот профессиональный обман, но — подите же! — все-таки обольщается: «Ах, какой я красивый мужчина! Ах, как меня женщины любят! Ах, в какое я их привожу иступление!..» Знаете, бывает, что человеку с самой отчаянной наглостью, самым неправдоподобным образом льстят в глаза, и он сам это отлично видит и знает, но — черт возьми! — какое-то сладостное чувство все-таки обмасливает душу. Так и здесь. Спрашивается: чей же почин во лжи?

А вот вам, Лихонин, еще и третий пункт. Вы его сами подсказали. Больше всего они лгут, когда их спрашивают: «Как дошла ты до жизни такой?» Но какое же право ты имеешь ее об этом спрашивать, черт бы тебя побрал?! Ведь она не лезет же в твою интимную жизнь?

Она же не интересуется твоей первой «святой» любовью или невинностью твоих сестер и твоей невесты. Ага! Ты платишь-деньги? Чудесно! Бандерша, и вышибала, и полиция, и медицина, и городская управа блюдут твои интересы. Прекрасно! Тебе гарантировано вежливое и благопристойное поведение со стороны нанятой тобою для любви проститутки, и личность твоя неприкосновенна... хотя бы даже в самом прямом смысле, в смысле пощечины, которую ты, конечно, заслуживаешь своими бесцельными и, может быть, даже мучительными расспросами. Но ты за свои деньги хотел еще и правды? Ну уж этого тебе никогда не учесть и не проконтролировать. Тебе расскажут именно такую шаблонную историю, какую ты — сам человек шаблона и пошляк — легче всего переваришь. Потому что сама по себе жизнь или чересчур обыденна и скучна для тебя, или уж так чересчур неправдоподобна, как только умеет быть неправдоподобной жизнь. И вот тебе вечная средняя история об офицере, о приказчике, о ребенке и о престарелом отце, который там, в провинции, оплакивает заблудшую дочь и умоляет ее вернуться домой. Но заметь, Лихонин, все, что я говорю, к тебе не относится. В тебе, честное слово, я чувствую искреннюю и большую душу... Давай выпьем за твое здорье?

Они выпили.

— Говорить ли дальше? — продолжал нерешительно Платонов. — Скучно?

— Нет, нет, прошу тебя, говори.

— Лгут они еще, и лгут особенно невинно, тем, кто перед ними красуется на политических конях. Тут они со всем, с чем хочешь, соглашаются. Я ей сегодня скажу: «Долой современный буржуазный строй! Уничтожим бомбами и кинжалами капиталистов, помещиков и бюрократию!» Она горячо согласится со мною. Но завтра лабазник Ноздрунов будет орать, что надо перевешать всех социалистов, передрать всех студентов и разгромить всех жидов, причащающихся христианской кровью. И она радостно согласится и с ним. Но если к тому же еще вы воспламените ее воображение, влюбите ее в себя, то она за вами пойдет всюду, куда хотите: на погром, на баррикаду, на воровство, на убийство. Но и дети ведь так же податливы. А они, ей-Богу, дети, милый мой Лихонин...

В четырнадцать лет ее растлили, а в шестнадцать она стала патентованной проституткой, с желтым билетом и с венерической болезнью. И вот вся ее жизнь обвешана и отгорожена от вселенной какой-то причудливой, слепой и глухой стеною. Обрати внимание на ее обиходный сло-

барь — тридцать — сорок слов, не более, — совсем как у ребенка или дыкаря: есть, пить, спать, мужчина, кровать, хозяйка, рубль, любовник, доктор, больница, белье, гореловой — вот и все. Ее умственное развитие, ее опыт, ее интересы так и остаются на детском уровне до самой смерти, совершенно так же, как у седой и наивной классной дамы, с десяти лет не переступавшей институтского порога, как у монашенки, отдавшей ребенку в монастырь. Словом, предстань себе дерево настоящей крупной породы, но выращенное в стеклянном колпаке, в банке из-под варенья. И именно к этой детской стороне их быта я и отношу их вынужденную ложь — такую невинную, беспредельную и привычную... Но зато какая страшная, голая, ничем не украшенная, откровенная правда в этом деловом торге о цене ночи, в этих десяти мужчинах в вечер, в этих печатных правилах, изданных отцами города, об употреблении раствора берной кислоты и о содержании себя в чистоте, в еженедельных докторских осмотрах, в скверных болезнях, на которые смотрят так же легко и шуточно, так же просто и без страдания, как на насморк, в глубоком отвращении этих женщин к мужчинам — таком глубоком, что все они, без исключения, возмещают его лесбийским образом и даже ничуть этого не скрывают. Вот вся их нелепая жизнь у меня как на ладони, со всем ее цинизмом, уродливой и грубой несправедливостью, но нет в ней той лжи и того притворства перед людьми и перед собою, которые опутывают все человечество сверху донизу. Подумай, милый Лихонин, сколько нудного, длительного, противного обмана, сколько ненависти в любом брачном сожительстве в девяносто девяти случаях из ста. Сколько слепой, беспощадной жестокости — именно не животной, а человеческой, разумной, дальновидной, расчетливой жестокости — в святом материнском чувстве, и смотри, какими нежными цветами разубрано это чувство! А все эти ненужные, шутовские профессии, выдуманные культурным человеком для охраны моего гнезда, моего куска мяса, моей женщины, моего ребенка, эти разные надзиратели, контролеры, инспекторы, судьи, прокуроры, тюремщики, адвокаты, начальники, чиновники, генералы, солдаты и еще сотни и тысячи названий. Все они обслуживают человеческую жадность, трусость, порочность, рабство, узаконенное сладострастие, лень — ничтожество! Да, вот оно, настоящее слово: человеческое ничтожество! А какие пышные слова! Алтарь отечества, христианское сострадание к ближнему, прогресс, священный долг, священная собственность, святая любовь. Тьфу! Ни



одному красивому слову я теперь не верю, а тошно мне с этими лгунишками, трусами и обжорами до бесконечности! Нищенки!.. Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он — Бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, ах, особенно к земле с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. А человек так изолгался, испропащайничая и унижаясь!.. Эх, Лихонин, тоска!

— Я, как анархист, отчасти понимаю тебя, — сказал задумчиво Лихонин. Он как будто бы слушал и не слушал репортера. Какая-то мысль тяжело, в первый раз, рождалась у него в уме. — Но одного не постигаю. Если уж так тебе осмердело человечество, то как ты терпишь, да еще так долго, вот это все, — Лихонин обвел стол круглым движением руки, — самое подлое, что могло придумать человечество?

— А я и сам не знаю, — сказал простодушно Платонов. — Видишь ли, я — бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером, — всего и не упомяну. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-Богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесел и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус... Так-то вот я и забрел на публичный дом, и чем больше в него вглядываюсь, тем больше во мне растет тревога, непонимание и очень большая злость. Но и этому скоро конец. Как перевалит дедо на осень — опять айда! Поступлю на рельсопрокатный завод. У меня приятель есть один, он устроит... Постой, постой, Лихонин... Послушай актера... Это акт третий.

Эгмонт-Лаврецкий, до сих пор очень удачно подражавший то поросенку, которого сажают в мешок, то ссоре кошки с собакой, стал понемногу раскисать и опускаться. На него уже находил очередной стих самообличения, в припадке которого он несколько раз покушался поцеловать у Ярченко руку. Веки у него покраснели, вокруг

бритых колючих губ углубились плаксивые морщины, и по голосу было слышно, что его нос и горло уже переполнялись слезами.

— Служу в фарсе!— говорил он, бия себя в грудь кулаком.— Кривляюсь в полосатых кальсонах на потеху сытой толпе! Угасил свой светильник, зарыл в землю талант, как раб ленивый! А пре-е-жде,— заблеял он трагически,— пре-е-жде-е-е! Спросите в Новочеркасске, спросите в Твери, в Устюжне, в Звенигородке, в Крыжополе. Каким я был Жадовым и Белугиным, как я играл Макса, какой образ я создал из Вельтищева — это была моя коронная ро-оль. Надин-Перекопский начинал со мной у Сумбекова! С Никифоровым-Павленко служил. Кто сделал имя Легунову-Почайнину? Я! А тепе-ерь...

Он всхлипнул носом и полез целовать приват-доцента.

— Да! Презирайте меня, клеймите меня, честные люди. Паясничаю, пьянствую... Продал и рóзлил священный елей! Сижу в вертепе с продажным товаром. А моя жена... святая, чистая, голубка моя!.. О, если бы она знала, если бы только она знала! Она трудится, у нее модный магазин, у нее пальцы — эти ангельские пальцы — истыканы иголкой, а я! О, святая женщина! И я,— негодяй!— на кого я тебя меняю! О, ужас!— Актер схватил себя за волосы.— Профессор, дайте я поцелую вашу учебную руку. Вы один меня понимаете. Поедьте, я вас познакомлю с ней, вы увидите, какой это ангел!.. Она ждет меня, она не спит ночей, она складывает ручки моим малюткам и вместе с ними шепчет: «Господи, спаси и сохрани папу».

— Врешь ты все, актер!— сказала вдруг пьяная Манька Беленькая, глядя с cepавистью на Эгмонта-Лаврецкого. — Ничего она не шепчет, а преспокойно спит с мужчиной на твоей кровати.

— Молчи, б....!— завопил истуупленно актер и, схватив за горло бутылку, высоко поднял ее над головой.— Держите меня, иначе я размозжу голову этой стерве. Не смей осквернять своим поганым языком...

— У меня язык не поганный, я причастие принимаю,— дерзко ответила женщина.— А ты, дурак, рога носишь. Ты сам шляешься по проституткам, да еще хочешь, чтобы тебе жена не изменяла. И нашел же, болван, место, где слюну вожжой распустить. Зачем ты детей-то приплел, папа ты злосчастный! Ты на меня не ворочай глазами и зубами не скрипи. Не запугаешь! Сам ты б....!

Потребовалось много усилий и красноречия со стороны Ярченки, чтобы успокоить актера и Маньку Белень-

кую, которая всегда после бенедиктина лезла на скандал. Актер под конец обширно и некрасиво, по-старчески, расплакался и рассморкался, ослабел, и Генриетта увела его к себе.

Всеми уже овладело утомление. Студенты один за другим возвращались из спален, и врозь от них с равнодушным видом приходили их случайные любовницы. И правда, и те и другие были похожи на мух, самцов и самок, только что разлетевшихся с оконного стекла. Они зевали, потягивались, и с их бледных от бессонницы, нездорово лоснящихся лиц долго не сходило невольное выражение тоски и брезгливости. И когда они, перед тем как разъехаться, прощались друг с другом, то в их глазах мелькало какое-то враждебное чувство, точно у соучастников одного и того же грязного и ненужного преступления.

— Ты куда сейчас?— вполголоса спросил у репортера Лихонин.

— А право, сам не знаю. Хотел было переночевать в кабинете у Исая Саввича, но жаль потерять такое чудесное утро. Думаю выкупаться, а потом сяду на паром и поеду в Липский монастырь к одному знакомому пьяному чернецу. А что?

— Я тебя попрошу остаться немного и пересидеть остальных. Мне нужно сказать тебе два очень важных слова.

— Идет.

Последний ушел Ярченко. Он ссылался на головную боль и усталость. Но едва он вышел из дома, как репортер схватил за руку Лихонина и быстро потащил его в стеклянные сени подъезда.

— Смотри!— сказал он, указывая на улицу.

И сквозь оранжевое стекло цветного окошка Лихонин увидел приват-доцента, который звонил к Треппелю. Через минуту дверь открылась, и Ярченко исчез за ней.

— Как ты узнал?— спросил с удивлением Лихонин.

— Пустяки. Я видел его лицо и видел, как его руки гладили Веркино трико. Другие поменьше стеснялись. А этот стыдлив.

— Ну, так пойдем,— сказал Лихонин.— Я тебя не долго задержу.

## XII

Из девиц остались в кабинете только две: Женя, пришедшая в ночной кофточке, и Люба, которая уже давно спала под разговор, свернувшись калачиком в большом

плюшевом кресле. Свежее веснушчатое лицо Любы приняло кроткое, почти детское выражение, а губы как улыбулись во сне, так и сохранили легкий отпечаток светлой, тихой и нежной улыбки. Сине и едко было в кабинете от густого табачного дыма, на свечах в канделябрах застыли оплывшие бородавчатые струйки; залитый кофеом и вином, заброшенный апельсиновыми корками стол казался безобразным.

Женя сидела с ногами на диване, обхватив колени руками. И опять Платонова поразил мрачный огонь ее глубоких глаз, точно запавших под темными бровями, грозно сдвинутыми сверху вниз к переносью.

— Я потушу свечи, — сказал Лихонин.

Утренний полусвет, водянистый и сонный, наполнил комнату сквозь щели ставен. Слабыми струйками курились потушенные фитили свечей.

Словистыми голубыми пеленами колыхался табачный дым, но солнечный луч, прорезавшийся сквозь сердцеобразную выемку в ставне, пронизал кабинет вкось веселым, пыльным, золотистым мечом и жидким горячим золотом расплескался на обоях стены.

— Так-то лучше, — сказал Лихонин, садясь. — Разговор будет короткий, но... черт его знает... как к нему приступить.

Он рассеянно поглядел на Женю.

— Так я уйду? — сказала она равнодушно.

— Нет, ты посиди, — ответил за Лихонина репортер. — Она не помешает, — обратился он к студенту и слегка улыбнулся. — Ведь разговор будет о проституции? Не так ли?

— Ну да... вроде...

— И отлично. Ты к ней прислушайся. Мнения у нее бывают необыкновенно циничного свойства, но иногда чрезвычайной вескости.

Лихонин крепко потер и помял ладонями свое лицо, потом сцепил пальцы с пальцами и два раза нервно хрустнул ими. Видно было, что он волновался и сам стеснялся того, что собирался сказать.

— Ах, да не все ли равно! — вдруг воскликнул он сердито. — Ты вот сегодня говорил об этих женщинах... Я слушал... Правда, нового ты ничего мне не сказал. Но — странно — я почему-то, точно в первый раз за всю мою беспутную жизнь, поглядел на этот вопрос открытыми глазами... Я спрашиваю тебя, что же такое, наконец, проституция? Что она? Блажной бред больших городов или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она

когда-нибудь? Или она умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это?

Платонов смотрел на него пристально, слегка, по привычке, щурясь. Его интересовало, какую главную мысль так искренно мучится Лихонин.

— Когда она прекратится, — никто тебе не скажет. Может быть, тогда, когда осуществятся прекрасные утопии социалистов и анархистов, когда земля станет общей и ничьей, когда любовь будет абсолютно свободна и подчинена только своим неограниченным желаниям, а человечество сольется в одну счастливую семью, где пропадет различие между твоим и моим, и наступит рай на земле, и человек опять станет нагим, блаженным и безгрешным. Вот разве тогда...

— А теперь? Теперь? — спрашивал Лихонин с возрастающим волнением. — Глядеть сложа ручки? Моя хата с краю? Терпеть, как неизбежное зло? Мириться, махнуть рукой? Благословить?

— Зло это не неизбежное, а непреодолимое. Да не все ли тебе равно? — спросил Платонов с холодным удивлением. — Ты же ведь анархист?

— Какой я, к черту, анархист! Ну да, я анархист, потому что разум мой, когда я думаю о жизни, всегда логически приводит меня к анархическому началу. И я сам думаю в теории: пускай люди людей бьют, обманывают и стригут, как стада овец, — пускай! — насилие породит рано или поздно злобу. Пусть насилуют ребенка, пусть топчут ногами творческую мысль, пусть рабство, пусть проституция, пусть воруют, глумятся, проливают кровь. Пусть! Чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Есть великий закон, думаю я, одинаковый как для неодушевленных предметов, так и для всей огромной, многомиллионной и многолетней человеческой жизни: сила действия равна силе противодействия. Чем хуже, тем лучше. Пусть накапливается в человечестве зло и месть, пусть они растут и зреют, как чудовищный нарыв — нарыв во весь земной шар величиной. Ведь лопнет же он когда-нибудь! И пусть будет ужас и нестерпимая боль. Пусть гной затопит весь мир. Но человечество или захлебнется в нем и погибнет, или, переболев, возродится к новой, прекрасной жизни.

Лихонин жадно выпил чашку черного холодного кофе и продолжал пылко:

— Да. Так именно я и многие другие теоретизируем, сидя в своих комнатах за чаем с булкой и с вареной колбасой, причем ценность каждой отдельной человеческой

жизни — это так себе, бесконечно малое число в математической формуле. Но увижу я, что обижают ребенка, и красная кровь мне хлынет в голову от бешенства. И когда я погляжу, погляжу на труд мужика или рабочего, меня кидает в истерику от стыда за мои алгебраические выкладки. Есть, — черт его побери! — есть что-то в человеке нелепое, совсем не логичное, но что в сто раз сильнее человеческого разума. Вот и сегодня... Почему я сейчас чувствую себя так, как будто бы я обокрал спящего, или обманул трехлетнего ребенка, или ударил связанного? И почему мне сегодня кажется, что я сам виноват в зле проституции — виноват своим молчанием, своим равнодушием, своим косвенным попустительством? Что мне делать, Платонов? — воскликнул студент со скорбью в голосе.

Платонов промолчал, щуря на него узенькие глаза. Но Женя неожиданно сказала язвительным тоном:

— А ты сделай так, как сделала одна англичанка... Приезжала к нам тут одна рыжая старая халда. Должно быть, очень важная, потому что с целой свитой приезжала... всё какие-то чиновники... А до нее приезжал пристава помощник с околоточным Кербешем. Помощник так прямо и предупредил: «Если вы, стервы, растак-то и растак-то, хоть одно грубое словечко или что, так от вашего заведения камня на камне не оставлю, а всех девок перепорю в участке и в тюрьме сгною!» Ну и приехала эта гримза. Лотошила-лотошила что-то по-иностранным, все рукой на пебо показывала, а потом раздала нам всем по пятачковому Евангелию и уехала. Вот и вы бы так, миленький.

Платонов громко рассмеялся.

Но, увидев наивное и печальное лицо Лихонипа, который точно не понимал и даже не подозревал насмешки, он сдержал смех и сказал серьезно:

— Ничего не сделаешь, Лихонин. Пока будет собственность, будет и нищета. Пока существует брак, не умрет и проституция. Знаешь ли ты, кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди, благородные отцы семейств, безукоризненные мужья, любящие братья. Они всегда найдут почтенный повод узаконить, нормировать и обандеролить платный разврат, потому что они отлично знают, что иначе он хлынет в их спальни и детские. Проституция для них — оттяжка чужого сладострастия от их личного, законного алькова. Да и сам почтенный отец семейства не прочь втайне предаться любовному дебошу. Надоест же, в самом деле, все одно и то же: жена, горничная и дама

на стороне. Человек, в сущности, животное много — и даже чрезвычайно — многообразное. И его петушиным любовным инстинктам всегда будет сладко разворачиваться в таком пышном рассаднике, вроде Треппеля или Анны Марковны. О, конечно, уравновешенный супруг или счастливый отец шестерых взрослых дочерей всегда будет орать об ужасе проституции. Он даже устроит при помощи лотереи и любительского спектакля общество спасения падших женщин или приют во имя святой Магдалены. Но существование проституции он благословит и поддержит.

— Магдалинские приюты! — с тихим смехом, полным давней, непереболевшей ненависти, повторила Женя.

— Да, я знаю, что все эти фальшивые мероприятия — чушь и сплошное надругательство, — перебил Лихонин. — Но пусть я буду смешон и глуп — и я не хочу оставаться соболезнующим зрителем, который сидит на завалинке, глядит на пожар и приговаривает: «Ах, батюшки, ведь горит... ей-Богу, горит! Пожалуй, и люди ведь горят!» — а сам только причитает и хлопает себя по ляжкам.

— Ну да, — сказал сурово Платонов, — ты возьмешь детскую спринцовку и пойдешь с нею тушить пожар?

— Нет! — горячо воскликнул Лихонин. — Может быть, — почему знать? — может быть, мне удастся спасти хоть одну живую душу... Об этом я и хотел тебя попросить, Платонов, и ты должен помочь мне... Только, умоляю тебя, без насмешек, без расхолаживания...

— Ты хочешь взять отсюда девушку? Спасти? — внимательно глядя на него, спросил Платонов. Он теперь понял, к чему клонился весь этот разговор.

— Да... я не знаю... я попробую, — неуверенно ответил Лихонин.

— Вернется назад, — сказал Платонов.

— Вернется, — убежденно повторила Женя.

Лихонин подошел к ней, взял ее за руки и заговорил дрожащим шепотом:

— Женечка... может быть, вы... А? Ведь не в любовницы зову... как друга... Пустяки, полгода отдыха... а там какое-нибудь ремесло изучим... будем читать...

Женя с досадой выхватила из его рук свои.

— Ну тебя в болото! — почти крикнула она. — Знаю я вас! Чулки тебе штопать? На керосинке стряпать? Ночей из-за тебя не спать, когда ты со своими коротковолосыми будешь болты болтать? А как ты заделаешься доктором, или адвокатом, или чиновником, так меня же в спину коленом: пошла, мол, на улицу, публичная шкура, жизнь

ты мою молодую заела. Хочу на порядочной жениться, на чистой, на невинной..

— Я как брат.. Я без этого..— смущенно лепетал Лихонин.

— Знаю я этих братьев. До первой ночи... Брось и не говори ты мне чепухи! Скучно слушать.

— Подожди, Лихонин,— серьезно начал репортер.— Ведь ты и на себя вавалишь непосильный груз. Я знавал идеалистов-народников, которые принципиально женились на простых крестьянских девках. Так они и думали: натура, чернозем, непочатые силы... А этот чернозем через год обращался в толстенную бабищу, которая целый день лежит на постели и жует пряники или унижает свои пальцы копейечными кольцами, растопырит их и любит. А то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую наливку и разводит с ним натуральный роман. Смотрите, здесь уже будет!

Все трое замолчали. Лихонин был бледен и утирал платком мокрый лоб.

— Нет, черт возьми!— крикнул он вдруг упрямо.— Не верю я вам! Не хочу верить! Люба!— громко позвал он заснувшую девушку.— Любочка!

Девушка проснулась, провела ладонью по губам в одну сторону и в другую, зевнула и смешно, по-детски улыбнулась.

— Я не спала, я все слышала,— сказала она.— Только самую-самую чуточку задремала.

— Люба, хочешь ты уйти отсюда со мною?— спросил Лихонин и взял ее за руку.— Но совсем, навсегда уйти, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни в публичный дом, ни на улицу?

Люба вопросительно, с недоумением поглядела на Женю, точно безмолвно ища у нее объяснения этой шутки.

— Будет вам,— сказала она лукаво.— Вы сами еще учитесь. Куда же вам девицу брать на содержание?

— Не на содержание, Люба.. Просто хочу помочь тебе.. Ведь не сладко же тебе здесь, в публичном доме-то!

— Понятно, не сахар! Если бы я была такая гордая, как Женечка, или такая увлечательная, как Паша.. а я ни за что здесь не привыкну..

— Ну и пойдем, пойдем со мной!— убеждал Лихонин.— Ты ведь, наверно, знаешь какое-нибудь рукоделье, ну там шить что-нибудь, вышивать, метить?

— Ничего я не знаю!— застенчиво ответила Люба, и засмеялась, и покраснела, закрыла локтем свободной руки рот.— Что у нас, по-деревенскому, требуется, то знаю,



а больше ничего не знаю. Стряпать немного умею... у па-па жила — стряпала.

— И чудесно! И превосходно! — обрадовался Лихонин. — Я тебе пособию, откроешь столовую... Понимаешь, дешевую столовую... Я рекламу тебе сделаю... Студенты будут ходить!

— Будет смеяться-то! — немного обидчиво возразила Люба и опять искоса вопросительно посмотрела на Женю.

— Он не шутит, — ответила Женя странно дрогнувшим голосом. — Он вправду, серьезно.

— Вот тебе честное слово, что серьезно! Вот ей-Богу! — с жаром подхватил студент и для чего-то даже перекрестился на пустой угол.

— А в самом деле, — сказала Женя, — берите Любку. Это не то что я. Я как старая драгунская кобыла с поровом. Меня ни сеном, ни плетью не переделаешь. А Любка — девочка простая и добрая. И к жизни нашей еще не привыкла. Что ты, дурища, пялишь на меня глаза? Отвечай, когда тебя спрашивают. Ну? Хочешь или нет?

— А что же? Если они не смеются, а взаправду... А ты что, Женечка, мне посоветуешь?..

— Ах, дерево какое! — рассердилась Женя. — Что же, по-твоему, лучше: с проваленным носом на соломе сгнить? Под забором издохнуть, как собаке? Или сделаться честной? Дура! Тебе бы ручку у него поцеловать, а ты кобенишься.

Наивная Люба и в самом деле потянулась губами к руке Лихонина, и это движение всех рассмешило и чуть растрогало.

— И прекрасно! И волшебно! — суетился обрадованный Лихонин. — Иди и сейчас же заяви хозяйке, что ты уходишь отсюда навсегда. И вещи заberi самые необходимые. Теперь не то, что раньше, теперь девушка, когда хочет, может уйти из публичного дома.

— Нет, так нельзя, — остановила его Женя. — Что она уйти может — это так, это верно, но неприятностей и крику не оберешься. Ты вот что, студент, сделай. Тебе десять рублей не жаль?

— Конечно, конечно... Пожалуйста.

— Пусть Люба скажет экономке, что ты ее берешь на сегодня к себе на квартиру. Это уж такса — десять рублей. А потом, ну хоть завтра, приезжай за ее билетом и за вещами. Ничего, мы это дело обладим кругло. А потом ты должен пойти в полицию с ее билетом и заявить, что вот такая-то Любка нанялась служить у тебя за горничную и что ты желаешь переменить ее бланк на настоящий пас-

порт. Ну, Любка, живо! Бери деньги и марш. Да, смотри, с экономкой-то будь половчее, а то она, сука, по глазам прочтет. Да, и не забудь,— крикнула она уже вдогонку Любе, — румяны-то с морды сотри! А то извозчики будут пальцами показывать.

Через полчаса Люба и Лихонин садились у подъезда на извозчика. Женя и репортер стояли на тротуаре.

— Глупость ты делаешь большую, Лихонин,— говорил лениво Платонов,— но чту и уважаю в тебе славный порыв. Вот мысль — вот и дело. Смелый ты и прекрасный царень.

— Со вступлением! — смеялась Женя. — Смотрите, на крестины-то не забудьте позвать.

— Не дождетесь! — хохотал Лихонин, размахивая фуражкой.

Они уехали. Репортер поглядел на Женю и с удивлением увидал в ее смягчившихся глазах слезы.

— Дай Бог, дай Бог,— шептала она.

— Что с тобой сегодня было, Женя? — спросил он ласково. — Что? Тяжело тебе? Не помогу ли я тебе чем-нибудь?

Она повернулась к нему спиной и нагнулась над резным перилом крыльца.

— Как тебе написать, если нужно будет? — спросила она глухо.

— Да просто. В редакцию «Отголосков». Такому-то. Мне живо передадут.

— Я... я... я... — начала было Женя, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо, — я напишу тебе...

И, не отнимая рук от лица, вздрагивая плечами, она взбежала на крыльцо и скрылась в доме, громко захлопнув за собою дверь.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

До сих пор еще, спустя десять лет, вспоминают бывшие обитатели Ямков тот обильный несчастными, грязными, кровавыми событиями год, который начался рядом пустяковых маленьких скандалов, а кончился тем, что администрация в один прекрасный день взяла и разорила дотла старинное, насиженное, ею же созданное гнездо уза-

коненной проституции, разметав его остатки по больницам, тюрьмам и улицам большого города. До сих пор еще немногие, оставшиеся в живых, прежние, вконец одряхлевшие хозяйки и жирные, хриплые, как состарившиеся мопсы, бывшие экономки вспоминают об этой общей гибели со скорбью, ужасом и глупым недоумением.

Точно картофель из мешка, посыпались драки, грабежи, болезни, убийства и самоубийства, и, казалось, никто в этом не был виновен. Просто-напросто все злоключения сами собой стали учащаться, наворачиваться друг на друга, шириться и расти, подобно тому как маленький снежный комочек, толкаемый ногами ребят, сам собою, от прилипающего к нему талого снега, становится все больше, больше, вырастает выше человеческого роста и, наконец, одним последним небольшим усилием свергается в овраг и скатывается вниз огромной лавиной. Старые хозяйки и экономки, копец, никогда не слыхали о роке, но внутренне, душою, они чувствовали его таинственное присутствие в неотвратимых бедах того ужасного года.

И правда, повсюду в жизни, где люди связаны общими интересами, кровью, происхождением или выгодами профессии в тесные, обособленные группы, — там непременно наблюдается этот таинственный закон внезапного накопления, нагромождения событий, их эпидемичность, их странная преемственность и связность, их непонятная длительность. Это бывает, как давно заметила народная мудрость, в отдельных семьях, где болезнь или смерть вдруг нападает на близких неотвратимым, загадочным чередом. «Беда одна не ходит». «Пришла беда — отворяй ворота». Это замечается также в монастырях, банках, департаментах, полках, учебных заведениях и других общественных учреждениях, где, подолгу не изменяясь, чуть не десятками лет, жизнь течет ровно, подобно болотистой речке, и вдруг, после какого-нибудь совсем незначительного случая, начинаются переводы, перемещения, исключения из службы, проигрыши, болезни. Члены общества, точно сговорившись, умирают, сходят с ума, проворываются, стреляются или вешаются, освобождается вакансия за вакансией, повышения следуют за повышениями, вливаются новые элементы, и, смотришь, через два года нет на месте никого из прежних людей, все новое, если только учреждение не распалось окончательно, не расплозлось вкось. И не та ли же самая удивительная судьба постигает громадные общественные, мировые организации — города, государства, народы, страны и, почему знать, может быть, даже целые планетные миры?

Нечто, подобное этому непостижимому року, пронеслось и пад Ямской слободой, приведя ее к быстрой и скандальной гибели. Теперь вместо буйных Ямков осталась мирная, будничная окраина, в которой живут огородники, кошатники, татары, свиповоды и мясники с ближних боен. По ходатайству этих почтенных людей, даже самое название Ямской слободы, как позорящее обывателей своим прошлым, переименовано в Голубевку, в честь купца Голубева, владельца колониального и гастрономического магазина, ктитора местной церкви.

Первые подаемные толчки этой катастрофы начались в разгаре лета, во время ежегодной летней ярмарки, которая в этом году была сказочно блестяща. Ее необычайному успеху, многолюдству и огромности заключенных на ней сделок способствовали многие обстоятельства: постройка в окрестностях трех новых сахарных заводов и необыкновенно обильный урожай хлеба и в особенности свекловицы; открытие работ по проведению электрического трамвая и канализации; сооружение новой дороги на расстояние в семьсот пятьдесят верст; главное же — строительная горячка, охватившая весь город, все банки и другие фипансовые учреждения и всех домовладельцев. Кирпичные заводы росли на окраине города, как грибы. Открылась грандиозная сельскохозяйственная выставка. Возникли два новых пароходства, и они вместе со старинными, прежними, неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены на рейсы с семидесяти пяти копеек для третьего класса до пяти, трех, двух и даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого хлеба. Но самым большим и значительным предприятием этого года было оборудование обширного речного порта, привлекавшее к себе сотни тысяч рабочих и стоившее Бог знает каких денег.

Надо еще прибавить, что город в это время справлял тысячулетнюю годовщину своей знаменитой лавры, наиболее чтимой и наиболее богатой среди известных монастырей России. Со всех концов России, из Сибири, от берегов Ледовитого океана, с крайнего юга, с побережья Черного и Каспийского морей, собрались туда бесчисленные богомольцы на поклонение местным святыням, лаврским угодникам, почивающим глубоко под землею, в известковых пещерах. Достаточно того сказать, что монас-

тырь давал приют и кое-какую пищу сорока тысячам человек ежедневно, а те, которым не хватало места, лежали по ночам вповалку, как дрова, на обширных дворах и улицах лавры.

Это было какое-то сказочное лето. Население города увеличилось чуть ли не втрое всяким пришлым народом. Каменщики, плотники, маляры, инженеры, техники, иностранцы, земледельцы, маклеры, темные дельцы, речные моряки, праздные бездельники, туристы, воры, шулеры — все они переполнили город, и ни в одной самой грязной, сомнительной гостинице не было свободного номера. За квартиры платились бешеные цены. Биржа играла широко, как никогда ни до, ни после этого лета. Деньги миллионами так и текли ручьями из одних рук в другие, а из этих в третьи. Создавались в один час колоссальные богатства, но зато многие прежние фирмы лопались, и вчерашние богачи обращались в нищих. Самые простые рабочие купались и грелись в этом золотом потоке. Портовые грузчики, ломовики, дрогали, катали, подносчики кирпичей и землекопы до сих пор еще помнят, какие суточные деньги они зарабатывали в это сумасшедшее лето. Любой босяк при разгрузке барж с арбузами получал не менее четырех-пяти рублей в сутки. И вся эта шумная чужая шайка, одурманенная легкими деньгами, опьяненная чувственной красотой старинного, прелестного города, очарованная сладостной теплотой южных ночей, напоенных вкрадчивым ароматом белой акации, — эти сотни тысяч ищущих, разгульных зверей во образе мужчин всей своей массовой волей кричали: «Женщину!»

В один месяц возникло в городе несколько десятков новых увеселительных заведений — пикарных «Тиволи», «Шато-де-Флеров», «Олимпий», «Альказаров» и так далее, с хором и с опереткой, много ресторанов и портёрных, с легкими садами, и простых кабачков — вблизи строящегося порта. На каждом перекрестке открывались ежедневно «фиалочные заведения» — маленькие дощатые балаганчики, в каждом из которых под видом продажи кваса торговали собою тут же рядом, за перегородкой из шелевок, по две, по три старых девки, и многим матерям и отцам тяжело и памятно это лето по унижительным болезням их сыновей, гимназистов и кадетов. Для приезжих, случайных гостей потребовалась прислуга, и тысячи крестьянских девушек потянулись из окрестных деревень в город. Неизбежно, что спрос на проституцию стал необыкновенно высоким. И вот, из Варшавы, Лодзи, Одессы, Москвы и даже из Петербурга, даже из-за границы

наехало бесчисленное множество иностранок, кокоток русского изделия, самых обыкновенных рядовых проституток и шикарных францужек и венок. Властно сказалось развращающее влияние сотен миллионов шальных денег. Этот водопад золота как будто захлестнул, завертел и потопил в себе весь город. Число краж и убийств возросло с поражающей быстротой. Полиция, собранная в усиленных размерах, терялась и сбивалась с ног. Но впоследствии, обкормившись обильными взятками, она стала походить на сытого удава, поневоле сонного и ленивого. Людей убивали ни за что ни про что, так себе. Случалось, просто подходили среди бела дня где-нибудь на малолюдной улице к человеку и спрашивали: «Как твоя фамилия?» — «Федоров». — «Ага, Федоров? Так получай!» — и распарывали ему живот ножом. Так в городе и прозвали этих шалунов «подкальвателями», и были между ними имена, которыми как будто бы гордилась городская хроника: Полищуки, два брата (Митька и Дундас), Володька Грек, Федор Миллер, капитан Дмитриев, Сивохо, Добровольский, Шпачек и многие другие.

И днем и ночью на главных улицах ошалевшего города стояла, двигалась и орала толпа, точно на пожаре. Почти невозможно было описать, что делалось тогда на Ямках. Несмотря на то, что хозяйки увеличили более чем вдвое состав своих пациенток и втрое увеличили цены, их бедные, обезумевшие девушки не успевали удовлетворять требованиям пьяной, шальной публики, швырявшей деньгами, как щепками. Случалось, что в переполненном народом зале, где было тесно, как на базаре, каждую девушку дожидалось по семи, восьми, иногда даже по десяти человек. Было поистине какое-то сумасшедшее, пьяное, припадочное время!

С него-то и начались все злоключения Ямков, приведшие их к гибели. А вместе с Ямками погиб и знакомый нам дом толстой, старой, бледноглазой Анны Марковны.

## II

Пассажирский поезд весело бежал с юга на север, пересекая золотые хлебные поля и прекрасные дубовые рощи, с грохотом проносясь по железным мостам над светлыми речками, оставляя после себя крутящиеся клубы дыма.

В купе второго класса, даже при открытом окне, стояла страшная духота и было жарко. Запах серного дыма першил в горле.

Качка и жара совсем утомили пассажиров, кроме одного, веселого, энергичного, подвижного еврея, прекрасно одетого, услужливого, общительного и разговорчивого. Он ехал с молодой женщиной, и сразу было видно, особенно по ней, что они молодожены: так часто ее лицо вспыхивало неожиданной краской при каждой, самой маленькой нежности мужа. А когда она подымала свои ресницы, чтобы взглянуть на него, то глаза ее сияли, как звезды, и становились влажными. И лицо ее было так прекрасно, как бывают только прекрасны лица у молодых влюбленных еврейских девушек,— все нежно-розовое, с розовыми губами, прелестно-невинно очерченными, и с глазами такими черными, что на них нельзя было различить зрачка от радуги.

Не стесняясь присутствия трех посторонних людей, он поминутно расточал ласки, и, надо сказать, довольно грубые, своей спутнице. С бесцеремонностью обладателя, с тем особенным эгоизмом влюбленного, который как будто бы говорит всему миру: «Посмотрите, как мы счастливы,— ведь это и вас делает счастливыми, не правда ли?» — он то гладил ее по ноге, которая упруго и рельефно выделялась под платьем, то щипал ее за щеку, то щекотал ей шею своими жесткими, черными, завитыми вверх усами... Но хотя он и сверкал от восторга, однако что-то хищное, опасливое, беспокойное мелькало в его часто моргавших глазах, в подергивании верхней губы и в жестком рисунке его бритого, выдвинувшегося вперед квадратного подбородка, с едва заметным углублением посредине.

Против этой влюбленной парочки помещались трое пассажиров: отставной генерал, сухонький опрятный старичок, нафиксатуренный, с начесанными наперед височками; толстый помещик, снявший свой крахмальный воротник и все-таки задыхавшийся от жары и поминутно вытиравший мокрое лицо мокрым платком; и молодой пехотный офицер. Бесконечная разговорчивость Семена Яковлевича (молодой человек уже успел уведомить соседей, что его зовут Семен Яковлевич Горизонт) немного утомляла и раздражала пассажиров, точно жужжание мухи, которая в знойный летний день ритмически бьется об оконное стекло закрытой душной комнаты. Но он все-таки умел подымать настроение: показывал фокусы, рассказывал еврейские анекдоты, полные тонкого, своеобразного юмора. Когда его жезл уходила на платформу освежиться, он рассказывал такие вещи, от которых генерал расплывался в блаженную улыбку, помещик ржал, колыхая чернотелым животом, а подпоручик, только год вы-

пущенный из училища, безусый мальчик, едва сдерживая смех и любопытство, отворачивался в сторону, чтобы соседи не видели, что он краснеет.

Жена ухаживала за Горизонтом с трогательным, наивным вниманием: вытирала ему лицо платком, обмахивала его веером, поминутно поправляла ему галстук. И лицо его в эти минуты становилось смешно-надменным и глупо-самодовольным.

— А позвольте узнать,— спросил, вежливо покашливая, сухонький генерал.— Позвольте узнать, почтеннейший, чем вы изволите заниматься?

— Ах, Боже мой!— с милой откровенностью возразил Семен Яковлевич.— Ну, чем может заниматься в наше время бедный еврей? Я себе немножко коммивояжер и комиссионер. В настоящее время я далек от дела. Вы, хе! хе! хе! сами понимаете, господа. Медовый месяц — не красней, Сарочка,— это ведь не по три раза в год повторяется. Но потом мне придется очень много ездить и работать. Вот мы приедем с Сарочкой в город, нанесем визиты ее родственникам, и потом опять в путь. На первый вояж я думаю взять с собой жену. Знаете, вроде свадебного путешествия. Я представитель Сидриса и двух английских фирм. Не угодно ли поглядеть: вот со мной образчики...

Он очень быстро достал из маленького красивого, желтой кожи, чемодана несколько длинных картонных складных книжечек и с ловкостью портного стал разворачивать их, держа за один конец, отчего створки их быстро падали вниз с легким треском.

— Посмотрите, какие прекрасные образцы: совсем не уступают заграничным. Обратите внимание. Вот, например, русское, а вот английское трико или вот капгар и шевиот. Сравните, пощупайте, и вы убедитесь, что русские образцы почти не уступают заграничным. А ведь это говорит о прогрессе, о росте культуры. Так что совсем напрасно Европа считает нас, русских, такими варварами.

Итак, мы нанесем наши семейные визиты, посмотрим ярмарку, побываем себе немножко в «Шато-де-Флер», погуляем, пофланируем, а потом на Волгу, вниз до Царицына, на Черное море, по всем курортам и опять к себе на родину, в Одессу.

— Прекрасное путешествие,— сказал скромно подпоручик.

— Что и говорить, прекрасное,— согласился Семен Яковлевич,— но нет розы без шипов. Дело коммивояже-



ра чрезвычайно трудное и требует многих знаний, и не так знаний дела, как знаний, как бы это сказать... человеческой души. Другой человек и не хочет дать заказа, а ты его должен уговорить, как слона, и до тех пор уговариваешь, покамест он не почувствует ясности и справедливости твоих слов. Потому что я берусь только исключительно за дела совершенно чистые, в которых нет никаких сомнений. Фальшивого или дурного дела я не возьму, хотя бы мне за это предлагали миллионы. Спросите где угодно, в любом магазине, который торгует сукнами или подтяжками «Глуар», — я тоже представитель этой фирмы, — или пуговицами «Гелиос», — вы спросите только, кто такой Семен Яковлевич Горизонт, — и вам каждый ответит: «Семен Яковлевич — это не человек, а золото, это человек бескорыстный, человек брильянтовой честности». — И Горизонт уже разворачивал длинные коробки с патентованными подтяжками и показывал блестящие картонные листики, усеянные правильными рядами разноцветных пуговиц.

— Бывают большие неприятности, когда место избыто, когда до тебя являлось много вояжеров. Тут ничего не сделаешь: даже тебя совсем не слушают, только махают себе руками. Но это только для других. Я — Горизонт! Я сумею его уговорить, как верблюда от господина Фальцфейна из Новой Аскании. Но еще неприятнее бывает, когда сойдутся в одном городе два конкурента по одному и тому же делу. Да и еще хуже бывает, когда какой-нибудь шмаровоз и сам не сможет ничего, и тебе же дело портит. Тут на всякие хитрости пускаешься: напоишь его пьяным или пустишь куда-нибудь по ложному следу. Нелегкое ремесло! Кроме того, у меня еще есть одно представительство — это вставные глаза и зубы. Но дело невыгодное. Я хочу его бросить. Да и всю эту работу подумываю оставить. Я понимаю, хорошо порхать, как мотылек, человеку молодому, в цвете сил, но раз имеешь жену, а может быть, и целую семью... — Он игриво похлопал по ноге женщину, отчего та сделалась пунцовой и необыкновенно похорошела. — Ведь нас, евреев, Господь одарил за все наши несчастья плодородием... То хочется иметь какое-нибудь собственное дело, хочется, понимаете, усесться на месте, чтобы была и своя хата, и своя мебель, и своя спальня, и кухня. Не так ли, ваше превосходительство?

— Да... да... э-э... Да, конечно, конечно, — снисходительно отозвался генерал.

— И вот я взял себе за Сарочкой небольшое приданое. Что значит небольшое приданое?! Такие деньги, на

которые Ротшильд и поглядеть не захочет, в моих руках уже целый капитал. Но надо сказать, что и у меня есть кое-какие сбережения. Знакомые фирмы дадут мне кредит. Если Господь даст, мы таки себе будем кушать кусок хлеба с маслицем и по субботам вкусную рыбу фиш.

— Прекрасная рыба: щука по-жидовски! — сказал задыхающийся помещик.

— Мы откроем себе фирму «Горизонт и сын». Не правда ли, Сарочка, «п сын»? И вы, надеюсь, господа, удостоите меня своими почтенными заказами? Как увидите вывеску «Горизонт и сын», то прямо и вспомните, что вы однажды ехали в вагоне вместе с молодым человеком, который адски оглупел от любви и от счастья.

— Об-язательно! — сказал помещик.

И Семен Яковлевич сейчас же обратился к нему:

— Но я тоже занимаюсь и комиссионерством. Продать имение, купить имение, устроить вторую закладную — вы не найдете лучшего специалиста, чем я, и притом самого дешевого. Могу вам служить, если понадобится. — И он протянул с поклоном помещику свою визитную карточку, а кстати уже вручил по карточке и двум его соседям.

Помещик полез в боковой карман и тоже вытащил карточку.

— «Иосиф Иванович Венгженевский», — прочитал вслух Семен Яковлевич. — Очень, очень приятно! Так вот, если я вам понадоблюсь...

— Отчего же? Может быть... — сказал раздумчиво помещик. — Да что: может быть, в самом деле, нас свел благоприятный случай! Я ведь как раз еду в К. насчет продажи одной лесной дачи. Так, пожалуй, вы, того, наведайтесь ко мне. Я всегда останавливаюсь в «Гранд-отеле». Может быть, и сладим что-нибудь.

— О! Я уже почти уверен, дражайший Иосиф Иванович, — воскликнул радостный Горизонт и слегка кончиками пальцев потрепал осторожно по коленке Венгженевского. — Уж будьте покойны: если Горизонт за что-нибудь взялся, то вы будете благодарить, как родного отца, ни более ни менее!

Через полчаса Семен Яковлевич и безусый подпоручик стояли на площадке вагона и курили.

— Вы часто, господин поручик, бываете в К.? — спросил Горизонт.

— Представьте себе, только в первый раз. Наш полк стоит в Чернобобе. Сам я родом из Москвы.

— Ай, ай, ай! Как это вы так далеко забрались?

— Да так уж пришлось. Не было другой вакансии при выпуске.

— Да ведь Чернобоб же — это дыра! Самый паскудный городишко во всей Подолии.

— Правда, но уж так пришлось.

— Значит, теперь молодой господин офицер едет в К., чтобы немножко себе развлечься?

— Да. Я думаю там остановиться денька на два, на три. Еду я, собственно, в Москву. Получил двухмесячный отпуск, но интересно было бы по дороге поглядеть город. Говорят, очень красивый.

— Ох! Что вы мне будете говорить? Замечательный город! Ну, совсем европейский город. Если бы вы знали, какие улицы, электричество, трамваи, театры! А если бы вы знали, какие кафешантаны! Вы сами себе пальчики оближете. Непременно, непременно советую вам, молодой человек, сходите в «Шато-де-Флер», в «Тиволи», а также проезжайте на остров. Это что-нибудь особенное. Какие женщины, ка-ак-кие женщины!

Поручик покраснел, отвел глаза и спросил дрогнувшим голосом:

— Да, мне приходилось слышать. Неужели так красивы?

— Ой! Накажи меня Бог! Поверьте мне, там вовсе нет красивых женщин.

— То есть как это?

— А так: там только одни красавицы. Вы понимаете, какое счастливое сочетание кровей: польская, малорусская и еврейская. Как я вам завидую, молодой человек, что вы свободный и одинокий. В свое время я таки показал бы там себя! И замечательнее всего, что необыкновенно страстные женщины. Ну прямо как огонь! И знаете, что еще? — спросил он вдруг многозначительным шепотом.

— Что?! — испуганно спросил подпоручик.

— Замечательно то, что нигде — ни в Париже, ни в Лондоне, — поверьте, это мне рассказывали люди, которые видали весь белый свет, — никогда нигде таких утонченных способов любви, как в этом городе, вы не встретите. Это что-нибудь особенное, как говорят наши еврейчики. Такие выдумывают штуки, которых никакое воображение не может себе представить. С ума можно сойти!

— Да неужели? — тихо проговорил подпоручик, у которого захлестнуло дыхание.

— Да накажи меня Бог! А впрочем, позвольте, молодой человек! Вы сами понимаете. Я был холостой, а,

конечно, понимаете, всякий человек грешен... Теперь уж, конечно, не то. Записался в инвалиды. Но от прежних дней у меня осталась замечательная коллекция. Подождите, я вам сейчас покажу ее. Только, пожалуйста, смотрите осторожнее.

Горизонт боязливо оглянулся налево и направо и извлек из кармана узенькую длинную сафьяновую коробочку, вроде тех, в которых обыкновенно хранятся игральные карты, и протянул ее подпоручику.

— Вот, поглядите. Только, прошу, осторожнее.

Подпоручик принялся перебирать одну за другой карточки простой фотографии и цветной, на которых во всевозможных видах изображалась в самых скотских образах, в самых неправдоподобных положениях та внешняя сторона любви, которая иногда делает человека неизмеримо ниже и подлее павиана. Горизонт заглядывал ему через плечо, подталкивал локтем и шептал:

— Скажите, разве это не шик? Это же настоящий парижский и венский шик!

Подпоручик пересмотрел всю коллекцию от начала до конца. Когда он возвращал ящичек обратно, то рука у него дрожала, виски и лоб были влажны, глаза помутнели и по щекам разлился мраморно-пестрый румянец.

— А знаете что? — вдруг воскликнул весело Горизонт. — Мне все равно: я человек закабаленный. Я, как говорили в старину, сжег свои корабли... сжег все, чему поклонялся. Я уже давно искал случая, чтобы сбыть кому-нибудь эти карточки. За ценой я не особенно гонюсь. Я возьму только половину того, что они мне самому стоили. Не желаете ли приобрести, господин офицер?

— Что же... Я, то есть... Почему же?.. Пожалуй...

— И прекрасно! По случаю такого приятного знакомства я возьму по пятьдесят копеек за штуку. Что, дорого? Ну, нехай, Бог с вами! Вижу, вы человек дорожный, не хочу вас грабить: так и быть, по тридцать. Что? Тоже не дешево?! Ну, по рукам. Двадцать пять копеек штука! Ой! Какой вы несговорчивый! По двадцать! Потом сами меня будете благодарить! И потом, знаете что? Я когда приезжаю в К., то всегда останавливаюсь в гостинице «Эрмитаж». Вы меня там очень просто можете застать или рано утречком, или часов около восьми вечера. У меня есть масса знакомых прехорошеньких дамочек. Так я вас познакомлю. И понимаете, не за деньги. О нет. Просто им приятно и весело провести время с молодым, здоровым, красивым мужчиной, вроде вас. Денег не надо никаких абсолютно. Да что там! Они сами охот-

но заплатят за вино, за бутылку шампанского. Так помните же: «Эрмитаж», Горизонт. А если не это, то все равно помните!.. Может быть, я вам буду полезен. А карточки — это такой товар, такой товар, что он пикогда у вас не залежится. Любители дают по три рубля за экземпляр. Ну, это, конечно, люди богатые, старички. И потом, вы знаете, — Горизонт нагнулся к самому уху офицера, прищурил один глаз и произнес лукавым шепотом, — знаете, многие дамы обожают эти карточки. Ведь вы человек молодой, красивый: сколько у вас еще будет романов!

Получив деньги и тщательно пересчитав их, Горизонт еще имел пахальство протянуть и пожать руку подпоручику, который не смел на него поднять глаз, и, оставив его на площадке, как ни в чем не бывало вернулся в коридор вагона.

Это был необыкновенно общительный человек. По дороге к своему купе он остановился около маленькой прелестной трехлетней девочки, с которой давно уже издали заигрывал и строил ей всевозможные смешные гримасы. Он опустился перед ней на корточки, стал ей делать козу и сюсюкающим голосом расспрашивал:

— А сто, куда же балисня едет? Ой, ой, ой! Такая большая! Едет одна, без мамы? Сама себе купила билет и едет одна? Ай! Какая нехолосая девочка. А где же у девочки мама?

В это время из купе показалась высокая, красивая, самоуверенная женщина и сказала спокойно:

— Отстаньте от ребенка. Что за гадость привязываться к чужим детям!

Горизонт вскочил на ноги и засуетился:

— Мадам! Я не мог удержаться... Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребенок! Настоящий купидон! Поймите, мадам, я сам отец, у меня у самого дети... Я не мог удержаться от восторга!..

Но дама повернулась к нему спиной, взяла девочку за руку и пошла с ней в купе, оставив Горизонта шаркиваться и бормотать комплименты и извинения.

Несколько раз в продолжение суток Горизонт заходил в третий класс, в два вагона, разделенные друг от друга чуть ли не целым поездом. В одном вагоне сидели три красивые женщины в обществе черпобородого молчаливого, сумрачного мужчины. С ним Горизонт перекидывался странными фразами на каком-то специальном жаргоне. Женщины глядели на него тревожно, точно желая

и не решаясь о чем-то спросить. Раз только, около полудня, одна из них позволила себе робко произнести:

— Так это правда? То, что вы говорили о месте?.. Вы понимаете: у меня как-то сердце тревожится!

— Ах! Что вы, Маргарита Ивановна! Уж раз я сказал, то это верно, как в государственном банке. Послушайте, Лазер,— обратился он к бородатому,— сейчас будет станция. Купите барышням разных бутербродов, каких они пожелают. Поезд стоит двадцать пять минут.

— Я бы хотела бульону,— несмело произнесла маленькая блондинка, с волосами как спелая рожь и с глазами как васильки.

— Милая Бэла, все, что вам угодно! На станции я пойду и распоряджусь, чтобы вам принесли бульону с мясом и даже с пирожками. Вы не беспокойтесь, Лазер, я все это сам сделаю.

В другом вагоне у него был целый рассадник женщин, человек двенадцать или пятнадцать, под предводительством старой толстой женщины, с огромными, устрашающими, черными бровями. Она говорила басом, а ее жирные подбородки, груди и животы колыхались под широким капотом в такт тряске вагона, точно яблочное желе. Ни старуха, ни молодые женщины не оставляли ни малейшего сомнения относительно своей профессии.

Женщины валялись на скамейках, курили, играли в карты, в шестьдесят шесть, пили пиво. Часто их задирала мужская публика вагона, и они отругивались бесцеремонным языком, сиповатыми голосами. Молодежь угощала их папиросами и вином.

Горизонт был здесь совсем неузнаваем: он был величественно-небрежен и свысока-шутлив. Зато в каждом слове, с которым к нему обращались его клептки, слышалось подобострастное заискивание. Он же, осмотрев их всех — эту странную смесь румынок, евреек, поляков и русских — и удостоверясь, что все в порядке, распорядился насчет бутербродов и величественно удалялся.

В эти минуты он очень был похож на гуртовщика, который везет убойный скот по железной дороге и на станции заходит поглядеть на него и задать корму. После этого он возвращался в свое купе и опять пачинал миндальничать с женой, и еврейские анекдоты, точно горох, сыпались из его рта.

При больших остановках он выходил в буфет для того только, чтобы распорядиться о своих клиентках. Сам же он говорил соседям:

— Вы знаете, мне все равно, что трэфное, что кошер-

ное. Я не признаю никакой разницы. Но что я могу поделать с моим желудком! На этих станциях черт знает какой гадостью иногда пакомят. Заплатишь каких-нибудь три-четыре рубля, а потом на докторов пролечишь сто рублей. Вот, может быть, ты, Сарочка,— обращался он к жене,— может быть, сойдешь на станцию скушать что-нибудь? Или я тебе пришлю сюда?

Сарочка, счастливая его вниманием, покраснела, сияла ему благодарными глазами и отказывалась.

— Ты очень добрый, Сеня, но мне не хочется. Я сыта.

Тогда Горизонт доставал из дорожной корзинки курицу, вареное мясо, огурцы и бутылку палестинского вина, не торопясь, с аппетитом закусывал, угощал жену, которая ела очень жеманно, оттопырив мизинчики своих прекрасных белых рук, затем тщательно заворачивал остатки в бумагу и, не торопясь, аккуратно укладывал их в корзинку.

Вдали, далеко впереди паровоза, уже начали поблескивать золотыми огнями купола колоколен. Мимо купе прошел кондуктор и сделал Горизонту какой-то неуловимый знак. Тот сейчас же вышел вслед за кондуктором на площадку.

— Сейчас контроль пройдет,— сказал кондуктор,— так уж вы будьте любезны постоять здесь с супругой на площадке третьего класса.

— Ну, пу, ну! — согласился Горизонт.

— А теперь пожалуйста денежки, по уговору.

— Сколько же тебе?

— Да как уговорились: половину приплаты, два рубля восемьдесят копеек.

— Что?! — вскипел вдруг Горизонт.— Два рубля восемьдесят копеек?! Что я, сумасшедший тебе дался? На тебе рубль, и то благодари Бога!

— Простите, господин! Это даже совсем несообразно: ведь уговаривались мы с вами?

— Уговаривались, уговаривались!.. На тебе еще полтинник и больше пикаких. Что это за нахальство! А я еще заявлю контролеру, что безбилетных возишь. Ты, брат, не думай! Не на такого напал!

Глаза у кондуктора вдруг расширились, налились кровью.

— У! Жидовá! — зарычал он. — Взять бы тебя, подлеца, да под поезд!

Но Горизонт тотчас же петухом налетел на него:

— Что?! Под поезд?! А ты знаешь, что за такие слова бывает?! Угроза действием! Вот я сейчас пойду и

крикну «караул!» и поверну сигнальную ручку. — И он о таким решительным видом схватился за рукоятку двери, что кондуктор только махнул рукой и плюнул.

— Подаvisь ты моими деньгами, жид пархатый!

Горизонт вызвал из купе свою жену:

— Сарочка! Пойдем посмотрим на платформу: там виднее. Ну, так красиво,— просто как на картине!

Сара покорно пошла за ним, поддерживая неловкой рукой новое, должно быть, впервые надетое платье, изгибаясь и точно боясь прикоснуться к двери или к стене.

Вдали, в розовом праздничном тумане вечерней зари, сияли золотые купола и кресты. Высоко на горе белые стройные церкви, казалось, плавали в этом цветистом волшебном мареве. Курчавые леса и кустарники сбежали сверху и надвинулись над самым оврагом. А отвесный белый обрыв, купавший свое подножье в синей реке, весь, точно зелеными жилками и бородавками, был изборозжен случайными порослями. Сказочно прекрасный древний город точно сам шел навстречу поезду.

Когда поезд остановился, Горизонт приказал носильщикам отнести вещи в первый класс и велел жене идти за ним следом. А сам задержался в выходных дверях, чтобы пропустить обе свои партии. Старухе, наблюдавшей за дюжиной женщин, он коротко бросил на ходу:

— Так помните, мадам Берман! Гостиница «Америка», Иванюковская, двадцать два!

А чернородому мужчине он сказал:

— Не забудьте, Лазер, накормить девушек обедом и сведите их куда-нибудь в кинематограф. Часов в одиннадцать вечера ждите меня. Я приеду поговорить. А если кто-нибудь будет вызывать меня экстренно, то вы знаете мой адрес: «Эрмитаж». Позвоните. Если же там меня почему-нибудь не будет, то забежите в кафе к Рейману или напротив, в еврейскую столовую. Я там буду кушать рыбу фиш. Ну, счастливого пути!

### III

Все рассказы Горизонта о его коммивояжерстве были просто наглым и бойким лганьем. Все эти образчики портновских материалов, подтяжки «Глуар» и пуговицы «Гелиос», искусственные зубы и вставные глаза служили только щитом, прикрывавшим его настоящую деятельность, а именно: торговлю женским телом. Правда, когда-то, лет десять тому назад, он разъезжал по России представителем сомнительных вин от какой-то неизвест-



ной фирмы, и эта деятельность сообщила его языку ту развязную непринужденность, которой вообще отличаются коммивояжеры. Эта же прежняя деятельность натолкнула его на настоящую профессию. Как-то, едуци в Ростов-на-Дону, он сумел влюбить в себя молоденькую швейку. Эта девушка еще не успела попасть в официальные списки полиции, но на любовь и на свое тело глядела без всяких возвышенных предрассудков. Горизонт, тогда еще совсем зеленый юноша, влюбчивый и легкомысленный, потащил швейку за собою в свои скитания, полные приключений и неожиданностей. Спустя полгода она страшно надоела ему. Она, точно тяжелая обуза, точно мельничный жернов, повисла на шее у этого человека энергии, движения и натиска. К тому же вечные сцены ревности, недоверия, постоянный контроль и слезы... неизбежные последствия долговременной совместной жизни... Тогда он стал исподволь поколачивать свою подругу. В первый раз она изумилась, а со второго раза притихла, стала покорной. Известно, что «женщины любви» никогда не знают середины в любовных отношениях. Они или истеричные лгуны, обманщицы, притворщицы, с холодно-развращенным умом и извилистой темной душой, или же безгранично самоотверженные, слепо преданные, глупые, наивные животные, которые не знают меры ни в уступках, ни в потере личного достоинства. Швейка принадлежала ко второй категории, и скоро Горизонту удалось без большого труда убедить ее выходить на улицу торговать собою. И с того же вечера, когда любовница подчинилась ему и принесла домой первые заработанные пять рублей, Горизонт почувствовал к ней безграничное отвращение. Замечательно, что, сколько Горизонт после этого ни встречал женщин, — а прошло их через его руки несколько сотен, — это чувство отвращения и мужского презрения к ним никогда не покидало его. Он всячески издевался над бедной женщиной и истязал ее нравственно, выискивая самые больные места. Она только молчала, вздыхала, плакала и, становясь перед ним на колени, целовала его руки. И эта бессловесная покорность еще более раздражала Горизонта. Он гнал ее от себя. Она не уходила. Он выталкивал ее на улицу, а она через час или два возвращалась назад, дрожащая от холода, в измокшей шляпе, в загнутых полях которой, как в желобах, плескалась дождевая вода. Наконец, какой-то темный приятель подал Семену Яковлевичу жесткий и коварный совет, положивший след на всю остальную его жизнедеятельность, — продать любовницу в публичный дом.

По правде сказать, пускаясь в это предприятие, Горизонт в душе почти не верил в его успех. Но, против ожидания, дело скроилось как нельзя лучше. Хозяйка заведения (это было в Харькове) с охотой пошла навстречу его предложению. Она давно и хорошо знала Семена Яковлевича, который забавно играл на рояле, прекрасно тапцевал и смешил своими выходками весь зал, а главное, умел с необыкновенной беззастенчивой ловкостью «выставить из монет» любую кутящую компанию. Оставалось только уговорить подругу жизни, и это оказалось самым трудным. Она ни за что не хотела отлипнуть от своего возлюбленного, грозила самоубийством, клялась, что выжжет ему глаза серной кислотой, обещала поехать и пожаловаться полицеймейстеру, — а она действительно знала за Семеном Яковлевичем несколько грязных делишек, пахнувших уголовщиной. Тогда Горизонт переменил тактику. Он сделался вдруг нежным, внимательным другом, неутомимым любовником. Потом внезапно он впал в черную меланхолию. На беспокойные расспросы женщины он только отмалчивался, проговорился сначала как будто случайно, намекнул вскользь на какую-то жизненную ошибку, а потом принялся врать отчаянно и вдохновенно. Он говорил о том, что за ним следит полиция, что ему не миновать тюрьмы, а может быть, даже каторги и виселицы, что ему нужно скрыться на несколько месяцев за границу. А главное, на что он особенно сильно упирал, было какое-то громадное фантастическое дело, в котором ему предстояло заработать несколько сот тысяч рублей. Швейка поверила и затревожилась той бескорыстной, женской, почти святой тревогой, в которой у каждой женщины так много чего-то материнского. Теперь очень нетрудно было убедить ее в том, что ехать с ней вместе Горизонту представляет большую опасность для него и что лучше ей остаться здесь и переждать время, пока дела у любовника не сложатся благоприятно. После этого уговорить ее скрыться, как в самом надежном убежище, в публичном доме, где она могла жить в полной безопасности от полиции и сыщиков, было пустым делом. Однажды утром Горизонт велел одеться ей получше, завить волосы, попудриться, положить немного румян на щеки и повез ее в притон, к своей знакомой. Девушка там произвела благоприятное впечатление, и в тот же день ее паспорт был сменен в полиции на так называемый желтый билет. Расставшись с нею после долгих объятий и слез, Горизонт зашел в комнату хозяйки и получил плату — пятьдесят рублей (хотя он запрашивал

двести). Но он и не особенно сокрушался о малой цене; главное было то, что он нашел наконец сам себя, свое призвание и положил краеугольный камень своему будущему благополучию.

Конечно, проданная им женщина так и осталась навсегда в цепких руках публичного дома. Горизонт настолько основательно забыл ее, что уже через год не мог даже вспомнить ее лица. Но почему зпать... может быть, сам перед собою притворялся?

Теперь он был одним из самых главных спекулянтов женским телом на всем юге России. Он имел дела с Константинополем и с Аргентиной, он переправлял целыми партиями девушек из публичных домов Одессы в Киев, киевских перевозил в Харьков, а харьковских — в Одессу. Он же рассовывал по разным второстепенным губернским городам и по уездным, которые побогаче, товар, забракованный или слишком примелькавшийся в больших городах. У него завязалась громаднейшая клиентура, и в числе своих потребителей Горизонт мог бы насчитать немало людей с выдающимся общественным положением: вице-губернаторы, жандармские полковники, видные адвокаты, известные доктора, богатые помещики, кутящие купцы. Весь темный мир: хозяек публичных домов, кокоток-одинок, своден, содержательниц домов свиданий, сутенеров, выходных актрис и хористок — был ему знаком, как астроному звездное небо. Его изумительная память, которая позволяла ему благоразумно избегать записных книжек, держала в уме тысячи имен, фамилий, прозвищ, адресов, характеристик. Он в совершенстве знал вкусы всех своих высокопоставленных потребителей; одни из них любили необыкновенно причудливый разврат, другие платили бешеные деньги за невинных девушек, третьим надо было выискивать малолетних. Ему приходилось удовлетворять и садические и мазохические наклонности своих клиентов, а иногда обслуживать и совсем противоестественные половые извращения, хотя надо сказать, что за последнее он брался только в редких случаях, суливших большую, песомненную прибыль. Раз за два-три ему приходилось отсиживать в тюрьме, по эти высылки шли ему впрок: он не только не терял хищнического нахрапа и упругой энергии в делах, но с каждым годом становился смелее, изобретательнее и предприимчивее. С годами к его наглой стремительности присоединилась огромная житейская деловая мудрость.

Раз пятнадцать за это время он успел жениться и всегда изловчался брать порядочное приданое. Завладев

деньгами жены, он в один прекрасный день вдруг исчезал бесследно, а если бывала возможность, то выгодно продавал жену в тайный дом разврата или в шикарное публичное заведение. Случалось, что его разыскивали через полицию родители обманутой жертвы. Но в то время, когда повсюду наводили справки о нем, как о Шперлинге, он уже разъезжал из города в город под фамилией Розенблюма. Во время своей деятельности, вопреки завидной памяти, он переменил столько фамилий, что не только позабыл, в каком году он был Натанаэльзоном, а в каком Бакаляром, но даже его собственная фамилия ему начинала казаться одним из псевдонимов.

Замечательно, что он не находил в своей профессии ничего преступного или предосудительного. Он относился к ней так же, как если бы торговал селедками, известкой, мукой, говядиной или лесом. По-своему он был набожен. Если позволяло время, с усердием посещал по пятницам синагогу. Судный день, Пасха и кущи неизменно и благоговейно справлялись им всюду, куда бы ни забрасывала его судьба. В Одессе у него оставались старушка мать и горбатая сестра, и он неуклонно высылал им то большие, то маленькие суммы денег, не регулярно, но довольно часто, почти из всех городов: от Курска до Одессы и от Варшавы до Самары. У него уже скопились порядочные денежные сбережения в «Лионском кредит», и он постепенно увеличивал их, никогда не затрагивая процентов. Но жадности или скупости почти совсем был чужд. Его скорее влекли к себе в деле острота, риск и профессиональное самолюбие. К женщинам он был совершенно равнодушен, хотя понимал их и умел ценить, и был в этом отношении похож на хорошего повара, который при тонком понимании дела страдает хроническим отсутствием аппетита. Чтобы уговорить, прельстить женщину, заставить ее сделать все, что он хочет, ему не требовалось никаких усилий: они сами шли на его зов и становились в его руках беспрекословными, послушными и податливыми. В его обращении с ними выработался какой-то твердый, непоколебимый, самоуверенный апломб, которому они так же подчинялись, как инстинктивно подчиняется строптивая лошадь голосу, взгляду и поглаживанию опытного наездника.

Он пил очень умеренно, а без компании совсем не пил. К еде был совершенно равнодушен. Но, конечно, как у всякого человека, у него была своя маленькая слабость: он страшно любил одеваться и тратил на свой туалет немалые деньги. Модные воротнички всевозможных фасо-

нов, галстуки, брильянтовые запонки, брелки, щегольское нижнее белье и шикарная обувь составляли его главнейшие увлечения.

С вокзала он прямо проехал в «Эрмитаж». Гостиничные носильщики, в синих блузах и форменных шапках, внесли его вещи в вестибюль. Вслед за ними вошел и он под руку со своей женой, оба нарядные, представительные, а он так прямо великолепный, в своем широком, в виде колокола, английском пальто, в новой широкополой панаме, держа небрежно в руке тросточку с серебряным набалдашником в виде голой женщины.

— Не полагается без права жительства, — сказал, глядя на него сверху вниз, огромный, толстый швейцар, храня на лице сонное и неподвижно-холодное выражение.

— Ах, Захар! Опять «не полагается»! — весело воскликнул Горизонт и потрепал гиганта по плечу. — Что такое «не полагается»? Каждый раз вы мне тычете этим самым своим «не полагается». Мне всего только на три дня. Только заключу арендный договор с графом Ипатьевым и сейчас же уеду. Бог с вами! Живите себе хоть один во всех номерах. Но вы только поглядите, Захар, какую я вам привез игрушку из Одессы! Вы таки будете довольны!

Он осторожным, ловким, привычным движением всунул золотой в руку швейцара, который уже держал ее за спиной приготовленной и сложенной в виде лодочки.

Первое, что сделал Горизонт, водворившись в большом, просторном номере с альковом, это выставил в коридор за двери номера шесть пар великолепных ботинок, сказав прибежавшему на звонок коридорному!

— Немедленно все вычистить! Чтобы блестело, как зеркало! Тебя Тимофей, кажется? Так ты меня должен знать: за мной труд никогда не пропадет. Чтобы блестело, как зеркало!

#### IV

Горизонт жил в гостинице «Эрмитаж» не более трех суток, и за это время он успел повидаться с тремястами людей. Приезд его как будто оживил большой, веселый портовый город. К нему приходили содержательницы контор для найма прислуги, номерные хозяйки и старые, опытные, поседелые в торговле женщинами, сводни. Не так из-за корысти, как из-за профессиональной гордости Горизонт старался во что бы то ни стало выторговать как

можно больше процентов, купить женщину как можно дешевле. Конечно, у него не было расчета в том, чтобы получить десятью — пятнадцатью рублями больше, но одна мысль о том, что конкурент Ямпольский получит при продаже более, чем он, приводила его в бешенство.

После приезда, на другой день, он отправился к фотографу Мезеру, захватив с собою соломенную девушку Бэлу, и снялся с ней в разных позах, причем за каждый негатив получил по три рубля, а женщине дал по рублю. Снимков было двадцать. После этого он поехал к Барсуковой.

Это была женщина, вернее сказать, оставшая девка, которые водятся только на юге России, не то полька, не то малороссиянка, уже достаточно старая и богатая для того, чтобы позволить себе роскошь содержать мужа (а вместе с ним и кафешантан), красивого и ласкового полячка. Горизонт и Барсукова встретились, как старые знакомые. Кажется, у них не было ни страха, ни стыда, ни совести, когда они разговаривали:

— Мадам Барсукова! Я вам могу предложить что-нибудь особенного! Три женщины: одна большая, брюнетка, очень скромная, другая маленькая, блондинка, но которая, вы понимаете, готова на все, третья — загадочная женщина, которая только улыбается и ничего не говорит, но много обещает и — красавица.

Мадам Барсукова глядела на него и недоверчиво покачивала головой.

— Господин Горизонт! Что вы мне голову дурачите? Вы хотите то же самое со мной сделать, что в прошлый раз?

— Дай Бог мне так жить, как я хочу вас обманывать! Но главное не в этом. Я вам еще предлагаю совершенно интеллигентную женщину. Делайте с ней, что хотите. Вероятно, у вас найдется любитель.

Барсукова тонко улыбнулась и спросила:

— Опять жена?

— Нет. Но дворянка.

— Значит, опять неприятности с полицией?

— Ах! Боже мой! Я с вас не беру больших денег: за всех четырех какая-нибудь паршивая тысяча рублей.

— Ну, будем говорить откровенно: пятьсот. Не хочу покупать кота в мешке.

— Кажется, мадам Барсукова, мы с вами не в первый раз имеем дело. Обманывать я вас не буду и сейчас же ее привезу сюда. Только прошу вас не забывать, что

вы моя тетка, и в этом направлении, пожалуйста, работайте. Я не пробуду здесь, в городе, более чем три дня.

Мадам Барсукова со всеми своими грудями, животами и подбородками весело заколыхалась.

— Не будем торговаться из-за мелочей. Тем более что ни вы меня, ни я вас не обманываем. Теперь большой спрос на женщин. Что вы сказали бы, господин Горизонт, если бы я предложила вам красного вина?

— Благодарю вас, мадам Барсукова, с удовольствием.

— Поговоримте, как старые друзья. Скажите, сколько вы зарабатываете в год?

— Ах, мадам, как сказать? Тысяч двенадцать, двадцать приблизительно. Но подумайте, какие громадные расходы постоянно в поездках.

— Вы откладываете немножко?

— Ну, это пустяки: какие-нибудь две-три тысячи в год.

— Я думала, десять, двадцать...

Горизонт насторожился. Он чувствовал, что его начинают ощупывать, и спросил вкрадчиво:

— А почему это вас интересует?

Анна Михайловна нажала кнопку электрического звонка и приказала нарядной горничной дать кофе с теплыми сливками и бутылку шамбертена. Она знала вкусы Горизонта. Потом она спросила:

— Вы знаете господина Шепшеровича?

Горизонт так и вскрикнул:

— Боже мой! Кто же не знает Шепшеровича! Это — бог, это — гений!

И, оживившись, забыв, что его тянут в ловушку, он восторженно заговорил:

— Представьте себе, что в прошлом году сделал Шепшерович! Он отвез в Аргентину тридцать женщин из Ковно, Вильно, Житомира. Каждую из них он продал по тысяче рублей, итого, мадам, считайте, — тридцать тысяч! Вы думаете, на этом Шепшерович успокоился? На эти деньги, чтобы оплатить себе расходы по пароходу, он купил несколько негрятенок и рассовал их в Москву, Петербург, Киев, Одессу и Харьков. Но вы знаете, мадам, это не человек, а орел. Вот кто умеет делать дела!

Барсукова ласково положила ему руку на колено. Она ждала этого момента и сказала дружелюбно:

— Так вот, я вам и предлагаю, господин... впрочем, я не знаю, как вас теперь зовут...

— Скажем, Горизонт...

— Вот я вам и предлагаю, господин Горизонт,— не найдется ли у вас невинных девушек? Теперь на них громадный спрос. Я с вами играю в открытую. За деньгами мы не постоим. Теперь это в моде. Заметьте, Горизонт, вам возвратят ваших клиенток совершенно в том же виде, в каком они были. Это, вы понимаете,— маленький разврат, в котором я никак не могу разобраться...

Горизонт потушился, потер голову и сказал:

— Видите ли, у меня есть жена... Вы почти угадали.

— Так. Но почему же почти?

— Мне стыдно сознаться, что она, как бы сказать... она мне невеста...

Барсукова весело расхохоталась.

— Вы знаете, Горизонт, я никак не могла ожидать, что вы такой мерзавец! Давайте вашу жену, все равно. Да неужели вы в самом деле удержались?

— Тысячу?— спросил Горизонт серьезно.

— Ах! Что за пустяки: скажем, тысячу. Но скажите, удастся ли мне с ней справиться?

— Пустяки!— сказал самоуверенно Горизонт.— Предположим, опять вы — моя тетка, и я оставляю у вас жену. Представьте себе, мадам Барсукова, что эта женщина в меня влюблена, как кошка. И если вы скажете ей, что для моего благополучия она должна сделать то-то и то-то,— то никаких разговоров!

Кажется, им больше не о чем было разговаривать. Мадам Барсукова вынесла вексельную бумагу, где она с трудом написала свое имя, отчество и фамилию. Вексель, конечно, был фантастический, но есть связь, спайка, каторжная совесть. В таких делах не обманывают. Иначе грозит смерть. Все равно: в остроге, на улице или в публичном доме.

Затем тотчас же, точно привидение из люка, появилась ее сердечный друг, молодой полячок, с высоко закрученными усами, хозяин кафешантана. Выпили вина, поговорили о ярмарке, о выставке, немножко пожаловались на плохие дела. Затем Горизонт телефонировал к себе в гостиницу, вызвал жену. Познакомил ее с теткой и с двоюродным братом тетки и сказал, что таинственные политические дела вызывают его из города. Нежно обнял Сару, прослезился и уехал.

## V

С приездом Горизонта (впрочем, Бог знает, как его звали: Гоголевич, Гидалевич, Окунев, Розмитальский),



словом, с приездом этого человека все переменялось на Ямской улице. Пошли громадные перетасовки. От Трепеля переводили девушек к Анне Марковне, от Анны Марковны — в рублевое заведение и из рублевого — в полтинничное. Повышений не было: только понижения. На каждом перемещении Горизонт зарабатывал от пяти до ста рублей. Поистине, у него была энергия, равная приблизительно водопаду Иматре! Сидя днем у Анны Марковны, он говорил, щурясь от дыма папирсы и раскачивая ногу на ногу:

— Спрашивается... для чего вам эта самая Сонька? Ей не место в порядочном заведении. Ежели мы ее сплавим, то вы себе заработаете сто рублей, я себе двадцать пять. Скажите мне откровенно, она ведь не в спросе?

— Ах, господин Шацкий! Вы всегда сумеете уговорить! Но представьте себе, что я ее жалею. Такая деликатная девушка...

Горизонт на минуту задумался. Он искал подходящей цитаты и вдруг выпалил:

— Падающего толкни! И я уверен, мадам Шайбес, что на нее нет никакого спроса.

Исай Саввич, маленький, болезненный, мнительный старичок, но в нужные минуты очень решительный, поддержал Горизонта:

— И очень просто. На нее действительно нет никакого спроса. Представь себе, Анечка, что ее барахло стоит пятьдесят рублей, двадцать пять рублей получит господин Шацкий, пятьдесят рублей нам с тобой останется. И слава Богу, мы с ней развязались! По крайней мере, она не будет компрометировать нашего заведения.

Таким-то образом, Сонька Руль, минуя рублевое заведение, была переведена в полтинничное, где всякий сброд целыми ночами, как хотел, издевался над девушками. Там требовалось громадное здоровье и большая нервная сила. Сонька однажды задрожала от ужаса ночью, когда Фекла, бабища пудов около шести весу, выскочила на двор за естественной надобностью и крикнула проходившей мимо нее экономке:

— Экономочка! Послушайте: тридцать шестой человек!.. Не забудьте.

К счастью, Соньку беспокоили цемного: даже и в этом учреждении она была слишком некрасива. Никто не обращал внимания на ее прелестные глаза, и брали ее только в тех случаях, когда под рукой не было никакой другой. Фармацевт разыскал ее и приходил каждый вечер к ней. Но трусость ли, или специальная еврей-

ская щепетильность, или, может быть, даже физическая брезгливость не позволяла ему взять и увести эту девушку из дома. Он просиживал около нее целые ночи и по-прежнему терпеливо ждал, когда она возвратится от случайного гостя, делал ей сцены ревности и все-таки любил и, торча днем в своей аптеке за прилавком и закатывая какие-нибудь вонючие пилюли, неустанно думал о ней и тосковал.

## VI

Сейчас же при входе в загородный кафешантан сияла разноцветными огнями искусственная клумба, с электрическими лампочками вместо цветов, и от нее шла в глубь сада такая же огненная аллея из широких полукруглых арок, сужавшихся к концу. Дальше была широкая, усыпанная желтым песком площадка: налево — открытая сцена, театр и тир, прямо — эстрада для военных музыкантов (в виде раковины) и балаганчики с цветами и пивом, направо — длинная терраса ресторана. Площадку ярко, бледно и мертвенно освещали электрические шары со своих высоких мачт. Об их матовые стекла, обтянутые проволочными сетками, бились тучи ночных бабочек, тени которых — смутные и большие — реяли внизу, на земле. Взад и вперед ходили попарно уже усталою, волочащеюся походкой голодные женщины, слишком легко, нарядно и вычурно одетые, сохраняя на лицах выражение беспечного веселья или надменной, обиженной неприступности.

В ресторане были заняты все столы, — и над ними плыл сплошной стук ножей о тарелки и пестрый, скачущий волнами говор. Пахло сытным и едким кухонным чадом. Посредине ресторана, на эстраде, играли румыны в красных фраках, все смуглые, белозубые, с лицами усатых, напомаженных и прилизанных обезьян. Дирижер оркестра, наклоняясь вперед и манерно раскачиваясь, играл на скрипке и делал публике непристойно-сладкие глаза — глаза мужчины-проститутки. И все вместе — это обилие назойливых электрических огней, преувеличенно яркие туалеты дам, запахи модных пряных духов, эта звенящая музыка с произвольными замедлениями темпа, со сладострастными замираниями в переходах, с взвинчиванием в бурных местах, — все шло одно к одному, образуя общую картину безумной и глупой роскоши, обстановку подделки веселого непристойного кутежа.

Наверху, кругом всей залы, шли открытые хоры, на которые, как на балкончики, выходили двери отдельных

кабинетов. В одном из таких кабинетов сидело четверо — две дамы и двое мужчин: известная всей России артистка — певица Ровинская, большая красивая женщина с длинными, зелеными, египетскими глазами и длинным, красным, чувственным ртом, на котором углы губ хитро опускались книзу; баронесса Тефтинг, маленькая, изящная, бледная, — ее повсюду видели вместе с артисткой; знаменитый адвокат Рязанов и Володя Чаплинский, богатый светский молодой человек, композитор-дилетант, автор нескольких миленьких романсов и многих злободневных острот, ходивших по городу.

Стены в кабинете были красные с золотым узором. На столе, между зажженными канделябрами, торчали из мельхиоровой вазы, отпотевшей от холода, два белых осмоленных горлышка бутылок, и свет жидким, дрожащим золотом играл в плоских бокалах с вином. Снаружи у дверей дежурил, прислонясь к стене, лакей, а толстый, рослый, важный метрдотель, у которого на всегда оттопыренном мизинце правой руки сверкал огромный бриллиант, часто останавливался у этих дверей и внимательно прислушивался одним ухом к тому, что делалось в кабинете.

Баронесса со скучающим бледным лицом лениво глядела сквозь лорнет вниз, на гудящую, жующую, копошащуюся толпу. Среди красных, белых, голубых и палевых женских платьев однообразные фигуры мужчин походили на больших, коренастых черных жуков. Ровинская небрежно, но в то же время и пристально глядела вниз, на эстраду и на зрителей, и лицо ее выражало усталость, скуку, а может быть, и то пресыщение всеми зрелищами, какие так свойственны знаменитостям. Ее прекрасные длинные, худые пальцы левой руки лежали на малиновом бархате ложи. Редкостной красоты изумруды так небрежно держались на них, что казалось, вот-вот свалятся; вдруг она рассмеялась.

— Посмотрите, — сказала она, — какая смешная фигура или, вернее сказать, какая смешная профессия. Вот, вот на этого, который играет на «семиствольной цевнице».

Все поглядели по направлению ее руки. И в самом деле, картина была довольно смешная. Сзади румынского оркестра сидел толстый, усатый человек, вероятно, отец, а может быть, даже и дедушка многочисленного семейства, и изо всех сил свистел в семь деревянных свистулек, склеенных вместе. Так как ему было, вероятно, трудно передвигать этот инструмент между губами, то он

с необыкновенной быстротой поворачивая голову то влево, то вправо.

— Удивительное занятие, — сказала Ровинская. — А ну-ка вы, Чаплинский, попробуйте так помотать головой.

Володя Чаплинский, тайно и безнадежно влюбленный в артистку, сейчас же послушно и усердно постарался это сделать, но через полминуты отказался.

— Это невозможно, — сказал он, — тут нужна или долгая тренировка, или, может быть, наследственные способности. Голова кружится.

Баронесса в это время отрывала лепестки у своей розы и бросала их в бакал, потом, с трудом подавив зевок, она сказала, чуть-чуть поморщившись:

— Но, Боже мой, как скучно развлекаются у вас в К.! Посмотрите: ни смеха, ни пения, ни танцев. Точно какое-то стадо, которое пригнали, чтобы нарочно веселиться!

Рязанов лениво взял свой бокал, отхлебнул немного и ответил равнодушно своим очаровательным голосом:

— Ну, а у вас, в Париже или Ницце, разве веселее? Ведь надо сознаться: веселье, молодость и смех навсегда исчезли из человеческой жизни, да и вряд ли когда-нибудь вернутся. Мне кажется, что нужно относиться к людям терпеливее. Почем знать, может быть, для всех, сидящих тут, внизу, сегодняшний вечер — отдых, праздник?

— Защитительная речь, — вставил со своей спокойной манерой Чаплинский.

Но Ровинская быстро обернулась к мужчинам, и ее длинные изумрудные глаза сузились. А это у нее служило признаком гнева, от которого иногда делали глупости и коронованные особы. Впрочем, артистка тотчас же сдержалась и продолжала вяло:

— Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю даже, для чего мы сюда приехали. Ведь зрелищ теперь совсем нет на свете. Вот я, например, видала бои быков в Севилье, Мадриде и Марсели — представление, которое, кроме отвращения, ничего не вызывает. Видала и бокс и борьбу — гадость и грубость. Пришлось мне также участвовать на охоте на тигра, причем я сидела под балдахином на спине большого умного белого слона... словом, вы это хорошо сами знаете. И от всей моей большой, пестрой, шумной жизни, от которой я состарилась...

— О, что вы, Елена Викторовна! — сказал с ласковым упреком Чаплинский.

— Бросьте, Володя, комплименты! Я сама знаю, что еще молода и прекрасна телом, но, право, иногда мне

кажется, что мне девяносто лет. Так износилась душа. Я продолжаю. Я говорю, что за всю мою жизнь только три сильных впечатления врезались в мою душу. Первое — это когда я еще девочкой видела, как кошка крадась за воробьем, и я с ужасом и с интересом следила за ее движениями и за зорким взглядом птицы. До сих пор я не знаю, чему я сочувствовала более: ловкости ли кошки или увертливости воробья. Воробей оказался проворнее. Он мгновенно взлетел на дерево и начал оттуда осыпать кошку такой воробьиной бранью, что я покраснела бы от стыда, если бы поняла хоть одно слово. А кошка обиженно подняла хвост трубою и старалась сама перед собою делать вид, что ничего особенного не произошло. В другой раз мне пришлось петь в опере дуэт с одним великим артистом...

— С кем? — спросила быстро баронесса.

— Не все ли равно? К чему имена? И вот, когда мы с ним пели, я вся чувствовала себя во власти гения. Как чудесно, в какую дивную гармонию слились наши голоса! Ах! Невозможно передать этого впечатления. Вероятно, это бывает только раз в жизни.

Мне по роли нужно было плакать, и я плакала искренними, настоящими слезами. И когда после занавеса он подошел ко мне и погладил меня своей большой горячей рукой по волосам и со своей обворожительно-светлой улыбкой сказал: «Прекрасно! Первый раз в жизни я так пел»... и вот я, — а я очень гордый человек, — я поцеловала у него руку. А у меня еще стояли слезы в глазах...

— А третье? — спросила баронесса, и глаза ее зажглись злыми искрами ревности.

— Ах, третье, — ответила грустно артистка, — третье проще простого. В прошлогоднем сезоне я жила в Ницце и вот видела на открытой сцене, во Фрежюссо, «Кармен» с участием Сесиль Кеттен, которая теперь, — артистка искренне перекрестилась, — умерла... не знаю, право, к счастью или к несчастью для себя?

Вдруг, мгновенно, ее прелестные глаза наполнились слезами и засияли таким волшебным зеленым светом, каким сияет летними теплыми сумерками Вечерняя звезда. Она обернула лицо к сцене, и некоторое время ее длинные нервные пальцы судорожно сжимали обивку барьера ложи. Но когда она опять обернулась к своим друзьям, то глаза уже были сухи и на загадочных, порочных и властных губах блестела непринужденная улыбка.

Тогда Рязанов спросил ее вежливо, нежным, но умышленно спокойным тоном:

— Но ведь, Елена Викторовна, ваша громадная слава, поклонники, рев толпы, цветы, роскошь... Наконец, тот восторг, который вы доставляете своим зрителям. Неужели даже это не щекочет ваших нервов?

— Нет, Рязанов,— ответила она усталым голосом,— вы сами не хуже меня знаете, чего это стоит. Наглый интервьюер, которому нужны контрамарки для его знакомых, а кстати, и двадцать пять рублей в конверте. Гимназисты, гимназистки, студенты и курсистки, которые выпрашивают у вас карточки с надписями. Какой-нибудь старый болван в генеральском чине, который громко мне подпевает во время моей арии. Вечный шепот сзади тебя, когда ты проходишь: «Вот она, та самая, знаменитая!» Анонимные письма, наглость закулисных завсегдаев... да всего и не перечислишь! Ведь, наверное, вас самого часто осаждают судебные психопатки?

— Да,— сказал твердо Рязанов.

— Вот и все. А прибавьте к этому самое ужасное, то, что каждый раз, почувствовав настоящее вдохновение, я тут же мучительно ощущаю сознание, что я притворяюсь и кривляюсь перед людьми... А боязнь успеха соперницы? А вечный страх потерять голос, сорвать его или простудиться? Вечная мучительная возня с горловыми связками? Нет, право, тяжело нести на своих плечах известность.

— Но артистическая слава? — возразил адвокат.— Власть гения! Это ведь истинная моральная власть, которая выше любой королевской власти на свете!

— Да, да, конечно, вы правы, мой дорогой. Но слава, знаменитость сладки лишь издали, когда о них только мечтаешь. Но когда их достиг — то чувствуешь одни их шипы. И зато как мучительно ощущаешь каждый золотник их убыли. И еще я забыла сказать. Ведь мы, артисты, несем каторжный труд. Утром упражнения, днем репетиция, а там едва хватит времени на обед и пора на спектакль. Чудом урвешь часок, чтобы почитать или развлечься, вот как мы с вами. Да и то... развлечение совсем из средних...

Она небрежно и утомленно слегка махнула пальцами руки, лежавшей на барьере.

Володя Чаплинский, взволнованный этим разговором, вдруг спросил:

— Ну, а скажите, Елена Викторовна, чего бы вы хотели, что бы развлекло ваше воображение и скуку?

Она посмотрела на него своими загадочными глазами и тихо, как будто даже немножко застенчиво, ответила:

— В прежнее время люди жили веселее и не знали никаких предрассудков. Вот тогда, мне кажется, я была бы на месте и жила бы полной жизнью. О, Древний Рим!

Никто ее не понял, кроме Рязанова, который, не глядя на нее, медленно произнес своим бархатным актерским голосом классическую, всем известную латинскую фразу:

— Ave, Caesar, morituri te salutant!<sup>1</sup>

— Именно! Я вас очень люблю, Рязанов, за то, что вы умница. Вы всегда схватите мысль на лету, хотя должна сказать, что это не особенно высокое свойство ума. И в самом деле, сходятся два человека, вчерашние друзья, собеседники, застольники, и сегодня один из них должен погибнуть. Понимаете, уйти из жизни навсегда. Но у них нет ни злобы, ни страха. Вот настоящее прекрасное зрелище, которое я только могу себе представить!

— Сколько в тебе жестокости,— сказала раздумчиво баронесса.

— Да, уж ничего не поделаешь! Мои предки были всадниками и грабителями. Однако, господа, не уехать ли нам?

Они все вышли из сада. Володя Чаплинский велел крикнуть свой автомобиль. Елена Викторовна опиралась на его руку. И вдруг она спросила:

— Скажите, Володя, куда вы обыкновенно ездите, когда прощаетесь с так называемыми порядочными женщинами?

Володя замялся. Однако он знал твердо, что лгать Ровинской нельзя.

— М-м-м... Я боюсь оскорбить ваш слух. М-м-м... К цыганам, например... в ночные кабаре...

— А еще что-нибудь? похуже?

— Право, вы ставите меня в неловкое положение. С тех пор как я в вас так безумно влюблен...

— Оставьте романтику!

— Ну, так сказать... — пролепетал Володя, почувствовав, что он краснеет не только лицом, но телом, спиной, — ну, конечно, к женщинам. Теперь со мною лично этого, конечно, не бывает...

Ровинская злобно прижала к себе локоть Чаплинского.

— В публичный дом?

Володя ничего не ответил. Тогда она сказала:

---

<sup>1</sup> Да здравствует Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (Лат.)

— Итак, вот сейчас вы нас туда свезете на автомобиле и познакомите нас с этим бытом, который для меня чужд. Но помните, что я полагаюсь на ваше покровительство.

Остальные двое согласились на это, вероятно, неохотно, но Елене Викторовне сопротивляться не было никакой возможности. Она всегда делала все, что хотела. И потом, все они слышали и знали, что в Петербурге светские кутящие дамы и даже девушки позволяют себе из модного снобизма выходки куда похуже той, какую предложила Ровинская.

## VII

По дороге на Ямскую улицу Ровинская сказала Володе:

— Вы меня повезете сначала в самое роскошное учреждение, потом в среднее, а потом в самое грязное.

— Дорогая Елена Викторовна, — горячо возразил Чаплинский, — я для вас готов все сделать. Говорю без ложного хвастовства, что отдам свою жизнь по вашему приказанию, разрушу свою карьеру и положение по вашему одному знаку. Но я не рискую вас везти в эти дома. Русские нравы — грубые, а то и просто бесчеловечные нравы. Я боюсь, что вас оскорбят резким, непристойным словом или случайный посетитель сделает при вас какую-нибудь нелепую выходку...

— Ах, Боже мой, — нетерпеливо прервала Ровинская, — когда я цела в Лондоне, то в это время за мной многие ухаживали, и я не постеснялась в избранной компании поехать смотреть самые грязные притоны Уайтчеппла. Скажу, что ко мне там относились очень бережно и предупредительно. Скажу также, что со мной были в это время двое английских аристократов, лорды, оба спортсмены, оба люди необыкновенно сильные физически и морально, которые, конечно, никогда не позволили бы обидеть женщину. Впрочем, может быть, вы, Володя, из породы трусов?..

Чаплинский вспыхнул:

— О нет, нет, Елена Викторовна. Я вас предупреждал только из любви к вам. Но если вы прикажете, то я готов идти куда хотите. Не только в это сомнительное предприятие, но хоть и на самую смерть.

В это время они уже подъехали к самому роскошному заведению на Ямках — к Трепелю. Адвокат Рязанов сказал, улыбаясь своей обычной иронической улыбкой:



— Итак, начинается обозрение зверипца.

Их провели в кабинет с малиновыми обоями, а на обоях повторялся, в стиле «ампир», золотой рисунок в виде мелких лавровых венков. И сразу Ровинская узнала своей зоркой артистической памятью, что совершенно такие же обои были и в том кабинете, где они все четверо только что сидели.

Вышли четыре остзейские немки. Все толстые, полногрудые блондинки, напудренные, очень важные и почтительные. Разговор сначала не завязывался. Девушки сидели неподвижно, точно каменные изваяния, чтобы из всех сил притвориться приличными дамами. Даже шампанское, которое потребовал Рязанов, не улучшило настроения. Ровинская первая пришла на помощь обществу, обратившись к самой толстой, самой белокурой, похожей на булку, немке. Она спросила вежливо по-немецки:

— Скажите,— откуда вы родом? Вероятно, из Германии?

— Нет, gnädige Frau<sup>1</sup>, я из Риги.

— Что же вас заставляет здесь служить? Надеюсь, не нужда?

— Конечно, нет, gnädige Frau. Но, понимаете, мой жених Ганс служит кельнером в ресторане-автомате, и мы слишком бедны для того, чтобы теперь жениться. Я отпущу мои сбережения в банк, и он делает то же самое. Когда мы накопим необходимые нам десять тысяч рублей, то мы откроем свою собственную пивную, и, если Бог благословит, тогда мы позволим себе роскошь иметь детей. Двоих детей. Мальчика и девочку.

— Но послушайте же, meine Fräulein<sup>2</sup>,— удивилась Ровинская.— Вы молоды, красивы, знаете два языка...

— Три, мадам,— гордо вставила немка.— Я знаю еще и эстонский. Я окончила городское училище и три класса гимназии.

— Ну вот, видите, видите... — загорячилась Ровинская.— С таким образованием вы всегда могли бы найти место на всем готовом рублей на тридцать. Ну, скажем, в качестве экономки, бонны, старшей приказчицы в хорошем магазине, кассирши... И если ваш будущий жених... Фриц...

— Ганс, мадам...

— Если Ганс оказался бы трудолюбивым и бережливым человеком, то вам совсем нетрудно было бы через

---

<sup>1</sup> Сударыня (нем.).

<sup>2</sup> Девушка (нем.).

три-четыре года стать совершенно на ноги. Как вы думаете?

— Ах, мадам, вы немного ошибаетесь. Вы упустили из виду то, что на самом лучшем месте я, даже отказывая себе во всем, не сумею отложить в месяц более пятнадцати — двадцати рублей, а здесь, при благоразумной экономии, я выгадываю до ста рублей и сейчас же отношу их в сберегательную кассу на книжку. А кроме того, вообразите себе, gnädige Frau, какое унижительное положение быть в доме прислужкой! Всегда зависеть от каприза или расположения духа хозяев! И хозяин всегда пристает с глупостями. Пфуй!.. А хозяйка ревнует, придирается и бранится.

— Нет... не понимаю... — задумчиво протянула Ровинская, не глядя немке в лицо, а потупив глаза в пол. — Я много слышала о вашей жизни здесь, в этих... как это называется?.. в домах. Рассказывают что-то ужасное. Что вас принуждают любить самых отвратительных, старых и уродливых мужчин, что вас обирают и эксплуатируют самым жестоким образом.

— О, никогда, мадам... У нас, у каждой, есть своя расчетная книжка, где вписывается аккуратно мой доход и расход. За прошлый месяц я заработала немного больше пятисот рублей. Как всегда, хозяйке две трети за стол, квартиру, отопление, освещение, белье... Мне остается больше чем сто пятьдесят, не так ли? Пятьдесят я трачу на костюмы и на всякие мелочи. Сто сберегаю... Какая же это эксплуатация, мадам, я вас спрашиваю? А если мужчина мне совсем не нравится, — правда, бывают чересчур уж гадкие, — я всегда могу сказатьсь больной, и вместо меня пойдет какая-нибудь из повенных...

— Но ведь... простите, я не знаю вашего имени...

— Эльза.

— Говорят, Эльза, что с вами обращаются очень грубо... иногда бьют... принуждают к тому, чего вы не хотите и что вам противно?

— Никогда, мадам! — высокомерно уронила Эльза. — Мы все здесь живем своей дружной семьей. Все мы землячки или родственницы, и дай Бог, чтобы многим так жилось в родных фамилиях, как нам здесь. Правда, на Ямской улице бывают разные скандалы, и драки, и недоразумения. Но это там... в этих... в рублевых заведениях. Русские девушки много пьют и всегда имеют одного любовника. И они совсем не думают о своем будущем.

— Вы благоразумны, Эльза,— сказала тяжелым тоном Ровинская.— Все это хорошо. Ну, а случайная болезнь? Зараза? Ведь это смерти! А как угадать?

— И опять — нет, мадам. Я не пушу к себе в кровать мужчину, прежде чем не сделаю ему подробный медицинский осмотр... Я гарантирована, по крайней мере, на семьдесят пять процентов.

— Черт! — вдруг горячо воскликнула Ровинская и стукнула кулаком по столу.— Но ведь ваш Альберт...

— Ганс... — кротко поправила немка.

— Простите... Ваш Ганс, наверное, не очень радуется тому, что вы живете здесь и что вы каждый день изменяете ему?

Эльза поглядела на нее с самым искренним, живым изумлением.

— Но, gnädige Frau... Я никогда и не изменяла ему! Это другие погибшие девчонки, особенно русские, имеют себе любовников, на которых они тратят свои тяжелые деньги. Но чтобы я когда-нибудь допустила себя до этого? Пфуй!

— Большого падения я не воображала! — сказала брезгливо и громко Ровинская, вставая.— Заплатите, господа, и пойдем отсюда дальше.

Когда они вышли на улицу, Володя взял ее под руку и сказал умоляющим голосом:

— Ради Бога, не довольны ли вам одного опыта?

— О, какая пошлость! Какая пошлость!

— Вот я поэтому и говорю, бросим этот опыт.

— Нет, во всяком случае, я иду до конца. Покажите мне что-нибудь среднее, попроще.

Володя Чаплинский, который все время мучился за Елену Викторовну, предложил самое подходящее — зайти в заведение Анны Марковны, до которого всего десять шагов.

Но тут-то их и ждали сильные впечатления. Сначала Симеон не хотел их впускать, и лишь несколько рублей, которые дал ему Рязанов, смягчили его. Они заняли кабинет, почти такой же, как у Треппеля, только немножко более ободранный и полинялый. По приказанию Эммы Эдуардовны согнали в кабинет девиц. Но это было то же самое, что смешать соду и кислоту. А главной ошибкой было то, что пустили туда и Женьку — злую, раздраженную, с дерзкими огнями в глазах. Последней вошла скромная, тихая Тамара со своей застенчивой и развратной улыбкой Моны Лизы. В кабинете собрался в конце концов почти весь состав заведения. Ровинская уже не

рисковала спрашивать, — «как дошла ты до жизни такой?». Но надо сказать, что обитательницы дома встретили ее с впешиим гостеприимством. Елена Викторовна попросила спеть их обычные канонные песни, и они охотно спели:

И дальше:

Понедельник наступает,  
Мне на выписку идти,  
Доктор Красов не пускает, —  
Ну, так черт его дер!

Бедная, бедная, бедная я —  
Казенка закрыта,  
Болит голова...

Любовь шармача  
Горяча, горяча,  
А проститутка,  
Как лед, холодна...  
Ха-ха-ха!

Сошлись они  
На подбор, на подбор:  
Она — проститутка,  
Он — карманный вор...  
Ха-ха-ха!

Вот утро приходит,  
Он о краже хлопочет,  
Она же на кровати  
Лежит и хохочет...  
Ха-ха-ха!

Наутро мальчишку  
В сыскную ведут,  
Ее ж, проститутку,  
Товарищи ждут...  
Ха-ха-ха!

И еще дальше арестантскую:

Погиб я, мальчишка,  
Погиб навсегда,  
А годы за годами —  
Проходят лета.

И еще:

Не плачь, Маруся,  
Будешь ты моя,  
Как отбуду призыв,  
Женюсь па тебя.

Но тут вдруг, к общему удивлению, расхохоталась толстая, обычно молчаливая Катька. Она была родом из Одессы.

— Позвольте и мне спеть одну песню. Ее поют у нас на Молдаванке и на Пересыпи воры и хипесницы в трактирах.

И ужасным басом, заржавленным и неподатливым голосом она запела, делая самые нелепые жесты, но, очевидно, подражая когда-то виденной ею шансонетной певице третьего разбора:

Ах, пойду я к «дююковку»,  
Сяду я за стол,  
Сбрасываю шляпу,  
Кидаю под стол.  
Спрашиваю милую:  
Что ты будешь пить?  
А она мне отвечать:  
Голова болить.  
Я тебе не спраую,  
Что в тебе болить,  
А я тебе спраую:  
Что ты будешь пить?  
Или же пиво, или же вино,  
Или же фиалку, или ничего?

И все обошлось бы хорошо, если бы вдруг не ворвалась в кабинет Манька Беленькая в одной нижней рубашке и в белых кружевных штанишках. С нею кутил какой-то купец, который накануне устраивал райскую ночь, и злосчастный бепедиктин, который на девушку всегда действовал с быстротою динамита, привел ее в обычное скандальное состояние. Она уже не была больше «Манька Маленькая» и не «Манька Беленькая», а была «Манька Скандалистка». Вбежав в кабинет, она сразу от неожиданности упала на пол и, лежа на спине, расхохоталась так искренно, что и все остальные расхохотались. Да. Но смех этот был недолог... Манька вдруг усе-лась на полу и закричала:

— Ура, к нам новые девки поступили!

Это было совсем уже неожиданностью. Еще большую бестактность сделала баронесса. Она сказала:

— Я патронесса монастыря для падших девушек, и поэтому я, по долгу моей службы, должна собирать сведения о вас.

Но тут мгновенно вспыхнула Женька:

— Сейчас же убирайся отсюда, старая дура! Ветошка! Половая тряпка!.. Ваши приюты Магдалины — это хуже, чем тюрьма. Ваши секретари пользуются нами, как собаки падалью. Ваши отцы, мужья и братья приходят к нам, и мы заражаем их всякими болезнями... Нарочно!.. А они, в свою очередь, заражают вас. Ваши надзирательницы живут с кучерами, дворниками и городовыми, а нас сажают в карцер за то, что мы рассмеемся или пошутим между собою. И вот, если вы приехали сю-

да, как в театр, так вы должны выслушать правду прямо в лицо.

Но Тамара спокойно остановила ее:

— Перестань, Женя, я сама... Неужели вы и вправду думаете, баронесса, что мы хуже так называемых порядочных женщин? Ко мне приходит человек, платит мне два рубля за визит или пять рублей за ночь, и я этого ничуть не скрываю ни от кого в мире... А скажите, баронесса, неужели вы знаете хоть одну семейную, замужнюю даму, которая не отдавалась бы тайком либо ради страсти — молодому, либо ради денег — старику? Мне прекрасно известно, что пятьдесят процентов из вас состоят на содержании у любовников, а пятьдесят остальных, из тех, которые постарше, содержат молодых мальчишек. Мне известно также, что многие — ах, как многие! — из вас живут со своими отцами, братьями и даже сыновьями, но вы эти секреты прячете в какой-то потайной сундучок. И вот вся разница между нами. Мы — падшие, но мы не лжем, не притворяемся, а вы все падаете и при этом лжете. Подумайте теперь сами — в чью пользу эта разница?

— Браво, Тamarочка, так их! — закричала Манька, не вставая с полу, растрепанная, белокурая, курчавая, похожая сейчас на тринадцатилетнюю девочку.

— Ну, ну! — подтолкнула и Женька, горя воспаленными глазами.

— Отчего же, Женечка! Я пойду и дальше. Из нас едва-едва одна на тысячу делала себе аборт. А вы все по нескольку раз. Что? Или это неправда? И те из вас, которые это делали, делали не ради отчаяния или жестокой бедности, а вы просто боитесь испортить себе фигуру и красоту — это ваш единственный капитал. Или вы искали лишь скотской похоти, а беременность и кормление мешали вам ей предаваться!

Ровинская сконфузилась и быстрым шепотом произнесла:

— *Faites attention, baronne, que dans sa position cette demoiselle est instruite.*

— *Figurez-vous, que moi, j'ai aussi remarqué cet étrange visage. Comme si je l'ai déjà vu... est-ce en rêve?.. en demi-délire? ou dans sa petite enfance?*

— *Ne vous donnez pas la peine de chercher dans vos souvenirs, baronne, — вдруг дерзко вмешалась в их разговор Тамара. — Je puis de suite vous venir en aide. Rappelez-vous seulement Kharkoffe, et la chambre d'hôtel de Koniakine, l'entrepreneur Solovieitchik, et le ténor*

di grazzia... A ce moment vous n'étiez pas encore m-me la baronne de...<sup>1</sup>. Впрочем, бросим французский язык... Вы были простой хористкой и служили со мной вместе.

— Mais dites moi, au nom de dieu, comment vous trouvez vous ici, mademoiselle Marguerite?<sup>2</sup>

— О, об этом нас ежедневно расспрашивают. Просто взяла и очутилась...

И с непередаваемым цинизмом она спросила:

— Надеюсь, вы оплатите время, которое мы провели с вами?

— Нет, черт вас побрал бы! — вдруг вскрикнула, быстро поднявшись с ковра, Манька Беленькая.

И, вытащив из-за чулка два золотых, швырнула на стол.

— Нател!.. Это я вам даю на извозчика. Уезжайте сейчас же, иначе я разобью здесь все зеркала и бутылки...

Ровинская встала и сказала с искренними теплыми слезами на глазах:

— Конечно, мы уедем, и урок mademoiselle Marguerite пойдет нам в пользу. Время ваше будет оплачено — позаботьтесь, Володя. Однако вы так много пели для нас, что позвольте и мне спеть для вас.

Ровинская подошла к пианино, взяла несколько аккордов и вдруг запела прелестный романс Даргомыжского:

Расстались гордо мы, ни вздохом, ни словами  
Упрека ревности тебе не подала...  
Мы разошлись навек, но если бы с тобою  
Я встретиться могла!  
Ах, если б я хоть встретиться могла!

Без слез, без жалоб, я склонилась пред судьбою...  
Не знаю, сделав мне так много в жизни зла,  
Любил ли ты меня? Но если бы с тобою  
Я встретиться могла!  
Ах, если б я хоть встретиться могла!

---

<sup>1</sup> — Обратите внимание, баронесса, в ее положении эта девушка довольно образованна.

— Представьте, я тоже заметила это странное лицо. Но где я его видела... Во сне?... В бреду? В раннем детстве?

— Не трудитесь напрягать вашу память, баронесса... Я сейчас приду вам на помощь. Вспомните только Харьков, гостиницу Конякина, антрепренера Соловейчика и одного лирического тенора... В то время вы еще не были баронессой де... (*Перевод с франц. А. И. Куприна.*)

<sup>2</sup> Но скажите, ради Бога, как вы очутились здесь, мадемуазель Маргарита? (*Перевод с франц. А. И. Куприна.*)

Этот нежный и страстный романс, исполненный великой артисткой, вдруг напомнил всем этим женщинам о первой любви, о первом падении, о позднем прощании на веселней заре, на утреннем холодке, когда трава седа от росы, а красное небо красит в розовый цвет верхушки берез, о последних объятиях, так тесно сплетенных, и о том, как не ошибающееся чуткое сердце скорбно шепчет: «Нет, это не повторится, не повторится!» И губы тогда были холодны и сухи, а на волосах лежал утренний влажный туман.

Замолчала Тамара, замолчала Мапья Скандалистка, и вдруг Женька, самая неукротимая из всех девушек, подбежала к артистке, упала на колени и зарыдала у нее в ногах.

И Ровинская, сама растроганная, обняла ее за голову и сказала:

— Сестра моя, дай я тебя поцелую!

Женька прошептала ей что-то на ухо.

— Да это глупости,— сказала Ровинская,— несколько месяцев лечения, и все пройдет.

— Нет, нет, нет... Я хочу всех их сделать больными. Пускай они все сгниют и подохнут.

— Ах, милая моя,— сказала Ровинская,— я бы на вашем месте этого не сделала.

И вот Женька, эта гордая Женька, стала целовать колени и руки артистки и говорила:

— Зачем же меня люди так обидели?.. Зачем меня так обидели? Зачем? Зачем? Зачем?

Такова власть гения! Единственная власть, которая берет в свои прекрасные руки не подлый разум, а теплую душу человека! Самолюбивая Женька прятала свое лицо в платье Ровинской, Манья Беленькая скромно сидела на стуле, закрыв лицо платком, Тамара, опершись локтем о колено и склонив голову на ладонь, сосредоточенно глядела вниз, а швейцар Симеон, подглядывавший на всякий случай у дверей, таращил глаза от изумления.

Ровинская тихо шептала в самое ухо Женьки:

— Никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается так плохо, хоть вешайся, а — глядь — завтра жизнь круто переменялась. Милая моя, сестра моя, я теперь мировая знаменитость. Но если бы ты знала, сквозь какие моря унижений и подлости мне пришлось пройти! Будь же здорова, дорогая моя, и верь своей звезде.

Она нагнулась к Женьке и поцеловала ее в лоб. И никогда потом Володя Чаплинский, с жутким напряжением следивший за этой сценой, не мог забыть тех теп-



лых и прекрасных лучей, которые в этот момент зажглись в зеленых, длинных, египетских глазах артистки.

Компания повесело уехала, но на минуту задержался Рязанов.

Он подошел к Тамаре, почтительно и нежно поцеловал ее руку и сказал:

— Если возможно, простите нашу выходку... Это, конечно, не повторится. Но если я когда-нибудь вам понадоблюсь, то помните, что я всегда к вашим услугам. Вот моя визитная карточка. Не выставляйте ее на своих столах, но помните, что с этого вечера я — ваш друг.

И он, еще раз поцеловав руку у Тамары, последним спустился с лестницы.

## VIII

В четверг, с самого утра, пошел непрерывный дождик, и вот сразу позеленели обмытые листья каштанов, акаций и тополей. И вдруг стало как-то мечтательно-тихо и медлительно-скучно. Задумчиво и однообразно.

В это время все девушки собрались, по обыкновению, в комнате у Женьки. Но с ней делалось что-то странное. Она не острила, не смеялась, не читала, как всегда, своего обычного бульварного романа, который теперь бесцельно лежал у нее на груди или на животе, но была зла, сосредоточенно-печальна, и в ее глазах горел желтый огонь, говоривший о ненависти. Напрасно Манька Беленькая, Манька Скандалистка, которая ее обожала, старалась обратить на себя ее внимание — Женька точно ее не замечала, и разговор совсем не ладился. Было тоскливо. А может быть, на всех на них влиял упорный августовский дождик, зарядивший подряд на несколько недель.

Тамара присела на кровать к Женьке, ласково обняла ее и, приблизив рот к самому ее уху, сказала шепотом:

— Что с тобою, Женечка? Я давно вижу, что с тобою делается что-то странное. И Манька это тоже чувствует. Посмотри, как она извелась без твоей ласки. Скажи. Может быть, я сумею чем-нибудь тебе помочь?

Женька закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Тамара немного отодвинулась от нее, но продолжала ласково гладить ее по плечу.

— Твое дело, Женечка. Я не смею лезть к тебе в душу. Я только потому спросила, что ты единственный человек, который...

Женька вдруг решительно вскочила с кровати, схватила за руку Тамару и сказала отрывисто и повелительно:

— Хорошо! Выйдем отсюда на минутку. Я тебе все расскажу. Девочки, подождите нас немного.

В светлом коридоре Женька положила руки на плечи подруги и с искаженным, внезапно побледневшим лицом сказала:

— Ну так вот, слушай: меня кто-то заразил сифилисом.

— Ах, милая, бедная моя. Давно?

— Давно. Помнишь, когда у нас были студенты? Еще они затеяли скандал с Платоновым? Тогда я в первый раз узнала об этом. Узнала днем.

— Знаешь, — тихо заметила Тамара, — я об этом почти догадывалась, а в особенности тогда, когда ты встала на колени перед певицей и о чем-то говорила с ней тихо. Но все-таки, милая Женечка, ведь надо бы полечиться.

Женька гневно топнула ногой и разорвала пополам батистовый платок, который она нервно комкала в руках.

— Нет! Ни за что! Из вас я никого не заражу. Ты сама могла заметить, что в последние недели я не обедаю за общим столом и что сама мою и перетираю посуду. Потому же я стараюсь отвадить от себя Маньку, которую, ты сама знаешь, я люблю искренно, по-настоящему. Но этих двуногих подлецов я нарочно заражаю и заражаю каждый вечер человек по десяти, по пятнадцати. Пускай они гниют, пускай переносят сифилис на своих жен, любовниц, матерей, да, да, и на матерей, и на отцов, и на гувернанток, и даже хоть на прабабушек. Пускай они пропадут все, честные подлецы!

Тамара осторожно и нежно погладила Женьку по голове.

— Неужели ты пойдешь до конца, Женечка?..

— Да. И без всякой пощады. Вам, однако, нечего опасаться меня. Я сама выбираю мужчин. Самых глупых, самых красивых, самых богатых и самых важных, но ни к одной из вас я потом их не пушу. О! Я разыгрываю перед ними такие страсти, что ты бы расхохоталась, если бы увидела. Я кусаю их, царапаю, кричу и дрожу, как сумасшедшая. Они, дурачье, верят.

— Твое дело, твое дело, Женечка, — раздумчиво произнесла Тамара, глядя вниз, — может быть, ты и права. Почем знать? Но скажи, как ты уклонилась от доктора?

Женька вдруг отвернулась от нее, прижалась лицом

к углу оконной рамы и внезапно расплакалась едкими, жгучими слезами — слезами озлобления и мести, и в то же время она говорила, задыхаясь и вздрагивая:

— Потому что... потому что... Потому что Бог мне послал особенное счастье: у меня болит там, где, пожалуй, никакому доктору не видать. А наш, кроме того, стар и глуп...

И внезапно каким-то необыкновенным усилием воли Женька так же неожиданно, как расплакалась, так и остановила слезы.

— Пойдем ко мне, Тамарочка, — сказала она. — Конечно, ты не будешь болтать лишнее?

— Конечно нет.

И они вернулись в комнату Женьки, обе спокойные и сдержанные.

В комнату вошел Симеон. Он, вопреки своей природной наглости, всегда относился с оттенком уважения к Женьке. Симеон сказал:

— Так что, Женечка, к Ванде приехали их превосходительство. Позвольте им уйти на десять минут.

Ванда, голубоглазая, светлая блондинка, с большим красным ртом, с типичным лицом литвинки, поглядела умоляюще на Женьку. Если бы Женька сказала: «Нет», то она осталась бы в комнате, но Женька ничего не сказала и даже умышленно закрыла глаза. Ванда покорно вышла из комнаты.

Этот генерал приезжал аккуратно, два раза в месяц, через две недели (так же, как к другой девушке, Зое, приезжал ежедневно другой почетный гость, прозванный в доме директором).

Женька вдруг бросила через себя старую, затрепанную книжку. Ее коричневые глаза вспыхнули настоящим золотым огнем.

— Напрасно вы брезгаете этим генералом, — сказала она. — Я знавала хуже эфиопов. У меня был один гость — настоящий болван. Он меня не мог любить иначе... иначе... ну, скажем просто, он меня колот иголками в грудь... А в Вильно ко мне ходил ксендз. Он одевал меня во все белое, заставлял пудриться. Укладывал в постель. Зажигал около меня три свечи. И тогда, когда я казалась ему совсем мертвой, он кидался на меня.

Манька Беленькая вдруг воскликнула:

— Ты правду говоришь, Женька! У меня тоже был один ёлод. Он меня все время заставлял притворяться невинной, чтобы я плакала и кричала. А вот ты, Женечка, самая умная из нас, а все-таки не угадаешь, кто он был...

— Смотритель тюрьмы?

— Брандмайор.

Вдруг басом расхохоталась Катя.

— А то у меня был один учитель. Он какую-то арифметику учил, я не помню, какую. Он меня все время заставлял думать, что будто бы я мужчина, а он женщина, и чтобы я его... насильно... И какой дурак! Представьте себе, девушки, он все время кричал: «Я твоя! Я вся твоя! Возьми меня! Возьми меня!»

— Шамашечкины,— сказала решительным и неожиданно низким контрально голубоглазая проворная Верка.— Шамашечкины.

— Нет, отчего же? — вдруг возразила ласковая и скромная Тамара.— Совсе не сумасшедший, а просто, как и все мужчины, развратник. Дома ему скучно, а здесь за свои деньги он может получить какое хочет удовольствие. Кажется, ясно?

До сих пор молчавшая Женя вдруг одним быстрым движением села на кровать.

— Все вы дуры! — крикнула она.— Отчего вы им все это прощаете? Раньше я и сама была глупа, а теперь заставляю их ходить передо мною на четвереньках, заставляю целовать мои пятки, и они это делают с наслаждением... Вы все, девочки, знаете, что я не люблю денег, но я обираю мужчин, как только могу. Они, мерзавцы, дарят мне портреты своих жен, невест, матерей, дочерей... Впрочем, вы, кажется, видали фотографии в нашем клозете? Но ведь подумайте, дети мои... Женщина любит один раз, но навсегда, а мужчина, точно борзой кобель... Это ничего, что он изменяет, но у него никогда не останется даже простого чувства благодарности ни к старой, ни к новой любовнице. Говорят, я слышала, что теперь среди молодежи есть много чистых мальчиков. Я этому верю, хотя сама не видела, не встречала. А всех, кого видела, все потаскуны, мерзавцы и подлецы. Не так давно я читала какой-то роман из нашей несчастной жизни. Это было почти то же самое, что я сейчас говорю.

Вернулась Ванда. Она медленно, осторожно уселась на край Жениной постели, там, где падала тень от лампового колпака. Из той глубокой, хотя и уродливой душевной деликатности, которая свойственна людям, приговоренным к смерти, каторжникам и проституткам, никто не осмелился ее спросить, как она провела эти полтора часа. Вдруг она бросила на стол двадцать пять рублей и сказала:

— Принесите мне белого вина и арбуз.

И, уткнувшись лицом в опустившиеся на стол руки, она беззвучно зарыдала. И опять никто не позволил себе задать ей какой-нибудь вопрос. Только Женька побледнела от злобы и так прикусила себе нижнюю губу, что на ней потом остался ряд белых пятен.

— Да,— сказала она,— вот теперь я понимаю Тамару. Ты слышишь, Тамара, я перед тобой извиняюсь. Я часто смеялась над тем, что ты влюблена в своего вора Сеньку. А вот я теперь скажу, что из всех мужчин самый порядочный — это вор или убийца. Он не скрывает того, что любит девочку, и, если нужно, сделает для нее преступление — воровство или убийство. А эти, остальные! Все вранье, ложь, маленькая хитрость, разврат исподтишка. У мерзавца три семьи, жена и пятеро детей. Гувернантка и два ребенка за границей. Старшая дочь от первого женного брака, и от нее ребенок. И это все, все в городе знают, кроме его маленьких детей. Да и те, может быть, догадываются и перешептываются. И представьте себе, он — почтенное лицо, уважаемое всем миром... Дети мои, кажется, у нас никогда не было случая, чтобы мы пускались друг с другом в откровенности, а вот я вам скажу, что меня, когда мне было десять с половиной лет, моя собственная мать продала в городе Житомире доктору Тарабукину. Я целовала его руки, умоляла пощадить меня, я кричала ему: «Я маленькая!» А он мне отвечал: «Ничего, ничего: подрастешь». Ну, конечно, боль, отвращение, мерзость... А оп потом это пустил, как ходячий анекдот. Отчаянный крик моей души.

— Ну, говорить — так говорить до конца,— спокойно сказала вдруг Зоя и улыбнулась небрежно и печально.— Меня лишил невинности учитель министерской школы Иван Петрович Сус. Просто позвал меня к себе на квартиру, а жена его в это время пошла на базар за поросяком,— было Рождество. Угостил меня конфетами, а потом сказал, что одно из двух: либо я должна его во всем слушаться, либо он сейчас же меня выгонит из школы за дурное поведение. А ведь вы сами знаете, девочки, как мы боимся учителей. Здесь они нам не страшны, потому что мы с ними что хотим, то и делаем, а тогда! Тогда ведь он нам казался более чем царь и Бог.

— А меня студент. Учил у нас барчуков. Там, где я служила...

— Нет, а я...— воскликнула Нюра, но, внезапно обернувшись назад, к двери, так и осталась с открытым ртом. Поглядев по направлению ее взгляда, Женька всплеснула руками. В дверях стояла Любка, исхудавшая, с чер-

ными кругами под глазами и, точно сомнамбула, отыскивала рукою дверную ручку, как точку опоры.

— Любка, дура, что с тобой?! — закричала громко Женька. — Что?!

— Ну, конечно, что: он взял и выгнал меня.

Никто не сказал ни слова. Женька закрыла глаза руками и часто задышала, и видно было, как под кожей ее щек быстро ходят напряженные мускулы скул.

— Женечка, на тебя только вся и надежда, — сказала с глубоким выражением тоскливой беспомощности Любка. — Тебя так все уважают. Поговори, душенька, с Анной Марковной или с Симеоном... Пускай меня примут обратно.

Женька выпрямилась на постели, вперилась в Любку сухими, горящими, но как будто плачущими глазами и спросила отрывисто:

— Ты ела что-нибудь сегодня?

— Нет. Ни вчера, ни сегодня. Ничего.

— Послушай, Женечка, — тихо спросила Ванда, — а что, если я дам ей белого вина? А Верка покамест сбегает на кухню за мясом. А?

— Делай как знаешь. Конечно, это хорошо. Да поглядите, девчонки, ведь она вся мокрая. Ах, какая дурища! Ну! Живо! Раздевайся! Манька Беленькая или ты, Тамарочка, дайте ей сухие панталоны, теплые чулки и туфли. Ну, теперь, — обратилась она к Любке, — рассказывай, идиотка, все, что с тобой случилось!

## IX

В то раннее утро, когда Лихонин так внезапно и, может быть, неожиданно даже для самого себя увез Любку из веселого заведения Анны Марковны, был перелом лета. Деревья еще стояли зелеными, но в запахе воздуха, листьев и травы уже слегка чувствовался, точно издали, нежный, меланхолический и в то же время очаровательный запах приближающейся осени. С удивлением глядел студент на деревья, такие чистые, невинные и тихие, как будто бы Бог, незаметно для людей, рассадил их здесь ночью, и деревья сами с удивлением оглядываются вокруг на спокойную голубую воду, как будто еще дремлющую в лужах и канавах и под деревянным мостом, перекинутым через мелкую речку, оглядываются на высокое, точно вновь вымытое небо, которое только что проснулось и в заре, спросонок, улыбается розовой, ленивой, счастливой улыбкой навстречу разгоравшемуся солнцу.

Сердце студента ширилось и трепетало: и от красоты этого блаженного утра, и от радости существования, и от сладостного воздуха, освежавшего его легкие после ночи, проведенной без сна, в тесном и накуренном помещении. Но еще более умиляла его красота и возвышенность собственного поступка.

«Да, он поступил как человек, как настоящий человек, в самом высоком смысле этого слова! Вот и теперь он не раскаивается в том, что сделал. Хорошо им (кому это «им», Лихонин и сам не понимал как следует), хорошо им говорить об ужасах проституции, говорить, сидя за чаем с булками и колбасой, в присутствии чистых и развитых девушек. А сделал ли кто-нибудь из коллег какой-нибудь действительный шаг к освобождению женщины от гибели? Ну-ка? А то есть еще и такие, что придет к этой самой Сонечке Мармеладовой, наговорит ей турусы на колесах, распишет всякие ужасы, залезет к ней в душу, пока не доведет до слез, и сейчас же сам расплачется и начнет утешать, обнимать, по голове погладит, поцелует сначала в щеку, потом в губы, ну, и известно что! Тьфу! А вот у него, у Лихонина, слово с делом никогда не расходится».

Он обнял Любку за стан и поглядел на нее ласковыми, почти влюбленными глазами, хотя сам подумал сейчас же, что смотрит на нее, как отец или брат.

Любку страшно морил сон, слипались глаза, и она с усилием таращила их, чтобы не заснуть, а на губах лежала та же наивная, детская, усталая улыбка, которую Лихонин заметил еще и там, в кабинете. И из одного угла ее рта слегка тянулась слюна.

— Люба, дорогая моя! Милая, многострадальная женщина! Посмотри, как хорошо кругом! Господи! Вот уже пять лет, как я не видал как следует восхода солнца. То карточная игра, то пьянство, то в университет надо спешить. Посмотри, душенька, вон там заря расцвела. Солнце близко! Это — твоя заря, Любочка! Это начинается твоя новая жизнь. Ты смело обопрешься на мою сильную руку. Я выведу тебя на дорогу честного труда, на путь смелой, лицом к лицу, борьбы с жизнью!

Любка искоса взглянула на него. «Ишь, хмель-то еще играет, — ласково подумала она. — А ничего, добрый и хороший. Только немножко некрасивый». И, улыбнувшись полусонной улыбкой, она сказала тоном капризного упрека:

— Да-а! Обма-анете небось? Все вы, мужчины, такие. Вам бы сперва своего добиться, получить свое удовольствие, а потом нуль внимания!

— Я?! О! Чтобы я?! — воскликнул горячо Лихонин и даже свободной рукой ударил себя в грудь. — Плохо же ты меня знаешь! Я слишком честный человек, чтобы обманывать беззащитную девушку. Нет! Я положу все свои силы и всю свою душу, чтобы образовать твой ум, расширить твой кругозор, заставить твое бедное, пострадавшее сердце забыть все раны и обиды, которые панесла ему жизнь! Я буду тебе отцом и братом! Я оберегу каждый твой шаг! А если ты полюбишь кого-нибудь истинно чистой, святой любовью, то я благословлю тот день и час, когда вырвал тебя из этого Дантова ада!

В продолжение этой пылкой тирады старый извозчик многозначительно, хотя и молча, рассмеялся, и от этого беззвучного смеха тряслась его спина. Старые извозчики очень многое слышат, потому что извозчику, сидящему спереди, все прекрасно слышно, чего вовсе не подозревают разговаривающие седоки, и многое старые извозчики знают из того, что происходит между людьми. Почему знать, может быть, он слышал не раз и более беспорядочные, более возвышенные речи?

Любке почему-то показалось, что Лихонин на нее рассердился или заранее ревнует ее к воображаемому сопернику. Уж слишком он громко и возбужденно декламировал. Она совсем проснулась, повернула к Лихонину свое лицо, с широко раскрытыми, недоумевающими и в то же время покорными глазами, и слегка прикоснулась пальцами к его правой руке, лежавшей на ее талии.

— Не сердитесь, мой миленький. Я никогда не смею вас на другого. Вот вам, ей-Богу, честное слово! Честное слово, что никогда! Разве я не чувствую, что вы меня хотите обеспечить? Вы думаете, разве я не понимаю? Вы же такой симпатичный, хорошенький, молоденький! Вот если бы вы были старик и некрасивый...

— Ах! Ты не про то! — закричал Лихонин и опять высоким слогом начал говорить ей о равноправии женщин, о святости труда, о человеческой справедливости, о свободе, о борьбе против царящего зла.

Из всех его слов Любка не поняла ровно ни одного. Она все-таки чувствовала себя в чем-то виноватой и вся как-то съежилась, запечалилась, опустила вниз голову и замолчала. Еще немного, и она, пожалуй, расплакалась бы среди улицы, но, к счастью, они в это время подъехали к дому, где квартировал Лихонин.

— Ну, вот мы и дома, — сказал студент. — Стой, извозчик!



А когда расплатился, то не удержался, чтобы не произнести патетически, с рукой, театрально протянутой вперед, прямо перед собой:

И в дом мой смело и спокойно  
Хозяйкой полною войди!

И опять непонятная пророческая улыбка съезжила старческое коричневое лицо извозчика.

## Х

Комната, в которой жил Лихонин, помещалась в пятом с половиной этаже. С половиной потому, что есть такие пяти-, шести- и семиэтажные доходные дома, битком набитые и дешевые, сверху которых возводятся еще жалкие клоповники из кровельного железа, нечто вроде мансард или, вернее, скворечников, в которых страшно холодно зимой, а летом жарко, точно на тропиках. Любка с трудом карабкалась наверх. Ей казалось, что вот-вот, еще два шага, и она свалится прямо на ступени лестницы и беспробудно заснет. А Лихонин между тем говорил:

— Дорогая моя! Я вижу, вы устали. Но ничего. Обопритесь на меня. Мы идем все вверх! Все выше и выше! Не это ли символ всех человеческих стремлений? Подруга моя, сестра моя, обопрись на мою руку!

Тут бедной Любке стало еще хуже. Она и так еле-еле поднималась одна, а ей пришлось еще тащить на буксире Лихонина, который чересчур отяжелел. И это бы еще ничего, что он был грузен, но ее понемногу начинало раздражать его многословие. Так иногда раздражает непрестанный, скучный, как зубная боль, плач грудного ребенка, пронзительное верещанье канарейки или если кто непрерывно и фальшиво свистит в комнате рядом.

Наконец они добрались до комнаты Лихонина. Ключа в двери не было. Да обыкновенно ее никогда и не запирали на ключ. Лихонин толкнул дверь, и они вошли. В комнате было темно, потому что занавески были спущены. Пахло мышами, керосином, вчерашним борщом, заношенным постельным бельем, старым табачным дымом. В полутьме кто-то, кого не было видно, храпел оглушительно и разнообразно.

Лихонин приподнял штору. Обычная обстановка бедного холостого студента: провисшая, неубранная кровать со скомканным одеялом, хромой стол и на нем подсвечник без свечи, несколько книжек на полу и на столе, окурки повсюду, а напротив кровати, вдоль другой сте-

ны — старый-престарый диван, на котором сейчас спал и храпел, широко раскрыв рот, какой-то чернокудрый и черноусый молодой человек. Ворот его рубахи был расстегнут, и сквозь ее прореху можно было видеть грудь и черные волосы, такие густые и курчавые, какие бывают только у карачаевских барашков.

— Нижерадзе! Эй, Нижерадзе, вставай! — крикнул Лихонин и толкнул спящего в бок. — Князь!

— М-м-м...

— Вставай, я тебе говорю, ишак кавказский, идиот осетинский!

— М-м-м...

— Да будет проклят твой род в лице предков и потомков! Да будут они изгнаны с высот прекрасного Кавказа! Да не увидят они никогда благословенной Грузии! Вставай, подлец! Вставай, дромадер аравийский! Кип-тошка!..

Но вдруг, совсем неожиданно для Лихонина, вмешалась Любка. Она взяла его за руку и сказала робко:

— Миленький, зачем же его мучить? Может быть, он спать хочет, может быть, он устал? Пускай поспит. Уж лучше я поеду домой. Вы мне дадите полтинник на извозчика? Завтра вы опять ко мне приедете. Правда, душенька?

Лихонин смутился. Таким странным ему показалось вмешательство этой молчаливой, как будто сонной девушки. Конечно, он не сообразил того, что в ней говорила инстинктивная бессознательная жалость к человеку, который недоспал, или, может быть, профессиональное уважение к чужому сну. Но удивление было только мгновенное. Ему стало почему-то обидно. Он поднял свесившуюся до полу руку лежащего, между пальцами которой так и осталась потухшая папироса, и, крепко встряхнув ее, сказал серьезным, почти строгим голосом:

— Слушай же, Нижерадзе, я тебя наконец серьезно прошу. Пойми же, черт тебя поберет, что я не один, а с женщиной. Свинья!

Случилось точно чудо: лежавший человек вдруг вскочил, точно какая-то пружина необыкновенной мощности мгновенно раскрутилась под ним. Он сел на диване, быстро потер ладонями глаза, лоб, виски, увидел женщину, сразу сконфузился и пробормотал, торопливо застегивая косоворотку:

— Это ты, Лихонин? А я тут тебя дожидался, дожидался и заснул. Попроси незнакомого товарища, чтобы она отвернулась на минутку.

Он поспешно натянул на себя серую студенческую тужурку и вздохматил обеими пятернями свои роскошные черные кудри. Любка, со свойственным всем женщинам кокетством, в каком бы возрасте и положении они ни находились, подошла к осколку зеркала, висевшему на стене, поправить прическу. Нижерадзе искоса, вопросительно, одним движением глаз показал на нее Лихонину.

— Ничего. Не обращай внимания,— ответил тот вслух.— А впрочем, выйдем отсюда. Я тебе сейчас все расскажу. Извините, Любочка, я только на одну минуту. Сейчас вернусь, устрою вас, а затем испарюсь, как дым.

— Да вы не беспокойте себя,— возразила Любка,— мне и здесь, на диване, будет хорошо. А вы устраивайтесь себе на кровати.

— Нет, это уж не модель, ангел мой! У меня здесь есть один коллега. Я к нему и пойду ночевать. Сию минуту я вернусь.

Оба студента вышли в коридор.

— Что сей сон значит?— спросил Нижерадзе, широко раскрывая свои восточные, немножко бараньи глаза.— Откуда это прелестное дитя, этот товарищ в юбке?

Лихонин многозначительно покрутил головой и сморщился. Теперь, когда поездка, свежий воздух, утро и деловая, будничная, привычная обстановка почти совсем отрезвили его, он начал ощущать в душе смутное чувство какой-то неловкости, ненужности своего внезапного поступка и в то же время что-то вроде бессознательного раздражения и против самого себя, и против увезенной им женщины. Он уже предчувствовал тягость совместной жизни, множество хлопот, неприятностей и расходов, двусмысленные улыбки или даже просто бесцеремонные расспросы товарищей, наконец, серьезную помеху во время государственных экзаменов.

Но, едва заговорив с Нижерадзе, он сразу устыдился своего малодушия и, начав вяло, к концу опять загарцевал на героическом коне.

— Видишь ли, князь,— сказал он, в смущении вертя пуговицу на тужурке товарища и не глядя ему в глаза,— ты ошибся. Это вовсе не товарищ в юбке, а это... просто я сейчас был с коллегами, был... то есть не был, а только заехал на минутку с товарищами на Ямки, к Анне Марковне.

— С кем?— спросил, оживившись, Нижерадзе.

— Ну, не все ли тебе равно, князь? Был Толпыгин, Рамзес, приват-доцент один — Ярченко, Боря Собашни-

ков и другие... не помню. Катались на лодке целый вечер, потом нырнули в кабачару, а уж потом, как свиньи, на Ямки. Я, ты знаешь, человек очень воздержанный. Я только сидел и насасывался коньяком, как губка, с одним знакомым репортером. Ну, а прочие все грехопали. И вот поутру отчего-то я совсем размяк. Так мне стало грустно и жалко глядеть на этих несчастных женщин. Подумал я и о том, что вот наши сестры пользуются нашим вниманием, любовью, покровительством, наши матери окружены благоговейным обожанием. Попробуй кто-нибудь сказать им грубое слово, толкнуть, обидеть, — ведь мы горло готовы перегрызть каждому! Не правда ли?

— М-м?.. — протянул не то вопросительно, не то выжидательно грузин и скосил глаза вбок.

— Ну вот, я и подумал: а ведь каждую из этих женщин любой прохвост, любой мальчишка, любой развалившийся старец может взять себе на минуту или на ночь, как мгновенную прихоть, и равнодушно еще в липкий, тысяча первый раз осквернить и опоганить в ней то, что в человеке есть самое драгоценное, — любовь... Понимаешь, надругаться, растоптать ногами, заплатить за визит и уйти спокойно, ручки в брючки, посвистывая. А ужаснее всего, что это все вошло уже у них в привычку: и ей все равно, и ему все равно. Притупились чувства, померкла душа. Так ведь? А ведь в каждой из них погибает и прекрасная сестра, и святая мать. А? Не правда ли?

— Н-на?.. — промычал Нижерадзе и опять отвел глаза в сторону.

— Я и подумал: к чему слова и лишние восклицания? К черту лицемерные речи на съездах. К черту аболиционизм, регламентацию (ему вдруг невольно пришли на ум недавние слова репортера) и все эти раздачи священных книг в заведениях и магдалинские приюты! Вот я возьму и поступлю как настоящий честный человек, вырву девушку из омута, внедрю ее в настоящую твердую почву, успокою ее, ободрю, приласкаю.

— Гм! — крикнул Нижерадзе, усмехнувшись.

— Эх, князь! У тебя всегда сальности на уме. Ты же понимаешь, что я не о женщине говорю, а о человеке, не о мясе, а о душе.

— Хорошо, хорошо, душа мой, дальше!

— А дальше то, что я как задумал, так и сделал. Взял ее сегодня от Анны Марковны и привез покамест к себе. А там что Бог даст. Научу ее сначала читать, писать, потом открою для нее маленькую кухмистерскую

или, скажем, бакалейную лавочку. Думаю, товарищи мне не откажутся помочь. Сердце человеческое, братец мой князь, всякое сердце в согреве, в тепле нуждается. И вот посмотри: через год, через два я возвращу обществу хорошего, работающего, достойного члена, с девственной душой, открытой для всяких великих возможностей... Ибо она отдавала только тело, а душа ее чиста и невинна.

— Це, це, це,— почмокал языком князь.

— Что это значит, ишак тифлисский?

— А купишь ей швейную машинку?

— Почему именно швейную машинку? Не понимаю.

— Всегда, душа мой, так в романах. Как только герой спас бедное, но погибшее создание, сейчас же он ей заводит швейную машинку.

— Перестань говорить глупости,— сердито отмахнулся от него рукой Лихонип.— Паяц!

Грузин вдруг разгорячился, засверкал черными глазами, и в голосе его сразу послышались кавказские интонации.

— Нет, не глупости, душа мой! Тут одно из двух, и все один и тот же результат. Или ты с ней сойдешься и через пять месяцев выбросишь ее на улицу, и она вернется опять в публичный дом или пойдет на панель. Это факт! Или ты с ней не сойдешься, а станешь ей павязывать ручной или головной труд и будешь стараться развивать ее невежественный, темный ум, и она от скуки убежит от тебя и опять очутится либо на панели, либо в публичном доме. Это тоже факт! Впрочем, есть еще третья комбинация. Ты будешь о ней заботиться, как брат, как рыцарь Ланчелот, а она тайком от тебя полюбит другого. Душа мой, поверь мне, что женщшына, покамест она женщшына, так она — женщшына. И без любви жить не может. Тогда она сбежит от тебя к другому. А другой поиграется немножко с ее телом, а через три месяца выбросит ее на улицу или в публичный дом.

Лихонип глубоко вздохнул. Где-то глубоко, не в уме, а в сокровенных, почти неуловимых тайниках сознания, промелькнуло у него что-то похожее на мысль о том, что Нижерадзе прав. Но он быстро овладел собою, встряхнул головой и, протянув руку князю, произнес торжественно:

— Обещаю тебе, что через полгода ты возьмешь свои слова обратно и в знак извинения, чурчхела ты эривапская, бадриджан армавирский, поставишь мне дюжину кахетинского.

— Ва! Идет! — Князь с размаху ударил ладонью по

руке Лихонина.— С удовольствием. А если по-моему, то — ты.

— То я. Однако до свиданья, князь. Ты у кого почувешь?

— Я здесь же, по этому коридору, у Соловьева. А ты, конечно, как средневековый рыцарь, положишь обоюдоострый меч между собой и прекрасной Розамундой? Да?

— Глупости. Я сам было хотел у Соловьева переночевать. А теперь пойду поброжу по улицам и заверну к кому-нибудь: к Зайцевичу или к Штрумпу. Прощай, князь!

— Постой, постой! — позвал его Нижерадзе, когда он отошел на несколько шагов.— Самое главное я тебе сейчас сказать: Парцап провалился!

— Вот как? — удивился Лихонин и тотчас же длинно, глубоко и сладко зевнул.

— Да. Но ничего страшного нет: только одно хранение брошюрины. Отсидит не больше года.

— Ничего, он хлопец крепкий, не раскиснет.

— Крепкий, — подтвердил князь.

— Прощай!

— До свиданья, рыцарь Грюнвальдус.

— До свиданья, жеребец кабардинский.

## XI

Лихонин остался один. В полутемном коридоре пахло керосиновым чадом догоравшей жестяной лампочки и запахом застоявшегося дурного табака. Дневной свет тускло проникал только сверху, из двух маленьких стеклянных рам, сделанных в крыше над коридором.

Лихонин находился в том одновременно расслабленном и приподнятом настроении, которое так знакомо каждому человеку, которому случалось надолго выбиться из сна. Он как будто бы вышел из пределов обыденной человеческой жизни, и эта жизнь стала для него далекой и безразличной, но в то же время его мысли и чувства приобрели какую-то спокойную ясность и равнодушную четкость, и в этой хрустальной нирване была скучная и томительная прелесть.

Он стоял около своего номера, прислонившись к стене, и точно ощущал, видел и слышал, как около него и под ним спят несколько десятков людей, спят последним крепким утренним сном, с открытыми ртами, с мерным глубоким дыханием, с вялой бледностью на глянцевиных от сна лицах, и в голове его пронеслась давнишняя, зна-

комая еще с детства мысль о том, как страшны спящие люди — гораздо страшнее, чем мертвецы.

Потом он вспомнил о Любке. Его подвальное, подпольное, таинственное «я» быстро-быстро шепнуло о том, что надо было бы зайти в комнату и поглядеть, удобно ли девушке, а также сделать некоторые распоряжения насчет утреннего чая, но он сам сделал перед собой вид, что вовсе и не думал об этом, и вышел на улицу.

Он шел, вглядываясь во все, что встречали его глаза, с новым для себя ленивым и метким любопытством, и каждая черта рисовалась ему до такой степени рельефной, что ему казалось, будто он ощупывает ее пальцами... Вот прошла баба. У нее через плечо коромысло, а на обоих концах коромысла по большому ведру с молоком; лицо у нее немолодое, с сетью морщинок на висках и с двумя глубокими бороздами от позревшей к углам рта, но ее щеки румяны и, должно быть, тверды на ощупь, а карие глаза лучатся бойкой хохлацкой усмешкой. От движения тяжелого коромысла и от плавной поступи ее бедра раскачиваются ритмично то влево, то вправо, и в их волнообразных движениях есть грубая, чувственная красота.

«Бедовая бабенка, и прожила она цеструю жизнь», — подумал Лихонин. И вдруг, неожиданно для самого себя, почувствовал и неудержимо захотел эту совсем незнакомую ему женщину, некрасивую и немолодую, вероятно, грязную и вульгарную, но все же похожую, как ему представилось, на крупное яблоко, антоновку-падалку, немного подточенное червем, чуть-чуть полежалое, но еще сохранившее яркий цвет и душистый винный аромат.

Перегоняя его, пронесся пустой черный погребальный катафалк; две лошади в запряжке, а две привязаны сзади, к задним колонкам. Факельщики и гробовщики, уже с утра пьяные, с красными звероподобными лицами, с порыжелыми цилиндрами на головах, сидели беспорядочной грудой на своих форменных ливреях, на лошадиных сетчатых пополах, на траурных фонарях и ржавыми, сиплыми голосами орали какую-то нескладную песню. «Должно быть, к выносу торопятся, а пожалуй, уже и закончили, — подумал Лихонин, — веселые ребята!» На бульваре он остановился и присел на низенькую деревянную, крашенную зеленым скамейку. Два ряда мощных столетних каштанов уходили вдаль, сливаясь где-то далеко в одну прямую зеленую стрелу. На деревьях уже висели колючие крупные орехи. Лихонин вдруг вспомнил, что в самом начале весны он сидел именно на этом бульваре и

именно на этом самом месте. Тогда был тихий, нежный, пурпурно-дымчатый вечер, беззвучно засыпавший, точно улыбающаяся усталая девушка. Тогда могучие каштаны, с листвою широкой внизу и узкой кверху, сплошь были усеяны гроздьями цветов, растущих светлыми, розовыми, тонкими шишками прямо к небу, точно кто-то по ошибке взял и прикрепил на все каштаны, как на люстры, розовые елочные рождественские свечи. И вдруг с необычайной остротой Лихонин почувствовал, — каждый человек неизбежно рано или поздно проходит через эту полосу внутреннего чувства, — что вот уже зреют орехи, а тогда были розовые цветущие свечечки, и что будет еще много весен и много цветов, по той, что прошла, никто и ничто не в силах ему возратить. Грустно глядя в глубь уходящей густой аллеи, он вдруг заметил, что сентиментальные слезы щиплют ему глаза.

Он встал и пошел дальше, приглядываясь ко всему встречаемому с неустанным, обостренным и в то же время спокойным вниманием, точно он смотрел на созданный Богом мир в первый раз. Мимо него прошла по мостовой артель каменщиков, и все они преувеличенно ярко и цветисто, точно на матовом стекле камер-обскуры, отразились в его внутреннем зрении. И старший рабочий, с рыжей бородой, сваливавшейся пабок, с голубыми строгими глазами; и огромный парень, у которого левый глаз затек и от лба до скулы и от носа до виска расплывалось пятно черно-сизого цвета; и мальчишка с паивным, деревенским лицом, с разинутым ртом, как у птенца, безвольным, мокрым; и старик, который, припоздавши, бежал за артелью смешной козлиной рысью; и их одежды, запачканные известкой, их фартуки и их зубила — все это мелькнуло перед ним неодушевленной вереницей — цветной, пестрой, но мертвой лентой кинематографа.

Ему пришлось пересекать Ново-Кишиневский базар. Вдруг вкусный жирный запах чего-то жареного заставил его раздуть ноздри. Лихонин вспомнил, что со вчерашнего полдня он еще ничего не ел, и сразу почувствовал голод. Он свернул направо, в глубь базара.

В дни голодовок, — а ему приходилось испытывать их неоднократно, — он приходил сюда на базар и на жалкие, с трудом добытые гроши покупал себе хлеба и жареной колбасы. Это бывало чаще всего зимою. Торговка, укутанная во множество одежд, обыкновенно сидела для теплоты на горшке с угольями, а перед нею на железном противне шипела и трещала толстая домашняя колбаса,



парезанная кусками по четверть аршипа длиною, обильно сдобренная чесноком. Кусок колбасы обыкновенно стоил десять копеек, хлеб — две копейки.

Сегодня на базаре было очень много народа. Еще издали, протискиваясь к знакомому любимому ларьку, Лихонин услышал звуки музыки. Пробившись сквозь толпу, окружавшую один из ларьков сплошным кольцом, он увидел наивное и милое зрелище, какое можно увидеть только на благословенном юге России. Десять или пятнадцать торговок, в обыкновенное время злоязычных сплетниц и неудержимых, неистощимых в словесном разнообразии ругательниц, а теперь лстивых и ласковых подруг, очевидно, разгулялись еще с прошлого вечера, прокутили целую ночь и теперь вынесли на базар свое шумное веселье. Наемные музыканты — две скрипки, первая и вторая, и бубен — наяривали однообразный, по живой, залихватский и лукавый мотив. Одни бабы чокались и целовались, поливая друг друга водкой, другие разливали ее по рюмкам и по столам, следующие, прихлопывая в ладоши в такт музыке, ухали, взвизгивали и приседали на месте. А посредине круга, на камнях мостовой, вертелась и дробно топталась на месте толстая женщина лет сорока пяти, но еще красивая, с красными мясистыми губами, с влажными, пьяными, точно обмасленными глазами, весело снявшими под высокими дугами черных правильных малорусских бровей. Вся прелесть и все искусство ее танца заключались в том, что она то наклоняла вниз голову и выглядывала задорно исподлобья, то вдруг откидывала ее назад и опускала вниз ресницы и разводила руки в стороны, а также в том, как в размер пляске колыхались и вздрагивали у нее под красной ситцевой кофтой огромные груди. Во время пляски она пела, перебирая то каблуками, то носками козловых башмаков:

На вулицы скрипка грае,  
Бас гуде, вымовляе.  
Мене маты не пускае,  
А мий милый дожидает.

Это-то и была знакомая Лихонину баба Грппа, та самая, у которой в крутые времена он не только бывал клиентом, но даже кредитовался. Она вдруг узнала Лихонина, бросилась к нему, обняла, прптиснула к груди и поцеловала прямо в губы мокрыми, горячими толстыми губами. Потом она размахнула руки, ударила ладонь об ладонь, скрестила пальцы с пальцами и сладко, как умеют это только подольские бабы, заворковала:

— Паньчу ж мий, золотко ж мое серебряное, любый мой! Вы ж мене, бабу пьяную, простыте. Ну, що ж? Загуляла! — Она кинулась было целовать ему руку. — Та я же знаю, що вы не гордый, як другие паны. Ну, дайте, рыбонька моя, я ж вам ручку поцелую! Ни, ни, ни! Простю, прошу вас!..

— Ну, вот глупости, тетя Грипа! — перебил ее, внезапно оживляясь, Лихонин. — Уж лучше так поцелуемся. Губы у тебя больно сладкие!

— Ах ты, сердынятынько мое! Сонечко мое ясное, яблочко ж мое райское, — разнежилась Грипа, — дай же мне твои бузи! Дай же мне твои бузенятки!..

Она жарко прижала его к своей исполинской груди и опять обеснувала влажными горячими готтентотскими губами. Потом схватила его за рукав, вывела на середину круга и заходила вокруг него плавно-семенящей походкой, кокетливо изогнув стан и голоса:

Ой! Кто до кого, а я до Параски,  
Бо у мене черт ма в штанив,  
А в вси запаски!

И потом вдруг перешла, поддержанная музыкантами, к развеселому малорусскому гопаку:

Ой, чук тай байдуже  
Задринала фартук дуже.  
А ты, Прыско, не журись,  
Доки мокро, тай утрись!  
Траляля, траляля...

Спит Хима, тай не чуе,  
Що казак с вси почуе.  
Брешешь, Хима, ты все чуешь,  
Тылько так соби мандруешь.  
Тай, тай, траляля...

Лихонин, окончательно развеселенный, неожиданно для самого себя вдруг заскакал козлом около нее, точно спутник вокруг несущейся планеты, длиннопогий, длиннорукий, сутуловатый и совершенно нескладный. Его выход приветствовали общим, но довольно дружелюбным ржанием. Его усадили за стол, потчевали водкой и колбасой. Он, со своей стороны, послал знакомого босяка за пивом и со стаканом в руке произнес три нелепые речи: одну — о самостоятельности Украины, другую — о достоинстве малорусской колбасы, в связи с красотой и семейственностью малорусских женщин, а третью — почему-то о торговле и промышленности на юге России. Сидя рядом с Грипой, он все пытался обнять ее за талию, и она не противилась этому. Но даже и его длинные руки не мог-

ли обхватить ее изумительного стана. Однако она крепко, до боли, тискала под столом его руку своей огромной, горячей, как огонь, мягкой рукою.

В это время между торговками, до сих пор пежно целовавшимися, вдруг промелькнули какие-то старые, неплаченные ссоры и обиды. Две бабы, наклонившись друг к другу, точно петухи, готовые вступить в бой, подпершись руками в бока, поливали друг дружку самыми посадскими ругательствами.

— Дура, стэрва, собачья дочь! — кричала одна. — Ты не достойна меня от сюда поцеловать. — И, обернувшись тылом к противнице, она громко шлепнула себя ниже спины. — От сюда! Ось!

А другая в ответ визжала бешено:

— Брешень, курва, бо достойна, достойна!

Лихонин воспользовался минутой. Будто что-то вспомнив, он торопливо вскочил с лавки и крикнул:

— Подождите меня, тетя Грипа, я через три минуты приду! — и нырнул сквозь живое кольцо зрителей.

— Палычу! Панычу! — кричала ему вслед его соседка. — Вы же скорейше назад идите! Я вам одно словцо маю сказаты.

Зайдя за угол, он некоторое время мучительно старался вспомнить, что такое ему нужно было непременно сделать сейчас, вот сию минуту. И опять в недрах души он знал о том, что именно надо сделать, но медлил сам себе в этом признаться. Был уже яркий, светлый день, часов около девяти-десяти. Дворники поливали улицы из резиновых рукавов. Цветочницы сидели на площадях и у калиток бульваров, с розами, левкоями и нарциссами. Светлый, южный, веселый, богатый город оживлялся. Продребезжала по мостовой железная клетка, наполненная собаками всевозможных мастей, пород и возрастов. На козлах сидело двое гицелей, — или, как они сами себя называют почтительно, «крулевских гицелей», то есть ловцов бродячих собак, — возвращавшихся домой с сегодняшним утреним уловом.

«Она уже, должно быть, проснулась, — оформил наконец свою тайную мысль Лихонин, — а если не проспнулась, то я тихонько прилягу на диван и посплю».

В коридоре по-прежнему тускло светила и чадила умирающая керосиновая лампа, и водянисто-грязный полусвет едва проникал в узкий длинный ящик. Дверь по-прежнему так и осталась незапертой. Лихонин беззвучно открыл ее и вошел.

Слабый синий полусвет лился из прозоров между шторами и окном. Лихонин остановился посреди комнаты и с обостренной жадностью услышал тихое, сонное дыхание Любки. Губы у него сделались такими жаркими и сухими, что ему приходилось не переставая их облизывать. Колени задрожали.

«Спросить, не надо ли ей чего-нибудь», — вдруг пропелось у него в голове.

Как пьяный, тяжело дыша, с открытым ртом, шатаясь на трясущихся ногах, он подошел к кровати.

Люба спала на спине, протянув одну голую руку вдоль тела, а другую положив на грудь. Лихонин наклонился к ней ближе, к самому ее лицу. Она дышала ровно и глубоко. Это дыхание молодого здорового тела было, несмотря на сон, чисто и почти ароматно. Он осторожно провел пальцами по голой руке и погладил грудь немножко ниже ключиц. «Что я делаю?!» — с ужасом крикнул вдруг в нем рассудок, но кто-то другой ответил за Лихонина: «Я же ничего не делаю. Я только хочу спросить, удобно ли ей было спать и не хочет ли она чаю».

Но Любка вдруг проснулась, открыла глаза, зажмурила их на минуту и опять открыла. Потянулась длинно-длинно и с ласковой, еще не осмыслившейся улыбкой окружила жаркой крепкой рукой шею Лихонина.

— Дуся! Милый, — ласково произнесла женщина воркующим, немного хриплым со сна голосом, — а я тебя ждала, ждала, и даже рассердилась. А потом заснула и всю ночь тебя во сне видела. Иди ко мне, мой цыпочка, моя ляленька! — Она притянула его к себе, грудь к груди.

Лихонин почти не противился; он весь трясся, как от озноба, и бессмысленно повторял скачущим шепотом, ляская зубами:

— Нет же, Люба, не надо... Право, не надо, Люба, так... Ах, оставим это, Люба... Не мучай меня. Я не ручаюсь за себя... Оставь же меня, Люба, ради Бога!..

— Глупенький мо-ой! — воскликнула она смеющимся, веселым голосом. — Иди ко мне, моя радость! — и, преодолевая последнее, совсем незначительное сопротивление, она прижала его рот к своему и поцеловала крепко и горячо, поцеловала искренне, может быть, в первый и последний раз в своей жизни.

«О, подлец! Что я делаю?» — продекламировал в Лихонине кто-то честный, благоразумный и фальшивый.

— Ну, что? Полегшало? — спросила ласково Любка, целуя в последний раз губы Лихонина. — Ах ты, студентик мой!..

С душевной болью, со злостью и с отвращением к себе, и к Любке, и, кажется, ко всему миру, бросился Лихонин, не раздеваясь, на деревянный кособокый пролежанный диван и от жгучего стыда даже заскрежетал зубами. Сон не шел к нему, а мысли все время вертелись около этого дурацкого, как он сам называл увоз Любки, поступка, в котором так противно переплелся скверный водевиль с глубокой драмой. «Все равно,— упрямо твердил он сам себе,— раз я обещался, я доведу дело до конца. И, конечно, то, что было сейчас, никогда-никогда не повторится! Боже мой, кто же не падал, поддаваясь минутной расхлябанности нервов? Глубокую, замечательную истину высказал какой-то философ, который утверждал, что ценность человеческой души можно познавать по глубине ее падения и по высоте взлетов. Но все-таки черт бы побрал весь сегодняшний идиотский день, и этого двусмысленного резонера — репортера Платопова, и его собственный, Лихонина, чепуховый рыцарский порыв! Точно в самом деле все это было не из действительной жизни, а из романа «Что делать?» писателя Чернышевского. И как, черт побери, какими глазами погляжу я на нее завтра?»

У него горела голова, жгло веки глаз, сохли губы. Он нервно курил папиросу за папирсой и часто приподымался с дивана, чтобы взять со стола графин с водой и жадно, прямо из горлышка, выпить несколько больших глотков. Потом каким-то случайным усилием воли ему удалось оторвать свои мысли от прошедшей ночи, и сразу тяжелый сон, без всяких видений и образов, точно обволок его черной ватой.

Он проснулся далеко за полдень, часа в два или в три, и сначала долго не мог прийти в себя, чавкал ртом и озирался по комнате мутными, отяжелевшими глазами. Все, что случилось ночью, точно вылетело из его памяти. Но когда он увидел Любку, которая тихо и неподвижно сидела на кровати, опустив голову и сложив на коленях руки, он застонал и закричал от досады и смущения. Теперь он вспомнил все. И в эту минуту он сам на себе испытал, как тяжело бывает утром воочию увидеть результаты сделанной вчера ночью глупости.

— Проснулся, дусенька? — спросила ласково Любка.

Она встала с кровати, подошла к дивану, села в ногах у Лихонина и осторожно погладила его ногу поверх одеяла.

-- А я давно уже проснулась и все сидела: боялась тебя разбудить. Очень уж ты крепко спал.

Она потянулась к нему и поцеловала его в щеку. Лихонин поморщился и слегка отстранил ее от себя.

— Подожди, Любочка! Подожди, этого не надо. Понимаешь, совсем, никогда не надо. То, что вчера было, ну, это случайность. Скажем, моя слабость. Даже более: может быть, мгновенная подлость. Но, ей-Богу, поверь мне, я вовсе не хотел сделать из тебя любовницу. Я хотел видеть тебя другом, сестрой, товарищем... Нет, нет, ничего: все сладится, стерпится. Не надо только падать духом. А покамест, дорогая моя, подожди и посмотри в окно: я только приведу себя в порядок.

Любка слегка надула губы и отошла к окну, повернувшись спиной к Лихонину. Всех этих слов о дружбе, братстве и товариществе она не могла осмыслить своим куриным мозгом и простой крестьянской душой. Ее воображению гораздо более льстило, что студент, — все-таки не кто-нибудь, а человек образованный, который может на доктора выучиться, или на адвоката, или на судью, — взял ее к себе на содержание... А вот теперь вышло так, что он только исполнил свой каприз, добился, чего ему нужно и уже на попятный. Все они таковы, мужчины!

Лихонин поспешно поднялся, плеснул себе на лицо несколько пригоршней воды и вытерся старой салфеткой. Потом он поднял шторы и распахнул обе ставни. Золотой солнечный свет, лазоревое небо, грохот города, зелень густых лип и каштанов, звонки конок, сухой запах горячей пыльной улицы — все это сразу вторгнулось в маленькую чердачную комнатку. Лихонин подошел к Любке и дружелюбно потрепал ее по плечу.

— Ничего, радость моя... Сделанного не поправишь, а вперед наука. Вы еще не спрашивали себе чаю, Любочка?

— Нет, я все вас дожидалась. Да и не знала, кому сказать. И вы тоже хороши. Я ведь слышала, как вы после того, как ушли с товарищем, вернулись назад и постояли у дверей. А со мной даже и не попрощались. Хорошо ли это?

«Первая семейная ссора», — подумал Лихонин, но подумал беззлобно, шутя.

Умывание, прелесть золотого и синего южного неба и наивное, отчасти покорное, отчасти недовольное, лицо Любки и сознание того, что он все-таки мужчина и что ему, а не ей надо отвечать за кашу, которую он зава-

рил,— все это вместе взбудоражило его нервы и заставило взять себя в руки. Он отворил дверь и рывкнул во тьму вонючего коридора:

— Ал-лекса-андр! Самова-ар! Две бу-улки, масла и колбасы! И мерзавчик во-одки!

В коридоре послышалось шлепанье туфель, и старческий голос еще издали зашамкал:

— Чего орешь? Чего орешь-то? Го-го-го! Го-го-го! Точно жеребец стоялый. Чай, не маленький: запсовел уж, а держишь себя, как мальчишка уличный! Ну, чего тебе?

В комнату вошла маленькая старушка, с красноватыми глазами, узкими, как щелочки, и с удивительно пергаментным лицом, на котором угрюмо и зловеще торчал вниз длинный острый нос. Это была Александра, давнишняя прислуга студенческих скворечников, друг и кредитор всех студентов, женщина лет шестидесяти пяти, резонерка и ворчунья.

Лихонин повторил ей свое распоряжение и дал рублевую бумажку. Но старуха не уходила, толклась на месте, сопела, жевала губами и недружелюбно глядела на девушку, сидевшую спиной к свету.

— Ты что же, Александра, точно окостенела? — смеясь, спросил Лихонин. — Или залюбовалась? Ну, так знай: это моя кузина, то есть двоюродная сестра, Любовь... — он замаялся всего лишь на секунду, но тотчас же выпалил: — Любовь Васильевна, а для меня просто Любочка. Я вот такой еще ее знал, — показал он на четверть аршина от стола. — И за уши драл, и шлепал за капризы по тому месту, откуда ноги растут. И там... жуков для нее разных ловил... Ну, однако... однако ты иди, иди, египетская мумия, обломок прежних веков! Чтобы одна пога там, другая здесь!

Но старуха медлила. Топчась вокруг себя, она еле-еле поворачивалась к дверям и не спускала острого, ехидного, бокового взгляда с Любки. И в то же время она бормотала запавшим ртом:

— Двоюродная! Зпаем мы этих двоюродных! Много их по Каштановой улице ходит. Ишь кобели несытые!

— Ну, ты, старая барка! Живо, и не ворчать! — прикрикнул на нее Лихонин. — А то я тебя, как твой друг, студент Трясов, возьму и запру в уборную на двадцать четыре часа!

Александра ушла, и долго еще слышались в коридоре ее старческие шлепающие шаги и невнятное бормотанье. Она склонна была в своей суровой ворчливой доброте многое прощать студенческой молодежи, которую она

обслуживала уже около сорока лет. Прощала пьянство, картежную игру, скандалы, громкое пение, долги, но, увы, она была девственницей, и ее целомудренная душа не переносила только одного: разврата.

### XIII

— Вот и чудесно... И хорошо, и мило,— говорил Лихонин, суетясь около хромоногого стола и без нужды переставляя чайную посуду.— Давно я, старый крокодил, не пил чайку как следует, по-христиански, в семейной обстановке. Садитесь, Люба, садитесь, милая, вот сюда, на диван, и хозяйничайте. Водки вы, верно, по утрам не пьете, а я, с вашего позволения, выпью... Это сразу подымает нервы. Мне, пожалуйста, покрепче, с кусочком лимона. Ах, что может быть вкуснее стакана горячего чая, налитого милыми женскими руками?

Любка слушала его болтовню, немного слишком шумную, чтобы казаться вполне естественной, и ее сначала недоверчивая, сторожкая улыбка смягчалась и светлела. Но с чаем у нее не особенно ладилось. Дома, в глухой деревне, где этот напиток считался еще почти редкостью, лакомой роскошью зажиточных семейств, и заваривался лишь при почетных гостях и по большим праздникам,— там над разливанием чая священнодействовал старший мужчина семьи. Позднее, когда Любка служила «за все» в маленьком уездном городишке сначала у попа, а потом у страхового агента, который первый и толкнул ее на путь проституции, то ей обыкновенно оставляла жидкий, спитой, чуть тепловатый чай с обгрызком сахара сама хозяйка, тощая, желчная, ехидная попадья, или агентиха, толстая, старая, обрюзгая, злая, засаленная, ревнивая и скупая бабища. Поэтому теперь простое дело приготовления чая было ей так же трудно, как для всех нас в детстве уметь отличать левую руку от правой или завязывать веревку петелькой. Суетливый Лихонин только мешал ей и конфузил ее.

— Дорогая моя, искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в Москве. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо сейчас же слить в полоскательную чашку,— от этого чай становится чище и ароматнее, да и кстати, известно, что китайцы — язычники и готовят свою траву очень грязно. Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху по-



лотенцем и так продержать три с половиной минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть, дать чуточку настояться — и у вас, моя дорогая, готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий.

Некрасивое, но миловидное лицо Любки, все пестрое от веснушек, как кукушечье яйцо, немного вытянулось и побледнело.

— Вы уж, ради Бога, на меня не сердитесь... Ведь вас Василь Василич?.. Не сердитесь, миленький Василь Василич... Я, право же, скоро выучусь, я ловкая. И что же это вы мне всё — вы да вы? Кажется, не чужие теперь?

Она посмотрела на него ласково. И правда, она сегодня утром в первый раз за свою небольшую, но искорканную жизнь отдала мужчине свое тело — хотя и не с наслаждением, а больше из признательности и жалости, но добровольно, не за деньги, не по принуждению, не под угрозой расчета или скандала. И ее женское сердце, всегда неувядаемое, всегда тянущееся к любви, как подсолнечник к свету, было сейчас чисто и разнежено.

Но Лихонин вдруг почувствовал колючую стыдливую пеловкость и что-то враждебное против этой вчера ему незнакомой женщины, теперь — его случайной любовницы. «Начались прелести семейного очага», — подумал он невольно, однако поднялся со стула, подошел к Любке и, взяв ее за руку, притянул к себе и погладил по голове.

— Дорогая моя, милая сестра моя, — сказал он трогательно и фальшиво, — то, что случилось сегодня, не должно никогда больше повториться. Во всем виноват только один я, и, если хочешь, я готов на коленях просить у тебя прощения. Пойми же, пойми, что все это вышло помимо моей воли, как-то стихийно, вдруг, внезапно. Я и сам не ожидал, что это будет так! Понимаешь, я очень давно... не знал близко женщины... Во мне проснулся зверь, отвратительный, разнузданный зверь... и... я не устоял. Но, Господи, разве так уж велика моя вина? Святые люди, отшельники, затворники, схимники, столпники, пустыnnики, мученики — не чета мне по крепости духа, — и они падали в борьбе с искушением дьявольской плоти. Но зато чем хочешь клянусь, что это больше не повторится... Ведь так?

Любка упрямо вырывала его руку из своей. Губы ее немного отторбучились, и опущенные веки часто заморгали.

— Да-а, — протянула она, как ребенок, который упрямится мириться, — я же вижу, что я вам не нравлюсь.

Так что ж,— вы мне лучше прямо скажите и дайте переносного на извозчика, и еще там, сколько захотите... Деньги за ночь все равно заплачены, и мне только доехать... туда.

Лихонин схватился за волосы, заметался по комнате и задекламповал:

— Ах, не то, не то, не то! Пойми же меня, Люба! Продолжать то, что случилось утром,— это... это свинство, скотство и недостойно человека, уважающего себя. Любовь! Любовь — это полное слияние умов, мыслей, душ, интересов, а не одних только тел. Любовь — громадное, великое чувство, могучее, как мир, а вовсе не валянье в постели. Такой любви нет между нами, Любочка. Если она придет, это будет чудесным счастьем и для тебя и для меня. А пока — я твой друг, верный товарищ на жизненном пути. И довольно, и basta... Я хотя и не чужд человеческих слабостей, но считаю себя честным человеком.

Любка точно завяла. «Он думает, что я хочу, чтобы он на мне женился. И совсем мне это не надо,— печально думала она.— Можно жить и так. Живут же другие на содержании. И, говорят,— гораздо лучше, чем покрутившись вокруг аналая. Что тут худого? Мирно, тихо, благородно... Я бы ему чулки штопала, полы мыла бы, стирала... что попроще. Конечно, ему когда-нибудь выйдет липия жениться на богатой. Ну уж, наверно, он так не выбросит на улицу, в чем мать родила. Хотя и дурачок и болтает много, а, видно, человек порядочный. Обеспечит все-таки чем-нибудь. А может быть, и взаправду приглядится, привыкнет? Я девица простая, скромная и на измену никогда не согласная. Ведь, говорят, бывает так-то... Надо только вида ему не показывать. А что он опять придет ко мне в постель и придет сегодня же вечером — это как Бог свят».

И Лихонин тоже задумался, замолк и заскучал; он уже чувствовал тяготу взятого на себя непосильного подвига. Поэтому он даже обрадовался, когда в дверь постучали и на его окрик «войдите» вошли два студента: Соловьев и почевавший у него Нижегородце.

Соловьев, рослый и уже тучповатый, с широким румяным волжским лицом и светлой маленькой вьющейся бородкой, принадлежал к тем добрым, веселым и простым малым, которых достаточно много в любом университете. Он делил свои досуги,— а досуга у него было двадцать четыре часа в сутки,— между пивной и шатапьем по бульварам, между бильярдом, вилтом, театром, чтением газет и романов и зрелищами цирковой борьбы; короткие же

промежутки употреблял на еду, спалье, домашнюю починку туалета при помощи ниток, картона, булавок и чернил и на сокращенную, самую реальную любовь к случайной женщине из кухни, передней или с улицы. Как и вся молодежь его круга, он сам считал себя революционером, хотя тяготился политическими спорами, раздорами и взаимными колкостями и, не перенося чтения революционных брошюр и журналов, был в деле почти полным невеждой. Поэтому он не достиг даже самого малого партийного посвящения, хотя иногда ему давались кое-какие поручения вовсе небезопасного свойства, смысл которых ему не уясняли. И не напрасно полагались на его твердую совесть: он все исполнял быстро, точно, со смелой верой в мировую важность дела, с беззаботной улыбкой и с широким презрением к возможной гибели. Он укрывал нелегальных товарищей, хранил запретную литературу и шрифты, передавал паспорта и деньги. В нем было много физической силы, черноземного добродушия и стихийного простосердечия. Он нередко получал из дому, откуда-то из глуши Симбирской или Уфимской губернии, довольно крупные для студента денежные суммы, но в два дня разбрасывал и рассовывал их повсюду с небрежностью французского вельможи XVII столетия, а сам оставался зимою в одной тужурке, с сапогами, реставрированными собственными средствами.

Кроме всех этих наивных, трогательных, смешных, возвышенных и безалаберных качеств старого русского студента, уходящего — и Бог весть, к добру ли? — в область исторических воспоминаний, он обладал еще одной изумительной способностью — изобретать деньги и устраивать кредиты в маленьких ресторанах и кухмистерских. Все служащие ломбарда и ссудных касс, тайные и явные ростовщики, старьевщики были с ним в самом тесном знакомстве.

Если же по некоторым причинам нельзя было к ним прибегнуть, то и тут Соловьев оставался на высоте своей находчивости. Предводительствуя кучкой обедневших друзей и удрученный своей обычной деловой ответственностью, он иногда мгновенно озарялся внутренним вдохновением, делал издали, через улицу, таинственный знак проходившему со своим узлом за плечами татарину и на несколько секунд исчезал с ним в ближайших воротах. Он быстро возвращался назад без тужурки, в одной рубашке навыпуск, подпоясанный шнурочком, или зимой без пальто, в легоньком костюмчике, или вместо новой, только что купленной форменной фуражки — в крошечном

жокейском картузике, чудом державшемся у него на макушке.

Его все любили: товарищи, прислуга, женщины, дети. И все были с ним фамильярны. Особенным благорасположением пользовался он со стороны своих купцов — татар, которые, кажется, считали его за блаженненького. Они иногда летом приносили ему в подарок крепкий, пьяный кумыс в больших четвертных бутылках, а на байрам приглашали к себе есть молочного жеребенка. Как это ни покажется неправдоподобным, но Соловьев в критические минуты отдавал на хранение татарам некоторые книги и брошюры. Он говорил при этом с самым простым и значительным видом: «То, что я тебе даю, — Великая книга. Она говорит о том, что Аллах Акбар и Магомет его пророк, что много зла и бедности на земле и что люди должны быть милостивы и справедливы друг к другу».

У него были и еще две особенности: он очень хорошо читал вслух и удивительно, мастерски, прямо-таки гениально играл в шахматы, побеждая шутя первоклассных игроков. Его нападение было всегда стремительно и жестоко, защита мудра и осторожна, преимущественно в облическом<sup>1</sup> направлении, уступки противнику исполнены тонкого дальновидного расчета и убийственного коварства. При этом делал он свои ходы точно под влиянием какого-то внутреннего инстинкта или вдохновения, не задумываясь более чем на четыре-пять секунд и решительно презирая почтенные традиции.

С ним неохотно играли, считали его манеру играть дикарской, но все-таки играли иногда на крупные деньги, которые, неизменно выигрывая, Соловьев охотно возлагал на алтарь товарищеских нужд. Но от участия в конкурсах, которые могли бы ему создать положение звезды в шахматном мире, он постоянно отказывался. «У меня нет в натуре ни любви к этой ерунде, ни уважения, — говорил он, — просто я обладаю какой-то механической способностью ума, каким-то психическим уродством. Ну вот как бывают левши. И потому у меня нет ни профессионального самолюбия, ни гордости при победе, ни желчи при проигрыше».

Таков был матерой студент Соловьев. А Нижерадзе приходился ему самым близким товарищем, что не мешало, однако, обоим с утра до вечера зубоскалить друг над другом, спорить и ругаться. Бог ведает, чем и как су-

---

<sup>1</sup> Обходном (от лат. *obliquus*).

ществовал грузинский князь. Он сам про себя говорил, что обладает способностью верблюда питаться впрок на несколько недель вперед, а потом месяц ничего не есть. Из дому, из своей благословенной Грузии, он получал очень мало, и то больше съестными припасами. На Рождество, на Пасху или в день именин (в августе) ему присылали,— и непременно через приезжих земляков,— целые клады из корзины с бараниной, виноградом, чурчхелой, колбасами, сушеной мушмалой, рахат-лукумом, бадриджанами и очень вкусными лепешками, а также бурдюки с отличным домашним вином, крепким и ароматным, но отдававшим чуть-чуть овчиной. Тогда князь съезжал к кому-нибудь из товарищей (у него никогда не было своей квартиры) всех близких друзей и земляков и устраивал такое пышное празднество,— по-кавказски «той»,— на котором истреблялись дотла дары плодородной Грузии, на котором пели грузинские песни, и, конечно, в первую голову «Мраволджамнем» и «Нам каждый гость ниспослан Богом, какой бы ни был он страны», плясали без усталости лезгинку, размахивая дико в воздухе столовыми ножами, и говорил свои импровизации тулумбаш (или, кажется, он называется тамада?); по большей части говорил сам Нижерадзе.

Говорить он был великий мастер и умел, разгораясь, произносить около трехсот слов в минуту. Слог его отличался пылкостью, пышностью и образностью, и его речи не только не мешал, а даже как-то странно, своеобразно украшал ее кавказский акцент с характерным цоканьем и гортанными звуками, похожими то на харканье вальдшнепа, то на орлиный клекот. И о чем бы он ни говорил, он всегда сводил монолог на самую прекрасную, самую плодородную, самую передовую, самую рыцарскую и в то же время самую обиженную страну — Грузию. И неизменно цитировал он строки из «Барсовой кожи» грузинского поэта Руставели, уверяя, что эта поэма в тысячу раз выше всего Шекспира, умноженного на Гомера.

Он был хотя и вспыльчив, но отходчив и в обращении жеманственно-мягок, ласков, предупредителен, не теряя природной гордости... Одно в нем не нравилось товарищам — какое-то преувеличенное, экзотическое жеманство. Он был непоколебимо, до святости или до глупости убежден в том, что он неотразимо прекрасен собою, что все мужчины завидуют ему, все женщины влюблены в него, а мужья ревнуют... Это хвастливое, навязчивое бабничество ни на минуту, должно быть даже и во сне, не поки-

дало его. Идя по улице, он поминутно толкал локтем в бок Лихонина, Соловьева или другого спутника и говорил, причмокивая и кивая назад головой на прошедшую мимо женщину: «Це, це, це... вай-вай! Зам-мэчатытыльный жёншына! Ка-ак она на меня посмотрела! Захо-чу — моя будет!..»

За ним этот смешной недостаток знали, высмеивали эту его черту добродушно и бесцеремонно, но охотно прощали ради той независимой товарищеской услужливости и верности слову, данному мужчине (клятвы женщинам были не в счет), которыми он обладал так естественно. Впрочем, надо сказать, что он пользовался в самом деле большим успехом у женщин. Швейки, модистки, хористки, кондитерские и телефонные барышни таяли от пристального взгляда его тяжелых, сладких и томных черно-синих глаз...

— До-ому сему и всем, праведно, мирно и непорочно обитающим в нем...— заголосил было по-протодияконски Соловьев и вдруг осекся.— Отцы святители,— забормотал он с удивлением, стараясь продолжать неудачную шутку.— Да ведь это... Это же... ах, дьявол... это Соня, нет, виноват, Надя... Ну да! Люба от Анны Марковны...

Любка горячо, до слез, покраснела и закрыла лицо ладонями. Лихонин заметил это, понял, прочувствовал смятенную душу девушки и пришел ей на помощь. Он сурово, почти грубо остановил Соловьева:

— Совершенно верно, Соловьев. Как в адресном столе. Люба из Ямков. Прежде — проститутка. Даже больше, еще вчера — проститутка. А сегодня — мой друг, моя сестра. Так на нее пускай и смотрит всякий, кто хоть сколько-нибудь меня уважает. Иначе...

Грузный Соловьев торопливо, искренно и крепко обнял и помял Лихонина.

— Ну, милый, ну, будет... я виопыхах сделал глупость. Больше не повторится. Здравствуйте, бледнолицая сестра моя.— Он широко через стол протянул руку Любке и стиснул ее безвольные, маленькие и короткие пальцы с обгрызенными крошечными ногтями.— Прекрасно, что вы пришли в наш скромный вигвам. Это освежит вас и внедрит в нашу среду тихие и приличные нравы. Александра! Пива-а! — закричал он громко.— Мы одичали, огрубели, погрязли в сквернословии, пьянстве, лени и других пороках. И все оттого, что были лишены благотворного, умиротворяющего влияния жепского общества. Еще раз жму вашу руку. Милую, маленькую руку. Пива!

— Иду,— услышался за дверью недовольный голос Александры.— Иду я. Чего кричишь? На сколько?

Соловьев пошел в коридор объясниться. Лихонин благодарно улыбнулся ему вслед, а грузин по пути благодушно шлепнул его по спине между лопатками. Оба поняли и оценили запоздалую грубоватую деликатность Соловьева.

— Теперь,— сказал Соловьев, возвратившись в номер и садясь осторожно на древний стул,— теперь приступим к порядку дня. Буду ли я вам чем-нибудь полезен? Если вы мне дадите полчаса сроку, я сбегаю на минутку в кофейную и выпотрошу там самого лучшего шахматиста. Словом — располагайте мною.

— Какой вы смешной! — сказала Любка, стесняясь и смеясь. Она не понимала шутливого и необычного слога студента, но что-то влекло ее простое сердце к нему.

— Этого вовсе и не нужно,— вставил Лихонин.— Я покамест еще зверски богат. Мы; я думаю, пойдем все вместе куда-нибудь в трактирчик. Мне надо будет с вами кое о чем посоветоваться. Все-таки — вы для меня самые близкие люди и, конечно, не так глупы и неопытны, как с первого взгляда кажется. Затем я пойду попробую устроиться с ее... с Любиным паспортом. Вы подождете меня. Это недолго... Словом, вы понимаете, в чем заключается все это дело, и не будете расточать лишних шуток. Я,— его голос дрогнул сентиментально и фальшиво,— я хочу, чтобы вы взяли на себя часть моей заботы. Идет?

— Ва! идет! — воскликнул князь (у него вышло «идиот») и почему-то взглянул значительно на Любку и закрутил усы. Лихонин покосился на него. А Соловьев сказал простосердечно:

— И дело. Ты затеял нечто большое и прекрасное, Лихонин. Князь мне ночью говорил. Ну, что же, на то и молодость, чтобы делать святые глупости. Дай мне бутылку, Александра, я сам открою, а то ты надорвешься и у тебя жила лопнет. За новую жизнь, Любочка, виноват... Любовь... Любовь...

— Никоновна. Да зовите, как сказалось... Люба.

— Ну да, Люба. Князь, аллаверды!

— Якши-ол,— ответил Нижерадзе и чокнулся с ним пивом.

— И еще скажу, что я очень за тебя рад, дружище Лихонин,— продолжал Соловьев, поставив стакан и облизывая усы.— Рад и кланяюсь тебе. Именно только ты и способен на такой настоящий русский героизм, выраженный просто, скромно, без лишних слов.

— Оставь... Ну какой героизм, — поморщился Лихонин.

— И правда, — подтвердил Нижерадзе. — Ты все меня упрекаешь, что я много болтаю, а сам какую чепуху развел.

— Все равно! — возразил Соловьев. — Может быть, и витиевато, но все равно! Как староста нашей чердачной коммуны, объявляю Любу равноправным и почетным членом!

Он поднялся, широко простер руку и патетически произнес:

И в дом наш смело и свободно хозяйкой милою войди!

Лихонин ярко вспомнил, что ту же самую фразу он по-актерски сказал сегодня на рассвете, и даже зажмурился от стыда.

— Будет балаганить. Пойдемте, господа. Одевайся, Люба.

#### XIV

До ресторана «Воробьи» было недалеко, шагов двести. По дороге Любка незаметно взяла Лихонина за рукав и потянула к себе. Таким образом они опоздали на несколько шагов от шедших впереди Соловьева и Нижерадзе.

— Так это вы серьезно, Василь Васильч, миленький мой? — спросила она, заглядывая снизу вверх на него своими ласковыми темными глазами. — Вы не шутите надо мной?

— Какие тут шутки, Любочка! Я был бы самым низким человеком, если бы позволял себе такие шутки. Повторяю, что я тебе более чем друг, я тебе брат, товарищ. И не будем об этом больше говорить. А то, что случилось сегодня поутру, это уж, будь покойна, не повторится. И сегодня же я найму тебе отдельную комнату.

Любка вздохнула. Не то чтобы ее обижало целомудренное решение Лихонина, которому, по правде сказать, она плохо верила, но как-то ее узкий, темный ум не мог даже теоретически представить себе иного отношения мужчины к женщине, кроме чувственного. Кроме того, сказывалось давнишнее, крепко усвоенное в доме Анны Марковны, в виде хвастливого соперничества, а теперь глухое, но искреннее и сердитое недовольство предпочтенной или отвергнутой самки. И Лихонину она почему-то довольно плохо верила, улавливая бессознательно много наигранного, не совсем искреннего в его словах. Вот Соловьев — тот хотя и говорил непонятно, как и прочее большинство знакомых ей студентов, когда они шутили



между собой или с девицами в общем зале (отдельно, в комнате, все без исключения мужчины, все, как один, говорили и делали одно и то же), однако Соловьеву она поверила бы скорее и охотнее. Какая-то простота светилась из его широко расставленных, веселых, искристых серых глаз.

Лихонина в «Воробьях» уважали за солидность, добрый нрав и денежную аккуратность. Поэтому ему сейчас же отвели маленький отдельный кабинетик — честь, которой могли похвастаться очень немногие студенты. В этой комнате целый день горел газ, потому что свет проникал только из узенького низа обрезанного потолком окна, из которого можно было видеть только сапоги, ботинки, зонтики и тросточки людей, проходивших по тротуару.

Пришлось присоединить к компании еще одного студента, Симановского, с которым столкнулись у вешалки. «Что это, точно он напоказ меня водит,— подумала Любка,— похоже, что он хвастается перед ними». И, улучив свободную минуту, она шепнула нагнувшемуся над ней Лихонину:

— Миленкий, зачем же так много народу? Я ведь такая стеснительная. Совсем не умею компанию поддерживать.

— Ничего, ничего, дорогая Любочка,— быстро прошептал Лихонин, задерживаясь в дверях кабинета,— ничего, сестра моя, это всё люди свои, хорошие, добрые товарищи. Они помогут тебе, помогут нам обоим. Ты не гляди, что они иногда шутят и врут глупости. А сердца у них золотые.

— Да уж очень неловко мне, стыдно. Все уж знают, откуда ты меня взял.

— И ничего, ничего! И пусть знают,— горячо возразил Лихонин.— Зачем стесняться своего прошлого, замалчивать его? Через год ты взглянешь смело и прямо в глаза каждому человеку и скажешь: «Кто не падал, тот не поднимался». Идем, идем, Любочка!

Покамест подавали немудреную закуску и заказывали еду, все, кроме Симановского, чувствовали себя неловко и точно связано. Отчасти причиной этому и был Симановский, бритый человек в пенсне, длинноволосый, с гордо закинутой назад головою и с презрительным выражением в узких, опущенных вниз углами, губах. У него не было близких, сердечных друзей между товарищами, но его мнения и суждения имели среди них значительную авторитетность. Откуда происходила эта его влияние, вряд ли кто-нибудь мог бы объяснить себе: от

его ли самоуверенной внешности, от умения ли схватить и выразить в общих словах то раздробленное и неясное, что смутно ищется и желается большинством, или оттого, что свои заключения он всегда приберегал к самому нужному моменту. Среди всякого общества много такого рода людей: одни из них действуют на среду софизмами, другие — каменной бесповоротной непоколебимостью убеждений, третьи — широкой глоткой, четвертые — злой насмешкой, пятые — просто молчанием, заставляющим предполагать за собою глубокомыслие, шестые — трескучей внешней словесной эрудицией, иные — хлесткой насмешкой надо всем, что говорят... многие — ужасным русским словом «ерунда!». «Ерунда!» — говорят они презрительно на горячее, искреннее, может быть, правдивое, но скомканное слово. «Почему же ерунда?» — «Потому что чепуха, вздор», — отвечают они, пожимая плечами, и точно камнем по голове ухлопывают человека. Много еще есть сортов таких людей, главенствующих над робкими, застенчивыми, благородно-скромными и часто даже над большими умами, и к числу их принадлежал Симановский.

Однако к середине обеда языки развязались у всех, кроме Любки, которая молчала, отвечала «да» и «нет» и почти не притрогивалась к еде. Больше всех говорили Лиховин, Соловьев и Нижерадзе. Первый — решительно и деловито, стараясь скрыть под заботливыми словами что-то настоящее, внутреннее, колючее и неудобное. Соловьев — с мальчишеским восторгом, с размашистыми жестами, стуча кулаком по столу. Нижерадзе — с легким сомнением и с недомолвками, точно он знал то, что нужно сказать, но скрывал это. Всех, однако, казалось, захватила, заинтересовала странная судьба девушки, и каждый, высказывая свое мнение, почему-то неизбежно обращался к Симановскому. Он же больше помалкивал и поглядывал на каждого из-под низа стекол пенсне, высоко поднимая для этого голову.

— Так, так, так, — сказал он наконец, пробарабанив пальцами по столу. — То, что сделал Лиховин, прекрасно и смело. И то, что князь и Соловьев идут ему навстречу, тоже очень хорошо. Я, с своей стороны, готов, чем могу, содействовать вашим начинаниям. Но не лучше ли будет, если мы поведем нашу знакомую по пути, так сказать, естественных ее влечений и способностей. Скажите, дорогая моя, — обратился он к Любке, — что вы знаете, умеете? Ну там работу какую-нибудь или что. Ну там шить, вязать, вышивать.

— Я ничего не знаю,— ответила Любка шепотом, низко опустив глаза, вся красная, тиская под столом свои пальцы.— Я ничего здесь не понимаю.

— А ведь и в самом деле,— вмешался Лихонин,— ведь мы не с того конца начали дело. Разговаривая о ней, в ее присутствии, мы только ставим ее в неловкое положение. Ну, посмотрите, у нее от растерянности и язык не шевелится. Пойдем-ка, Люба, я тебя провожу на минутку домой и вернусь через десять минут. А мы покамест здесь без тебя обдумаем, что и как. Хорошо?

— Мне что же, я ничего,— еле слышно ответила Любка.— Я как вам, Василь Василич, угодно. Только я бы не хотела домой.

— Почему так?

— Мне одной там неудобно. Я уж лучше вас на бульваре подожду в самом начале, на скамейке.

— Ах да! — спохватился Лихонин.— Это на нее Александра такого страха нагнала. Задам же я перцу этой старой ящерице! Ну, пойдем, Любочка.

Она робко, как-то сбоку, лопаточкой протянула каждому свою руку и вышла в сопровождении Лихонина.

Через несколько минут он вернулся и сел на свое место. Он чувствовал, что без него что-то говорили о нем, и тревожно бежал глазами товарищей. Потом, положив руки на стол, он начал:

— Я знаю вас всех, господа, за хороших, близких друзей,— он быстро и искоса поглядел на Симановского,— и людей отзывчивых. Я сердечно прошу вас прийти мне на помощь. Дело мною сделано впопыхах,— в этом я должен признаться,— но сделано по искреннему, чистому влечению сердца.

— А это главное,— вставил Соловьев.

— Мне решительно все равно, что обо мне станут говорить знакомые и незнакомые, а от своего намерения спасти,— извините за дурацкое слово, которое сорвалось,— от намерения ободрить, поддержать эту девушку я не откажусь. Конечно, я в состоянии нанять ей дешевую комнатку, дать первое время что-нибудь на прокорм, но вот что делать дальше, это меня затрудняет. Дело, конечно, не в деньгах, которые я всегда для нее пашел бы, но ведь заставить ее есть, пить и притом дать ей возможность ничего не делать — это значит осудить ее на лень, равнодушие, апатию, а там известно, какой бывает конец. Стало быть, нужно ей придумать какое-нибудь занятие. Вот эту-то сторону и надо обмозговать. Поватужьтесь, господа, посоветуйте что-нибудь.

— Надо знать, на что она способна, — сказал Симановский. — Ведь делала же она что-нибудь до поступления в дом.

Лихонин с видом безнадежности развел руками.

— Почти что ничего. Чуть-чуть шить, как и всякая крестьянская девчонка. Ведь ей пятнадцати лет не было, когда ее совратил какой-то чиновник. Подмести комнату, постирать, ну, пожалуй, еще сварить щи и кашу. Больше, кажется, ничего.

— Маловато, — сказал Симановский и прищелкнул языком.

— Да к тому же еще и неграмотна.

— Да это и неважно! — горячо вступился Соловьев. — Если бы мы имели дело с девушкой интеллигентной, а еще хуже полуинтеллигентной, то из всего, что мы собираемся сделать, вышел бы вздор, мыльный пузырь, а здесь перед нами девственная почва, непочатая целина.

— Гы-ы! — заржал двусмысленно Нижерадзе.

Соловьев теперь уже не шутя, а с настоящим гневом накинулся на него:

— Слушай, князь! Каждую святую мысль, каждое благое дело можно опаскудить и опохабить. В этом нет ничего ни умного, ни достойного. Если ты так поже-ребячьи относишься к тому, что мы собираемся сделать, то вот тебе Бог, а вот и порог. Иди от нас!

— Да ведь ты сам только что сейчас в номере. — смущенно возразил князь.

— Да, и я... — Соловьев сразу смягчился и потух, — я выскочил с глупостью и жалекю об этом. А теперь я охотно признаю, что Лихонин молодчина и прекрасный человек, и я все готов сделать со своей стороны. И повторяю, что грамотность — дело второстепенное. Ее легко постигнуть шутя. Таким непочатым умом научиться читать, писать, считать, а особенно без школы, в охотку, это как орех разгрызть. А что касается до какого-нибудь ручного ремесла, на которое можно жить и кормиться, то есть сотни ремесл, которым легко выучиться в две недели.

— Например? — спросил князь.

— А например... например... ну вот, например, делать искусственные цветы. Да, а еще лучше поступить в магазин цветочницей. Милое дело, чистое и красивое.

— Нужен вкус, — небрежно уронил Симановский.

— Врожденных вкусов нет, как и способностей. Иначе бы таланты зарождались только среди изысканного

высокообразованного общества, а художники рождались бы только от художников, а певцы от певцов, а этого мы не видим. Впрочем, я не буду спорить. Ну, не цветочница, так что-нибудь другое. Я, например, недавно видал на улице, в магазинной витрине сидит барышня, и перед нею какая-то машинка ножная.

— В-ва! Опять машинка! — сказал князь, улыбаясь и поглядывая на Лихонина.

— Перестань, Нижерадзе, — тихо, но сурово ответил Лихонин. — Стыдно.

— Болван! — бросил ему Соловьев и продолжал: — Так вот, машинка движется взад и вперед, а на ней, на квадратной рамке, натянуто тонкое полотно, и уж я, право, не знаю, как это там устроено, я не понял, но только барышня водит по экрану какой-то металлической штучкой, и у нее выходит чудесный рисунок разноцветными шелками. Представьте себе озеро, все поросшее кувшинками с их белыми венчиками и желтыми тычинками, и кругом большие зеленые листья. А по воде плывут друг другу навстречу два белых лебедя, и сзади темный парк с аллеей, и все это топка, четко, как акварельная живопись. Я так заинтересовался, что нарочно зашел спросить, что стоит. Оказывается, чуть-чуть дороже обыкновенной швейной машины и продается в рассрочку. А научиться этому искусству может в течение часа каждый, кто немножко умеет шить на простой машине. И имеется множество прелестных оригиналов. А главное, что такую работу очень охотно берут для экранов, альбомов, абажуров, занавесок и для прочей дряни, и деньги платят порядочные.

— Что же, и это дело, — согласился Лихонин и задумчиво погладил бороду. — А я, признаться, вот что хотел. Я хотел открыть для нее... открыть небольшую кухмистерскую или столовую, сначала, конечно, самую малюсенькую, но в которой готовилось бы все очень дешево, чисто и вкусно. Ведь многим студентам решительно все равно, где обедать и что есть. В студенческой почти никогда не хватает мест. Так вот, может быть, нам удастся как-нибудь затащить всех знакомых и приятелей.

— Это верно, — согласился князь, — но и непрактично: начнем столоваться в кредит. А ты знаешь, какие мы аккуратные плательщики. В таком деле нужно человека практичного, жоха, а если бабу, то со щучьими зубами, и то непременно за ее спиной должен торчать мужчипа. В самом деле, ведь не Лихонину же стоять

за выручкой и глядеть, что вдруг кто-нибудь наест, напьет и ускользнет.

Лихонин посмотрел на него прямо и дерзко, но только сжал челюсти и промолчал.

Начал своим размеренным беспрекословным тоном, поигрывая стеклами пенсне, Симановский:

— Намерение ваше прекрасно, господа, нет спору. Но обратили ли вы внимание на одну, так сказать, теневую сторону? Ведь открыть столовую, завести какое-нибудь мастерство — все это требует сначала денег, помощи — так сказать, чужой спины. Денег не жалко — это правда, я согласен с Лихониным, — но ведь такое начало трудовой жизни, когда каждый шаг заранее обеспечен, не ведет ли оно к неизбежной распущенности и халатности и в конце концов к равнодушному пренебрежению к делу. Ведь и ребенок, пока он раз пятьдесят не хлопнется, не научится ходить. Нет, уж если вы действительно хотите помочь этой бедной девушке, то дайте ей возможность сразу стать на ноги, как трудовому человеку, а не как трутню. Правда, тут большой иску́с, тягость работы, временная нужда, но зато если она превозможет все это, то она превозможет и остальное.

— Что же ей, по-вашему, в судомойки идти? — спросил с недоверием Соловьев.

— Ну да, — спокойно возразил Симановский, — в судомойки, в прачки, в кухарки. Всякий труд возвышает человека.

Лихонин покачал головой.

— Золотые слова. Сама мудрость вещает вашими устами, Симановский. Судомойкой, кухаркой, горничной, экономкой... но, во-первых, вряд ли она на это способна, во-вторых, она уже была горничной и вкусила все прелести барских окриков при всех и барских щипков за дверями, в коридоре. Скажите, разве вы не знаете, что девяносто процентов проституции вербуются из числа женской прислуги? И, значит, бедная Люба при первой же несправедливости, при первой неудаче легче и охотнее пойдет туда же, откуда я ее извлек, если еще не хуже, потому что это для нее и не так страшно и привычно, а может быть, даже от господского обращения и в охотку покажется. А кроме того, стоит ли мне, то есть, я хочу сказать, стоит ли нам всем, столько хлопотать, стараться, беспокоиться для того, чтобы, избавив человека от одного рабства, ввергнуть в другое?

— Верно, — подтвердил Соловьев.

— Как хотите,— с презрительным видом процедил Симаповский.

— А что касается до меня,— заметил князь,— то я готов, как твой приятель и как человек любознательный, присутствовать при этом опыте и участвовать в нем. Но я тебя еще утром предупреждал, что такие опыты бывали и всегда оканчивались позорной неудачей, по крайней мере те, о которых мы знаем лично, а те, о которых мы знаем только понаслышке, сомнительны в смысле достоверности. Но ты начал дело, Лихонин,— и делай. Мы тебе помощники.

Лихонин ударил ладонью по столу.

— Нет! — воскликнул он упрямо.— Симаповский отчасти прав насчет того, что большая опасность для человека, если его водить на помочах. Но не вижу другого исхода. На первых порах помогу ей комнатой и столом... найду нетрудную работу, куплю для нее необходимые принадлежности. Будь что будет! И сделаем все, чтобы хоть немного образовать ее ум, а что сердце и душа у нее прекрасные — в этом я уверен. Не имею никаких оснований для веры, но уверен, почти знаю. Ни жерадзе! Не паясничай! — резко крикнул он, бледнея.— Я сдерживался уж много раз при твоих дурацких выходках. Я до сих пор считал тебя за человека с совестью и с чувством. Еще одна неуместная острота, и я перемню о тебе мнение, и знай, что это навсегда.

— Да я же ничего... Я же, право... Зачем кирпичиться, душа мой? Тебе не нравится, что я веселый человек, ну, замолчу. Давай твою руку, Лихонин, выпьем!

— Ну, ладно, отвяжись. Будь здоров! Только не веди себя мальчишкой, барашек осетинский. Ну, так я продолжаю, господа. Если мы не отыщем ничего, что удовлетворяло бы справедливому мнению Симаповского о достоинстве независимого, ничем не поддержанного труда, тогда я все-таки остаюсь при моей системе: учить Любу чему можно, водить в театр, на выставки, на популярные лекции, в музеи, читать вслух, доставлять ей возможность слушать музыку, конечно понятную. Одному мне, понятно, не справиться со всем этим. Жду от вас помощи, а там что Бог даст.

— Что же,— сказал Симаповский,— дело новое, незатасканное, и как знать, чего не знаешь,— может быть, вы, Лихонин, сделаетесь настоящим духовным отцом хорошего человека. Я тоже предлагаю свои услуги.

— И я! И я! — поддержали другие двое, и тут же, не выходя из-за стола, четверо студентов выработали

очень широкую и очень диковинную программу образования и просвещения Любки.

Соловьев взял на себя обучить девушку грамматике и письму. Чтобы не утомлять ее скучными уроками и в награду за ее успехи, он будет читать ей вслух доступную художественную беллетристику, русскую и иностранную. Лихонин оставил за собою преподавание арифметики, географии и истории.

Князь же сказал простосердечно, без обычной шутовщины на этот раз:

— Я, дети мои, ничего не знаю, а что и знаю, то — очень плохо. Но я ей буду читать замечательное произведение великого грузинского поэта Руставели и переводить строчка за строчкой. Признаюсь вам, что я никакой педагог: я пробовал быть репетитором, но меня вежливо выгоняли после второго же урока. Однако никто лучше меня не сумеет научить играть на гитаре, мандолине и зурне.

Цижерадзе говорил совершенно серьезно, и поэтому Лихонин с Соловьевым добродушно рассмеялись, но совсем неожиданно, ко всеобщему удивлению, его поддержал Симановский:

— Князь говорит дело. Умение владеть инструментом, во всяком случае, повышает эстетический вкус, да и в жизни иногда бывает подспорьем. Я же, с своей стороны, господа... я предлагаю читать с молодой особой «Капитал» Маркса и историю человеческой культуры. А кроме того, проходить с ней физику и химию.

Если бы не обычный авторитет Симановского и не важность, с которой он говорил, то остальные трое расхохотались бы ему в лицо. Они только поглядели на него выпученными глазами.

— Ну да, — продолжал невозмутимо Симановский, — я покажу ей целый ряд возможных произвести дома химических и физических опытов, которые всегда занимательны и полезны для ума и искореняют предрассудки. Попутно я объясню ей кое-что о строении мира, о свойствах материи. Что же касается до Карла Маркса, то помните, что великие книги одинаково доступны пониманию и ученого, и неграмотного крестьянина, лишь бы было понятно изложено. А всякая великая мысль проста.

Лихонин нашел Любку на условленном месте, на бульварной скамеечке. Она очень неохотно шла с ним домой. Как и предполагал Лихонин, ее, давно отвыкшую от буд-



ничной, суровой и обильной всякими неприятностями действительности, страшила встреча с ворчливой Александрой, и, кроме того, на нее угнетающе подействовало то, что Лихонин не хотел скрывать ее прошлого. Но она, давно уже потерявшая в учреждении Анны Марковны свою волю, обезличенная, готовая идти вслед за всяким чужим зовом, не сказала ему ни слова и пошла за ним.

Коварная Александра успела уже за это время сбегать к управляющему домом и пожаловаться, что вот, мол, приехал Лихонин с какой-то девицей, ночевал с ней в комнате, а кто она, того Александра не знает, что Лихонин говорит, будто двоюродная сестра, а паспорта не предъявил. Пришлось очень долго, пространно и утомительно объясняться с управляющим, человеком грубым и наглым, который обращался со всеми жильцами дома как с обывателями завоеванного города и только слегка побаивался студентов, дававших ему иногда суровый отпор. Умилостивил его Лихонин лишь только тем, что тут же занял для Любки другой номер, через несколько комнат от себя, под самым скосом крыши, так что он представлял из себя внутри круто усеченную, низкую, четырехстороннюю пирамиду с одним окошком.

— А все же вы паспорт, господин Лихонин, непременно завтра же предъявите, — настойчиво сказал управляющий на прощанье. — Как вы человек почтенный, работающий, и мы с вами давно знакомы, также и платите вы аккуратно, то только для вас делаю. Времени, вы сами знаете, какие теперь тяжелые. Донесет кто-нибудь, и меня не то что оштрафуют, а и выселить могут из города. Теперь строго.

Вечером Лихонин с Любкой гуляли по Княжескому саду, слушали музыку, игравшую в Благородном собрании, и рано возвратились домой. Он проводил Любку до дверей ее комнаты и сейчас же простился с ней, впрочем, поцеловав ее нежно, по-отечески в лоб. Но через десять минут, когда он уже лежал в постели раздетый и читал государственное право, вдруг Любка, точно кошка, поцарапавшись в дверь, вошла к нему.

— Миленкий, душенька! Извините, что я вас побеспокоила. Нет ли у вас иголки с ниткой? Да вы не сердитесь на меня: я сейчас уйду.

— Люба! Я тебя прошу не сейчас, а сию секунду уйти. Наконец, я требую!

— Голубчик мой, хорошенький мой, — смешно и жалобно запела Любка, — ну что вы всё на меня кричите? —

И, мгновенно дунув на свечку, она в темноте припала к нему, смеясь и плача.

— Нет, так нельзя, Люба! Так невозможно дальше, — говорил десять минут спустя Лихонин, стоя у дверей, укутанный, как испанский гидальго плащом, одеялом. — Завтра же я найму тебе комнату в другом доме. И вообще, чтобы этого не было! Иди с Богом, спокойной ночи! Все-таки ты должна дать честное слово, что у нас отношения будут только дружеские.

— Даю, миленький, даю, даю, даю! — залепетала она, улыбаясь, и быстро чмокнула его сначала в губы, а потом в руку.

Последнее было сделано совсем инстинктивно и, пожалуй, неожиданно даже для самой Любки. Никогда еще в жизни она не целовала мужской руки, кроме как у попа. Может быть, она хотела этим выразить признательность Лихонину и преклонение перед ним, как перед существом высшим.

## XV

Среди русских интеллигентов, как уже многими замечено, есть порядочное количество диковинных людей, истинных детей русской страны и культуры, которые сумеют героически, не дрогнув ни одним мускулом, глядеть прямо в лицо смерти, которые способны ради идеи терпеливо переносить невообразимые лишения и страдания, равные пытке, но зато эти люди теряются от высокомерности швейцара, съеживаются от окрика прачки, а в полицейский участок входят с томительной и робкой тоской. Вот именно таким-то и был Лихонин. На следующий день (вчера было нельзя из-за праздника и позднего времени), проснувшись очень рано и вспомнив о том, что ему нужно ехать хлопотать о Любкином паспорте, он почувствовал себя так же скверно, как в былое время, когда еще гимназистом шел на экзамен, зная, что наперное провалится. У него болела голова, а руки и ноги казались какими-то чужими, ненужными, к тому же на улице с утра шел мелкий и точно грязный дождь. «Всегда вот, когда предстоит какая-нибудь неприятность, непременно идет дождь», — думал Лихонин, медленно одеваясь.

До Ямской улицы от него было не особенно далеко, не более версты. Он вообще нередко бывал в этих местах, но никогда ему не приходилось идти туда днем, и по дороге ему все казалось, что каждый встречный, каждый извозчик и городской смотрят на него с любопытством, с укором или с пренебрежением, точно угадывая цель его

путешествия. Как и всегда это бывает в ненастное мутное утро, все попадавшие ему на глаза лица казались бледными, некрасивыми, с уродливо подчеркнутыми недостатками. Десятки раз он воображал себе все, что он скажет сначала в доме, а потом в полиции, и каждый раз у него выходило по-иному. Сердясь на самого себя за эту преждевременную репетицию, он иногда останавливал себя:

— Ах! Не надо думать, не надо предполагать, что скажешь. Всегда гораздо лучше выходит, когда это делается сразу...

И сейчас же опять в голове у него начинались воображаемые диалоги:

— Вы не имеете права удерживать девушку против ее желания.

— Да, но пускай она сама заявит о своем уходе.

— Я действую по ее поручению.

— Хорошо, но чем вы это можете доказать? — И опять он мысленно обрывал сам себя.

Начался городской выгон, на котором паслись коровы, дощатый тротуар вдоль забора, шаткие мостики через ручейки и канавы. Потом он свернул на Ямскую. В доме Аины Марковны все окна были закрыты ставнями с вырезными посередине отверстиями в форме сердец. Так же были закрыты и все остальные дома безлюдной улицы, опустевшей, точно после моровой язвы. Со стесненным сердцем Лихонин потянул рукоятку звонка.

На звонок отворила горничная, босая, с подтыканным подолом, с мокрой тряпкой в руке, с лицом, полосатым от грязи, — она только что мыла пол.

— Мне бы Женьку, — попросил Лихонин несмело.

— Так что барышня Женя заняты с гостем. Еще не просыпались.

— Ну, тогда Тамару.

Горничная посмотрела на него недоверчиво.

— Барышня Тамара — не знаю... Кажется, тоже занята. Да вы как, с визитом или что?

— Ах, не все ли равно. Ну, скажем, с визитом.

— Не знаю. Пойду погляжу. Подождите.

Она ушла, оставив Лихонина в полутемной зале. Голубые пыльные столбы, исходившие из отверстий в ставнях, пронизывали прямо и вкось тяжелый сумрак. Безобразными пятнами выступали из серой мути раскрашенная мебель и слащавые олеографии на стенах. Пахло вчерашним табаком, сыростью, кислотой и еще чем-то особенным, неопределенным, нежилым, чем всегда пахнут по

утрам помещения, в которых живут только временно: *пустые театры, танцевальные залы, аудитории*. Далеко в городе прерывисто дребезжали дрожки. Стенные часы одновозвучно тикали за стеной. В странном волнении ходил Лихонин взад и вперед по зале, и потирал, и мял дрожавшие руки, и почему-то сутулился, и чувствовал холод.

«Не нужно было затевать всю эту фальшивую комедию,—думал он раздраженно. — Нечего уж и говорить о том, что я стал теперь позорной сказкою всего университета. Дернул меня черт! А ведь даже и вчера днем было не поздно, когда она говорила, что готова уехать назад. Дать бы ей только на извозчика и пемпужку на булавки, и поехала бы, и все было бы прекрасно, и был бы я теперь независим, свободен, и не испытывал бы этого мучительного и позорного состояния духа. А теперь уже поздно отступать. Завтра будет еще позднее, а послезавтра — еще. Отколов одну глупость, нужно ее сейчас же прекратить, а если не сделаешь этого вовремя, то она влечет за собою две других, а те — двадцать новых. Или, может быть, и теперь не поздно? Ведь она же глупа, перазвита и, вероятно, как и большинство из них, истеричка. Она — животное, годное только для еды и для постели! О! Черт! — Лихонин крепко стиснул себе руками щеки и лоб и зажмурился. — И хоть бы я устоял от простого, грубого физического соблазна! Вот, сам видишь, это уже случилось дважды, а потом и пойдет, и пойдет...»

Но рядом с этими мыслями бежали другие, противоположные:

«Но ведь я мужчина! Ведь я господин своему слову. Ведь то, что толкнуло меня на этот поступок, было прекрасно, благородно и возвышенно. Я отлично помню восторг, который охватил меня, когда моя мысль перешла в дело! Это было чистое, огромное чувство. Или это просто была блажь ума, подхлестнутого алкоголем, следствие бессонной ночи, курения и длинных отвлеченных разговоров?»

И тотчас же представлялась ему Любка, представлялась издалека, точно из туманной глубины времен, неловкая, робкая, с ее некрасивым и милым лицом, которое стало вдруг казаться бесконечно родственным, давным-давно привычным и в то же время несправедливо, без повода неприятным.

«Неужели я трус и тряпка?! — внутренне кричал Лихонин и заламывал пальцы. — Чего я боюсь, перед кем стесняюсь? Не гордился ли я всегда тем, что я один хо-

зани своей жизни? Предположим даже, что мне пришла в голову фантазия, блажь сделать психологический опыт над человеческой душой, опыт редкий, на девяносто девять шансов неудачный. Неужели я должен отдавать кому-нибудь в этом отчет или бояться чьего-либо мнения? Лихонин! Погляди на человечество сверху вниз!»

В комнату вошла Женя, растрепанная, заспанная, в белой ночной кофточке поверх белой нижней юбки.

— А-а! — зевнула она, протягивая Лихонину руку. — Здравствуйте, милый студент! Как ваша Любочка себя чувствует на новоселье? Позовите когда в гости. Или вы справляете свой медовый месяц потихоньку? Без посторонних свидетелей.

— Брось пустое, Женечка. Я насчет паспорта пришел.

— Та-ак. Насчет паспорта, — задумалась Женечка. — То есть тут не паспорт, а надо вам взять у экономки бланк. Понимаете, наш обыкновенный проститутский бланк, а уж вам его в участке обменяют на настоящую книжку. Только, видите, голубчик, в этом деле я вам буду плохая помощница. Они меня, чего доброго, пзобьют, если я супусь к экономке со швейцаром. А вы вот что сделайте. Поплите-ка лучше горничную за экономкой, скажите, чтобы она передала, что, мол, пришел один гость, постоянный, по делу, что очень нужно видеть лично. А меня вы извините — я отступаюсь, и не сердитесь, пожалуйста. Сами знаете: своя рубашка ближе к телу. Да что вам здесь в темноте шататься одному? Идите лучше в кабинет. Если хотите, я вам пива туда пришлю. Или, может быть, кофе хотите? А то, — и она лукаво заблестела глазами, — а то, может быть, девочку? Тамара занята, так, может быть, Нюру или Верку?

— Перестаньте, Женя! Я пришел по серьезному и важному вопросу, а вы...

— Ну, ну, не буду, не буду! Это я только так. Вижу, что верность соблюдаете. Это очень благородно с вашей стороны. Так идемте же.

Она повела его в кабинет и, открыв внутренний болт ставни, распахнула ее. Дневной свет мягко и скучно расплескался по красным с золотом стенам, по канделябрам, по мягкой красной вельветиповой мебели.

«Вот здесь это началось», — подумал Лихонин с тоскливым сожалением.

— Я ухожу, — сказала Женя. — Вы перед ней не очень-то насуйте и перед Семеном тоже. Собачьтесь с ними вовсю. Теперь день, и они вам ничего не посмеют сделать. В случае чего, скажите прямо, что, мол, поедете

сейчас к губернатору и донесете. Скажите, что их в двадцать четыре часа закроют и выселят из города. Они от окриков шелковыми становятся. Ну-с, желаю успеха!

Она ушла. Спустя десять минут в кабинет вплыла экономка Эмма Эдуардовна в сатиновом голубом пеньюаре, дебелая, с важным лицом, расширившимся от лба вниз к щекам точно уродливая тыква, со всеми своими массивными подбородками и грудями, с маленькими, зоркими, черными, безресничными глазами, с тонкими, злыми, поджатыми губами. Лихонин, привстав, пожал протянутую ему пухлую руку, унизанную кольцами, и вдруг подумал брезгливо:

«Черт возьми! Если бы у этой гадины была душа, если бы эту душу можно было прочитать, то сколько прямых и косвенных убийств таятся в ней скрытыми!»

Надо сказать, что, идя в Ямки, Лихонин кроме денег захватил с собою револьвер и часто по дороге, на ходу, лазил рукой в карман и ощущал там холодное прикосновение металла. Он ждал оскорбления, насилия и готовился встретить их надлежащим образом. Но, к его удивлению, все, что он предполагал и чего он боялся, оказалось трусливым, фантастическим вымыслом. Дело обстояло гораздо проще, скучнее, прозаичнее и в то же время неприятнее.

— Ja, mein Herr<sup>1</sup>, — сказала равнодушно и немного свысока экономка, усаживаясь в низкое кресло и закуривая папиросу. — Вы заплатили за одна ночь и вместо этого взял девушка еще на одна день и еще на одна ночь. Also<sup>2</sup>, вы должны еще двадцать пять рублей. Когда мы отпускаем девочка на ночь, мы берем десять рублей, а за сутки двадцать пять. Это как такса. Не угодно ли вам, молодой человек, курить? — Она протянула ему портсигар, и Лихонин как-то нечаянно взял папиросу.

— Я хотел поговорить с вами совсем о другом.

— О! Не беспокойтесь говорить: я все прекрасно понимаю. Вероятно, молодой человек хочет взять эта девушка, эта Любка, совсем к себе на задержание или чтобы ее, — как это называется по-русски, — чтобы ее спасай? Да, да, да, это бывает. Я двадцать два года живу в публичный дом, и всегда в самый лучший, приличный публичный дом, и я знаю, что это случается с очень глупыми молодыми людьми. Но только уверяю вас, что из этого ничего не выйдет.

---

<sup>1</sup> Да, сударь (нем.).

<sup>2</sup> Стало быть (нем.).

— Выйдет, не выйдет — это уж мое дело, — глухо ответил Лихонин, глядя вниз, на свои пальцы, подрагивавшие у него на коленях.

— О, конечно, ваше дело, молодой студент. — И дряблые щеки и величественные подбородки Эммы Эдуардовны запрыгали от беззвучного смеха. — От души желаю вам на любовь и дружбу, но только вы потрудитесь сказать этой мерзавке, этой Любке, чтобы она не смела сюда и носа показывать, когда вы ее, как собачонку, выбросите на улицу. Пускай подыхает с голоду под забором или идет в полтинничное заведение для солдат!

— Поверьте, не вернется. Прошу вас только дать мне немедленно ее свидетельство.

— Свидетельство? Ах, пожалуйста! Хоть сию минуту. Только вы потрудитесь сначала заплатить за все, что она брала здесь в кредит. Посмотрите, вот ее расчетная книжка. Я ее нарочно взяла с собой. Уж я знала, чем кончится наш разговор. — Она вынула из разреза пеньюара, показав на минутку Лихонину свою жирную, желтую, огромную грудь, маленькую книжку в черном переплете, с заголовком: «Счет девицы Ирины Вощенконой, в доме терпимости, содержимом Анной Марковной Шойбес, по Ямской улице, в доме № такой-то», и протянула ему через стол. Лихонин перевернул первую страницу и прочитал три или четыре параграфа печатных правил. Там сухо и кратко говорилось о том, что расчетная книжка имеется в двух экземплярах, из которых один хранится у хозяйки, а другой у проститутки, что в обе книжки заносятся все приходы и расходы, что по уговору проститутка получает стол, квартиру, отопление, освещение, постельное белье, баню и прочее и за это выплачивает хозяйке никак не более двух третей своего заработка, из остальных же денег она обязана одеваться чисто и прилично, имея не менее двух выходных платьев. Дальше упоминалось о том, что расплата производится при помощи марок, которые хозяйка выдает проститутке по получении от нее денег, а счет заключается в конце каждого месяца. И наконец, что проститутка во всякое время может оставить дом терпимости, даже если бы за ней оставался и долг, который, однако, она обязывается погасить на основании общих гражданских законов.

Лихонин ткнул пальцем в последний пункт и, перевернув книжку лицом к экономке, сказал торжествующе:

— Ага! Вот видите: имеет право оставить дом во всякое время. Следовательно, она может во всякое время бросить ваш гнусный вертеп, ваше проклятое гнездо наси-

лия, подлости и разврата, в котором вы... — забарабанил было Лихонин, но экономка спокойно оборвала его:

— О! Я не сомневаюсь в этом. Пускай уходит. Пускай только заплатит деньги.

— А вексель? Она может дать вексель.

— Пст! Вексель! Во-первых, она неграмотна, а во-вторых, что стоят ее векселя? Тьфу! И больше ничего! Пускай она найдет себе поручителя, который бы заслуживал доверие, и тогда я ничего не имею против.

— Но ведь в правилах ничего не сказано о поручителях.

— Мало ли что не сказано! В правилах тоже не сказано, что можно увозить из дому девицу, не предупредив хозяев.

— Но, во всяком случае, вы должны мне будете отдать ее бланк.

— Никогда не сделаю такой глупости! Явитесь сюда с какой-нибудь почтенной особой и с полицией, и пусть полиция удостоверит, что этот ваш знакомый есть человек состоятельный, и пускай этот человек за вас поручится, и пускай, кроме того, полиция удостоверит, что вы берете девушку не для того, чтобы торговать ею или перепродать в другое заведение, — тогда пожалуйста! С руками и ногами!

— Чертовщина! — воскликнул Лихонин. — Но если этим поручителем буду я, я сам! Если я вам сейчас же подпишу вексель...

— Молодой человек! Я не знаю, чему вас учат в разных ваших университетах, но неужели вы меня считаете за такую окончательную дуру? Дай Бог, чтобы у вас были, кроме этих, которые на вас, еще какие-нибудь штаны! Дай Бог, чтобы вы хоть через день имели на обед обрезки колбасы из колбасной лавки, а вы говорите: вексель! Что вы мне голову морочите?

Лихонин окончательно рассердился. Он вытащил из кармана бумажник и шлепнул его на стол.

— В таком случае я плачу лично и сейчас же!

— Ах, ну это дело другого рода, — сладко, но все-таки с недоверием пропела экономка. — Потрудитесь перевернуть страничку и посмотрите, каков счет вашей возлюбленной.

— Молчи, стерва! — крикнул на нее Лихонин.

— Молчу, дурак, — спокойно отозвалась экономка.

На разграфленных листочках по левой стороне обначался приход, по правой — расход.

«Получено марками 15-го февраля, — читал Лихонин, —



10 рублей, 16-го — 4 р., 17-го — 12 р., 18-го больна, 19-го больна, 20-го — 6 р., 21-го — 24 р.».

«Боже мой! — с омерзением, с ужасом подумал Лихонин. — Двенадцать человек! В одну ночь!»

В конце месяца стояло:

«Итого 330 рублей».

«Господи! Ведь это бред какой-то! Сто шестьдесят пять визитов», — подумал, механически подсчитав, Лихонин и все продолжал перелистывать страницы. Потом он перешел на правые столбцы.

«Сделано платье красное шелковое с кружевами 8¼ р. Портниха Елдокимова. Матине кружевное 35 р. Портниха Елдокимова. Чулки шелковые 6 пар 36 рублей» и т. д. и т. д. «Дано на извозчика, дано на конфеты, куплено духов» и т. д. и т. д. «Итого 205 рублей». Затем из 330 р. вычиталось 220 р. — доля хозяйки за пансион. Получалась цифра 110 р. Конец месячного расчета гласил:

«Итого, за уплатой портнихе и за прочие предметы ста десяти рублей, за Ириной Вощенковой остается долгу девяносто пять (95) рублей, а с оставшимися от прошлого года четыреста восемнадцатью рублями — пятьсот тринадцать (513) рублей».

Лихонин упал духом. Сначала он пробовал возмущаться дороговизной поставляемых материалов, но экономка хладнокровно возражала, что это ее совсем не касается, что заведение только требует, чтобы девушка одевалась прилично, как подобает девице из порядочного, благородного дома, а до остального ему нет дела. Заведение только оказывает ей кредит, уплачивая ее расходы.

— Но ведь это мегера, это паук в образе человека — эта ваша портниха! — кричал иступленно Лихонин. — Ведь она же в заговоре с вами, кровососная бапка вы такая, черепаха вы гнусная! Каракатица! Где у вас совесть?!

Чем он больше волновался, тем Эмма Эдуардовна становилась спокойнее и насмешливее.

— Опять повторяю: это не мое дело. А вы, молодой человек, не выражайтесь, потому что я позову швейцара, и он вас выкинет из дверей.

Лихонину приходилось долго, озверело, до хрипоты в горле торговаться с жестокой женщиной, пока она, наконец, не согласилась взять двести пятьдесят рублей наличными деньгами и на двести рублей векселями. И то только тогда, когда Лихонин семестровым свидетельством доказал ей, что он в этом году кончает и делается адвокатом...

Экономка пошла за билетом, а Лихонин принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. Он пересмотрел уже все картинки на стенах: и Леду с лебедем, и купанье на морском берегу, и одалиску в гареме, и сатира, несущего на руках голую нимфу, но вдруг его внимание привлек полузакрытый портьерой небольшой печатный плакат в рамке и за стеклом. Это был свод правил и постановлений, касающихся обихода публичных домов. Он попался впервые на глаза Лихонину, и студент с удивлением и брезгливостью читал эти строки, изложенные мертвым, казенным языком полицейских участков. Там с постыдной деловой холодностью говорилось о всевозможных мероприятиях и предосторожностях против заражений, об интимном женском туалете, об еженедельных медицинских осмотрах и обо всех приспособлениях для них. Лихонин прочитал также о том, что заведение не должно располагаться ближе чем на сто шагов от церквей, учебных заведений и судебных зданий, что содержать дом терпимости могут только лица женского пола, что селиться при хозяйке могут только ее родственники и то исключительно женского пола и не старше семи лет и что как девушки, так и хозяева дома и прислуга должны в отношениях между собою и также с гостями соблюдать вежливость, тишину, учтивость и благопристойность, отнюдь не позволяя себе пьянства, ругательства и драки. А также и о том, что проститутка не должна позволять себе любовных ласк, будучи в пьяном виде или с пьяным мужчиною, а кроме того, во время известных отправок. Тут же строжайше воспрещалось проституткам производить искусственные выкидыши. «Какой серьезный и нравственный взгляд на вещи!» — со злобной насмешкой подумал Лихонин.

Наконец дело с Эммой Эдуардовной было покончено. Взяв деньги и написав расписку, она протянула ее вместе с бланком Лихонину, а тот протянул ей деньги, причем во время этой операции оба глядели друг другу в глаза и на руки напряженно и сторожко. Видно было, что оба чувствовали не особенно большое взаимное доверие. Лихонин спрятал документы в бумажник и собирался уходить. Экономка проводила его до самого крыльца, и когда студент уже стоял на улице, она, оставаясь на лестнице, высунулась наружу и окликнула:

— Студент! Эй! Студент!

Он остановился и обернулся.

— Что еще?

— А еще вот что. Теперь я должна вам сказать, что

ваша Любка дряннь, воровка и больна сифилисом! У нас никто из хороших гостей не хотел ее брать, и все равно если бы вы не взяли ее, то завтра мы ее выбросили бы вон! Еще скажу, что она путалась со швейцаром, с городовыми, с дворниками и с воришками. Поздравляю вас с законным браком!

— У-у! Гадина! — зарычал на нее Лихонин.

— Болван зеленый! — крикнула она и захлопнула дверь.

В участок Лихонин поехал на извозчике. По дороге он вспомнил, что не успел как следует поглядеть на бланк, на этот пресловутый «желтый билет», о котором он так много слышал. Это был обыкновенный белый листочек не более почтового конверта. На одной стороне в соответствующей графе были прописаны имя, отчество и фамилия Любки и ее профессия — «проститутка», а на другой стороне — краткие извлечения из параграфов того плаката, который он только что прочитал, — позорные, лицемерные правила о приличном поведении и внешней и внутренней чистоте. «Каждый посетитель, — прочитал он, — имеет право требовать от проститутки письменное удостоверение доктора, свидетельствовавшего ее в последний раз». И опять сентиментальная жалость овладела сердцем Лихонина.

«Бедные женщины! — подумал он со скорбью. — Чего только с вами не делают, как не издеваются над вами, пока вы не привыкнете ко всему, точно слепые лошади на молотильном приводе!»

В участке его принял околоточный Кербеш. Он провел ночь на дежурстве, не выспался и был сердит. Его роскошная, веерообразная рыжая борода была помята. Правая половина румяного лица еще пунцово рдела от долгого лежания на неудобной клеенчатой подушке. Но удивительные ярко-синие глаза, холодные и светлые, глядели ясно и жестко, как голубой фарфор. Окончив допрашивать, переписывать и ругать скверными словами кучу оборванцев, забранных ночью для вытрезвления и теперь отправляемых по своим участкам, он откинулся на спинку дивана, заложил руки за шею и так крепко потянулся всей своей огромной богатырской фигурой, что у него затрещали все связки и суставы. Поглядел он на Лихонина, точно на вещь, и спросил:

— А вам что, господин студент?

Лихонин вкратце изложил свое дело.

— И вот я хочу, — закончил он, — взять ее к себе... как это у вас полагается?.. в качестве прислуги или, если хотите, родственницы; словом... как это делается?..

— Ну, скажем, содержанки или жены, — равнодушно возразил Кербеш и покрутил в руках серебряный портсигар с монограммами и фигурками. — Я решительно ничего не могу для вас сделать... по крайней мере, сейчас. Если вы желаете на ней жениться, представьте соответствующее разрешение своего университетского начальства. Если же вы берете на содержание, то подумайте, какая же тут логика? Вы берете девушку из дома разврата для того, чтобы жить с ней в развратном сожительстве.

— Прислугой, наконец, — вставил Лихонин.

— Да и прислугой тоже. Постарайтесь представить свидетельство от вашего квартирохозяина, — ведь, надеюсь, вы сами не домовладелец?.. Так вот, свидетельство о том, что вы в состоянии держать прислугу, а кроме того, все документы, удостоверяющие, что вы именно та личность, за которую себя выдаете, например, свидетельство из вашего участка и из университета и все такое прочее. Ведь вы, надеюсь, прописаны? Или, может быть, того?.. Из нелегальных?

— Нет, я прописан! — возразил Лихонин, начиная терять терпение.

— И чудесно. А девица, о которой вы хлопчете?

— Нет, она еще не прописана. Но у меня имеется ее бланк, который вы, надеюсь, обменяете мне на ее настоящий паспорт, и тогда я сейчас же пропущу ее.

Кербеш развел руками, потом опять заиграл портсигаром.

— Ничего не могу поделать для вас, господин студент, ровно ничего, покамест вы не представите всех требуемых бумаг. Что касается до девицы, то она, как не имеющая жительства, будет немедленно отправлена в полицию и задержана при ней, если только сама лично не пожелает отправиться туда, откуда вы ее взяли. Имею честь кланяться.

Лихонин резко нахлобучил шапку и пошел к дверям. Но вдруг у него в голове мелькнула остроумная мысль, от которой, однако, ему самому стало противно. И, чувствуя под ложечкой тошноту, с мокрыми, холодными руками, испытывая противное щемление в пальцах ног, он опять подошел к столу и сказал, как будто бы небрежно, но срывающимся голосом:

— Виноват, — господин околоточный. Я забыл самое главное: один нацп общий знакомый поручил мне передать вам его небольшой должок.

— Хм! Знакомый? — спросил Кербеш, широко раскрывая свои прекрасные лазурные глаза. — Это кто же такой?

— Бар... Барбарисов.  
— А, Барбарисов? Так, так, так! Помню, помню!  
— Так вот, не угодно ли вам принять эти десять рублей?

Кербеш покачал головой, но бумажку не взял.

— Ну и свинья же этот ваш... то есть наш Барбарисов. Он мне должен вовсе не десять рублей, а четвертную. Подлец этакий! Двадцать пять рублей, да еще там мелочь какая-то. Ну, мелочь я ему, конечно, не считаю. Бог с ним! — Это, видите ли, бильярдный долг. Я должен сказать, что он, негодяй, играет нечисто... Итак, молодой человек, гоните еще пятнадцать.

— Ну, а жох же вы, господин околоточный! — сказал Лихонин, доставая деньги.

— Помилуйте! — совсем уж добродушно возразил Кербеш. — Жена, дети... Жалованье наше, вы сами знаете, какое... Получайте, молодой человек, паспортничко. Распишитесь в принятии. Желаю...

Странное дело! Сознание того, что паспорт наконец у него в кармане, почему-то вдруг успокоило и опять взбодрило и приподняло нервы Лихонина.

«Что же! — думал он, быстро идя по улице. — Самое начало положено, самое трудное сделано. Держись крепко теперь, Лихонин, и не падай духом! То, что ты сделал, — прекрасно и возвышенно. Пусть я буду даже жертвой этого поступка — все равно! Стыдно, делая хорошее дело, сейчас же ждать за него награды. Я не цирковая собачка, и не дрессированный верблюд, и не первая ученица института благородных девиц. Напрасно только я вчера разболтался с этими носителями просвещения. Вышло глупо, бестактно и, во всяком случае, преждевременно. Но все поправимо в жизни. Перетерпишь самое тяжелое, самое позорное, а пройдет время, вспомнишь о нем, как о пустяках...»

К его удивлению, Любка не особенно удивилась и совсем не обрадовалась, когда он торжественно показал ей паспорт. Она была только рада опять увидеть Лихонина. Кажется, эта нервобитная, наивная душа успела уже прилепиться к своему покровителю. Она кинулась было к нему на шею, но он остановил ее и тихо, почти на ухо спросил:

— Люба, скажи мне... не бойся говорить правду, что бы ни было... Мне сейчас там, в доме, сказали, что будто ты больна одной болезнью... знаешь, такой, которая назы-

вается дурной болезнью. Если ты мне хоть сколько-нибудь веришь, скажи, голубчик, скажи, так это или нет?

Она покраснела, закрыла лицо руками, упала на диван и расплакалась.

— Миленький мой! Василь Василич! Васенька! Ей-Богу! Вот ей-Богу, никогда ничего подобного! Я всегда была такая осторожная. Я ужасно этого боялась. Я вас так люблю! Я вам непременно бы сказала. — Она поймала его руки, прижала их к своему мокрому лицу и продолжала уверять его со смешной и трогательной искренностью несправедливо обвиняемого ребенка.

И он тотчас же в душе поверил ей.

— Я тебе верю, дитя мое, — сказал он тихо, поглаживая ее волосы. — Не волнуйся, не плачь. Только не будем опять поддаваться нашим слабостям. Ну, случилось — пусть случилось, и больше не повторим этого.

— Как хотите, — лепетала девушка, целуя то его руки, то сукно его сюртука. — Если я вам так не нравлюсь, то, конечно, как хотите.

Однако и в этот вечер соблазн опять повторился и до тех пор повторялся, пока моменты грехопадения перестали возбуждать в Лихонине жгучий стыд и не обратились в привычку, поглотив и потушив раскаяние.

## XVI

Надо отдать справедливость Лихонину: он сделал все, чтобы устроить Любке спокойное и безбедное существование. Так как он знал, что им все равно придется оставить их мансарду, этот скворечник, возвышавшийся над всем городом, оставить не так из-за тесноты и неудобства, как из-за характера старухи Александры, которая с каждым днем становилась все лютее, придирчивее и бранчивее, то он решил снять на краю города, на Борщаговке, маленькую квартиренку, состоявшую из двух комнат и кухни. Квартира попала ему недорого, за девять рублей в месяц, без дров. Правда, Лихонину приходилось бегать оттуда очень далеко по его урокам, но он твердо полагался на свою выносливость и здоровье и часто говорил:

— У меня ноги свои. Жалеть их нечего.

И правда, ходить пешком он был великий мастер. Однажды, ради шутки, положив себе в жилетный карман шагомер, он к вечеру насчитал двадцать верст, что, принимая во внимание необыкновенную длину его ног, равнялось верстам двадцати пяти. А бегать ему надо было

довольно-таки много, потому что хлопоты по Любкиному паспорту и обзаведение кое-какою домашнею рухлядью съели весь его случайный карточный выигрыш. Он пробовал было опять приняться за игру, сначала по маленькой, но вскоре убедился, что теперь его карточная звезда вступила в полосу рокового невезения.

Ни для кого из его товарищей уже, конечно, не был тайной настоящий характер его отношений к Любке, но он еще продолжал в их присутствии разыгрывать с девушкой комедию дружеских и братских отношений. Почему-то он не мог или не хотел сознать того, что было бы гораздо умнее и выгоднее для него не лгать, не фальшивить и не притворяться. Или, может быть, он хотя и знал это, но не умел перевести установившегося тона? А в интимных отношениях он неизбежно играл второстепенную, пассивную роль. Инициатива, в виде нежности, ласки, всегда исходила от Любки (она так и осталась Любкой, и Лихонин как-то совсем позабыл о том, что в паспорте сам же прочитал ее настоящее имя — Ирина). Она, еще так недавно отдававшая безучастно или, наоборот, с имитацией знойной страсти свое тело десяткам людей в день, сотням в месяц, привязалась к Лихонину всем своим женским существом, любящим и ревнивым, приросла к нему телом, чувством, мыслями. Ей был смешон и занимателен князь, близок душевно и интересно-забавен размашистый Соловьев; к подавляющей авторитетности Симановского она чувствовала суеверный ужас, но Лихонин был для нее одновременно и властелином, и божеством, и, что всего ужаснее, ее собственностью, и ее телесной радостью.

Давно наблюдено, что изжившийся, затасканный мужчипа, изгрызенный и изжеванный челюстями любовных страстей, никогда уже не полюбит крепкой и единой любовью, одновременно самоотверженной, чистой и страстной. А для женщины в этом отношении нет ни законов, ни пределов. Это наблюдение в особенности подтверждалось на Любке. Она с наслаждением готова была пресмыкаться перед Лихониным, служить ему как раба, но в то же время хотела, чтобы он принадлежал ей больше, чем стол, чем собачка, чем ночная кофта. И он оказывался всегда неустойчивым, всегда падающим под натиском этой внезапной любви, которая из скромного ручейка так быстро превратилась в реку и вышла из берегов. И нередко он с горечью и насмешкой думал про себя:

«Каждый вечер я играю роль прекрасного Иосифа, но тот, по крайней мере, хоть вырвался, оставив в руках и

пылкой дамы свое нижнее белье, а когда же я наконец освобожусь от своего ярма?»

И тайная вражда к Любке уже грызла его. Все чаще и чаще приходили ему в голову разные коварные планы освобождения. И иные из них были настолько нечестны, что через несколько часов или на другой день, вспоминая о них, Лихонин внутренне корчился от стыда.

«Я падаю нравственно и умственно! — думал иногда он с ужасом. — Недаром же я где-то читал или от кого-то слышал, что связь культурного человека с малоинтеллигентной женщиной никогда не поднимет ее до уровня мужчины, а наоборот, его пригнет и опустит до умственного и нравственного кругозора женщины».

И через две недели она уже совсем перестала волновать его воображение. Он уступал, как насилию, длительным ласкам, просьбам, а часто и жалости.

А между тем, отдохнувшая и почувствовавшая у себя под ногами живую, настоящую почву, Любка стала хорошесть с необыкновенной быстротой, подобно тому как внезапно разворачивается после обильного и теплого дождя цветочный бутон, еще вчера почти умиравший. Вспушки сбежали с ее нежного лица, и в темных глазах исчезло недоумевающее, растерянное, точно у молодого галчонка, выражение, и они посвежели и заблестели. Okрепло и налилось тело, покраснели губы. Но Лихонин, видясь ежедневно с Любкой, не замечал этого и не верил тем комплиментам, которые ей расточали его приятели. «Дурацкие шутки, — думал он, хмурясь. — Дразнятся мальчишки».

Хозяйкой Любка оказалась менее чем посредственной. Правда, она умела сварить жирные щи, такие густые, что в них ложка стояла торчком, приготовить огромные, неуклюжие, бесформенные котлеты и довольно быстро освоилась под руководством Лихонина с великим искусством заваривания чая (в семьдесят пять копеек фунт), но дальше этого она не шла, потому что, вероятно, каждому искусству и для каждого человека есть свои крайние пределы, которых никак не переступишь. Зато она очень любила мыть полы и исполняла это занятие так часто и с таким усердием, что в квартире скоро завелась сырость и показались мокрицы.

Соблазненный однажды газетной рекламой, Лихонин приобрел для нее в рассрочку чулочно-вязальную машину. Искусство владеть этим инструментом, сулившим, судя по объявлению, три рубля в день чистого заработка его владельцу, оказалось настолько пехитрым, что Лихонин, Соловьев и Нижерадзе легко овладели им в несколь-



ко часов, а Лихонин даже ухитрился связать целый чулок необыкновенной прочности и таких размеров, что он оказался бы велик даже для ног Минина и Пожарского, что в Москве на Красной площади. Одна только Любка никак не могла постигнуть это ремесло. При каждой ошибке или путанице ей приходилось обращаться к содействию мужчин. Но зато делать искусственные цветы она научилась довольно быстро и, вопреки мнению Симановского, делала их очень изящно и с большим вкусом, так что через месяц шляпные и специальные магазины стали покупать у нее работу. И что самое удивительное, она взяла всего два урока у специалистки, а остальному научилась по самоучителю, руководствуясь только приложенными к нему рисунками. Она не ухитрилась выработать цветов более чем на рубль в неделю, но и эти деньги были ее гордостью, и на первый же вырученный полтинник она купила Лихонину мундштук для курения.

Несколько лет спустя Лихонин сам в душе сознавался с раскаянием и тихой тоской, что этот период времени был самым тихим, мирным и уютным за всю его университетскую и адвокатскую жизнь. Эта неуклюжая, неловкая, может быть, даже глупая Любка обладала какой-то инстинктивной домовитостью, какой-то незаметной способностью создавать вокруг себя светлую, спокойную и легкую тишину. Это именно она достигла того, что квартира Лихонина очень скоро стала милым, тихим центром, где чувствовали себя как-то просто, по-семейному, и отдыхали душою после тяжелых мытарств, нужды и голодания все товарищи Лихонина, которым, как и большинству студентов того времени, приходилось выдерживать ожесточенную борьбу с суровыми условиями жизни. Вспоминал Лихонин с благодарной грустью об ее дружеской услужливости, об ее скромной и внимательной молчаливости в эти вечера за самоваром, когда так много говорилось, спорилось и мечталось.

С учением дело шло очень туго. Все эти самозванные развиватели, вместе и порознь, говорили о том, что образование человеческого ума и воспитание человеческой души должны исходить из индивидуальных мотивов, но на самом деле они пичкали Любку именно тем, что им самим казалось нужным и необходимым, и старались преодолеть с нею именно те научные препятствия, которые без всякого ущерба можно было бы оставить в стороне.

Так, например, Лихонин ни за что не хотел примириться, обучая ее арифметике, с ее странным, варварским, дикарским или, вернее, детским, самобытным способом

считать. Она считала исключительно единицами, двойками, тройками и пятками. Так, например, двенадцать у нее были два раза по две тройки, девятнадцать — три пятерки и две двойки, и надо сказать, что по своей системе она с быстротою счетных костяшек оперировала почти до ста. Дальше идти она не решалась, да, впрочем, ей и не было в этом практической надобности. Тщетно Лихонин старался перевести ее на десятиричную систему. Из этого ничего не получалось, кроме того, что он выходил из себя, кричал на Любку, а она глядела на него молча, изумленными, широко открытыми и виноватыми глазами, на которых ресницы от слез слипались длинными черными стрелами. Так же, по капризному складу ума, она сравнительно легко начала овладевать сложением и умножением, но вычитание и деление было для нее непроницаемой стеной. Зато с удивительной быстротой, легкостью и остроумием она умела решать всевозможные устные шуточные задачи-головоломки, да и сама помнила их еще очень много из деревенского тысячелетнего обихода. К географии она была совершенно тупа. Правда, она в сотни раз лучше, чем Лихонин, умела на улице, в саду и в комнате ориентироваться по странам света, — в ней сказывался древний мужицкий инстинкт, — но она упорно отвергала сферичность Земли и не признавала горизонта, а когда ей говорили, что земной шар движется в пространстве, она только фыркала. Географические карты для нее всегда были непонятной мазней в несколько красок, но отдельные фигуры она запоминала точно и быстро. «Где Италия?» — спрашивал ее Лихонин. «Вот он. Сапог», — говорила Любка и торжествующе тыкала в Апеннинский полуостров. «Швеция и Норвегия?» — «Это собака, которая прыгает с крыши». — «Балтийское море?» — «Вдова стоит на коленях». — «Черное море?» — «Башмак». — «Испания?» — «Толстяк в фуражке. Вот он...», и так далее. С историей дело шло не лучше. Лихонин не учитывал того, что она с ее детской душой, жаждущей вымысла, легко освоилась бы с историческими событиями по разным смешным и героически трогательным анекдотам, а он, привыкший натаскивать к экзаменам и репетировать гимназистов четвертого или пятого класса, морил ее именами и годами. Кроме того, он был очень нетерпелив, несдержан, вспыльчив, скоро утомлялся, и тайная, обыкновенно скрывающаяся, но все возрастающая ненависть к этой девушке, так внезапно и нелепо перекосившей всю его жизнь, все чаще и несправедливее срывалась во время этих уроков.

Гораздо большим успехом пользовался как педагог Нижерадзе. Его гитара и мандолина всегда висели в столовой, прикрепленные лентами к гвоздям. Любку более влекла гитара своими мягкими теплыми звуками, чем раздражающее металлическое бление мандолины. Когда Нижерадзе приходил к ним в гости (раза три или четыре в неделю, вечером), она сама снимала гитару со стены, тщательно вытирала ее платком и передавала ему. Он, повозившись некоторое время с настройкой, откашливался, клал ногу на ногу, небрежно отваливался на спинку стула и начинал горловым, немного хриплым, но приятным и верным тенорком:

Паридетльскай завукэ пацилуя  
Разыдался ва нячивой тишинее,  
Он, пылакая серадаца чаруя,  
Дасытупин валюбленной чите.  
.....  
За мига савиданья...

И при этом он делал вид, что млеет от собственного пения, зажимивал глаза, в страстных местах потрясал головою или во время пауз, оторвав правую руку от струн, вдруг на секунду окаменевал и вонзался в глаза Любки томными, влажными, бараньими глазами. Он знал бесконечное множество романсов, песенок и старинных шуточных штук. Больше всего нравились Любке всем известные армянские куплеты про Карапета:

У Карапета есть буфет,  
На буфете есть конфет,  
На конфете есть портрет,—  
Этот самый Карапет.

Куплетов этих (они на Кавказе называются «кинтоури» — песня разносчиков) князь знал беспредельно много, но нелепый припев был всегда один и тот же:

Браво, браво, Катенька,  
Катерин Петровна,  
Не целуй меня в щека,  
Целуй на затылкам.

Пел эти куплеты Нижерадзе всегда уменьшенным голосом, сохраняя на лице выражение серьезного удивления к Карапету, а Любка смеялась до боли, до слез, до первых спазм. Однажды, увлеченная, она не удержалась и стала вторить, и у них пение вышло очень согласное. Мало-помалу, когда постепенно она перестала стесняться князя, они все чаще и чаще пели вместе. У Любки оказалось очень мягкое и низкое, хотя и маленькое, контральто, на котором совсем не оставила следов ее

прошлая жизнь с простудами, питьем и профессиональными излишествами. А главное — что уже было случайным курьезным даром Божиим — она обладала инстинктивной, прирожденною способностью очень точно, красиво и всегда оригинально вести второй голос. Настало уже то время, под конец их знакомства, когда не Любка князя, а, наоборот, князь ее упраскивал спеть какую-нибудь из любимых народных песен, которых она знала множество. И вот, положив локоть на стол и подперев по-бабьи голову ладонью, она заводила под бережный, тщательный, тихий аккомпанемент:

Ой, да надоели мне ночи, да наскучили,  
Со милым, со дружкой, быть разлученной!  
Ой, не сама ли я, баба, глупость сделала,  
Моего дружка распрощивала:  
Назвала его горьким пьяницею!..

— Горьким пьяницею! — повторял князь вместе с ней последние слова и уныло покачивал склоненной набок курчавой головой, и оба они старались окончить песню так, чтобы едва уловимый трепет гитарных струн и голоса постепенно стихали и чтобы нельзя было заметить, когда кончился звук и когда настало молчание.

Вато с «Барсовой кожей», сочинением знаменитого грузинского поэта Руставели, князь Нижерадзе окончательно провалился. Прелесть поэмы, конечно, заключалась для него в том, как она звучала на родном языке, но едва только он начинал нараспев читать свои гортанные, цокающие, харкающие фразы, — Любка сначала долго тряслась от непреодолимого смеха, пока наконец не прыскала на всю комнату и разражалась длинным хохотом. Тогда Нижерадзе со злостью захлопывал томик обожаемого писателя и бранил Любку ишаком и верблюдом. Впрочем, они скоро мирились.

Бывали случаи, что на Нижерадзе находили припадки козлиной проказливой веселости. Он делал вид, что хочет обнять Любку, выкатывал на нее преувеличенно страстные глаза и театральным изнывающим шепотом произносил!

— Душа мой! Лучший роза в саду Алдаха! Мед и молоко на устах твоих, а дыхание твоё лучше, чем аромат шашлыка. Дай мне испытать блаженство нирваны из кубка твоих уст, о ты, моя лучшая тифлисская чурчхела!

А она смеялась, сердилась, била его по рукам и угрожала пожаловаться Лихонину.

— Ва! — разводил князь руками. — Что такое Лихонин? Лихонин — мой друг, мой брат и кунак. Но разве он

знает, что такое любофф? Разве вы, северные люди, понимаете любофф? Это мы, грузины, созданы для любви. Смотри, Люба! Я тебе покажу сейчас, что такое любофф! — Он сжимал кулаки, выгибался телом вперед и так зверски начинал вращать глазами, так скрежетал зубами и рычал львиным голосом, что Любку, несмотря на то что она знала, что это шутка, охватывал детский страх, и она бросалась бежать в другую комнату.

Однако надо сказать, что для этого парня, вообще очень невозддержанного насчет легких случайных романов, существовали особенные твердые моральные запреты, всосанные с молоком матери-грузинки, священные адаты относительно жены друга. Да и, должно быть, он понимал, — а надо сказать, что эти восточные люди, несмотря на их кажущуюся наивность, а может быть, и благодаря ей, обладают, когда захотят, тонким душевным чутьем, — понимал, что, сделав хотя бы только на одну минуту Любку своей любовницей, он навсегда лишится этого милого, тихого семейного вечернего уюта, к которому он так привык. А он, который был на «ты» почти со всем университетом, тем не менее чувствовал себя очень одиноким в чужом городе и до сих пор чуждой для него стране!

Больше всего удовольствия доставляли эти занятия Соловьеву. Этот большой, сильный и небрежный человек как-то невольно, незаметно для самого себя, стал подчиняться тому скрытому, неуловимому изящному обаянию женственности, которое нередко таится под самой грубой оболочкой, в самой жесткой, корявой среде. Властвовала ученица, слушался учитель. По свойствам первобытной, но зато свежей, глубокой и оригинальной души Любка была склонна не слушаться чужого метода, а изыскивать свои особенные странные приемы. Так, например, она, как многие, впрочем, дети, раньше выучилась писать, чем читать. Не она сама, кроткая и уступчивая по натуре, а какое-то особенное свойство ее ума упрямо не хотело при чтении пристегивать гласную к согласной или наоборот; в письме же у нее это выходило. К чистописанию по косым линейкам она, вопреки общему обыкновению учащихся, чувствовала большую склонность: писала, низко склонившись над бумагой, тяжело вздыхала, дула от старания на бумагу, точно сдувая воображаемую пыль, облизывала губы и подтирала изнутри то одну, то другую щеку языком. Соловьев не прекословил ей и шел следом по тем путям, которые пролагал ее инстинкт. И надо сказать, что он за эти полтора месяца успел привязаться всей своей огромной, раскидистой, мощной душой к этому

случайному, слабому, временному существу. Это была бережная, смешная, великодушная, немного удивленная любовь и бережная забота доброго слона к беспомощному желтопухому цыпленку.

Чтение для них обоих было лакомством, и опять-таки выбором произведений руководил вкус Любки, а Соловьев шел только по его течению и изгибам. Так, например, Любка не одолела «Дон-Кихота», устала и наконец, отвернувшись от него, с удовольствием прослушала «Робинзона» и особенно обильно поплакала над сценой свидания с родственниками. Ей нравился Диккенс, и она очень легко схватывала его светлый юмор, но бытовые английские черты были ей чужды и непонятны. Читали они не раз и Чехова, и Любка свободно, без затруднения вникала в красоту его рисунка, в его улыбку и грусть. Детские рассказы ее умиляли, трогали до такой степени, что смешно и радостно было на нее глядеть. Однажды Соловьев прочитал ей чеховский рассказ «Припадок», в котором, как известно, студент впервые попадает в публичный дом и потом, на другой день, бьется, как в припадке, в спазмах острого душевного страдания и сознания общей виновности. Соловьев сам не ожидал того громадного впечатления, которое на нее произведет эта повесть. Она плакала, бранилась, всплескивала руками и все время восклицала:

— Господи! Откуда он все это берет и так ловко! Ведь точь-в-точь как у нас!

Однажды он принес с собою книжку, озаглавленную «История Манон Леско и кавалера де Грие, сочинение аббата Прево». Надо сказать, что эту замечательную книгу сам Соловьев читал впервые. Но гораздо глубже и тоньше оценила ее все-таки Любка. Отсутствие фабулы, наивность повествования, излишество сентиментальности, старомодность письма — все это, вместе взятое, расхолаживало Соловьева. Любка же воспринимала не только ушами, но как будто глазами и всем наивно открытым сердцем радостные, печальные, трогательные и легкомысленные детали этого причудливого бессмертного романа.

«Намерение наше обвенчаться было забыто в Сен-Дени, — читал Соловьев, низко склонив свою кудлатую, золотистую, освещенную абажуром голову над книгой, — мы преступили законы церкви и, не подумав о том, стали супругами».

— Что же это они? Самоволкой, значит? Без попа? Так? — спросила тревожно Любка, отрываясь от своих искусственных цветов.

— Конечно. Так что же? Свободная любовь, и больше никаких. Вот как и вы с Лихониным.

— То я! Это совсем другое дело. Он взял меня, вы сами знаете, откуда. А она — барышня невинная и благородная. Это подлость с его стороны так делать. И, поверьте мне, Соловьев, он ее непременно потом бросит. Ах, бедная девушка! Ну, ну, ну, читайте дальше.

Но уже через несколько страниц все симпатии и сожаления Любки перешли от Манон на сторону обманутого кавалера.

«Впрочем, посещения и уход украдкой г. де Б. приво-дили меня в смущение. Я вспомнил также небольшие покупки Манон, которые превосходили наши средства. Все это пахивало щедростью нового любовника. Но нет, нет, — повторял я, — невозможно, чтобы Манон изменила мне! Она знает, что я живу только для нее, она прекрасно знает, что я ее обожаю».

— Ах, дурачок, дурачок! — воскликнула Любка. — Да разве же не видно сразу, что она у этого богача на содержании. Ах, она дрянь какая!

И чем дальше разворачивался роман, тем более живое и страстное участие принимала в нем Любка. Она ничего не имела против того, что Манон обирала при помощи любовника и брата своих очередных покровителей, а де Грие занимался шулерской игрой в притонах, но каждая ее новая измена приводила Любку в неистовство, а страдания кавалера вызывали у нее слезы. Однажды она спросила:

— Соловьев, милочка, а он кто был, этот сочинитель?

— Это был один французский священник.

— Он был не русский?

— Нет, говорю тебе, француз. Видишь, там у него все: и города французские, и люди с французскими именами.

— Так вы говорите, он был священник? Откуда же он все это знал?

— Да так уж, знал. Раньше он был обыкновенным светским человеком, дворянином, а уж потом стал монахом. Он многое видел в своей жизни. Потом он опять вышел из монахов. Да здесь впереди книжки все о нем подробно написано.

Он прочитал ей биографию аббата Прево. Любка внимательно прослушала ее, многозначительно покачала головою, переспросила в некоторых местах о том, что ей было непонятно, и, когда он кончил, она задумчиво протянула:

— Так вот он какой! Ужасно хорошо написал. Только зачем она такая подлая? Ведь он вот как ее любит, на всю жизнь, а она постоянно ему изменяет.

— Что же, Любочка, поделаешь? Ведь и она его любила. Только она пустая девчонка, легкомысленная. Ей бы только тряпки, да собственные лошади, да бриллы.

Любка вспыхнула и крепко ударила кулаком об кулак.

— Я бы ее, подлую, в порошок стерла! Тоже это называется любила! Если ты любишь человека, то тебе все должно быть мило от него. Он в тюрьму, и ты с ним в тюрьму. Он сделался вором, а ты ему помогай. Он нищий, а ты все-таки с ним. Что тут особенного, что корка черного хлеба, когда любовь? Подлая она и подлая! А я бы, на его месте, бросила бы ее или, вместо того чтобы плакать, такую задала бы ей взбучку, что она бы целый месяц с синяками ходила, гадина!

Конца повести она долго не могла дослушать и все раздражалась такими искренними горячими слезами, что приходилось прерывать чтение, и последнюю главу они одолели только в четыре приема. И сам чтец не раз прослезился при этом.

Беды и злоключения любовников в тюрьме, насильственное отправление Манон в Америку и самоотверженность де Грие, добровольно следовавшего за нею, так овладели воображением Любки и потрясли ее душу, что она уже забывала делать свои замечания. Слушая рассказ о тихой, прекрасной смерти Манон среди пустынной равнины, она, не двигаясь, с стиснутыми на груди руками глядела на огонь лампы, и слезы часто-часто бежали из ее раскрытых глаз и падали, как дождик, на стол. Но когда кавалер де Грие, пролежавший двое суток около трупа своей дорогой Манон, не отрывая уст от ее рук и лица, начинает наконец обломком шпата копать могилу, — Любка так разрыдалась, что Соловьев напугался и кинулся за водой. Но и успокоившись немного, она долго еще всхлипывала дрожащими распухшими губами и лепетала:

— Ах! Жизнь их была какая разнесчастная! Вот судьба-то горькая какая! И уже кого мне жалеть больше, я теперь не знаю: его или ее. И неужели это всегда так бывает, милый Соловьев, что как только мужчина и женщина вот так вот влюбятся, как они, то непременно их Бог накажет? Голубчик, почему же это? Почему?



Но если грузин и добродушный Соловьев служили курьезном образованием ума и души Любки смягчающим началом против острых шипов житейской премудрости и если Любка прощала педантизм Лихонина ради первой искренней и безграничной любви к нему, и прощала так же охотно, как простила бы ему брань, побои или тяжелое преступление, — зато для нее искренним мучением и постоянной длительной тяготой были уроки Симановского.

А надо сказать, что он, как назло, был в своих уроках гораздо аккуратнее и точнее, чем всякий педагог, отрабатывающий свои недельные поурочные.

Неопровержимостью своих мнений, уверенностью тона, дидактичностью изложения он так же отнимал волю у бедной Любки и парализовал ее душу, как иногда во время университетских собраний или на массовках он влиял на робкие и застенчивые умы новичков. Он бывал оратором на сходках, он был видным членом по устройству студенческих столовых, он участвовал в записывании, литографировании и издании лекций, он бывал выбираем старостой курса и, наконец, принимал очень большое участие в студенческой кассе. Он был из числа тех людей, которые, после того как оставят студенческие аудитории, становятся вожаками партий, безграничными властителями чистой и самоотверженной совести, отбывают свой политический стаж где-нибудь в Чухломе, обращая острое внимание всей России на свое героически бедственное положение, и затем, прекрасно опираясь на свое прошлое, делают себе карьеру благодаря солидной адвокатуре, депутатству или же жеманству, сопряженной с хорошим куском черноземной земли и с земской деятельностью. Незаметно для самих себя и совсем уже незаметно для постороннего взгляда они осторожно правят или, вернее, линяют до тех пор, пока не отрастят себе живот, не наживут подагры и болезни печени. Тогда они ворчат на весь мир, говорят, что их не поняли, что их время было временем святых идеалов. А в семье они деспоты и нередко отдают деньги в рост.

Путь образования Любкиного ума и души был для него ясен, как было ясно и неопровержимо все, что он ни задумывал; он хотел сначала заинтересовать Любку опытами по химии и физике.

«Девственно-жемский ум, — размышлял он, — будет поражен, тогда я овладею ее вниманием, и от пустяков, от фокусов я перейду к тому, что введет ее в центр всемир-

ного познания, где нет ни суеверия, ни предрассудков, где есть только широкое поле для испытания природы».

Надо сказать, что он был непоследовательным в своих уроках. Он таскал, на удивление Любки, все, что ему попадалось под руки. Однажды приволок к ней большую самодельную шутиху — длинную картонную кишку, наполненную порохом, согнутую в виде гармонии и перевязанную крепко поперек шнуром. Он зажег ее, и шутиха долго с треском прыгала по столовой и по спальне, наполняя комнату дымом и вонью. Любка почти не удивилась и сказала, что это просто фейерверки, что она это уже видела и что ее этим не удивишь. Однако попросила позволения открыть окно. Затем он принес большую склянку, свинцовой бумаги, канифоли и кошачий хвост и таким образом устроил лейденскую банку. Разряд хотя и слабый, но все-таки получился.

— Ну тебя к нечистому, сатана! — закричала Любка, почувствовав сухой щелчок в мизинце.

Затем из нагретой перекиси марганца, смешанного с песком, был добыт при помощи аптекарского пузырька, гуттаперчевого конца от эсмарховой кружки, таза, наполненного водой, и банки из-под варенья — кислород. Разожженная пробка, уголь и проволока горели в банке так ослепительно, что глазам становилось больно. Любка хлопала в ладоши и визжала в восторге:

— Господин профессор, еще! Пожалуйста, еще, еще!..

Но когда, соединив в принесенной пустой бутылке изпод шампанского водород с кислородом и обмотав бутылку для предосторожности полотенцем, Симановский велел Любке направить горлышко на горящую свечу и когда раздался взрыв, точно разом выпалили из четырех пушек, взрыв, от которого посыпалась штукатурка с потолка, тогда Любка струсила и, только с трудом оправившись, произнесла дрожащими губами, но с достоинством:

— Вы уж извините меня, пожалуйста, но так как у меня собственная квартира и теперь я вовсе не девка, а порядочная женщина, то прошу больше у меня не безобразничать. Я думала, что вы, как умный и образованный человек, все чинно и благородно, а вы только глупостями занимаетесь. За это могут и в тюрьму посадить.

Впоследствии, много, много спустя, она рассказывала о том, что у нее был знакомый студент, который делал при ней динамит.

Должно быть, в конце концов Симановский, этот загадочный человек, такой влиятельный в своей юношеской среде, где ему приходилось больше иметь дело с теорией,

и такой несуразный, когда ему попался практический опыт над живой душой, был просто-напросто глуп, но только умел искусно скрывать это единственное в нем искреннее качество.

Потерпев неудачу в прикладных науках, он сразу перешел к метафизике. Однажды он очень самоуверенно и таким тоном, после которого не оставалось никаких возражений, заявил Любке, что Бога нет и что он берется это доказать в продолжение пяти минут. Тогда Любка вскочила с места и сказала ему твердо, что она хотя и бывшая проститутка, но верует в Бога и не позволит его обижать в своем присутствии и что если он будет продолжать такие глупости, то она пожалуется Василию Васильевичу.

— Я ему тоже скажу, — прибавила она плачущим голосом, — что вы, вместо того чтобы меня учить, только болтаете всякую чушь и тому подобную гадость, а сами все время держите руку у меня на коленях. А это даже совсем неблагородно. — И в первый раз за все их знакомство она, раньше робевшая и стеснявшаяся, резко отодвинулась от своего учителя.

Однако Симановский, потерпев несколько неудач, все-таки упрямо продолжал действовать на ум и воображение Любки. Он пробовал ей объяснить теорию происхождения видов, начиная от амебы и кончая Наполеоном. Любка слушала его внимательно, и в глазах ее при этом было умоляющее выражение: «Когда же ты перестанешь, наконец?» Она зевала в платок и потом виновато объясняла: «Извините, это у меня от нервов». Маркс тоже не имел успеха: товар, добавочная стоимость, фабрикант и рабочий, превратившиеся в алгебраические формулы, были для Любки лишь пустыми звуками, сотрясающими воздух, и она, очень искренняя в душе, всегда с радостью вскакивала с места, услышав, что, кажется, борщ вскипел или самовар собирается убежать.

Нельзя сказать, чтобы Симановский не имел успеха у женщин. Его апломб и его веский, решительный тон всегда действовали на простые души, в особенности на свежие, наивно-доверчивые души. От длительных связей он отделялся всегда очень легко: либо на нем лежало громадное ответственное призвание, перед которым семейные любовные отношения — ничто, либо он притворялся сверхчеловеком, которому все позволено (о ты, Ницше, так давно и так позорно перетолкованный для гимназистов!). Пассивное, почти незаметное, но твердо уклончивое сопротивление Любки раздражало и волновало

его. Именно раззадоривало его то, что она, прежде всем такая доступная, готовая отдать свою любовь в один день нескольким людям подряд, каждому за два рубля, и вдруг она теперь играет в какую-то чистую и бескорыстную влюбленность!

«Ерунда,— думал он.— Этого не может быть. Она ломается, и, вероятно, я с нею не нахожу настоящего тона».

И с каждым днем он становился требовательнее, придирчивее и суровее. Он вряд ли сознательно, вернее что по привычке, полагался на свое всегдашнее влияние, устрашающее мысль и подавляющее волю, которое ему редко изменяло.

Однажды Любка пожаловалась на него Лихонину:

— Уж очень он, Василий Васильевич, со мной строгий, и ничего я не понимаю, что он говорит, и я больше не хочу с ним учиться.

Лихонин кое-как, с грехом пополам, успокоил ее, но все-таки объяснился с Симановским. Тот ему ответил хладнокровно:

— Как хотите, дорогой мой, если вам или Любе не нравится мой метод, то я готов и отказаться. Моя задача состоит лишь в том, чтобы в ее образование ввести настоящий элемент дисциплины. Если она чего-нибудь не понимает, то я заставляю ее зубрить наизусть. Со временем это прекратится. Это неизбежно. Вспомните, Лихонин, как нам был труден переход от арифметики к алгебре, когда нас заставляли заменять простые числа буквами, и мы не знали, для чего это делается. Или для чего нас учили грамматике, вместо того чтобы просто рекомендовать нам самим писать повести и стихи?

А на другой же день, склонившись низко под висячим абажуром лампы над телом Любки и обнюхивая ее грудь и под мышками, он говорил ей:

— Нарисуйте треугольник... Ну да, вот так и вот так. Вверху я пишу «Любовь». Напишите просто букву Л, а внизу М и Ж. Это будет: любовь женщины и мужчины.

С видом жреца, непоколебимым и суровым, он говорил всякую эротическую белиберду и почти неожиданно окончил:

— Итак, поглядите, Люба. Желание любить — это то же, что желание есть, пить и дышать воздухом. — Он крепко сжимал ее ляжку гораздо выше колена, и она опять, конфузясь и не желая его обидеть, старалась едва заметно, постепенно отодвинуть ногу.

— Скажите, ну разве будет для вашей сестры, матери или для вашего мужа обидно, что вы случайно не

пообедали дома, а зашли в ресторан или в кухмистерскую и там насытили свой голод. Так и любовь. Не больше, не меньше. Физиологическое наслаждение. Может быть, более сильное, более острое, чем всякие другие, но и только. Так, например, сейчас: я хочу вас как женщину. А вы...

— Да бросьте, господин, — досадливо прервала его Любка. — Ну, что все об одном и том же. Заладила сорока Якова. Сказано вам: нет и нет. Разве я не вижу, к чему вы подбираетесь? А только я на измену никогда не согласна, потому как Василий Васильевич мой благодетель и я их обожаю всей душой... А вы мне даже довольно противны с вашими глупостями.

Однажды он причинил Любке — и все из-за своих теоретических начал — большое и скандальное огорчение. Так как в университете давно уже говорили о том, что Лихонин спас девушку из такого-то дома и теперь занимается ее нравственным возрождением, то этот слух, естественно, дошел и до учащихсЯ девушек, бывавших в студенческих кружках. И вот не кто иной, как Симановский, однажды привел к Любке двух медичек, одну историчку и одну начинающую поэтессу, которая, кстати, писала уже и критические статьи. Он познакомил их самым серьезным и самым дурацким образом.

— Вот, — сказал он, протягивая руки то по направлению к гостям, то к Любке, — вот, товарищи, познакомьтесь. Вы, Люба, увидите в них настоящих друзей, которые помогут вам на вашем светлом пути, а вы — товарищи Лиза, Надя, Саша и Рахиль, — вы отнеситесь как старшие сестры к человеку, который только что выбился из того ужасного мрака, в который ставит современную женщину социальный строй.

Он говорил, может быть, и не так, но, во всяком случае, приблизительно в этом роде. Любка краснела, протягивала барышням в цветных кофточках и в кожаных кушаках руку, неуклюже сложенную всеми пальцами вместе, потчевала их чаем с вареньем, поспешно давала им закуривать, но, несмотря на все приглашения, ни за что не хотела сесть. Она говорила: «Да-с, нет-с, как изволите». И когда одна из барышень уронила на пол платок, она кинулась торопливо поднимать его.

Одна из девиц, красная, толстая и басистая, у которой всего-навсего были в лице только пара красных щек, из которых смешно выглядывал намек на вздернутый нос и поблескивала из глубины пара черных изюминок-глазок, все время рассматривала Любку с ног до го-

ловы, точно сквозь воображаемый лорпет, водя по пей ничего не говорящим, но презрительным взглядом. «Да ведь я ж никого у ней не отбивала», — подумала виновато Любка. Но другая была настолько бестактна, что, — может быть, для нее в первый раз, а для Любки в сотый, — начала разговор о том, как она попала на путь проституции. Эта была барышня суетливая, бледная, очень хорошенькая, воздушная, вся в светлых кудряшках, с видом избалованного котенка и даже с розовым кошачьим бантиком на шее.

— Но скажите, кто же был этот подлец... который первый... ну, вы понимаете?..

В уме Любки быстро мелькнули образы прежних ее подруг — Женьки и Тамары, таких гордых, смелых и находчивых, — о, гораздо умнее, чем эти девицы, — и она почти неожиданно для самой себя вдруг сказала резко:

— Их много было. Я уже забыла. Колька, Митька, Володька, Сережка, Жоржик, Трошка, Петька, а еще Кузька да Гуська с компанией. А почему вам интересно?

— Да... нет... то есть я, как человек, который вам вполне сочувствует.

— А у вас любовник есть?

— Простите, я не понимаю, что вы говорите. Господа, нам пора идти.

— То есть как это вы не понимаете? Вы когда-нибудь с мужчиной спали?

— Товарищ Симановский, я не предполагала, что вы нас приведете к такой особе. Благодарю вас. Чрезвычайно мило с вашей стороны!

Любке было только трудно преодолеть первый шаг. Она была из тех натур, которые долго терпят, но быстро срываются, и ее, обыкновенно такую робкую, нельзя было узнать в этот момент.

— А я знаю! — кричала она в озлоблении. — Я знаю, что и вы такие же, как и я! Но у вас папа, мама, вы обеспечены, а если вам нужно, так вы и ребенка вытравите, — многие так делают. А будь вы на моем месте, — когда жрать нечего и девчонка еще ничего не понимает, потому что неграмотная, а кругом мужчины лезут, как кобели, — то и вы бы были в публичном доме! Стыдно так над бедной девушкой изгаляться, — вот что!

Попавший в беду Симановский сказал несколько обших утешительных слов таким рассудительным басом, каким в старинных комедиях говорили благородные отцы, и увел своих дам.

По ему суждено было сыграть еще одну, очень постыдную, тяжелую и последнюю роль в свободной жизни Любки.

Она давно уже жаловалась Лихонину на то, что ей тяжело присутствие Симановского, но Лихонин не обращал на женские пустяки внимания: был силен в нем пустошный, выдуманный фразерский гипноз этого человека повелений. Есть влияния, от которых освободиться трудно, почти невозможно. С другой стороны, он уже давно тяготился сожительством с Любкой. Часто он думал про себя: «Она заедает мою жизнь, я пошлею, глупею, я растворился в дурацкой добродетели; кончится тем, что я женюсь на ней, поступлю в акциз, или в сиротский суд, или в педагоги, буду брать взятки, сплетничать и сделаюсь провинциальным гнусным сморчком. И где же мои мечты о власти ума, о красоте жизни, общечеловеческой любви и подвигах?» — говорил он иногда даже вслух и теребил свои волосы. И потому, вместо того чтобы внимательно разобраться в жалобах Любки, он выходил из себя, кричал, топал ногами, а терпеливая, кроткая Любка смолкала и удалялась в кухню, чтобы там выплакаться.

Теперь все чаще и чаще, после семейных ссор, в минуты примирения, он говорил Любке:

— Дорогая Люба, мы с тобой не подходим друг к другу, пойми это. Смотри: вот тебе сто рублей, поезжай домой. Родные тебя примут, как свою. Поживи, осмотрись. Я приеду за тобой через полгода, ты отдохнешь, и, конечно, все грязное, скверное, что привито тебе городом, отойдет, отомрет. И ты начнешь новую жизнь самостоятельно, без всякой поддержки, одинокая и гордая!

Но разве сделаешь что-нибудь с женщиной, которая полюбила в первый и, конечно, как ей кажется, в последний раз? Разве ее убедишь в необходимости разлуки? Разве для нее существует логика?

Благоговевая всегда перед твердостью слов и решений Симановского, Лихонин, однако, догадывался и чутьем понимал истинное его отношение к Любке, и в своем желании освободиться, стряхнуть с себя случайный и непосильный груз он ловил себя на гаденькой мысли: «Она нравится Симановскому, а ей разве не все равно: он, или я, или третий? Объяснюсь-ка я с ним начистоту и уступлю ему Любку по-товарищески. Но ведь не пойдет, дура. Визг подымет».

«Или хоть бы застать их как-нибудь вдвоем, — думал он дальше, — в какой-нибудь решительной позе... поднять

крик, сделать скандал... Благородный жест... немного денег и... убежать».

Он теперь часто по нескольку дней не возвращался домой и потом, придя, переживал мучительные часы жепских допросов, сцен, слез, даже истерических припадков. Любка иногда тайком следила за ним, когда он уходил из дома, останавливалась против того подъезда, куда он входил, и часами дожидалась его возвращения для того, чтобы упрекать его и плакать на улице. Не умея читать, она перехватывала его письма и; не решаясь обратиться к помощи князя, или Соловьева, копила их у себя в шкафчике вместе с сахаром, чаем, лимоном и всякой другой дрянью. Она уже дошла до того, что в сердитые минуты угрожала ему серной кислотой.

«Черт бы ее побрал, — размышлял Лихонин в минуты «коварных планов». — Все равно, пусть даже между ними ничего нет. А все-таки возьму и сделаю страшную сцену ему и ей».

И он декламировал про себя:

«Ах, так!.. Я тебя пригрел на своей груди, и что же я вижу? Ты платишь мне черной неблагодарностью... А ты, мой лучший товарищ, ты посягнул на мое единственное счастье!.. О нет, нет, оставайтесь вдвоем, я ухожу со слезами на глазах. Я вижу, что я лишний между вами! Я не хочу препятствовать вашей любви и т. д. и т. д.».

И вот именно эти мечты, затаенные планы, такие мгновенные, случайные и в сущности подлые, — из тех, в которых люди потом самим себе не признаются, — вдруг исполнились. Был очередной урок Соловьева. К его большому счастью, Любка наконец-таки прочитала почти без вазинки: «Хороша соха у Михея, хороша и у Сысои... ласточка... качели... дети любят Бога...» И в награду за это Соловьев прочитал ей вслух «О купце Калашникове и опричнике Кирибеевиче». Любка от восторга скакала в кресле, хлопала в ладоши. Ее всю захватила красота этого монументального, героического произведения. Но ей не пришлось высказать полностью своих впечатлений. Соловьев торопился на деловое свидание. И тотчас же навстречу Соловьеву, едва обменявшись с ним в дверях приветствием, пришел Симановский. У Любки печально вытянулось лицо и надулись губы. Уж очень противен стал ей за последнее время этот педантичный учитель и грубый самец.

На этот раз он начал лекцию на тему о том, что для человека не существует ни законов, ни прав, ни обязан-



ностей, ни чести, ни подлости и что человек есть воли-чина самодовлеющая, ни от кого и ни от чего не завися-мая.

— Можно быть Богом, можно быть и глистом, сол-тером — это все равно.

Он уже хотел перейти к теории любовных чувств, но, к сожалению, от нетерпения поспешил немого: он обнял Любку, притянул к себе и начал ее грубо тискать. «Она опьянеет от ласки. Отдастся!» — думал расчетливый Си-мановский. Он добивался прикоснуться губами к ее рту для поцелуя, но она кричала и фыркала в него слюнями. Вся наигранная деликатность оставила ее.

— Убирайся, черт шаршивый, дурак, свинья, сволочь, я тебе морду разобью!..

К ней вернулся весь лексикон заведения, но Симанов-ский, потеряв пенсне, с перекошенным лицом глядел на нее мутными глазами и городил что попало:

— Дорогая моя... все равно... секунда наслаждения!.. Мы сольемся с тобою в блаженстве!.. Никто не узнает!.. Будь моею!..

Как раз в эту минуту и вошел в комнату Лихонин.

Конечно, в душе он сам себе не сознавался в том, что сию минуту сделает гадость, он лишь только как-то сбо-ку, издали, подумал о том, что его лицо бледно и что его слова сейчас будут трагичны и многозначительны.

— Да! — сказал он глухо, точно актер в четвертом действии драмы, и, опустив бессильно руки, закачал упавшим на грудь подбородком. — Я всего ожидал, толь-ко не этого. Тебе я извиняю, Люба, — ты пещерный чело-век, но вы, Симановский... Я считал вас... впрочем, и до сих пор считаю за порядочного человека. Но я знаю, что страсть бывает иногда сильнее доводов рассудка. Вот здесь есть пятьдесят рублей, я их оставляю для Любы, вы мне, конечно, вернете потом, я в этом не сомневаюсь. Устройте ее судьбу... Вы умный, добрый, честный чело-век, а я («Подлец!» — мелькнул у него в голове чей-то явственный голос), я ухожу, потому что не выдержу больше этой муки. Будьте счастливы.

Он выхватил из кармана и эффектно бросил свой бумажник на стол, потом схватился за волосы и убе-жал из комнаты...

Это был все-таки для него наилучший выход. И сцена разыгралась именно так, как он о ней мечтал.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Все это очень длинно и сбивчиво рассказала Любка, рыдая на Женькином плече. Конечно, эта трагикомическая история выходила в ее личном освещении совсем не так, как она случилась на самом деле.

Лихонин, по ее словам, взял ее к себе только для того, чтобы увлечь, соблазнить, попользоваться, сколько хватит, ее глупостью, а потом бросить. А она, дура, сделала и взаправду в него влюбившись, а так как она его очень ревновала ко всем этим кудлатым в кожаных поясах, то он и сделал подлость: нарочно подослал своего товарища, сговорился с ним, а тот начал обнимать Любку, а Васька вошел, увидел и сделал большой скандал и выгнал Любку на улицу.

Конечно, в ее передаче были почти равные две части правды и неправды, но так, по крайней мере, все ей представлялось.

Рассказала она также с большими подробностями и о том, как, очутившись внезапно без мужской поддержки или вообще без чьего-то бы то ни было крепкого постороннего влияния, она наняла комнату в плохонькой гостинице, в захолустной улице, как с первого же дня коридорный, обстрелянная птица, тертый калач, покушался ею торговать, даже не спрося на это ее разрешения, как она переехала из гостиницы на частную квартиру, но и там ее настигла опытная старуха сводня, которыми кишат дома, обитаемые беднотой.

Значит, даже и при спокойной жизни было в лице, в разговоре и во всей манере Любки что-то особенное, специфическое, для ненаметанного глаза, может быть, и совсем незаметное, но для делового чутья ясное и неопровержимое, как день.

Но случайная, короткая искренняя любовь дала ей силу, которой она сама от себя не ожидала, силу сопротивляться неизбежности вторичного падения. В своем героическом мужестве она дошла до того, что сделала даже несколько публикаций в газетах о том, что ищет место горничной за все. Однако у нее не было никакой рекомендации. К тому же ей приходилось при найме иметь дело исключительно с женщинами, а те тоже каким-то внутренним безошибочным инстинктом угадывали в ней старинного врага — совратительницу их мужей, братьев, отцов и сыновей.

Домой ехать ей не было ни смысла, ни расчета. Ее родной Васильковский уезд отстоит всего в пятнадцати верстах от губернского города, и молва о том, что она поступила в такое заведение, уже давно проникла через земляков в деревню. Об этом писали в письмах и передавали устно те деревенские соседи, которым случалось ее видеть и на улице, и у самой Анны Марковны, — швейцары и номерные гостиниц, лакеи маленьких ресторанов, извозчики, мелкие подрядчики. Она знала, чем пахла бы эта слава, если бы она вернулась в родные места. Лучше было повеситься, чем это переносить.

Она была перасчетлива и непрактична в денежных делах, как пятилетний ребенок, и в скором времени осталась без копейки, а возвращаться назад в публичный дом было страшно и позорно. Но соблазны уличной проституции сами собой подвергивались и на каждом шагу лезли в руки. По вечерам, на главной улице, ее прежнюю профессию сразу безошибочно угадывали старые, закоренелые уличные проститутки. То и дело одна из них, поравнявшись с нею, начинала сладким, запеваящим голосом:

— Что это вы, девица, ходите одне? Давайте будем подругами, давайте ходить вместе. Это завсегда удобнее. Какие мужчины хотят провести приятно время с девушками, всегда любят, чтобы завести компанию вчетвером.

И тут же опытная, искушенная вербовщица сначала вскользя, а потом уж горячо, от всего сердца, начинала расхваливать все удобства житья у своей хозяйки — вкусную пищу, полную свободу выхода, возможность всегда скрыть от хозяйки квартиры излишек сверх положенной платы. Тут же, кстати, говорилось много злого и обидного по поводу женщин закрытых домов, которых называли «казенными шкурами», «казенными», «благородными девицами». Любка знала цену этим насмешкам, потому что, в свою очередь, жилицы публичных домов тоже с величайшим презрением относятся к уличным проституткам, обзывая их «босаянками» и «венеричками».

Понятно, в конце концов случилось то, что должно было случиться. Видя в перспективе целый ряд голодных дней, а в глубине их — темный ужас неизвестного будущего, Любка согласилась на очень учтивое приглашение какого-то приличного маленького старичка, важного, седенького, хорошо одетого и корректного. За этот позор Любка получила рубль, но не смела протестовать: прежняя жизнь в доме совсем вытравила в ней личную ини-

циативу, подвижность и энергию. Потом песколько раз подряд он и совсем ничего не заплатил.

Один молодой человек, развязный и красивый, в фуражке с приплюснутыми полями, лихо надетой набекрень, в шелковой рубашке, опоясанной шнурком с кисточками, тоже повел ее с собой в номера, спросил вина и закуску, долго врал Любке о том, что он побочный сын графа и что он первый бильярдист во всем городе, что его любят все девки и что он из Любки тоже сделает фартовую «маруху». Потом он вышел из номера на минутку, как бы по своим делам, и исчез навсегда. Суровый косоглазый швейцар довольно долго, молча, с деловым видом, сопя и прикрывая Любкин рот рукой, колотил ее. Но, наконец, убедившись, должно быть, что вина не ее, а гостя, отнял у нее кошелек, в котором было рубль с мелочью, и взял под залог ее дешевенькую шляпку и верхнюю кофточку.

Другой, очень педурно одетый мужчина лет сорока пяти, промучив девушку часа два, заплатил за номер и дал ей восемьдесят копеек; когда же она стала жаловаться, он со зверским лицом приставил к самому ее носу огромный рыжеволосый кулак и сказал решительно:

— Поскули у меня еще... Я тебе поскулю... Вот вскричу сейчас полицию и скажу, что ты меня обокрала, когда я спал. Хочешь? Давно в части не была?

И ушел.

И таких случаев было много.

В тот день, когда ее квартирные хозяева — лодочник с женой — отказали ей в комнате и просто-напросто выкинули ее вещи на двор и когда она без сна пробродила всю ночь по улицам, под дождем, прячась от городских, — только тогда с отвращением и стыдом решила она обратиться к помощи Лихонина. Но Лихонина уже не было в городе: он малодушно уехал в тот же день, когда несправедливо обиженная и опозоренная Любка убежала с квартиры. И вот наутро ей и пришла в голову последняя отчаянная мысль — возвратиться в публичный дом и попросить там прощения.

— Женька, вы такая умная, такая смелая, такая добрая, попросите за меня Эмму Эдуардовну, экономочка вас послушает, — умоляла она Женьку, и целовала ее голые плечи, и мочила их слезами.

— Никого она не послушает, — мрачно ответила Женька. — И надо тебе было увязаться за таким дураком и подлецом.

— Женечка, ведь вы же сами мне посоветовали, — резко возразила Любка.

— Посоветовала... Ничего я тебе не советовала. Что ты врешь на меня, как на мертвую... Ну да ладно — пойдем.

Эмма Эдуардовна уже давно знала о возвращении Любки и даже видела ее в тот момент, когда она проходила, озираясь, через двор дома. В душе она все не была против того, чтобы принять обратно Любку. Надо сказать, что и отпустила она ее только потому, что соблазнилась деньгами, из которых половину присвоила себе. Да к тому же рассчитывала, что при теперешнем сезонном наплыве новых проституток у нее будет большой выбор, в чем, однако, она ошиблась, потому что сезон круто прекратился. Но, во всяком случае, она твердо решила взять Любку. Только надо было для сохранения и округления престижа как следует напугать ее.

— Что-о? — заорала она на Любку, едва выслушав ее смущенный лепет. — Ты хочешь, чтобы тебя опять приняли?.. Ты там черт знает с кем валялась по улицам, под заборами, и ты опять, сволочь, лезешь в приличное, порядочное заведение!.. Пфуй, русская свинья! Вон!..

Любка ловила ее руки, стремясь поцеловать, но экономка грубо их выдергивала. Потом, вдруг побледнев, о перекошенным лицом, закусив наискозь дрожащую нижнюю губу, Эмма расчетливо и метко, со всего размаха ударила Любку по щеке, отчего та опустилась на колени, но тотчас же поднялась, задыхаясь и заикаясь от рыданий.

— Миленькая, не бейте... Дорегая же вы моя, не бейте...

И опять упала, на этот раз плашмя, на пол.

И это систематическое, хладнокровное, злобное избиение продолжалось минуты две. Женька, смотревшая сначала молча, со своим обычным, злым, презрительным видом, вдруг не выдержала: дико завизжала, кинулась на экономку, вцепилась ей в волосы, сорвала шиньон и заголосила в настоящем истерическом припадке:

— Дура!.. Убийца!.. Подлая сводница!.. Воровка!..

Все три женщины голосили вместе, и тотчас же ожесточенные вопли раздались по всем коридорам и комнатам заведения. Это был тот общий припадок великой истерии, который овладевает иногда заключенными в тюрьмах, или то стихийное безумие (*raptus*), которое охватывает внезапно и повально весь сумасшедший дом, отчего бледнеют даже опытные психиатры.

Только спустя час порядок был водворен Симеоном и пришедшими к нему на помощь двумя товарищами по профессии. Крепко досталось всем тринадцати девушкам, а больше других Женьке, пришедшей в настоящее иступление. Избитая Любка до тех пор пресмыкалась перед эконожкой, покамест ее не приняли обратно. Она знала, что Женькин скандал рано или поздно отзовется на ней жестокой отплатой. Женька же до самой ночи сидела, скрестив по-турецки ноги, на своей постели, отказалась от обеда и выгоняла вон всех подруг, которые заходили к ней. Глаз у нее был ушиблен, и она прикладывала к нему усердно медный пятак. Из-под разорванной сорочки краснела на шее длинная поперечная царапина, точно след от веревки. Это содрал ей кожу в борьбе Симеон. Она сидела так одна, с глазами, которые светились в темноте, как у дикого зверя, с раздутыми ноздрями, с судорожно двигавшимися скулами, и шептала злобно:

— Подождите же... Постоите, проклятые, — я вам покажу... Вы еще увидите... У-у, людоеды...

Но когда зажгли огни и младшая эконожка Зося постучала ей в дверь со словами: «Барышня, одеваться!.. В залу!» — она быстро умылась, оделась, припудрила сияк, замазала царапину белилами и розовой пудрой и вышла в залу, жалкая, но гордая, избитая, но с глазами, горевшими нестерпимым озлоблением и нечеловеческой красотой.

Многие люди, которым приходилось видеть самоубийц за несколько часов до их ужасной смерти, рассказывают, что в их облике в эти роковые предсмертные часы они замечали какую-то загадочную, таинственную, непостижимую прелесть. И все, кто видел Женьку в эту ночь, и на другой день в немногие часы, подолгу, пристально и удивленно останавливались на ней взглядом.

И всего страннее (это была одна из мрачных проделок судьбы), что косвенным виновником ее смерти, последней песчинкой, которая перетягивает вниз чашу весов, явился не кто иной, как милый, добрейший кадет Коля Гладышев...

## II

Коля Гладышев был славный, веселый, застенчивый парнишка, большеголовый, румяный, с белой, смешной, изогнутой, точно молочной, полоской на верхней губе, под первым пробившимся пушком усов, с широко расставленными синими наивными глазами и такой стриженный, что из-под его белокурой щетинки, как у породи-

стого йоркширского поросенка, просвечивала розовая кожа. Это именно с ним прошлой зимой играла Женька не то в материинские отношения, не то как в куклы и совала ему яблочко или пару конфеток на дорогу, когда он уходил из дома терпимости, корчась от стыда.

В этот раз, когда он пришел, в нем сразу, после долгого житья в лагерях, чувствовалась та быстрая перемена возраста, которая так неуловимо и быстро превращает мальчика в юношу. Он уже окончил кадетский корпус и с гордостью считал себя юнкером, хотя с отвращением еще ходил в кадетской форме. Он вырос, стал стройнее и ловче; лагерная жизнь пошла ему в пользу. Говорил он басом, и в эти месяцы, к его величайшей гордости, наглубили у него соски груди, самый главный — он уже знал об этом — и безусловный признак мужской зрелости. Теперь для него покамест, до строевых строгостей военного училища, было время обольстительной полусвободы. Уже дома ему разрешили официально, при взрослых, курить, и даже сам отец подарил ему кожаный портсигар с его монограммой, а также, в подъеме семейной радости, определил ему пятнадцать рублей месячного жалованья.

Именно здесь — у Анны Марковны — он и узнал впервые женщину, ту же Женьку.

Падение невинных душ в домах терпимости или у уличных одиночек совершается гораздо чаще, чем обыкновенно думают. Когда об этом щекотливом деле расспрашивают не только зеленых юношей, но даже и почетных пятидесятилетних мужчин, почти дедушек, они вам наверняка скажут древнюю трафаретную ложь о том, как их соблазнила горничная или гувернантка. Но это — одна из тех длительных и идущих назад, в глубину прошедших десятилетий, странных лжей, которые почти не подмечены ни одним из профессиональных наблюдателей и, во всяком случае, никем не описаны.

Если каждый из нас попробует положить, выражаясь пышно, руку на сердце и смело дать себе отчет в прошлом, то всякий поймает себя на том, что однажды, в детстве, сказав какую-нибудь хвастливую или трогательную выдумку, которая имела успех, и повторив ее поэтому еще два, и пять, и десять раз, он потом не может от нее избавиться во всю свою жизнь и повторяет совсем уже твердо никогда не существовавшую историю, твердо до того, что в конце концов верит в нее. Со временем и Коля рассказывал своим товарищам о том, что его соблазнила его двоюродная тетка — светская молодая дама.

Надо, однако, сказать, что интимная близость к этой даме, большой, черноглазой, белолицей, сладко пахнувшей южной женщине, действительно существовала, но существовала только в Колином воображении в те печальные, трагические и робкие минуты одиноких половых наслаждений, через которые проходят из всех мужчин если не сто процентов, то, во всяком случае, девяносто девять.

Испытав очень рано механические половые возбуждения, приблизительно с девяти или девяти с половиною лет, Коля совсем не имел ни малейшего понятия о том, что такое из себя представляет тот конец влюбленности и ухаживания, который так ужасен, если на него поглядеть въявь, со стороны, или если его объяснять научно. К несчастью, около него в то время не было ни одной из теперешних прогрессивных и ученых дам, которые, отвернув шею классическому аисту и вырвав с корнем капусту, под которой находят детей, рекомендуют в лекциях, в сравнениях и уподоблениях беспощадно и даже чуть ли не графическим порядком объяснять детям великую тайну любви и зарождения.

Надо сказать, что в то отдаленное время, о котором идет речь, закрытые заведения — мужские пансионы и мужские институты, а также кадетские корпуса — представляли из себя какие-то тепличные рассадники. Попечение об уме и нравственности мальчуганов старались по возможности вверять воспитателям, чиповникам-формалистам и вдобавок нетерпеливым, вздорным, капризным в своих симпатиях и истеричным, точно старые девы, классным дамам. Теперь иначе. Но в то время мальчики были предоставлены самим себе. Едва оторванные, говоря фигурально, от материнской груди, от ухода преданных нянек, от утренних и вечерних ласк, тихих и сладких, они хотя и стыдились всякого проявления нежности, как «бабства», но их неудержимо и сладостно влекло к поцелуям, прикосновениям, беседам на ушко.

Конечно, внимательное, заботливое отношение, купанье, упражнения на свежем воздухе, — именно не гимнастика, а вольные упражнения, каждому по своей охотке, — всегда могли бы отдалить приход этого опасного периода или смягчить и образумить его.

Повторяю, тогда этого не было.

Жажда семейной ласки, материнской, сестриной, нянькиной ласки, так грубо и внезапно оборвавшейся, обратилась в уродливые формы ухаживания (точь-в-точь как в женских институтах «обожание») за хорошенькими мальчиками, за «мазочками»; любили шептаться по углам и,



ходя под ручку или обнявшись в темных коридорах, говорить друг другу на ухо несбыточные истории о приключениях с женщинами. Это была отчасти и потребность детства в сказочном, а отчасти и просыпавшаяся чувственность. Нередко какой-нибудь пятнадцатилетний пузырь, которому только впору играть в лапту или уписывать жадно гречневую кашу с молоком, рассказывал, начитавшись, конечно, кой-каких романишек, о том, что теперь каждую субботу, когда отпуск, он ходит к одной красивой вдове-миллионерше, и о том, как она страстно в него влюблена, и как около их ложа всегда стоят фрукты и драгоценное вино, и как она любит его неистово и страстно.

Тут, кстати, подоспела и неизбежная полоса затяжного запойного чтения, через которую, конечно, проходили каждый мальчик и каждая девочка. Как бы ни был строг в этом отношении классный надзор, все равно юнцы читали, читают и будут читать именно то, что им не позволено. Здесь есть особенный азарт, шик, прелесть запретного. Уже в третьем классе ходили по рукам рукописные списки Баркова, подложного Пушкина, юношеские грехи Лермонтова и других: «Первая ночь», «Вишня», «Лука», «Петергофский праздник», «Уланша», «Горе от ума», «Поп» и т. д.

Но, как это ни может показаться странным, выдуманным или парадоксальным, однако и эти сочинения, и рисунки, и похабные фотографические карточки не возбуждали сладостного любопытства. На них глядели как на проказу, на шалость и на прелесть контрабандного риска. В кадетской библиотеке были целомудренные выдержки из Пушкина и Лермонтова, весь Островский, который только смешил, и почти весь Тургенев, который и сыграл в жизни Коли главную и жестокую роль. Как известно, у покойного великого Тургенева любовь всегда окружена дразнящей завесой, какой-то дымкой, неуловимой, запретной, но соблазнительной: девушки у него предчувствуют любовь, и волнуются от ее приближения, и стыдятся свыше меры, и дрожат, и краснеют. Замужние женщины или вдовы совершают этот мучительный путь несколько иначе: они долго борются с долгом, или с порядочностью, или с мнением света, и, наконец, — ах! — падают со слезами, или — ах! — начинают бравировать, или, что еще чаще, неумолимый рок прерывает ее или его жизнь в самый — ах! — нужный момент, когда созревшему плоду недостает только легкого дуновения ветра, чтобы упасть. И все его персонажи все-таки жаждут этой постыдной

любви, светло плачут и радостно смеются от нее, и она заслоняет для них весь мир. Но так как мальчики думают совершенно иначе, чем мы, взрослые, и так как все запретное, все недосказанное или сказанное по секрету имеет в их глазах громадный, не только сугубый, но трепетный интерес, то естественно, что из чтения они выводили смутную мысль, что взрослые что-то скрывают от них.

Да и то надо сказать, разве Коля, подобно большинству его сверстников, не видал, как горничная Фрося, такая краснощекая, вечно веселая, с ногами твердости стали (он иногда, развозившись, хлопал ее по спине), как она однажды, когда Коля случайно быстро вошел в папин кабинет, прыснула оттуда во весь дух, закрыв лицо передником, и разве он не видал, что в это время у папы было лицо красное, с сизым, как бы удлинившимся носом, и Коля подумал: «Папа похож на индюка». Разве у того же папы Коля, отчасти по свойственной всем мальчикам проказливости и озорству, отчасти от скуки, не открыл случайно в незапертом ящике папиного письменного стола громадную коллекцию карточек, где было представлено именно то, что приказчики называют увенчанием любви, а светские оболтусы — неземною страстью.

И разве он не видал, что каждый раз перед визитом благоухающего и накрахмаленного Павла Эдуардовича, какого-то балбеса при каком-то посольстве, с которым мама, в подражание модным петербургским прогулкам на Стрелку, ездила на Днепр глядеть на то, как закатывается солнце на другой стороне реки, в Черниговской губернии, — разве он не видел, как ходила мамина грудь и как рдели ее щеки под пудрой, разве он не улавливал в эти моменты много нового и странного, разве он не слышал ее голос, совсем чужой голос, как бы актерский, первоначально прерывающийся, беспощадно злой к семейным и прислуге и вдруг нежный, как бархат, как зеленый луг под солнцем, когда приходил Павел Эдуардович. Ах, если бы мы, люди, умудренные опытом, знали о том, как много и даже чересчур много знают окружающие нас мальчуганы и девочки, о которых мы обыкновенно говорим:

— Ну, что стесняться Володи (или Пети, или Кати)?.. Ведь они маленькие. Они ничего не понимают!..

Также не напрасно прошла для Гладышева и история его старшего брата, который только что вышел из военного училища в один из видных гренадерских полков и, находясь в отпуску до той поры, когда ему можно будет расправить крылья, жил в двух отдельных комнатах в своей семье. В то время у них служила горничная Нюша,

которую иногда шутя называли синьорита Анита, прелестная черноволосая девушка, которую, если бы переменять на ней костюмы, можно было бы по наружности принять и за драматическую актрису, и за принцессу крови, и за политическую деятельницу. Мать Коли явно покровительствовала тому, что Колин брат полушутя, полусерьезно увлекся этой девушкой. Конечно, у нее был один только святой материнский расчет: если уж суждено Бореньке пасть, то пускай он отдаст свою чистоту, свою невинность, свое первое физическое влечение не проститутке, не потаскушке, не искательнице приключений, а чистой девушке. Конечно, ею руководило только бескорыстное, безрассудное, истинно материнское чувство. Коля в то время переживал эпоху льяносов, пампасов, апачей, следопытов и вождя по имени «Черная Пантера» и, конечно, внимательно следил за романом брата и делал свои, иногда чересчур верные, иногда фантастические, умозаключения. Через шесть месяцев он из-за двери был свидетелем, вернее, слушателем возмутительной сцены. Генеральша, всегда такая приличная и сдержанная, кричала в своем будуаре на синьориту Аниту, топала ногами и ругалась извозчичьими словами: синьорита была беременна на пятом месяце. Если бы она не плакала, то, вероятно, ей просто дали бы отступного и она ушла бы благополучно, но она была влюблена в молодого паныча, ничего не требовала, а только голосила, и потому ее удалили при помощи полиции.

В классе пятом-шестом многие из товарищей Коли уже вкусили от древа познания зла. В эту пору у них в корпусе считалось особенным хвастливым мужским шиком называть все сокровенные вещи своими именами. Аркаша Шкарин заболел не опасной, но все-таки венерической болезнью, и он стал на целых три месяца предметом поклонения всего старшего возраста (тогда еще не было рот). Многие же посещали публичные дома, и, право, о своих кутежах они рассказывали гораздо красивее и шире, чем гусары времен Дениса Давыдова. Эти дебоши считались ими последней точкой молодчества и взрослости.

И вот однажды не то что уговорили Гладышева, а вернее, он сам напросился поехать к Анне Марковне: так слабо он сопротивлялся соблазну. Этот вечер он вспоминал всегда с ужасом, с отвращением и смутно, точно какой-то пьяный сон. С трудом вспоминал он, как для храбрости пил он на извозчике отвратительно пахнувший настоящими постельными клопами ром, как его мутило от этого пошла, как он вошел в большую залу, где огненны-

ми колесами вертелись огни люстр и канделябров на стенах, где фантастическими розовыми, синими, фиолетовыми пятнами двигались женщины и ослепительно-пряным, победным блеском сверкала белизна шей, грудей и рук. Кто-то из товарищей прошептал одной из этих фантастических фигур что-то на ухо. Она подбежала к Коле и сказала:

— Послушайте, хорошенький кадетик, товарищи вот говорят, что вы еще невинный... Идем... Я тебя научу всему...

Фраза была сказана ласково, но эту фразу стены заведения Анны Марковны слышали уже несколько тысяч раз. Дальше произошло то, что было настолько трудно и больно вспоминать, что на половине воспоминаний Коля уставал и усилием воли возвращал воображение к чему-нибудь другому. Он только помнил смутно вращающиеся и расплывающиеся круги от света лампы, настойчивые поцелуи, смущающие прикосновения, потом внезапную острую боль, от которой хотелось и умереть в наслаждении, и закричать от ужаса, и потом он сам с удивлением видел свои бледные, трясущиеся руки, которые никак не могли застегнуть одежды.

Конечно, все мужчины испытывали эту первоначальную *tristia post coitus*, но эта великая нравственная боль, очень серьезная по своему значению и глубине, весьма быстро проходит, оставаясь, однако, у большинства надолго, иногда на всю жизнь, в виде скуки и неловкости после известных моментов. В скором времени Коля свыкся с нею, осмелел, освоился с женщиной и очень радовался тому, что когда он приходил в заведение, то все девушки, а раньше всех Верка, кричат:

— Женька, твой любовник пришел!

Приятно было, рассказывая об этом товарищам, пощипывать воображаемый ус.

### III

Было еще рано — часов девять августовского дождливого вечера. Освещенная зала в доме Анны Марковны почти пустовала. Только у самых дверей сидел, застенчиво и неуклюже поджав под стул ноги, молодецкий телеграфный чиновник и старался завести с толстомясой Катькой тот светский, непринужденный разговор, который полагается в приличном обществе за кадрили, в аптрактах между фигурами. Да длинноногий Ванька Встанька блуждал по комнате, присаживаясь то к од-

ной, то к другой девице и занимая их складной болтовней.

Когда Коля Гладышев вошел в переднюю, то первая его узнала круглоглазая Верка, одетая в свой обычный жокейский костюм. Она завертелась вокруг самой себя, запрыгала, захлопала в ладоши и закричала:

— Женька, Женька, иди скорее, к тебе твой любовничек пришел. Кадетик... Да хорошенький какой!

Но Женьки в это время не было в зале: ее уже успел захватить толстый обер-кондуктор.

Этот пожилой, степенный и величественный человек, тайный продавец казенных свечей, был очень удобным гостем, потому что никогда не задерживался в доме более сорока минут, боясь пропустить свой поезд, да и то все время поглядывал на часы. Он за это время аккуратно выпивал четыре бутылки пива и, уходя, непременно давал полтинник девушке на конфеты и Симеону двадцать копеек на чай.

Коля Гладышев был не один, а вместе с товарищем, одноклассником Петровым, который впервые переступал порог публичного дома, сдавшись на соблазнительные уговоры Гладышева. Вероятно, он в эти минуты находился в том же диком, сумбурном, лихорадочном состоянии, которое переживал полтора года тому назад и сам Коля, когда у него тряслись ноги, пересыхало во рту, а огни ламп плясали перед ним кружащимися колесами.

Симеон принял от них шинели и спрятал отдельно, в сторонку так, чтобы не было видно погон и пуговиц.

Надо сказать, что этот суровый человек, не одобрявший студентов за их развязную шутливость и непонятный слог в разговоре, не любил также, когда появлялись в заведении вот такие мальчики в форме.

— Ну, что хорошего? — мрачно говорил он порою своим коллегам по профессии. — Придет вот такой шибадик да столкнется нос к носу со своим начальством? Трах, и закрыли заведение! Вот как Лупендиху три года тому назад. Это, конечно, ничего, что закрыли — она сейчас же его на другое имя перевела, — а как приговорили ее на полтора месяца в арестный дом на высидку, так стало ей это в ха-арошую копеечку. Одному Кербешу четыреста пришлось отсыпать... А то еще бывает: наварит себе такой подсвинок какую-нибудь болезнь и расхнычется: «Ах, папа! Ах, мама! Умираю!» — «Говори, подлец, где получил?» — «Там-то...» Ну и потянут опять на цугундер: суди меня, судья неправедный!

— Проходите, проходите,— сказал он кадетам сурово.

Кадеты вошли, жмурясь от яркого света. Петров, выпивший для храбрости, пошатывался и был бледен. Они сели под картиной «Боярский пир», и сейчас же к ним присоединились с обеих сторон две девицы — Верка и Тамара.

— Угостите покурить, прекрасный брюнетик! — обратилась Верка к Петрову и точно нечаянно приложила к его ноге свою крепкую, плотно обтянутую белым трико, теплую ляжку.— Какой вы симпатичненький!..

— А где же Женя? — спросил Гладышев Тамару.— Занята с кем-нибудь?

Тамара внимательно поглядела ему в глаза — поглядела так пристально, что мальчику даже стало не по себе и он отвернулся.

— Нет. Зачем же занята? Только у нее сегодня весь день болела голова: она проходила коридором, а в это время экономка быстро открыла дверь и нечаянно ударила ее в лоб,— ну и разболелась голова. Целый день она, бедняжка, лежит с компрессом. А что? Или не терпится? Подождите, минут через пять выйдет. Останетесь ею очень довольны.

Верка приставала к Петрову:

— Дусенька, миленький, какой же вы ляленька! Обожаю таких бледных брунетов: они ревнивые и очень горячие в любви.

И вдруг запела вполголоса:

Не то брюнетик,  
Не то мой светик,  
Он не обманет, не продасть.  
Он терпит муки,  
Пальто и брюки —  
Он все для женщины отдасть.

— Как вас зовут, мусенька?

— Георгием,— ответил сиплым кадетским басом Петров.

— Жоржик! Жорочка! Ах, как очень приятно!

Она приблизилась вдруг к его уху и прошептала с лукавым лицом:

— Жорочка, пойдем ко мне.

Петров потупился и уныло пробасил:

— Я не знаю... Вот как товарищ скажет...

Верка громко расхохоталась:

— Вот так штука! Скажите, младенец какой! Таких, как вы, Жорочка, в деревне давно уж женят, а он: «Как товарищ!» Ты бы еще у нянюшки или у кормилки спро-

сился! Тамара, ангел мой, вообрази себе: я его зову спать, а он говорит: «Как товарищ!» Вы что же, господин товарищ, гувернан ихний?

— Не лезь, черт! — неуклюже, совсем как кадет перед ссорой, пробурчал басом Петров.

К кадетам подошел длинный, вихлястый, еще больше поседевший Ванька Встанька и, склонив свою длинную узкую голову набок и сделав умильную гримасу, запричитал:

— Господа кадеты, высокообразованные молодые люди, так сказать, цветы интеллигенции, будущие фельдхемистеры<sup>1</sup>, не одолжите ли старичку, аборигену здешних значных мест, одну добрую старую папиросу? Нищ есмь. Омниа меа мекум порто<sup>2</sup>. Но табачок обожаю.

И, получив папиросу, вдруг сразу встал в развязную, непринужденную позу, отставил вперед согнутую правую ногу, подперся рукою в бок и запел дряблой фистулой:

Бывало, задавал обеды,  
Шампанское лилось рекой,  
Теперь же нету корки хлеба,  
На шкалик пету, братец мой.

Бывало, захожу в «Саратов»,  
Швейцар бежит ко мне стрелой,  
Теперь же гонят все по шее.  
На шкалик дай мне, братец мой.

— Господа! — вдруг патетически воскликнул Ванька Встанька, прервав пение и ударив себя в грудь. — Вот вижу я вас и знаю, что вы — будущие генералы Скобелев и Гурко, но и я ведь тоже в некотором отношении военная косточка. В мое время, когда я учился на помощника лесничего, все наше лесное ведомство было военное, и потому, стучась в усыпанные брильянтами золотые двери ваших сердец, прошу: пожертвуйте на сооружение прапорщику таксации малой толики spiritus vini, его же и монахи приемлют.

— Ванька, — крикнула с другого конца толстая Катка, — покажи молодым офицерам молнию, а то, гляди, только даром деньги берешь, дармоед верблужий!

— Сейчас! — весело отозвался Ванька Встанька. — Ясновельможные благодетели, обратите внимание. Живые картины. Гроза в летний июньский день. Сочинение непризнанного драматурга, скрывшегося под псевдонимом Ваньки Встаньки. Картина первая.

---

<sup>1</sup> Генералы (от нем. Feldzeugmeister).

<sup>2</sup> Все свое ношу с собой (лат.).

«Был прекрасный июньский день. Палящие лучи полуденного солнца озаряли цветущие луга и окрестности...»

Ваньки-Встанькина донкихотская образина расплылась в морщинистую сладкую улыбку, и глаза сузились полукругами.

«...Но вот вдаль на горизонте показались первые облака. Они росли, громоздились, как скалы, покрывая мало-помалу голубой небосклон...»

Постепенно с Ваньки-Встанькиного лица сходила улыбка, и оно делалось все серьезнее и суровее.

«...Наконец тучи заволокли солнце... Настала зловещая темнота...» Ванька Встанька сделал совсем свирепую физиономию.

«...Упали первые капли дождя...»

Ванька забарабанил пальцами по спинке стула.

«...В отдалении блеснула первая молния...»

Правый глаз Ваньки Встаньки быстро моргнул, и дернулся левый угол рта.

«...Затем дождь полил — как из ведра, и сверкнула вдруг ослепительная молния...»

И с необыкновенным искусством и быстротой Ванька Встанька последовательным движением бровей, глаз, носа, верхней и нижней губы изобразил молниеносный зигзаг.

«...Раздался потрясающий громовой удар — тррру-у-у. Вековой дуб упал на землю, точно хрупкая тростинка...»

И Ванька Встанька с неожиданной для его лет легкостью и смелостью, не сгибая ни колен, ни спины, только угнув вниз голову, мгновенно упал, прямо как статуя, спиной на пол, но тотчас же ловко вскочил на ноги.

«...Но вот гроза постепенно утихает. Молния блещет все реже. Гром звучит глуше, точно насытившийся зверь, — ууу-ууу... Тучи разбегаются. Проглянули первые лучи солнышка...»

Ванька Встанька сделал кислую улыбку.

«...И вот наконец дневное светило снова засияло над омытой землей...»

И глупейшая блаженная улыбка снова разлилась по старческому лицу Ваньки Встаньки.

Кадеты дали ему по двугривенному. Он положил их на ладонь, другой рукой сделал в воздухе пасс, сказал: ейн, цвей, дрей, щелкнул двумя пальцами — и монеты исчезли.

— Тамарочка, это нечестно, — сказал он укоризненно. — Как вам не стыдно у бедного отставного почти обер-



офицера брать последние деньги? Зачем вы их спрятали сюда?

И, опять щелкнув пальцами, он вытащил монеты из Тамариного уха.

— Сейчас я вернусь, не скучайте без меня,— успокоил он молодых людей,— а ежели вы меня не дожидаетесь, то я буду не особенно в претензии. Имею честь!..

— Ванька Встанька! — крикнула ему вдогонку Манька Беленькая. — Купи-ка мне на пятнадцать копеек конфет... помадки на пятнадцать копеек. На, держи!

Ванька Встанька чисто поймал на лету брошенный пятиалтынный, сделал комический реверанс и, пахлобув набекрень форменную фуражку с зелеными кантами, исчез.

К кадетам подошла высокая старая Генриетта, тоже попросила покурить и, зевнув, сказала:

— Хоть бы потанцевали вы, молодые люди, а то барышни сидят-сидят, аж от скуки дохнут.

— Пожалуйста, пожалуйста! — согласился Коля. — Сыграйте вальс и там что-нибудь.

Музыканты заиграли. Девушки закружились одна с другой, по обыкновению, церемонно, с вытянутыми прямыми спинами и с глазами, стыдливо опущенными вниз.

Коля Гладышев, очень любивший танцевать, не утерпел и пригласил Тамару: он еще с прошлой зимы знал, что она танцует легче и умелее остальных. Когда он вертелся в вальсе, то сквозь залу, изворотливо пробираясь между парами, незаметно проскользнул поездной толстый обер-кондуктор. Коля не успел его заметить.

Как ни приставала Верка к Петрову, его ни за что не удалось стянуть с места. Теперь недавний легкий хмель совсем уже вышел из его головы, и все страшнее, все несбыточнее и все уродливее казалось ему то, для чего он сюда пришел. Он мог бы уйти, сказать, что ему здесь ни одна не правится, сослаться на головную боль, что ли, но он знал, что Гладышев не выпустит его, а главное — казалось невыносимо тяжелым встать с места и пройти одному несколько шагов. И кроме того, он чувствовал, что не в силах заговорить с Колей об этом.

Окончили танцевать. Тамара с Гладышевым опять усадились рядом.

— Что же, в самом деле, Женька до сих пор не идет? — спросил нетерпеливо Коля.

Тамара быстро поглядела на Верку с непонятным для непосвященного вопросом в глазах. Верка быстро опустила вниз ресницы. Это означало: да, ушел...

— Я пойду сейчас, позову ее,— сказала Тамара.

— Да что вам ваша Женька так уж полюбилась,— сказала Генриетта.— Взяли бы меня.

— Ладно, в другой раз,— ответил Коля и нервно закурил.

Женька еще не начинала одеваться. Она сидела у зеркала и припудривала лицо.

— Ты что, Тамарочка? — спросила она.

— Пришел к тебе кадет твой. Ждет.

— Ах, это прошлогодний бебешка... а ну его.

— Да и то правда. А поздоровел как мальчишка, похорошел, вырос... один восторг! Так если не хочешь, я сама пойду.

Тамара увидела в зеркало, как Женька нахмурила брови.

— Нет, ты подожди, Тамара, не надо. Я посмотрю. Пошли мне его сюда. Скажи, что я нездорова, скажи, что голова болит.

— Я уж и так ему сказала, что Зося отворила дверь неудачно и ударила тебя по голове и что ты лежишь с компрессом. Но только стоит ли, Женечка?

— Стоит, не стоит,— это дело не твое, Тамара,— грубо ответила Женька.

Тамара спросила осторожно:

— Неужели тебе совсем, совсем-таки не жаль?

— А тебе меня не жаль? — И она провела по красной полосе, перерезавшей ее горло.— А тебе себя не жаль? А эту Любку несчастную не жаль? А Пашку не жаль? Кисель ты клюквенный, а не человек!

Тамара улыбнулась лукаво и высокомерно:

— Нет, когда настоящее дело, я не кисель. Ты это, пожалуй, скоро увидишь, Женечка. Только не будем лучше ссориться — и так не больно сладко живется. Хорошо, я сейчас пойду и пришлю его к тебе.

Когда она ушла, Женька уменьшила огонь в висячем голубом фонарике, надела ночную кофту и легла. Минуту спустя вошел Гладышев, а вслед за ним Тамара, тащившая за руку Петрова, который упирался и не поднимал головы от пола. А сзади просовывалась розовая, остренькая, лисья мордочка косоглазой экономки Зоси.

— Вот и прекрасно,— засуетилась экономка.— Прямо глядеть сладко: два красивых паныча и две сличных паненки. Прямо букет. Чем вас угощать, молодые люди? Пива или вина прикажете?

У Гладышева было в кармане много денег, столько, сколько еще ни разу не было за его небольшую жизнь — целых двадцать пять рублей, и он хотел кутнуть. Пиво он пил только из молодечества, но не выносил его горького вкуса и сам удивлялся, как это его пьют другие. И потому брезгливо, точно старый кутила, оттопырив нижнюю губу, он сказал недоверчиво:

— Да ведь у вас, наверное, дрянь какая-нибудь?

— Что вы, что вы, красавчик! Самые лучшие господа одобряют... Из сладких — кагор, церковное, tenerиф, а из французских — лафит... Портвейн тоже можно. Лафит с лимонадом девочки очень обожают.

— А почему?

— Не дороже денег. Как всюду водится в хороших заведениях: бутылка лафита — пять рублей, четыре бутылки лимонаду по полтиннику — два рубля, и всего только семь...

— Да будет тебе, Зося, — равнодушно остановила ее Женька, — стыдно мальчиков обижать. Довольно и пяти. Видишь, люди приличные, а не какие-нибудь...

Но Гладышев покраснел и с небрежным видом бросил на стол десятирублевую бумажку.

— Что там еще разговаривать. Хорошо, принесите.

— Я заодно уж и деньги возьму за визит. Вы как, молодые люди, — на время или на ночь? Сами знаете таксу: на время — по два рубля, на ночь — по пяти.

— Ладно, ладно. На время, — перебила, вспыхнув, Женька. — Хоть в этом-то поверь.

Принесли вино. Тамара выклянчила, кроме того, пирожных. Женька попросила позволения позвать Маньку Беленькую. Сама Женька не пила, не вставала с постели и все время куталась в серый оренбургский платок, хотя в комнате было жарко. Она пристально глядела, не отрываясь, на красивое, загоревшее, ставшее таким мужественным лицо Гладышева.

— Что с тобою, милочка? — спросил Гладышев, садясь к ней на постель и поглаживая ее руку.

— Ничего особенного... Голова немного болит. Ударилась.

— Да ты не обращай внимания.

— Да вот увидела тебя, и уж мне полегче стало. Что давно не был у нас?

— Никак нельзя было урваться — лагеря. Сама знаешь... По двадцать верст приходилось в день отжаривать. Целый день ученье и ученье: полевое, строевое, гарнизонное. С полной выкладкой. Бывало, так измучаешься с

утра до ночи, что к вечеру ног под собой не слышишь... На маневрах тоже были... Не сахар...

— Ах вы, бедненькие! — всплеснула вдруг руками Манька Беленькая. — И за что это вас, ангелов таких, мучают? Кабы у меня такой брат был, как вы, или сын — у меня бы просто сердце кровью обливалось. За ваше здоровье, кадетик!

Чокнулись. Женька все так же внимательно разглядывала Гладышева.

— А ты, Женечка? — спросил он, протягивая стакан.

— Не хочется, — ответила она лениво, — но, однако, барышни, попили винца, поболтали — пора и честь знать.

— Может быть, ты останешься у меня на всю ночь? — спросила она Гладышева, когда другие ушли. — Ты, миленький, не бойся: если у тебя денег не хватит, я за тебя доплачу. Вот видишь, какой ты красивый, что для тебя девчонка даже денег не жалеет, — засмеялась она.

Гладышев обернулся к ней: даже и его ненаблюдательное ухо поразил странный тон Женьки — не то печальный, не то ласковый, не то насмешливый.

— Нет, душечка, я бы очень был рад, мне самому хотелось бы остаться, но никак нельзя: обещал быть дома к десяти часам.

— Ничего, милый, подождут: ты уже совсем взрослый мужчина. Неужели тебе надо слушаться кого-нибудь?.. А впрочем, как хочешь. Может быть, свет совсем потушить или и так хорошо? Ты как хочешь — с краю или у стенки?

— Мне безразлично, — ответил он вздрагивающим голосом и, обняв рукой горячее, сухое тело Женьки, потянулся губами к ее лицу. Она слегка отстранила его.

— Подожди, потерпи, голубчик, — успеем еще нацеловаться. Полежи минуточку... так вот... тихо, спокойно... не шевелись...

Эти слова, страстные и повелительные, действовали на Гладышева, как гипноз. Он повиновался ей и лег на спину, положив руки под голову. Она приподнялась немного, облокотилась и, положив голову на согнутую руку, молча, в слабом полусвете, разглядывала его тело, такое белое, крепкое, мускулистое, с высокой и широкой грудной клеткой, с стройными ребрами, с узким тазом и с мощными выпуклыми ляжками. Темный загар лица и верхней половины шеи резкой чертой отделялся от белизны плеч и груди.

Гладышев на секунду зажмурился. Ему казалось, что

он ощущает на себе, на лице, на всем теле этот напряженно-пристальный взгляд, который как бы касался его кожи и щекотал ее, подобно паутинному прикосновению гребенки, которую сначала потрешь о сукно, — ощущение тонкой, невесомой живой материи.

Он открыл глаза и увидел совсем близко от себя большие, темные, жуткие глаза жепщины, которая ему казалась совсем незнакомой.

— Что ты смотришь, Женья? — спросил он тихо. — О чем думаешь?

— Миленский мой мальчик!.. Ведь правда: тебя Колей звать?

— Да.

— Не сердись на меня, исполни, пожалуйста, один мой каприз: закрой опять глаза... нет, совсем, крепче, крепче... Я хочу прибавить огонь и поглядеть на тебя хорошенько. Ну вот, так... Если бы ты знал, как ты красив теперь... сейчас вот... сию секунду. Потом ты загрубеешь, и от тебя станет пахнуть козлом, а теперь от тебя пахнет медом и молоком... и немного каким-то диким цветком. Да закрой же, закрой глаза!

Она прибавила свет, вернулась на свое место и села в своей любимой позе — по-турецки... Оба молчали. Слышно было, как далеко, за несколько комнат, тренькало разбитое фортепиано, неся чей-то вибрирующий смех, а с другой стороны — песенка и быстрый веселый разговор. Слов не было слышно. Извозчик громыхал где-то по отдаленной улице...

«И вот я его сейчас заражу, как и всех других, — думала Женька, скользя глубоким взглядом по его стройным ногам, красивому торсу будущего атлета и по закинутым назад рукам, на которых выше сгиба локтя выпукло, твердо напряглись мышцы. — Отчего же мне так жаль его? Или оттого, что он хорошенький. Нет. Я давно уже не знаю этих чувств. Или оттого, что он — мальчик? Ведь еще год тому назад с небольшим я совала ему в карман яблоки, когда он уходил от меня ночью. Зачем я тогда не сказала ему того, что могу и смею сказать теперь? Или все равно он не поверил бы мне? Рассердился бы? Пошел бы к другой? Ведь рапо или поздно каждого мужчину ждет эта очередь... А то, что он покупал меня за деньги, — разве это простительно? Или он поступал так, как и все они, сослепу?..»

— Коля, — сказала она тихо, — открой глаза.

Он повиновался, открыл глаза, повернулся к ней, обвил рукой ее шею, притянул немного к себе и хотел по-

целовать в вырез рубашки — в грудь. Она опять нежно, но повелительно отстранила его.

— Нет, подожди, подожди,— выслушай меня... еще минутку. Скажи мне, мальчик, зачем ты к нам сюда ходишь — к женщинам?

Коля тихо и хрипло рассмеялся.

— Какая ты глупая! Ну зачем же все ходят? Разве я тоже не мужчина? Ведь, кажется, я в таком возрасте, когда у каждого мужчины созревает... ну, известная потребность... в женщине... Ведь не заниматься же мне всякой гадостью!

— Потребность? Только потребность? Значит, вот так же, как в той посуде, которая стоит у меня под кроватью?

— Нет, отчего же? — ласково смеясь, возразил Коля. — Ты мне очень нравишься... с самого первого раза. Если хочешь, я даже... немножко влюблен в тебя... по крайней мере, ни с кем с другими я не оставался.

— Ну, хорошо! А тогда, в первый раз, неужели потребность?

— Нет, пожалуй, что и не потребность, но как-то смутно хотелось женщины... Товарищи уговорили... Многие уже раньше меня ходили сюда... Вот и я...

— А что, тебе не стыдно было в первый раз?

Коля смутился: весь этот допрос был ему неприятен, тягостен. Он чувствовал, что это не пустой, праздный постельный разговор, так хорошо ему знакомый из его небольшого опыта, а что-то другое, более важное.

— Положим... не то что стыдно... ну, а все-таки же было пеловко. Я тогда выпил для храбрости.

Женя опять легла на бок, оперлась локтем и опять сверху поглядывала на него близко и пристально.

— А скажи, душенька,— спросила она еле слышно, так, что кадет с трудом разбирал ее слова,— скажи еще одно: а то, что ты платил деньги, эти поганые два рубля,— понимаешь! — платил за любовь, за то, чтобы я тебя ласкала, целовала, отдавала бы тебе свое тело,— за это платить тебе не стыдно было? никогда?

— Ах, Боже мой! Какие странные вопросы задаешь ты сегодня! Но ведь все же платят деньги! Не я, так другой заплатил бы,— не все ли тебе равно?

— А ты любил кого-нибудь, Коля? Признайся! Ну хоть не по-настоящему, а так... в душе... Ухаживал? Подносил цветочки какие-нибудь... под ручку прогуливался при луне? Было ведь?

— Ну да,— сказал Коля солидным басом.— Мало ли какие глупости бывают в молодости! Попятное дело...

— Какая-нибудь двоюродная сестренка? Барышня воспитанная? Институтка? Гимназисточка?.. Ведь было?

— Ну да, конечно, — у всякого это бывало.

— Ведь ты бы ее не тронул?.. Пощадил бы? Ну, если бы она тебе сказала: возьми меня, но только дай мне два рубля, — что бы ты сказал ей?

— Не понимаю я тебя, Женька! — рассердился вдруг Гладышев. — Что ты ломаешься! Какую-то комедию разыгрываешь! Ей-Богу, я сейчас оденусь и уйду.

— Подожди, подожди, Коля! Еще, еще один, последний, самый-самый последний вопрос.

— Ну тебя! — недовольно буркнул Коля.

— А ты никогда не мог себе представить... ну, представь сейчас хоть на секунду... что твоя семья вдруг обеднела, разорилась... Тебе пришлось бы зарабатывать хлеб перепиской или там, скажем, столярным или кузнечным делом, а твоя сестра свихнулась бы, как и все мы... да, да, твоя, твоя родная сестра... соблазнил бы ее какой-нибудь болван, и пошла бы она гулять... по рукам... что бы ты сказал тогда?

— Чушь!.. Этого быть не может!.. — резко оборвал ее Коля. — Ну, однако, довольно, — я ухожу!

— Уходи, сделай милость! У меня там, у зеркала, в коробочке от шоколада, лежат десять рублей, — возьми их себе. Мне все равно не нужно. Купи на них маме пудреницу черепаховую в золотой оправе, а если у тебя есть маленькая сестра, купи ей хорошую куклу. Скажи: на память от одной умершей девки. Ступай, мальчишка!

Коля, нахмурившись, злой, одним толчком ловко сбитого тела соскочил с кровати, почти не касаясь ее. Теперь он стоял на коврике у постели, голый, стройный, прекрасный — во всем великолепии своего цветущего юношеского тела.

— Коля! — позвала его тихо, настойчиво и ласково Женька. — Колечка!

Он обернулся на ее зов и коротко, отрывисто вдохнул в себя воздух, точно ахнул: он никогда еще в жизни не встречал нигде, даже на картинах, такого прекрасного выражения нежности, скорби и женственного молчаливого упрека, какое сейчас он видел в глазах Женьки, наполненных слезами. Он присел на край кровати и порывисто обнял ее вокруг обнаженных смуглых рук.

— Не будем же ссориться, Жепечка, — сказал он нежно.

И она обвилась вокруг него, положила руки на шею, а голову прижала к его груди. Так они помолчали несколько секунд.

— Коля,— спросила Женья вдруг глухо,— а ты никогда не боялся заразиться?

Коля вздрогнул. Какой-то холодный, омерзительный ужас шевельнулся и прополз у него в душе. Он ответил не сразу.

— Конечно, это было бы страшно... страшно... спаси Бог! Да ведь я только к тебе одной хожу, только к тебе! Ты бы, наверное, сказала мне?..

— Да, сказала бы,— произнесла она задумчиво. И тут же прибавила быстро, сознательно, точно взвесив смысл своих слов: — Да, конечно, конечно, сказала бы! А ты не слыхал когда-нибудь, что это за штука болезнь, которая называется сифилисом?

— Конечно, слышал... Нос проваливается...

— Нет, Коля, не только нос! Человек заболевает весь: заболевают его кости, жилы, мозги... Говорят иные доктора такую ерунду, что можно от этой болезни вылечить. Чушь! Никогда не вылечишься! Человек гниет десять, двадцать, тридцать лет. Каждую секунду его может разбить паралич, так что правая половина лица, правая рука, правая нога умирают, живет не человек, какая-то половинка. Получеловек-полутруп. Большинство из них сходит с ума. И каждый понимает... каждый человек... каждый такой зараженный понимает, что, если он ест, пьет, целуется, просто даже дышит,— он не может быть уверенным, что не заразит сейчас кого-нибудь из окружающих, самых близких — сестру, жену, сына... У всех сифилитиков дети рождаются уродами, недоносками, зобастыми, чахоточными, идиотами. Вот, Коля, что такое из себя представляет эта болезнь! А теперь,— Женька вдруг быстро выпрямилась, крепко схватила Колю за голые плечи, повернула его лицом к себе, так что он был почти ослеплен сверканием ее печальных, мрачных, необыкновенных глаз,— а теперь, Коля, я тебе скажу, что я уже больше месяца больна этой гадостью. Вот оттого-то я тебе и не позволяла поцеловать себя...

— Ты шутишь!.. Ты нарочно дразнишь меня, Женья!.. — бормотал злой, испуганный и растерявшийся Гладышев.

— Шучу?.. Иди сюда!

Она резко заставила его встать на ноги, зажгла спичку и сказала:

— Теперь смотри внимательно, что я тебе покажу...



Она широко открыла рот и поставила огонь так, чтобы он освещал ей гортань. Коля поглядел и отшатнулся.

— Ты видишь эти белые пятна? Это — сифилис, Коля! Понимаешь, — сифилис в самой страшной, самой тяжелой степени. Теперь одевайся и благодари Бога.

Он, молча и не оглядываясь на Женьку, стал торопливо одеваться, не попадая ногами в одежду. Руки его тряслись, и нижняя челюсть прыгала так, что зубы стучали нижние о верхние, а Жестька говорила с поникнутой головой:

— Слушай, Коля, это твое счастье, что ты попал на честную женщину, другая бы не пощадила тебя. Слышишь ли ты это? Мы, которых вы лишаете невинности и потом выгоняете из дома, а потом платите нам два рубля за визит, мы всегда, — понимаешь ли ты? — она вдруг поднимала голову, — мы всегда ненавидим вас и никогда не жалеем!

Полуодетый Коля вдруг бросил свой туалет, сел на кровать около Женьки и, закрыв ладонями лицо, расплакался искренно, совсем по-детски...

— Господи, Господи, — шептал он, — ведь это правда!.. Какая же это подлость!.. И у нас, у нас дома было это: была горничная Нюша... горничная... ее еще звали синьоритой Анитой... хорошенькая... и с нею жил брат... мой старший брат... офицер... и когда он уехал, она стала беременная, и мать выгнала ее... ну да, — выгнала... вышвырнула из дома, как половую тряпку... Где она теперь? И отец... отец... Он тоже с гор... горничной.

И полуголая Женька, эта Женька-безбожница, ругательница и скандалистка, вдруг поднялась с постели, стала перед кадетом и медленно, почти торжественно перекрестила его.

— Да хранит тебя Господь, мой мальчик! — сказала она с выражением глубокой нежности и благодарности.

И тотчас же побежала к двери, открыла ее и крикнула:

— Экономка!

На зов ее пришла Зося.

— Вот что, экономочка, — распорядилась Жестька, — подите узнайте, пожалуйста, кто из них свободен — Тамара или Манька Беленькая. И свободную пришлите сюда.

Коля проворчал что-то сзади, но Женька нарочно не слушала его.

— Да поскорее, пожалуйста, экономочка, будь такая добренькая.

— Сейчас, сейчас, барышня.

— Зачем, зачем ты это делаешь, Женя? — спросил Гладышев с тоской. — Ну для чего это?.. Неужели ты хочешь рассказать?..

— Подожди, это не твое дело... Подожди, я ничего не сделаю неприятного для тебя.

Через минуту пришла Манька Беленькая в своем коричневом, гладком, умышленно скромном и умышленно обтянутом коротком платье гимназистки.

— Ты что меня звала, Женя? Или поссорились?

— Нет, не поссорились, Манечка, а у меня очень голова болит, — ответила спокойно Женька, — и поэтому мой дружок находит меня очень холодной! Будь добренькая, Манечка, останься с ним, замени меня!

— Будет, Женя, перестань, милая! — тоном искреннего страдания возразил Коля. — Я все, все понял, не нужно теперь... Не добивай же меня!..

— Ничего не понимаю, что случилось, — развела руками легкомысленная Манька. — Может быть, угостите чем-нибудь бедную девочку?

— Ну, иди, иди! — ласково отправила ее Женька. — Я сейчас приду. Мы пошутим.

Уже одетые, они долго стояли в открытых дверях, между коридором и спальней, и без слов, грустно глядели друг на друга. И Коля не понимал, но чувствовал, что в эту минуту в его душе совершается один из тех громадных переломов, которые властно сказываются на всей жизни.

Потом он крепко пожал Жене руку и сказал:

— Прости!.. Ты простишь меня, Женя? Простишь?..

— Да, мой мальчик!.. Да, мой хороший!.. Да... Да...

Она нежно, тихо, по-матерински погладила его низко стриженную жесткую голову и слегка подтолкнула его в коридор.

— Куда же ты теперь? — спросила она вдогонку, полукрив дверь.

— Я сейчас возьму товарища и домой.

— Как знаешь!.. Будь здоров, миленький!

— Прости меня!.. Прости меня!.. — еще раз повторил Коля, протягивая к ней руки.

— Я уже сказала, мой славный мальчик... И ты меня прости... Больше ведь не увидимся!..

И она, затворив дверь, осталась одна.

В коридоре Гладышев замялся, потому что он не знал, как найти тот номер, куда удалился Петров с Тамарой. Но ему помогла экономка Зося, пробежавшая мимо него

очень быстро и с очень озабоченным, встревоженным видом.

— Ах, не до вас тут! — огрызнулась она на вопрос Гладышева. — Третья дверь налево.

Коля подошел к указанной двери и постучался. В комнате послышалась какая-то возня и шепот. Он постучался еще раз.

— Керковиус, отвори! Это я — Солитеров.

Среди кадетов, отправлявшихся в подобного рода экспедиции, всегда было условлено называть друг друга вымышленными именами. Это была не так конспирация, или уловка против бдительности начальства, или боязнь скомпрометировать себя перед случайным семейным знакомым, как своего рода игра в таинственность и переодевание — игра, ведшая свое начало еще с тех времен, когда молодежь увлекается Густавом Эмаром, Майн Ридом и сыщиком Лекоком.

— Нелзя! — послышался из-за двери голос Тамары. — Нелзя входить. Мы заняты.

Но ее сейчас же перебил басистый голос Петрова:

— Пустяки! Она врет. Входи. Можно! — Коля отворил дверь.

Петров сидел на стуле одетый, но весь красный, суровый, с надутыми по-детски губами, с опущенными глазами.

— Тоже и товарища привели — нечего сказать! — говорила Тамара насмешливо и сердито. — Я думала, он в самом деле мужчина, а это — девчонка какая-то! Скажите пожалуйста, жалко ему свою невинность потерять. Тоже нашел сокровище! Да возьми пазад, возьми свои два рубля! — закричала она вдруг па Петрова и швырнула на стол две монеты. — Все равно отдашь их горняшке какой-нибудь! А то па перчатки себе побереги, суслик!

— Да что же вы ругаетесь! — бурчал Петров, не поднимая глаз. — Ведь я вас не ругаю. Зачем же вы первая ругаетесь? Я имею полное право поступать, как я хочу. Но я провел с вами время, и возьмите себе. А насильно я не хочу. И с твоей стороны, Гладышев... то бишь, Солитеров, совсем это нехорошо. Я думал, она порядочная девушка, а она все лезет целоваться и Бог знает что делает...

Тамара, несмотря на свою злость, расхохоталась.

— Ах ты, глупыш, глупыш! Ну, не сердись — возьми я твои деньги. Только смотри: сегодня же вечером пожалеешь, плакать будешь. Ну, не сердись, не сердись,

ангел, давай помиримся. Протяни мне руку, как я тебе.

— Идем, Керковиус,— сказал Гладышев.— До свидания, Тамара!

Тамара опустила деньги, по привычке всех проституток, в чулок и пошла проводить мальчиков.

Еще в то время, когда они проходили коридором, Гладышева поразила странная, молчаливая, напряженная суeta в зале, топот ног и какие-то заглушенные, вполголоса, быстрые разговоры.

Около того места, где они только что сидели под картиной, собрались все обитатели дома Анны Марковны и несколько посторонних людей. Они стояли тесной кучкой, наклонившись вниз.

Коля с любопытством подошел и, протиснувшись немного, заглянул между головами: на полу, боком, как-то неестественно скорчившись, лежал Ванька Встанька. Лицо у него было синее, почти черное. Он не двигался и лежал странно маленький, съежившись, с согнутыми ногами. Одна рука была у него поджата под грудь, а другая откинута назад.

— Что с ним? — спросил испуганно Гладышев.

Ему ответила Нюрка, заговорив быстрым, прерывающимся шепотом:

— Ванька Встанька только что пришел сюда... Отдал Маньке конфеты, а потом стал нам загадывать армянские загадки... «Синего цвета, висит в гостиной и свистит...» Мы никак не могли угадать, а он говорит: «Селедка»... Вдруг засмеялся, закашлялся и начал валиться на бок, а потом — хлоп на землю и не движется... Послали за полицией... Господи, вот страсть-то какая!.. Ужасно я боюсь упокойников!

— Подожди! — остановил ее Гладышев.— Надо пощупать лоб: может быть, еще жив...

Он сунулся было вперед, но пальцы Симеона, точно железные клещи, схватили его выше локтя и оттащили назад.

— Нечего, нечего разглядывать,— сурово приказал Симеон,— идите-ка, панычи, воп отсюда! Не место вам здесь: придет полиция, позовет вас в свидетели,— тогда вас из военной гимназии — киш, к чертовой матери! Идите-ка подобру-поздорову!

Он проводил их до передней, сунул им в руки шинели и прибавил еще более строго:

— Ну, теперь — гэгь бегом!.. Живо! Чтобы духу вашего не было! А другой раз придете, так и вовсе не пу-

стю. Тоже — умницы! Дали старому псу на водку, — вот и околел.

— Ну, ты не больно-то! — ершом налетел на него Гладышев.

— Что не больно?.. — закричал вдруг бешено Симеон, и его черные безбровые и безресницые глаза сделались такими страшными, что кадеты отшатнулись. — Я тебя так съезжу по сусалам, что ты папу-маму говорить разучишься! Ноги из заду выдерну. Ну, мигом! А то козырну по шее!

Мальчики спустились с лестницы.

В это время наверх поднимались двое мужчин в суконных картузах пабекрень, в пиджаках параспашку, один в синей, другой в красной рубахах навыпуск под расстегнутыми пиджаками — очевидно, товарищи Симеона по профессии.

— Что, — весело крикнул один из них снизу, обращаясь к Симеону, — каюк Ваньке Встаньке?

— Да, должно быть, амба, — ответил Симеон. — Надо пока что, хлопцы, выбросить его на улицу, а то пойдут духи цепляться. Черт с ним, пускай думают, что напился пьян и подох на дороге.

— А ты его... не того?.. не пришел?

— Ну вот глупости! Было бы за что. Безвредный был человек. Совсем ягненок. Так, должно быть, пора ему своя пришла.

— И нашел же место, где помереть! Хуже-то не мог придумать? — сказал тот, что был в красной рубахе.

— Это уж верно! — подтвердил другой. — Жил смешно и умер грешно. Ну, идем, что ли, товарищ!

Кадеты бежали что есть мочи. Теперь в темноте фигура скорчившегося на полу Ваньки Встаньки с его синим лицом представлялась им такой страшной, какими кажутся покойники в ранней молодости, да если о них еще вспоминать ночью, в темноте.

#### IV

С утра моросил мелкий, как пыль, дождик, упрямый и скучный. Платонов работал в порту над разгрузкой арбузов. На заводе, где он еще с лета предполагал устроиться, ему не повезло: через неделю уже он поссорился и чуть не подрался со старшим мастером, который был чрезвычайно груб с рабочими. С месяц Сергей Иванович перебивался кое-как, с хлеба па воду, где-то на задворках Темниковской улицы, таская время от времени в редакцию

«Отголосков» заметки об уличных происшествиях или смешные сценки из камер мировых судей. Но черное газетное дело давно уже опостылело ему. Его всегда тянуло к приключениям, к физическому труду на свежем воздухе, к жизни, совершенно лишенной хотя бы малейшего намека на комфорт, к беспечному бродяжничеству, в котором человек, отбросив от себя всевозможные внешние условия, сам не знает, что с ним будет завтра. И поэтому, когда с низовьев Днепра потянулись первые баржи с арбузами, он охотно вошел в артель, в которой его знали еще с прошлого года и любили за веселый нрав, за товарищеский дух и за мастерское умение вести счет.

Работа шла дружно и ловко. На каждой барже работало одновременно четыре партии, каждая — из пяти человек. Первый номер доставал арбуз из баржи и передавал его второму, стоявшему на борту. Второй бросал его третьему, стоявшему уже на набережной, третий перекидывал четвертому, а четвертый подавал пятому, который стоял на подводе и укладывал арбузы — то темно-зеленые, то белые, то полосатые — в ровные блестящие ряды. Работа эта чистая, веселая и очень спорая. Когда подбирается хорошая партия, то любо смотреть, как арбузы летят из рук в руки, ловятся с цирковой быстротой и удачей и вновь и вновь, без перерыва, летят, чтобы в конце концов наполнить телегу. Трудно бывает только новичкам, которые еще не наловчились, не вошли в особенное чувство темпа. И не так трудно ловить арбуз, как суметь бросить его.

Платонов хорошо помнил свои первые прошлогодние опыты. Какая ругань, ядовитая, насмешливая, грубая, посыпалась на него, когда на третьем или на четвертом разе он зазевался и замедлил передачу: два арбуза, не брошенные в такт, с сочным хрустом разбились о мостовую, а окончательно растерявшийся Платонов уронил и тот, который держал в руках. На первый раз к нему отнеслись мягко, па второй же день за каждую ошибку стали вычитать с него по пяти копеек за арбуз из общей дежки. В следующий раз, когда это случилось, ему пригрозили без всякого расчета сейчас же вышвырнуть его из партии. Платонов и теперь еще помнил, как внезапная злоба охватила его. «Ах, так? Черт вас побери! — подумал он. — Чтобы я еще стал жалеть ваши арбузы! Так вот пате, нате!..» Эта вспышка как будто мгновенно помогла ему. Он небрежно ловил арбузы, так же небрежно их перебрасывал и, к своему удивлению, вдруг почувствовал,

что именно теперь-то он весь со своими мускулами, зрением и дыханием вошел в настоящий пульс работы, и понял, что самым главным было вовсе не думать о том, что арбуз представляет собой какую-то стоимость, и тогда все идет хорошо. Когда он наконец совсем овладел этим искусством, то долгое время оно служило для него своего рода приятной и занимательной атлетической игрой. Но и это прошло. Он дошел наконец до того, что стал чувствовать себя безвольным, механически движущимся колесом общей машины, состоявшей из пяти человек и бесконечной цепи летящих арбузов.

Теперь он был вторым номером. Наклоняясь ритмически вниз, он, не глядя, принимал в обе руки холодный, упругий, тяжелый арбуз, раскачивал его вправо и, тоже почти не глядя или глядя только краем глаза, швырял его вниз и сейчас же опять нагибался за следующим арбузом. И ухо его улавливало в это время, как чмок-чмок... чмок-чмок... плепались в руках пойманные арбузы, и тотчас же нагибался вниз и опять бросал, с шумом выдыхая из себя воздух — гхе... гхе...

Сегодняшняя работа была очень выгодной: их артель, состоявшая из сорока человек, взялась, благодаря большой спешке, за работу не поденно, а сдельно, поподводно. Старосте — огромному, могучему полтавцу Заворотному — удалось чрезвычайно ловко обойти хозяина, человека молодого и, должно быть, еще не очень опытного. Хозяин, правда, спохватился позднее и хотел переменить условия, но ему вовремя отсоветовали опытные бахчевники. «Бросьте. Убьют», — сказали ему просто и твердо. Вот из-за этой-то удачи каждый член артели зарабатывал теперь до четырех рублей в сутки. Все они работали с необыкновенным усердием, даже с какой-то яростью, и если бы возможно было измерить каким-нибудь прибором работу каждого из них, то, наверно, по количеству сделанных пудов она равнялась бы рабочему дню большого воронежского битюга.

Однако Заворотный и этим был недоволен — он все поторапливал и поторапливал своих хлопцев. В нем говорило профессиональное честолюбие: он хотел довести ежедневный заработок каждого члена артели до пяти рублей на рыло. И весело, с необычайной легкостью мелькали от пристани до подводы, вертась и сверкая, мокрые зеленые и белые арбузы, и слышались их сочные всплески о привычные ладони.

Но вот в порту на землечерпальной машине раздался длинный гудок. Ему отозвался другой, третий на реке,

еще несколько на берегу, и долго они ревели вместе мощным разноголосым хором.

— Ба-а-а-ст-а-а! — хрипло и густо, точь-в-точь как паровозный гудок, заревел Заворотный.

И вот последние чмок-чмок — и работа мгновенно остановилась.

Платонов с наслаждением выпрямил спину, и выгнул ее назад, и расправил затекшие руки. Он с удовольствием подумал о том, что уже переболел ту первую боль во всех мускулах, которая так сказывается в первые дни, когда с отвычки только что втягиваешься в работу. А до этого дня, просыпаясь по утрам в своем логовище на Темниковской, — тоже по условному звуку фабричного гудка, — он в первые минуты испытывал такие страшные боли в шее, спине, в руках и ногах, что ему казалось, будто только чудо сможет заставить его встать и сделать несколько шагов.

— Иди-и-и обед-а-ть! — завопил опять Заворотный.

Крючники сходили к воде, становились на колени или ложились ничком на сходящих или на плотках и, зачерпывая горстями воду, мыли мокрые разгоревшиеся лица и руки. Тут же на берегу, в стороне, где еще осталось немного травы, расположились они к обеду: положили в круг десяток самых спелых арбузов, черного хлеба и двадцать тараней. Гаврюшка Пуля уже бежал с полуведерной бутылкой в кабак и шел на ходу солдатский сигнал к обеду:

Бери ложку, тащи бак,  
Нету хлеба, лопай так.

Босой мальчишка, грязный и такой оборванный, что на нем было гораздо больше голого собственного тела, чем одежды, подбежал к артели.

— Который у вас тут Платонов? — спросил он, быстро бегая вороватыми глазами.

Сергей Иванович назвал себя:

— Я — Платонов, а тебя как дразнят?

— Тут за углом, за церковью, тебя барышня какая-то ждет... На записку тебе.

Артель густо заржала.

— Чего рты-то порасстегивали, дурачье! — сказал спокойно Платонов. — Давай сюда записку.

Это было письмо от Женьки, написанное круглым, наивным, катящимся детским почерком и не очень грамотное.

«Сергей Иванович. Простите, что я вас без — покою. Мне нужно с вами поговорить по очень, очень важному



делу. Не стала бы тревожить, если бы Пустяки. Всего только на 10 минут. Известная вам Женька от Анны Марковны».

Платонов встал.

— Я пойду ненадолго, — сказал он Заворотному. — Как начнете, буду на месте.

— Тоже дело нашел, — лениво и презрительно отозвался староста. — На это дело ночь есть... Иди, иди, кто ж тебя держит. А только как начнем работать, тебя не будет, то нынешний день не в счет. Возьму любого босняка. А сколько он наколотит кавунов, — тоже с тебя... не думал я, Платонов, про тебя, что ты такой кобель...

Женька ждала его в маленьком скверике, приютившемся между церковью и набережной и состоявшем из десятка жалких тополей. На ней было серое цельное выходное платье, простая круглая соломенная шляпа с черной ленточкой. «А все-таки, хоть и скромно оделась, — подумал Платонов, глядя на нее издали своими привычно прищуренными глазами, — а все-таки каждый мужчина пройдет мимо, посмотрит и непременно три-четыре раза оглянется: сразу почувствует особенный тон».

— Здравствуй, Женька! Очень рад тебя видеть, — приветливо сказал он, пожимая руку девушки. — Вот уж не ждал-то!

Женька была скромна, печальна и, видимо, чем-то озабочена. Платонов это сразу понял и почувствовал.

— Ты меня извини, Женечка, я сейчас должен обещать, — сказал он, — так, может быть, ты пойдешь вместе со мной и расскажешь, в чем дело, а я заодно успею поест. Тут неподалеку есть скромный кабачишко. В это время там совсем нет народа, и даже имеется маленькое стойлище вроде отдельного кабинета, — там нам с тобой будет чудесно. Пойдем! Может быть, и ты что-нибудь скушаешь.

— Нет, я есть не буду, — ответила Женька хрипло, — и я недолго тебя задержу... несколько минут. Надо посоветоваться, поговорить, а мне не с кем.

— Очень хорошо... Идем же! Чем только могу, готов всем служить. Я тебя очень люблю, Женька!

Она поглядела на него грустно и благодарно.

— Я это знаю, Сергей Иванович, оттого и пришла.

— Может быть, денег нужно? Говори прямо. У меня у самого немного, но артель мне поверит вперед.

— Нет, спасибо... Совсем не то. Я уж там, куда пойдем, все разом расскажу.

В темноватом низеньком кабачке, обычном притоне мелких воров, где торговля производилась только вечером, до самой глубокой ночи, Платонов занял маленькую полутемную каморку.

— Дай мне мяса вареного, огурцов, большую рюмку водки и хлеба, — приказал он половому.

Половой — молодой малый с грязным лицом, курносый, весь такой засаленный и грязный, как будто его только что вытащили из помойной ямы, — вытер губы и сипло спросил:

— На сколько копеек хлеба?

— На сколько выйдет.

Потом он рассмеялся:

— Неси больше, — потом посчитаемся... И квасу!..

— Ну, Женя, говори, какая у тебя беда... Я уж по лицу вижу, что беда или вообще что-то кислое... Расска-  
зывай!

Женька долго теребила свой носовой платок и глядела себе на кончики туфель, точно собираясь с силами. Ею овладела робость — никак не приходили на ум нужные, важные слова. Платонов пришел ей на помощь:

— Не стесняйся, милая Женя, говори все, что есть! Ты ведь знаешь, что я человек свой и никогда не выдам. А может быть, и впрямь что-нибудь хорошее посоветую. Ну, бух с моста в воду — начинай!

— Вот я именно и не знаю, как начать-то, — сказала Женька нерешительно. — Вот что, Сергей Иванович, больная я... Понимаете? — нехорошо больна... Самою гадкою болезнью... Вы знаете, — какой?

— Дальше! — сказал Платонов, кивнув головой.

— И давно это у меня... больше месяца... может быть, полтора... Да, больше чем месяц, потому что я только на Троицу узнала об этом...

Платонов быстро потер лоб рукой.

— Подожди, я вспомнил... Это в тот день, когда я там был вместе со студентами... Не так ли?

— Верно, Сергей Иванович, так...

— Ах, Женька, — сказал Платонов укоризненно и с сожалением. — А ведь знаешь, что после этого двое студентов заболели... Не от тебя ли?

Женька гневно и презрительно сверкнула глазами.

— Может быть, и от меня... Почему я знаю? Их много было... Помню, вот этот был, который еще все лез с вами подраться... Высокий такой, белокурый, в пенсне...

— Да, да... Это — Собашников. Мне передавали... Это он... Ну, этот еще ничего — фатишка! А вот другой,—

того мне жаль. Я хоть давно его знаю, но как-то никогда не справлялся толком об его фамилии... Помню только, что фамилия происходит от какого-то города — Полянска... Звенигородска... Товарищи его звали Рамзес... Когда врачи, — он к нескольким врачам обращался, — когда они сказали ему бесповоротно, что он болен люэсом, он пошел домой и застрелился... И в записке, которую он написал, были удивительные слова, приблизительно такие: «Я полагал, весь смысл жизни в торжестве ума, красоты и добра; с этой же болезнью я не человек, а рухлядь, гпиль, падаль, кандидат в прогрессивные паралитики. С этим не мирится мое человеческое достоинство. Виноват же во всем случившемся, а значит, и в моей смерти, только один я, потому что, повинувшись мнунтному скотскому влечению, взял женщину без любви, за деньги. Потому я и заслужил наказание, которое сам на себя налагаю...» Мне его очень жаль... — прибавил Платонов тихо.

Женька раздула ноздри.

— А мне вот ничутьочки.

— Напрасно... Ты теперь, малый, уйди. Когда нужно будет, я тебя покричу, — сказал Платонов служащему. — Совсем напрасно, Женечка! Это был необыкновенно крупный и сильный человек. Такие попадают один на сотни тысяч. Я не уважаю самоубийц. Чаще всего это мальчишки, которые стреляются и вешаются по пустякам, подобно ребенку, которому не дали конфетку, и он бьется назло окружающим об стену. Но перед его смертью я благоговейно и с горечью склоняю голову. Он был умный, щедрый, ласковый человек, внимательный ко всем и, как видишь, слишком строгий к себе.

— А мне это решительно все равно, — упрямо возразила Женька, — умный или глупый, честный или нечестный, старый или молодой, — я их всех возненавидела! Потому что, — погляди на меня, — что я такое? Какая-то всемирная плевательница, помойная яма, отхожее место. Подумай, Платонов, ведь тысячи, тысячи человек брали меня, хватали, хрюкали, сопели надо мной, и всех тех, которые были, и тех, которые могли бы еще быть на моей постели, — ах! как ненавижу я их всех! Если бы могла, я осудила бы их на пытку огнем и железом!.. Я велела бы...

— Ты злая и гордая, Женя, — тихо сказал Платонов.

— Я была не злая и не гордая... Это только теперь. Мне не было десяти лет, когда меня продала родная мать, и с тех пор я пошла гулять по рукам... Хоть бы кто-нибудь во мне увидел человека! Нет!.. Гадина, отребье, хуже нищего, хуже вора, хуже убийцы!.. Даже палач... — у нас

и такие бывают в заведении, — и тот отнесся бы ко мне свысока, с омерзением: я — ничто, я — публичная девка! Понимаете ли вы, Сергей Иванович, какое это ужасное слово? Пу-бличная!.. Это значит ничья: ни своя, ни панина, ни мамина, ни русская, ни рязанская, а просто — публичная! И никому ни разу в голову не пришло подойти ко мне и подумать: а ведь это тоже человек, у него сердце и мозг, он о чем-то думает, что-то чувствует, ведь он сделан не из дерева и набит не соломой, трухой или мечалкой! И все-таки это чувствую только я. Я, может быть, одна из них всех, которая чувствует ужас своего положения, эту черную, вонючую, грязную яму. Но ведь все девушки, с которыми я встречалась и с которыми вот теперь живу, — поймите, Платонов, поймите меня! — ведь они ничего не сознают!.. Говорящие, ходящие куски мяса! И это еще хуже, чем моя злоба!..

— Ты права! — тихо сказал Платонов. — И вопрос этот такой, что всегда упруешься в стену. Вам никто не поможет...

— Никто, никто!.. — страстно воскликнула Женька. — Помнишь ли, — при тебе это было: увез студент нашу Любку...

— Как же, хорошо помню!.. Ну и что же?

— А то, что вчера она вернулась, обтрепанная, мокрая... Плачет... Бросил, подлец!.. Поиграл в доброту, да и за щеку! Ты, говорит, — сестра! Я, говорит, тебя спасу, я тебя сделаю человеком...

— Неужели так?

— Так!.. Одного человека я видела, ласкового и снисходительного, без всяких кобелиных расчетов, — это тебя. Но ведь ты совсем другой. Ты какой-то странный. Ты все где-то бродишь, ищешь чего-то... Вы простите меня, Сергей Иванович, вы блаженненький какой-то!.. Вот потому-то я к вам и пришла, к вам одному!..

— Говори, Женечка...

— И вот, когда я узнала, что больна, я чуть с ума не сошла от злобы, задохлась от злобы... Я подумала: вот и конец, стало быть, нечего жалеть больше, не о чем печалиться, нечего ждать... Крышка!.. Но за все, что я перенесла, — неужели нет отплаты? Неужели нет справедливости на свете? Неужели я не могу наслаждаться хоть мстью? — за то, что я никогда не знала любви, о семье знаю только понаслышке, что меня, как паскудную собачонку, подзовут, погладят и потом сапогом по голове — пошла прочь! — что меня сделали из человека, равного всем им, не глупее всех, кого я встречала, сделали поло-

вую тряпку, какую-то сточную трубу для их пакостных удовольствий? Тьфу!.. Неужели за все за это я должна еще принять и такую болезнь с благодарностью?.. Или я раба? Бессловесный предмет?.. Бьючная кляча?.. И вот, Платонов, тогда-то я решила заражать их всех — молодых, старых, бедных, богатых, красивых, уродливых, — всех, всех, всех!..

Платонов, давно уже отставивший от себя тарелку, глядел на нее с изумлением и даже больше — почти с ужасом. Ему, видевшему в жизни много тяжелого, грязного, порою даже кровавого, — ему стало страшно животным страхом перед этим напряжением громадной неизлившейся ненависти. Очнувшись, он сказал:

— Один великий французский писатель рассказывает о таком случае. Пруссак завоевали французов и всячески издевались над ними: расстреливали мужчин, насиловали женщин, грабили дома, поля сжигали... И вот одна красивая женщина, француженка, очень красивая, заразившись, стала назло заражать всех немцев, которые попадали к ней в объятия. Она сделала больными целые сотни, может быть, даже тысячи... И когда она умирала в госпитале, она с радостью и с гордостью вспоминала об этом... Но ведь то были враги, попиравшие ее отечество и избивавшие ее братьев... Но ты, ты, Женечка?..

— А я всех, именно всех! Скажите мне, Сергей Иванович, по совести только скажите, если бы вы нашли на улице ребенка, которого кто-то обесчестил, надругался над ним... ну, скажем, выколол бы ему глаза, отрезал уши, — и вот вы бы узнали, что этот человек сейчас проходит мимо вас и что только один Бог, если только он есть, смотрит на вас в эту минуту с небеси, — что бы вы сделали?

— Не знаю, — ответил глухо и потупившись Платонов, но он побледнел, и пальцы его под столом судорожно сжались в кулаки. — Может быть, убил бы его...

— Не «может быть», а наверно! Я вас эпаю, я вас чувствую. Ну, а теперь подумайте: ведь над каждой из нас так надругались, когда мы были детьми!.. Детьми! — страстно простонала Женька и закрыла на мгновение глаза ладонью. — Об этом ведь, помнится, и вы как-то говорили у нас, чуть ли не в тот самый вечер, на Троицу... Да, детьми, глупыми, доверчивыми, слепыми, жадными, пустыми... И не можем мы вырваться из своей лямки... куда пойдешь? Что сделаешь?.. И вы не думайте, пожалуйста, Сергей Иванович, что во мне сильна злоба только к тем, кто именно меня, лично меня обижали... Нет, вообще ко всем нашим гостям, к этим кавалерам, от мала

до велика... Ну и вот я решилась мстить за себя и за своих сестер. Хорошо это или нет?..

— Женечка, я, право, не знаю... Я не могу... я ничего не смею сказать... Я не понимаю.

— Но и не в этом главное... А главное вот в чем... Я их заражала и не чувствовала ничего — ни жалости, ни раскаяния, ни вины перед Богом или перед отечеством. Во мне была только радость, как у голодного волка, который дорвался до крови... Но вчера случилось что-то, чего и я не могу понять. Ко мне пришел кадет, совсем мальчишка, глупый, желторотый... Он ко мне ходил еще с прошлой зимы... И вот вдруг я пожалела его... Не оттого, что он был очень красив и очень молод, и не оттого, что он всегда был очень вежлив, пожалуй, даже нежен. Нет, у меня бывали и такие, и такие, но я не щадила их: я с наслаждением отмечала их, точно скотину, раскаленным клеймом... А этого я вдруг пожалела... Я сама не понимаю — почему? Я не могу разобраться. Мне казалось, что это все равно что украсть деньги у дурачка, у идиотика, или ударить слепого, или зарезать спящего... Если бы он был какой-нибудь заморыш, худосочный или поганенький, блудливый старикашка, я не остановилась бы. Но он был здоровый, крепкий, с грудью и с руками как у статуи... и я не могла... Я отдала ему деньги, показала ему свою болезнь, словом, была дура душой. Он ушел от меня... расплакался... И вот со вчерашнего вечера я не спала. Хожу как в тумане... Стало быть, — думаю я вот теперь, — стало быть, то, что я задумала — моя мечта заразить их всех, заразить их отцов, матерей, сестер, невест, — хоть весь мир, — стало быть, это все было глупостью, пустой фантазией, раз я остановилась?.. Опять-таки я ничего не понимаю... Сергей Иванович, вы такой умный, вы так много видели в жизни, — помогите же мне найти теперь себя!..

— Не знаю, Женечка! — тихо произнес Платонов. — Не то что я боюсь говорить тебе или советовать, но я совсем ничего не знаю. Это выше моего рассудка... выше совести...

Женя скрестила пальцы с пальцами и нервно хрустнула ими.

— И я не знаю... Стало быть, то, что я думала, — неправда?.. Стало быть, мне остается только одно... Эта мысль сегодня утром пришла мне в голову...

— Не делай, не делай этого, Женечка!.. Женя!.. — быстро перебил ее Платонов.

— ...Одно: повеситься...

— Нет, нет, Женя, только не это!.. Будь другие обстоятельства, непреодолимые, я бы, поверь, смело сказал тебе: ну что же, Женя, пора кончить базар... Но тебе во все не это нужно... Если хочешь, я подскажу тебе один выход, не менее злой и беспощадный, но который, может быть, во сто раз больше насытит твой гнев...

— Какой это? — устало спросила Женя, сразу точно увядшая после своей вспышки.

— А вот какой... Ты еще молода, и, по правде, я тебе скажу, ты очень красива, то есть ты можешь быть, если захочешь, необыкновенно эффектной... Это даже больше, чем красота. Но ты еще никогда не знала размеров и власти своей наружности, а главное, ты не знаешь, до какой степени обаятельны такие натуры, как ты, и как они властно приковывают к себе мужчин и делают из них больше чем рабов и скотов... Ты гордая, ты смелая, ты независимая, ты умница... Я знаю, ты много читала, предположим, даже дрянных книжек, но все-таки читала, у тебя язык совсем другой, чем у других. При удачном обороте жизни ты можешь вылечиться, ты можешь уйти из этих «Ямков» на свободу. Тебе стоит только пальцем пошевелить, чтобы видеть у своих ног сотни мужчин, покорных, готовых для тебя на подлость, на воровство, на растрату... Владей ими на тугих поводьях, с жестким хлыстом в руках!.. Разорь их, своди с ума, пока у тебя хватит желания и энергии!.. Посмотри, милая Женя, кто ворочает теперь жизнью, как не женщины! Вчерашняя горничная, прачка, хористка раскусывает миллионные состояния, как тверская баба подсолнушки. Женщина, едва умеющая подписать свое имя, влияет иногда через мужчину на судьбу целого королевства. Наследные принцы женятся на вчерашних потаскушках, содержанках... Женечка, вот тебе простор для твоей необузданной мести, а я полюбуюсь тобою издали... А ты — ты замешена именно из этого теста — хищницы, разорительницы... Может быть, не в таком размахе, но ты бросишь их себе под ноги.

— Нет, — слабо улыбнулась Жестька. — Я думала об этом раньше... Но выгорело во мне что-то главное. Нет у меня сил, нет у меня воли, нет желаний... Я вся какая-то пустая внутри, тухлая... Да вот, знаешь, бывает гриб такой — белый, круглый, — сожмешь его, а оттуда нюхательный порошок сыплется. Так и я. Все во мне эта жизнь выела, кроме злости. Да и вялая я, и злость моя вялая... Опять увижу какого-нибудь мальчишку, пожалею, опять буду казнить. Нет, уж лучше так...

Она замолчала. И Платонов не знал, что сказать. Стало обоим тяжело и неловко.

Наконец Женька встала и, не глядя на Платонова, протянула ему холодную, слабую руку.

— Прощайте, Сергей Иванович! Простите, что я отняла у вас время... Что же, я сама вижу, что вы помогли бы мне, если бы сумели... Но уж, видно, тут ничего не попишешь. Прощайте!..

— Только глупости не делай, Женечка! Умоляю тебя!..

— Ладно уж! — сказала она и устало махнула рукой.

Выйдя из сквера, они разошлись, но, пройдя несколько шагов, Женька вдруг окликнула его:

— Сергей Иванович, а Сергей Иванович!..

Он остановился, обернулся, подошел к ней.

— Ванька Встанька у нас вчера подход в зале. Прыгал-прыгал, а потом вдруг и окочурился... Что ж, по крайней мере, легкая смерть! И еще я забыла вас спросить, Сергей Иванович... Это уж последнее... Есть Бог или нет?

Платонов нахмурился.

— Что я тебе отвечу? Не знаю. Думаю, что есть, но не такой, как мы его воображаем. Он — больше, мудрее, справедливее...

— А будущая жизнь? Там, после смерти? Вот, говорят, рай есть или ад? Правда это? Или ровно ничего? Пустышка? Сон без сна? Темный подвал?

Платонов молчал, стараясь не глядеть на Женьку.

Ему было тяжело и страшно.

— Не знаю, — сказал он наконец с усилием. — Не хочу тебе врать.

Женька вздохнула и улыбнулась жалкой, кривой улыбкой.

— Ну, спасибо, мой милый. И на том спасибо... Желаю вам счастья. От души. Ну, прощайте...

Она отвернулась от него и стала медленно, колеблющейся походкой взбираться в гору.

Платонов как раз вернулся на работу вовремя. Босая, почесываясь, позевывая, разминая свои привычные вывихи, становилась по местам.

Заворотный издали своими зоркими глазами увидал Платонова и закричал на весь порт:

— Пospel-таки, сутулый черт!.. А я уж хотел тебя за хвост и из компании вон... Ну, становись!..

— И кобель же ты у меня, Сережка!.. — прибавил он ласково. — Хоша бы ночью, а то, — гляди-ка, среди бела дня захороводил...



Суббота была обычным днем докторского осмотра, к которому во всех домах готовились очень тщательно и с трепетом, как, впрочем, готовятся и дамы из общества, собираясь с визитом к врачу-специалисту: старательно делали свой интимный туалет и непременно надевали чистое нижнее белье, даже по возможности более нарядное. Окна на улицу были закрыты ставнями, а у одного из тех окон, что выходили во двор, поставили стол с твердым валиком под спину.

Все девушки волновались... «А вдруг болезнь, которую сама не заметила?.. А там — отправка в больницу, позор, скука больничной жизни, плохая пища, тяжелое лечение...»

Только Манька Большая, или иначе Манька Крокодил, Зоя и Генриетта — тридцатилетние, значит, уже старые по ямскому счету проститутки, все видевшие, ко всему притерпевшиеся, равнодушные в своем деле, как белые жирные цирковые лошади, оставались невозмутимо спокойными. Манька Крокодил даже часто говорила о самой себе:

— Я огонь и воду прошла и медные трубы... Ничто уже больше ко мне не прилипнет.

Женька с утра была кротка и задумчива. Подарила Маньке Бельенкой золотой браслет, медальон на тоненькой цепочке со своей фотографией и серебряный пашейный крестик. Тамару упросила взять на память два кольца: одно — серебряное раздвижное о трех обручах, в середине сердце, а под ним две руки, которые сжимали одна другую, когда все три части кольца соединялись, а другое — из золотой тонкой проволоки с алемандинном.

— А мое белье, Тамарочка, отдай Аннушке, горничной. Пусть выстирает хорошенько и носит на здоровье, на память обо мне.

Они были вдвоем в комнате Тамары. Женька с утра еще послала за коньяком и теперь медленно, точно лениво, тянула рюмку за рюмкой, закусывая лимоном с кусочком сахара. В первый раз это наблюдала Тамара и удивлялась, потому что всегда Женька была не охотница до вина и пила очень редко и то только по принуждению гостей.

— Что это ты сегодня так раздарилась? — спросила Тамара. — Точно умирать собралась или в монастырь идти?..

— Да я и уйду, — ответила вяло Женька. — Скучно мне, Тамарочка!..

— Кому же весело из нас?

— Да нет!.. Не то что скучно, а как-то мне все — все равно... Гляжу вот я на тебя, на стол, на бутылку, на свои руки, ноги и думаю, что все это одинаково, и все ни к чему... Нет ни в чем смысла... Точно на какой-то старой-престарой картине. Вот смотри: идет по улице солдат, а мне все равно, как будто завели куклу и она двигается... И что мокро ему под дождем, мне тоже все равно... И что он умрет, и я умру, и ты, Тамара, умрешь, — тоже в этом я не вижу ничего ни страшного, ни удивительного... Так все для меня просто и скучно...

Женька помолчала, выпила еще рюмку пососала сахар и, все еще глядя на улицу, вдруг спросила:

— Скажи мне, пожалуйста, Тамара, я вот никогда еще тебя об этом не спрашивала, откуда ты к нам поступила сюда, в дом? Ты совсем не похожа на всех нас, ты все знаешь, у тебя на всякий случай есть хорошее, умное слово... Вон и по-французски как ты тогда говорила хорошо! А никто из нас о тебе ровно ничего не знает... Кто ты?

— Милая Женечка, право, не стоит... Жизнь как жизнь... Была институткой, гувернанткой была, в хоре пела, потом тир в летнем саду держала, а потом спуталась с одним шарлатаном и сама научилась стрелять из винчестера... По циркам ездила, — американскую амазонку изображала. Я прекрасно стреляла... Потом в монастырь попала. Там пробыла года два... Много было у меня... Всего не упомнишь... Воровала.

— Много ты пожила... пестро...

— Мне и лет-то немало. Ну, как ты думаешь, — сколько?

— Двадцать два, двадцать четыре?..

— Нет, ангел мой! Тридцать два ровно стукнуло неделю тому назад. Я, пожалуй что, старше всех вас здесь у Анны Марковны. Но только ничему я не удивлялась, ничего не принимала близко к сердцу. Как видишь, не пью никогда... Занимаюсь очень бережно уходом за своим телом, а главное — самое главное — не позволяю себе никогда увлекаться мужчинами...

— Ну, а Сенька твой?..

— Сенька — это особая статья: сердце бабье глупое, нелепое... Разве оно может жить без любви? Да и не люблю я его, а так... самообман... А впрочем, Сенька мне скоро очень понадобится.

Женька вдруг оживилась и с любопытством поглядела на подругу:

— Но здесь-то, в этой дыре, как ты застряла?— умница, красивая, обходительная такая...

— Долго рассказывать... Да и лень... Попала я сюда из-за любви: спуталась с одним молодым человеком и делала с ним вместе революцию. Ведь мы всегда так поступаем, женщины: куда милый смотрит, туда и мы, что милый видит, то и мы... Не верила я душой-то в его дело, а пошла. Льстивый был человек, умный, говорун, красавец... Только оказался он потом подлецом и предателем. Играл в революцию, а сам товарищей выдавал жандармам. Провокатором был. Как его убили и разоблачили, так с меня и вся дурь соскочила. Однако пришлось скрываться... Паспорт переменяла. Тут мне посоветовали, что легче всего прикрыться желтым билетом... А там и пошло!.. Да и здесь я вроде как на подножном корму: придет время, удастся у меня минутка — уйду!

— Куда? — с нетерпением спросила Женя.

— Свет велик... А я жизнь люблю!.. Вот я так же и в монастыре: жила, жила, пела антифоны и задостойники, пока не отдохнула, не соскучилась вконец, а потом сразу — хоп! и в кафешантан... Хорош скачок? Так и отсюда... В театр пойду, в цирк, в кордебалет... а больше, знаешь, тянет меня, Женечка, все-таки воровское дело... Смелое, опасное, жуткое и какое-то пьяное... Тянет!.. Ты не гляди на меня, что я такая приличная и скромная и могу казаться воспитанной девицей. Я совсем-совсем другая.

У нее вдруг ярко и весело вспыхнули глаза.

— Во мне дьявол живет!

— Хорошо тебе! — задумчиво и о тоской произнесла Женя. — Ты хоть хочешь чего-нибудь, а у меня душа дохлая какая-то... Вот мне двадцать лет, а душа у меня старушечья, сморщенная, землей пахнет... И хоть пожила бы толком!.. Тьфу!.. Только слякоть какая-то была.

— Брось, Женя, ты говоришь глупости. Ты умна, ты оригинальна, у тебя есть та особенная сила, перед которой так охотно ползают и пресмыкаются мужчины. Уходи отсюда и ты. Не со мной, конечно, — я всегда одна, — а уйди сама по себе.

Женька покачала головой и тихо, без слез, спрятала свое лицо в ладонях.

— Нет, — отозвалась она глухо после долгого молчания, — нет, у меня это не выходит: изжевала меня судьба!.. Не человек я больше, а какая-то поганая жвачка... Эх! — вдруг махнула она рукой. — Выпьем-ка, Женечка,

лучше коньячку,— обратилась она сама к себе,— и пососем лимончик!.. Брр... гадость какая!..

И где это Авнушка всегда такую мерзость достанет? Собаке шерсть если помазать, как обליняет... И всегда, подлая, полтивник лишний возьмет. Раз я как-то спрашиваю ее: «Зачем деньги копишь?» — «А я, говорит, на свадьбу коплю. Что же, говорит, будет мужу моему за радость, что я ему одну свою невинность преподнесу! Надо еще сколько-нибудь сотен приработать». Счастливая она!.. Тут у меня, Тамара, денег немножко есть, в ящичке под зеркалом, ты ей передай, пожалуйста...

— Да что ты, дура, помирать, что ли, хочешь? — резко, с упреком сказала Тамара.

— Нет, я так, на всякий случай... Возьми-ка, возьми деньги! Может быть, меня в больницу заберут... А там, как знать, что произойдет? Я мелочь себе оставила на всякий случай... А что же, если и в самом деле, Тamarочка, я захотела бы что-нибудь над собой сделать, неужели ты стала бы мешать мне?

Тамара поглядела на нее пристально, глубоко и спокойно. Глаза Женьки были печальны и точно пусты. Живой огонь погас в них, и они казались мутными, точно выцветшими, с белками, как лунный камень.

— Нет,— сказала наконец тихо, но твердо Тамара.— Если бы из-за любви — помешала бы, если бы из-за денег — отговорила бы, но есть случаи, когда мешать нельзя. Способствовать, конечно, не стала бы, но и цепляться за тебя и мешать тебе тоже не стала бы.

В это время по коридору пронеслась с криком быстроходящая экономка Зося:

— Барышни, одеваться! Доктор приехал... Барышни, одеваться!.. Барышни, живо!..

— Ну, иди, Тамара, иди! — ласково сказала Женька, вставая.— Я к себе зайду на минутку,— я еще не переодевалась, хотя, правда, это тоже все равно. Когда будут меня вызывать и если я не успею, крикни, сбегай за мной.

И, уходя из Тамариной комнаты, она как будто незначай обняла ее за плечо и ласково погладила.

Доктор Клименко — городской врач — приготовлял в зале все необходимое для осмотра: раствор сулемы, вазелин и другие вещи, и все это расставлял на отдельном маленьком столике. Здесь же у него лежали и белые бланки девушек, заменявшие им паспорта, и общий ал-

фавитный список. Девушки, одетые только в сорочки, чулки и туфли, стояли и сидели в отдалении. Ближе к столу стояла сама хозяйка — Анна Марковна, и немножко сзади ее — Эмма Эдуардовна и Зося.

Доктор, старый, опустившийся, грязноватый, ко всему равнодушный человек, надел криво на нос пенсне, поглядывал в список и выкрикнул:

— Александра Будановская!..

Вышла нахмуренная, маленькая, курносая Нина. Сохраняя на лице сердитое выражение и сопя от стыда, от сознания своей собственной неловкости и от усилий, она неуклюже влезла на стол. Доктор, щурясь через пенсне и поминутно роняя его, произвел осмотр.

— Иди!.. Здорова.

И на оборотной стороне бланка отметил: «Двадцать восьмого августа, здорова» — и поставил каракулю. И, когда еще не кончил писать, крикнул:

— Вощенкова Ирина!..

Теперь была очередь Любки. Она за эти прошедшие полтора месяца своей сравнительной свободы успела уже отвыкнуть от еженедельных осмотров, и когда доктор завернул ей на грудь рубашку, она вдруг покраснела так, как умеют краснеть только очень стыдливые женщины, — даже спиной и грудью.

За нею была очередь Зои, потом Маньки Белепкой, затем Тамары и Нюрки, у которой Клименко нашел горюю и велел отправить ее в больницу.

Доктор производил осмотр с удивительной быстротой. Вот уже около двадцати лет, как ему приходилось каждую неделю по субботам осматривать таким образом несколько сотен девушек, и у него выработалась та привычная техническая ловкость и быстрота, спокойная небрежность в движениях, которая бывает часто у цирковых артистов, у карточных шулеров, у посыльчиков и упаковщиков мебели и у других профессионалов. И производил он свои манипуляции с таким же спокойствием, с каким гуртовщик или ветеринар осматривает в день несколько сотен голов скота, с тем хладнокровием, которое не изменило ему дважды во время обязательного присутствия при смертной казни.

Думал ли он когда-нибудь о том, что перед ним живые люди, или о том, что он является последним и самым главным звеном той страшной цепи, которая называется узаконенной проституцией?..

Нет! Если и испытывал, то, должно быть, в самом начале своей карьеры. Теперь перед ним были только голые

животы, голые спины и открытые рты. Ни одного экземпляра из этого ежесубботного безликого стада он не узнал бы впоследствии на улице. Главное, надо было как можно скорее окончить осмотр в одном заведении, чтобы перейти в другое, третье, десятое, двадцатое...

— Сусанна Райцына! — выкрикнул наконец доктор. Никто не подходил к столу.

Все обитательницы дома переглянулись и зашептались.

— Женька... Где Женька?..

Но ее не было среди девушек.

Тогда Тамара, только что отпущенная доктором, выдвинулась немного вперед и сказала:

— Ее нет. Она не успела еще приготовиться. Извините, господин доктор. Я сейчас пойду позову ее.

Она побежала в коридор и долго не возвращалась. Следом за нею пошла сначала Эмма Эдуардовна, а потом Зоя, несколько девушек и даже сама Анна Марковна.

— Пфуй! Что за безобразие!.. — говорила в коридоре величественная Эмма Эдуардовна, делая негодующее лицо. — И вечно эта Женька!.. Постоянно эта Женька!.. Кажется, мое терпение уже лопнуло...

Но Женьки нигде не было — ни в ее комнате, ни в Тамариной. Заглянули в другие каморки, во все закоулки... Но и там ее не оказалось...

— Надо поглядеть в ватере... Может быть, она там? — догадалась Зоя.

Но это учреждение было заперто изнутри на задвижку. Эмма Эдуардовна постучалась в дверь кулаком.

— Женья, да выходите же вы! Что это за глупости?!

И, возвысив голос, крикнула нетерпеливо и с угрозой:

— Слышишь, ты, свинья?.. Сейчас же иди — доктор ждет.

Не было никакого ответа.

Все переглянулись со страхом в глазах, с одной и той же мыслью в уме.

Эмма Эдуардовна потрясла дверь за медную ручку, но дверь не поддавалась.

— Сходите за Симеоном! — распорядилась Анна Марковна.

Позвали Симеона... Он пришел, по обыкновению, заспанный и хмурый. По растерянным лицам девушек и экономок он уже видел, что случилось какое-то недоразумение, в котором требуется его профессиональная жестокость и сила. Когда ему объяснили, в чем дело, он молча

взялся своими длинными обезьяньими руками за дверную ручку, уперся в стену ногами и рванул.

Ручка осталась у него в руках, а сам он, отшатнувшись назад, едва не упал спиной на пол.

— А-а, черт! — глухо заворчал он. — Дайте мне столовый ножик.

Сквозь щель двери столовым ножом он прощупал внутреннюю задвижку, обстругал немного лезвием края щели и расширил ее так, что мог просунуть наконец туда кончик ножа, и стал понемногу отскребать назад задвижку. Все следили за его руками, не двигаясь, почти не дыша. Слышался только скрип металла о металл.

Наконец Симеон распахнул дверь.

Женька висела посреди ватерклозета на шнурке от корсета, прикрепленном к ламповому крюку. Тело ее, уже неподвижное после недолгой агонии, медленно раскачивалось в воздухе и описывало вокруг своей вертикальной оси едва заметные обороты влево и вправо. Лицо ее было сине-багрово, и кончик языка высывался между прикушенных и обнаженных зубов. Снятая лампа валялась здесь же на полу.

Кто-то истерически завизжал, и все девушки, как испуганное стадо, толпясь и толкая друг друга в узком коридоре, голоса и давясь истерическими рыданиями, кинулись бежать.

На крики пришел доктор... Именно *пришел*, а не прибежал. Увидев, в чем дело, он не удивился и не возмущался: за свою практику городского врача он насмотрелся таких вещей, что уже совсем одеревенел и окаменел к человеческим страданиям, ранам и смерти. Он приказал Симеону приподнять немного вверх труп Женьки и сам, забравшись на сиденье, перерезал шнурок. Для проформы он приказал отнести Женьку в ее бывшую комнату и пробовал при помощи того же Симеона произвести искусственное дыхание, но минут через пять махнул рукой, поправил свое скривившееся на носу пенсне и сказал:

— Позовите полицию составить протокол.

Опять пришел Кербеш, опять долго шептался с хозяйкой в ее маленьком кабинетике и опять захрустел в кармане новой сторублевкой.

Протокол был составлен в пять минут, и Женьку, такую же полуголую, какой она повесилась, отвезли в паменной телеге в анатомический театр, окутав и прикрыв ее двумя рогожами.

Эмма Эдуардовна первая нашла записку, которую оставила Женька у себя на ночном столике. На листке,

вырванном из прихода-расходной книжки, обязательной для каждой проститутки, карандашом, наивным круглым детским почерком, по которому, однако, можно было судить, что руки самоубийцы не дрожали в последние минуты, было написано:

«В смерти моей прошу никого не винить. Умираю оттого, что заразилась, и еще оттого, что все люди подлецы и что жить очень гадко. Как разделить мои вещи, об этом знает Тамара. Я ей сказала подробно».

Эмма Эдуардовна обернулась назад к Тамаре, которая в числе других девушек была здесь же, и с глазами, полными холодной зеленой ненависти, прошипела:

— Так ты знала, подлая, что она собиралась сделать?.. Знала, гадина?.. Знала и не сказала?..

Она уже замахнулась, чтобы, по своему обыкновению, жестко и расчетливо ударить Тамару, но вдруг так и остановилась с разинутым ртом и с широко раскрывшимися глазами. Она точно в первый раз увидела Тамару, которая глядела на нее твердым, гневным, непереносимо-презрительным взглядом и медленно, медленно подымала спизу и, наконец, подняла в уровень с лицом экономки маленький, блестящий предмет.

## VI

В тот же день вечером совершилось в доме Анны Марковны очень важное событие: все учреждение с землей и с домом, с живым и мертвым инвентарем и со всеми человеческими душами перешло в руки Эммы Эдуардовны.

Об этом уже давно поговаривали в заведении, но, когда слухи так неожиданно, тотчас же после смерти Женьки, превратились в явь, девицы долго не могли прийти в себя от изумления и страха. Они хорошо знали, испытав на себе власть немки, ее жестокий, неумолимый педантизм, ее жадность, высокомерие и, наконец, ее извращенную, требовательную отвратительную любовь то к одной, то к другой фаворитке. Кроме того, ни для кого не было тайной, что из шестидесяти тысяч, которые Эмма Эдуардовна должна была уплатить прежней хозяйке за фирму и за имущество, треть принадлежала Кербешу, который давно уже вел с толстой экономкой полудружеские, полуделовые отношения. От соединения двух таких людей, бесстыдных, безжалостных и алчных, девушки могли ожидать для себя всяких напастей.

Анна Марковна так дешево уступила дом не только потому, что Кербеш, если бы даже и не знал за нею не-



которых темных делишек, все-таки мог в любое время подставить ей ножку и съесть без остатка. Предлогов и зацепок к этому можно было найти хоть по сто каждый день, и иные из них грозили бы не одним только закрытием дома, а, пожалуй, и судом.

Но, притворяясь, охая и вздыхая, плачась на свою бедность, болезни и сиротство, Анна Марковна в душе была рада и такой сделке. Да и то сказать: она давно уже чувствовала приближение старческой немощи вместе со всякими недугами и жаждала полного, ничем не смущаемого добродетельного покоя. Все, о чем Анна Марковна не смела и мечтать в ранней молодости, когда она сама еще была рядовой проституткой, — все пришло к ней теперь своим чередом, одно к одному: почтенная старость, дом — полная чаша на одной из уютных, тихих улиц, почти в центре города, обожаемая дочь Берточка, которая не сегодня завтра должна выйти замуж за почтенного человека, инженера, домовладельца и гласного городской думы, обеспеченная солидным приданым и прекрасными драгоценностями... Теперь можно спокойно, не торопясь, со вкусом, сладко обедать и ужинать, к чему Анна Марковна всегда питала большую слабость, выпить после обеда хорошей домашней крепкой вишневки, а по вечерам поиграть в преферанс по копейке с уважаемыми знакомыми пожилыми дамами, которые хоть никогда и не показывали вида, что знают настоящее ремесло старушки, но на самом деле отлично его знали и не только не осуждали ее дела, но даже относились с уважением к тем громадным процентам, которые она зарабатывала на капитал. И этими милыми знакомыми, радостью и утешением безмятежной старости, были: одна — содержательница ссудной кассы, другая — хозяйка бойкой гостиницы около железной дороги, третья — владелица небольшого, но очень ходкого, хорошо известного между крупными воротами ювелирного магазина и так далее. И про них, в свою очередь, Анна Марковна знала и могла бы рассказать несколько темных и не особенно лестных анекдотов, но в их среде было не принято говорить об источниках семейного благополучия — ценились только ловкость, смелость, удача и приличные манеры.

Но и, кроме того, у Анны Марковны, довольно ограниченной умом и не особенно развитой, было какое-то удивительное внутреннее чутье, которое всю жизнь позволяло ей инстинктивно, но безукоризненно избегать неприятностей и вовремя находить разумные пути. Так и теперь, после скоропостижной смерти Ваньки Встаньки и после-

довавшего на другой день самоубийства Женьки, она своей бессознательно-проницательной душой предугадала, что судьба, до сих пор благоволившая к ее публичному дому, посылавшая удачи, отводившая всякие подводные мели, теперь собирается повернуться спиною. И она первая отступила.

Говорят, что незадолго до пожара в доме или до крушения корабля умные, нервные крысы стаями перебираются в другое место. Анной Марковной руководило то же крысиное, звериное пророческое чутье. И она была права: тотчас же после смерти Женьки над домом, бывшим Анны Марковны Шайбес, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнер, точно нависло какое-то роковое проклятие: смерти, несчастия, скандалы так и падали на него беспрестанно, все учащаясь, подобно кровавым событиям в шекспировских трагедиях, как, впрочем, это было и во всех остальных домах Ям.

И одной из первых, через неделю после ликвидации дела, умерла сама Анна Марковна. Впрочем, это часто случается с людьми, выбитыми из привычной тридцатилетней колеи: так умирают военные герои, вышедшие в отставку, — люди несокрушимого здоровья и железной воли; так сходят быстро со сцены бывшие биржевые дельцы, ушедшие счастливо на покой, но лишенные жгучей прелести риска и азарта; так быстро старятся, опускаются и дряхлеют покинувшие сцену большие артисты... Смерть ее была смертью праведницы. Однажды за преферансом она почувствовала себя дурно, просила подождать, сказала, что вернется через минутку, прилегла в спальне на кровать, вдохнула глубоко и перешла в иной мир, со спокойным лицом, с мирной старческой улыбкой на устах. Исай Саввич — верный товарищ на ее жизненном пути, немного забитый, всегда игравший второстепенную, подчиненную роль, — пережил ее только на месяц.

Берточка осталась единственной наследницей. Она обратила очень удачно в деньги уютный дом и также и землю где-то на окраине города, вышла, как и предполагалось, очень счастливо замуж и до сих пор убеждена, что ее отец вел крупное коммерческое дело по экспорту пшеницы через Одессу и Новороссийск в Малую Азию.

Вечером того дня, когда труп Жени увезли в анатомический театр, в час, когда ни оди даже случайный гость еще не появлялся на Ямской улице, все девушки, по настоянию Эммы Эдуардовны, собрались в зале. Никто из

них не осмелился роптать на то, что в этот тяжелый день их, еще не оправившихся от впечатлений ужасной Женькиной смерти, заставят одеться, по обыкновению, в дикопраздничные наряды и идти в ярко освещенную залу, чтобы танцевать, петь и заманивать своим обнаженным телом похотливых мужчин.

Наконец в залу вошла и сама Эмма Эдуардовна. Она была величественнее, чем когда бы то ни было, — одетая в черное шелковое платье, из которого, точно боевые башни, выступали ее огромные груди, на которые ниспадали два жирных подбородка, в черных шелковых митенках, с огромной золотой цепью, трижды обмотанной вокруг шеи и кончавшейся тяжелым медальоном, висевшим на самом животе.

— Барышни!.. — начала она внушительно. — Я должна... Встать! — вдруг крикнула она повелительно. — Когда я говорю, вы должны стоя выслушивать меня.

Все переглянулись с недоумением: такой приказ был новостью в заведении. Однако девушки встали одна за другой, нерешительно, с открытыми глазами и ртами.

— Sie sollen...<sup>1</sup> вы должны с этого дня оказывать мне то уважение, которое вы обязаны оказывать вашей хозяйке, — важно и веско начала Эмма Эдуардовна. — Начиная от сегодня, заведение перешло законным порядком от нашей доброй и почтенной Анны Марковны ко мне, Эмме Эдуардовне Тицнер. Я надеюсь, что мы не будем ссориться и вы будете вести себя как разумные, послушные и благовоспитанные девицы. Я вам буду вместо родная мать, но только помните, что я не потерплю ни лени, ни пьянства, ни каких-нибудь фантазий или какой-нибудь беспорядок. Добрая мадам Шайбес, надо сказать, держала вас слишком на мягких вожжах. О-о, я буду гораздо строже. Дисциплина über alles...<sup>2</sup> раньше всего. Очень жаль, что русский народ, ленивый, грязный и глупый, не понимает этого правила, но не беспокойтесь, я вас научу к вашей же пользе. Я говорю «к вашей пользе» потому, что моя главная мысль — убить конкуренцию Треппеля. Я хочу, чтобы мой клиент был положительный мужчина, а не какой-нибудь шарлатан и оборванец, какой-нибудь там студент или актерщик. Я хочу, чтобы мои барышни были самые красивые, самые благовоспитанные, самые здоровые и самые веселые во всем городе. Я не пожалею никаких денег, чтобы завести шикарную обстановку.

---

<sup>1</sup> Вы должны... (Нем.)

<sup>2</sup> Выше всего... (Нем.)

ку, и у вас будут комнаты с шелковой мебелью и с настоящими прекрасными коврами. Гости у вас не будут уже требовать пива, а только благородные бордоские и бургундские вина и шампанское. Помните, что богатый, солидный, пожилой клиент никогда не любит вашей простой, обыкновенной, грубой любви. Ему нужен казенский перец, ему нужно не ремесло, а искусство, и этому вы скоро научитесь. У Треппеля берут три рубля за визит и десять рублей за ночь... Я поставлю так, что вы будете получать пять рублей за визит и двадцать пять за ночь. Вам будут дарить золото и брильянты. Я устрою так, что вам не нужно будет переходить в заведения низшего сорта und so weiter...<sup>1</sup> вплоть до солдатского грязного притона. Нет! У каждой из вас будут откладываться и храниться у меня ежемесячные взносы и откладываться на ваше имя в банкирскую контору, где на них будут расти проценты и проценты на проценты. И тогда, если девушка почувствует себя усталой или захочет выйти замуж за порядочного человека, в ее распоряжении всегда будет небольшой, но верный капитал. Так делается в лучших заведениях Риги и повсюду за границей. Пускай никто не скажет про меня, что Эмма Эдуардовна — паук, мегера, кровососная банка. Но за непослушание, за лень, за фантазии, за любовников на стороне я буду жестоко наказывать и, как гадкую сорную траву, выброшу вон на улицу или еще хуже. Теперь я все сказала, что мне нужно. Нина, подойди ко мне. И вы все остальные, подходите по очереди.

Нинка нерешительно подошла вплотную к Эмме Эдуардовне и даже отшатнулась от изумления: Эмма Эдуардовна протягивала ей правую руку с опущенными вниз пальцами и медленно приближала ее к Нинкиным губам.

— Целуй!.. — внушительно и твердо произнесла Эмма Эдуардовна, прищурившись и откинув голову назад в величественной позе принцессы, вступающей на престол.

Нинка была так растеряна, что правая рука ее дернулась, чтобы сделать крестное знамение, но она исправилась, громко чмокнула протянутую руку и отошла в сторону. Следом за нею также подошли Зоя, Генриетта, Ванда и другие. Одна Тамара продолжала стоять у стены, спиной к зеркалу, к тому зеркалу, в которое так любила, бывало, прохаживаясь взад и вперед по зале, заглядывать, любуясь собой, Женька.

---

<sup>1</sup> И так далее... (Нем.)

Эмма Эдуардовна остановила на ней повелительный, упорный взгляд удава, но гипноз не действовал. Тамара выдержала этот взгляд, не отворачиваясь, не мигая, но без всякого выражения на лице. Тогда новая хозяйка опустила руку, сделала на лице нечто похожее на улыбку и сказала хрипло:

— А с вами, Тамара, мне нужно поговорить немножко отдельно, с глазу на глаз. Пойдемте!

— Слушаю, Эмма Эдуардовна! — спокойно ответила Тамара.

Эмма Эдуардовна пришла в маленький кабинетик, где когда-то любила пить кофе с топлеными сливками Анна Марковна, села на диван и указала Тамаре место напротив себя. Некоторое время женщины молчали, испытующе, недоверчиво оглядывая друг друга.

— Вы правильно поступили, Тамара, — сказала наконец Эмма Эдуардовна. — Вы умно сделали, что не подошли, подобно этим овцам, поцеловать у меня руку. Но все равно я вас до этого не допустила бы, я тут же при всех хотела, когда вы подойдете ко мне, пожать вам руку и предложить вам место первой экономки, — вы понимаете? — моей главной помощницы — и на очень выгодных для вас условиях.

— Благодарю вас...

— Нет, подождите, не перебивайте меня. Я выскажусь до конца, а потом вы выскажете ваши «за» и «против». Но объясните вы мне, пожалуйста, когда вы утром прицеливались в меня из револьвера, что вы хотели? Неужели убить меня?

— Наоборот, Эмма Эдуардовна, — почтительно возразила Тамара, — наоборот: мне показалось, что вы хотели ударить меня.

— Пфуй! Что вы, Тамарочка!.. Разве вы не обращали внимания, что за все время нашего знакомства я никогда не позволила себе не то что ударить вас, но даже обратиться к вам с грубым словом... Что вы, что вы?.. Я вас не смешиваю с этим русским быдлом... Слава Богу, я — человек опытный и хорошо знающий людей. Я отлично вижу, что вы по-настоящему воспитанная барышня, гораздо образованнее, например, чем я сама. Вы тонкая, изящная, умная. Вы знаете иностранные языки. Я убеждена в том, что вы даже недурно знаете музыку. Наконец, если признаться, я немножко... как бы вам сказать... всегда была немножко влюблена в вас. И вот вы меня хотели застрелить! Меня, человека, который мог бы быть вам отличным другом! Ну что вы на это скажете?

— Но... ровно ничего, Эмма Эдуардовна, — возразила Тамара самым кротким и правдоподобным тоном. — Все было очень просто. Я еще раньше нашла под подушкой у Женьки револьвер и принесла, чтобы вам передать его. Я не хотела вам мешать, когда вы читали письмо, но вот вы обернулись ко мне, я протянула вам револьвер и хотела сказать: поглядите, Эмма Эдуардовна, что я нашла, — потому что, видите ли, меня ужасно поразило, как это покойная Женья, имея в распоряжении револьвер, предпочла такую ужасную смерть, как повешение? Вот и все!

Густые, страшные брови Эммы Эдуардовны поднялись кверху, глаза весело расширились, и по ее щекам бегемота расплылась настоящая, неподдельная улыбка. Она быстро протянула обе руки Тамаре.

— И только это? О, mein Kind! <sup>1</sup> А я думал... мне Бог знает что представилось! Дайте мне ваши руки, Тамара, ваши милые белые ручки и позвольте вас прижать auf mein Herz, на мое сердце, и поцеловать вас.

Поцелуй был так долог, что Тамара с большим трудом и с отвращением едва высвободилась из объятий Эммы Эдуардовны.

— Ну, а теперь о деле. Итак, вот мои условия: вы будете экономкой, я вам даю пятнадцать процентов из чистой прибыли. Обратите внимание, Тамара: пятнадцать процентов. И, кроме того, небольшое жалованье — тридцать, сорок, ну, пожалуй, пятьдесят рублей в месяц. Прекрасные условия — не правда ли? Я глубоко уверена, что не кто другой, как именно вы поможете мне поднять дом на настоящую высоту и сделать его самым шикарным не то что в нашем городе, но и во всем юге России. У вас вкус, понимание вещей!.. Кроме того, вы всегда сумеете занять и расшевелить самого требовательного, самого неподатливого гостя. В редких случаях, когда очень богатый и знатный господин — по-русски это называется один «карась», а у нас Freier, — когда он увлечется вами, — ведь вы такая красивая, Тамарочка (хозяйка поглядела на нее туманными, увлажненными глазами), — то я вовсе не запрещаю вам провести с ним весело время, только упирать всегда на то, что вы не имеете права по своему долгу, положению und so weiter, und so weiter... Aber sagen Sie, bitte <sup>2</sup>, объясняетесь ли вы легко по-немецки?

---

<sup>1</sup> О, мое дитя! (Нем.)

<sup>2</sup> И так далее, и так далее... Но скажите, пожалуйста... (Нем.)

— Die deutsche Sprache beherrsche ich in geringerem Grade, als die französische; indess kann ich stets in einer Salon-Plauderei mitmachen.

— O, wunderbar!.. Sie haben eine entzückende Rigaer Aussprache, die beste aller deutschen Aussprachen. Und also, — fahren wir in unserer Sprache fort. Sie klingt viel süsser meinem Ohr, die Muttersprache. Schön?

— Schön.

— Am Ende werden Sie nachgeben, dem Anschein nach ungern, unwillkürlich, von der Laune des Augenblicks hingerissen, — und, was die Hauptsache ist, lautlos, heimlich vor mir. Sie verstehen? Dafür zahlen Narren ein schweres Geld. Übrigens brauche ich Sie wohl nicht zu lehren.

— Ja, gnädige Frau. Sie sprechen gar kluge Dinge. Doch das ist schon keine Plauderei mehr, sondern eine ernste Unterhaltung...<sup>1</sup> И поэтому мне удобнее, если вы перейдете на русский язык... Я готова вас слушаться.

— Дальше!.. Я только что говорила насчет любовника. Я вам не смею запрещать этого удовольствия, но будем благоразумными: пусть он не появляется сюда или появляется как можно реже. Я вам дам выходные дни, когда вы будете совершенно свободны. Но лучше, если бы вы совсем обошлись без него. Это послужит к вашей же пользе. Это только тормоз и ярмо. Говорю вам по своему личному опыту. Подождите, через три-четыре года мы так расширим дело, что у вас уже будут солидные деньги, и тогда я возьму вас в дело полноправным товарищем. Через десять лет вы еще будете молоды и красивы, и тогда берите и покупайте мужчин сколько угодно. К этому времени романтические глупости совсем выйдут из вашей головы, и уже не вас будут выбирать, а вы будете выбирать

---

<sup>1</sup> — Немецким языком я владею немножко хуже, чем французским, но могу всегда поддержать салонную болтовню.

— O, чудесно!.. У вас очаровательный рижский выговор, самый правильный из всех немецких. Итак, будем продолжать на моем языке. Это мне гораздо слаще — родной язык. Хорошо?

— Хорошо!

— В конце концов вы уступите как будто бы нехотя, как будто недовольно, как будто от увлечения, минутного каприза и — главное дело — потихоньку от меня. Вы понимаете? За это дураки платят огромные деньги. Впрочем, кажется, мне вас не приходится учить.

— Да, сударыня. Вы говорите очень умные вещи. Но это уж не болтовня, а серьезный разговор... (*Перевод с нем. А. И. Купри-*

с толком и с чувством, как знаток выбирает драгоценные камни. Вы согласны со мной?

Тамара опустила глаза и чуть-чуть улыбнулась.

— Вы говорите золотые истины, Эмма Эдуардовна. Я брошу моего, но не сразу. На это мне нужно будет недели две. Я постараюсь, чтобы он не являлся сюда. Я принимаю ваше предложение.

— И прекрасно! — сказала Эмма Эдуардовна, вставая. — Теперь заключим наш договор одним хорошим, сладким поцелуем.

И она опять обняла и принялась враскоряку целовать Тамару, которая со своими опущенными глазами и наивным нежным лицом казалась теперь совсем девочкой. Но, освободившись наконец от хозяйки, она спросила по-русски:

— Вы видите, Эмма Эдуардовна, что я во всем согласна с вами, но за это прошу вас исполнить одну мою просьбу. Она вам ничего не будет стоить. Именно, надеюсь, вы позволите мне и другим девицам проводить покойную Женю на кладбище.

Эмма Эдуардовна сморщилась.

— О, если хотите, милая Тамара, я ничего не имею против вашей прихоть. Только для чего? Мертвому человеку это не поможет и не сделает его живым. Выйдет только одна лишь сентиментальность... Но хорошо! Только ведь вы сами знаете, что по вашему закону самоубийц не хоронят или, — я не знаю наверное, — кажется, бросают в какую-то грязную яму за кладбищем.

— Нет, уж позвольте мне сделать самой, как я хочу. Пусть это будет моя прихоть, но уступите ее мне, милая, дорогая, прелестная Эмма Эдуардовна! Зато я обещаю вам, что это будет последняя моя прихоть. После этого я буду как умный и послушный солдат в распоряжении талантливого генерала.

— Is' gut!<sup>1</sup> — сдалась со вздохом Эмма Эдуардовна. — Я вам, дитя мое, ни в чем не могу отказать. Дайте я пожму вашу руку. Будем вместе трудиться и работать для общего блага.

И, отворив дверь, она крикнула через залу в переднюю: «Симеон!» Когда же Симеон появился в комнате, она приказала ему веско и торжественно:

— Принесите нам сюда полбутылки шампанского, только настоящего — *Rederer demi sec* и похолоднее. Ступай живо! — приказала она швейцару, вытаращивше-

---

<sup>1</sup> Ну, хорошо! (Нем.)



му на нее глаза.— Мы выпьем с вами, Тамара, за новое дело, за наше прекрасное и блестящее будущее.

Говорят, что мертвецы приносят счастье. Если в этом суеверии есть какое-нибудь основание, то в эту субботу оно сказалось как нельзя яснее: наплыв посетителей был необычайный даже и для субботнего времени. Правда, девицы, проходя коридором мимо бывшей Женькиной комнаты, учащали шаги, боязливо косились туда краем глаза, а иные даже крестились. Но к глубокой ночи страх смерти как-то улегся, обтерпелся. Все комнаты были заняты, а в зале не переставая заливался новый скрипач — молодой, развязный, бритый человек, которого где-то отыскал и привел с собой бельмыстый тапер.

Назначение Тамары в экономки было принято с холодным недоумением, с молчаливой сухостью. Но, выждав время, Тамара успела шепнуть Маньке Беленькой:

— Послушай, Маня! Ты скажи им всем, чтобы они не обращали внимания на то, что меня выбрали экономкой. Это так нужно. А они пусть делают что хотят, только бы не подводили меня. Я им по-прежнему — друг и заступница... А дальше видно будет.

## VII

На другой день, в воскресенье, у Тамары было множество хлопот. Ею овладела твердая и непреклонная мысль похоронить покойного друга наперекор всем обстоятельствам так, как хоронят самых близких людей — по-христиански, со всем печальным торжеством чина погребения мирских человек.

Она принадлежала к числу тех странных натур, которые под внешним ленивым спокойствием, небрежной молчаливостью и эгоистичной замкнутостью таят в себе необычайную энергию, всегда точно дремлющую вполглаза, берегущую себя от напрасного расходования, но готовую в один момент оживиться и устремиться вперед, не считаясь с препятствиями.

В двенадцать часов она на извозчике спустилась вниз в старый город, проехала в узенькую улицу, выходящую на ярмарочную площадь, и остановилась около довольно грязной чайной, велев извозчику подождать. В чайной она справилась у рыжего, остриженного в скобку, с масляным пробором на голове мальчика, не приходил ли сюда Сенька Вокзал. Услужаящий мальчишка, судя по его изысканной и галантной готовности давно уже

знавший Тамару, ответил, что «никак нет-с; оне — Семсн Игнатич — еще не были, и, должно быть, не скоро еще будут, потому как оне вчера в «Трансвале» изволили кутить, играли на бильярде до шести часов утра, и что теперь оне, по всем вероятиям, дома, в номерах «Перепутье», и что ежели барышня прикажут, то к ним можно сей минуту спорхнуть».

Тамара попросила бумаги и карандаш и тут же написала несколько слов. Затем отдала половому записку вместе с полтинником на чай и уехала.

Следующий визит был к артистке Ровинской, жившей, как еще раньше знала Тамара, в самой аристократической гостинице города — «Европе», где она занимала несколько номеров подряд.

Добиться свидания с певицей было не очень-то легко: швейцар внизу сказал, что Елены Викторовны, кажется, нет дома, а личная горничная, вышедшая на стук Тамары, объявила, что у барыни болит голова и что она никого не принимает. Пришлось опять Тамаре написать на клочке бумаги:

«Я к Вам являюсь от той, которая однажды в доме, не называемом громко, плакала, стоя перед Вами на коленях, после того как Вы спели романс Даргомыжского. Тогда Вы так чудесно приласкали ее. Помните? Не бойтесь, — ей теперь не нужна ничья помощь: она вчера умерла. Но Вы можете сделать в ее память одно очень серьезное дело, которое Вас почти совсем не затруднит.

Я же — именно та особа, которая позволила сказать несколько горьких истин бывшей с Вами тогда баронессе Т., в чем до сих пор раскаиваюсь и извиняюсь».

— Передайте! — приказала она горничной.

Та вернулась через две минуты:

— Барыня просит вас. Очень извиняются, что им нездоровится и что оне примут вас не совсем одетые.

Она проводила Тамару, открыла перед нею дверь и тихо затворила ее.

Великая артистка лежала на огромной тахте, покрытой прекрасным текинским ковром и множеством шелковых подушечек и цилиндрических мягких ковровых валиков. Ноги ее были укутаны серебристым нежным мехом. Пальцы рук, по обыкновению, были украшены множеством колец с изумрудами, притягивающими глаза своей глубокой и нежной зеленью.

У артистки был сегодня один из ее нехороших, черных дней. Вчера утром вышли какие-то нелады с дирек-

цией, а вечером публика приняла ее не так восторженно, как бы ей хотелось, или, может быть, это ей просто показалось, а сегодня в газетах дурак рецензент, который столько же понимал в искусстве, сколько корова в астрономии, расхвалил в большой заметке ее соперницу Титанову. И вот Елена Викторовна уверила себя в том, что у нее болит голова, что в висках у нее нервный тик, а сердце нет-нет и вдруг упадет куда-то.

— Здравствуйте, моя дорогая! — сказала она немножко в нос, слабым, бледным голосом, с расстановкой, как говорят на сцене героини, умирающие от любви и от чахотки. — Присядьте здесь. Я рада вас видеть... Только не сердитесь, — я почти умираю от мигрени и от моего несчастного сердца. Извините, что говорю с трудом. Кажется, я перепела и утомила голос...

Ровинская, конечно, вспомнила и безумную эскападу<sup>1</sup> того вечера, и оригинальное, незабываемое лицо Тамары, но теперь, в дурном настроении, при скучном прозаическом свете осеннего дня, это приключение показалось ей ненужной бравадой, чем-то искусственным, придуманным и колюче-постыдным. Но она была одинаково искренней как в тот странный, кошмарный вечер, когда она властью таланта повергла к своим ногам гордую Женьку, так и теперь, когда вспомнила об этом с усталостью, ленью и артистическим пренебрежением. Она, как и многие отличные артисты, всегда играла роль, всегда была не самой собой и всегда смотрела на свои слова, движения, поступки, как бы глядя на самое себя издали, глазами и чувствами зрителей.

Она томно подняла с подушки свою узкую, худую, прекрасную руку и приложила ее ко лбу, и таинственные, глубокие изумруды зашевелились, как живые, и засверкали теплым, глубоким блеском.

— Я сейчас прочитала в вашей записке, что эта бедная... простите, имя у меня исчезло из головы...

— Женья.

— Да-да, благодарю вас! Я теперь вспомнила. Она умерла? Отчего же?

— Она повесилась... вчера утром, во время докторского осмотра...

Глаза артистки, такие вялые, точно выцветшие, вдруг раскрылись и чудом ожили и стали блестящими и зелеными, точно ее изумруды, и в них отразилось любопытство, страх и брезгливость.

---

<sup>1</sup> Выходку (от франц. *escapade*).

— О, Боже мой! Такая милая, такая своеобразная, красивая, такая пылкая!.. Ах, несчастная, несчастная!.. И причиной этому было?..

— Вы знаете... болезнь. Она говорила вам.

— Да, да... Помню, помню... Но повеситься!.. Какой ужас!.. Ведь я советовала ей тогда лечиться. Теперь медицина делает чудеса. Я сама знаю нескольких людей, которые совсем... ну, совсем излечились. Это знают все в обществе и принимают их... Ах, бедняжка, бедняжка!..

— Вот я и пришла к вам, Елена Викторовна. Я бы не посмела вас беспокоить, но я как в лесу, и мне не к кому обратиться. Вы тогда были так добры, так трогательно внимательны, так нежны к нам... Мне нужен только ваш совет и, может быть, немножко ваше влияние, ваша протекция.

— Ах, пожалуйста, голубушка!.. Что могу, я все... Ах, моя бедная голова! И потом это ужасное известие... Скажите же, чем я могу помочь вам?

— Признаться, я и сама еще не знаю,— ответила Тамара.— Видите ли, ее отвезли в анатомический театр. Но пока составили протокол, пока дорога, да там еще прошло время для приема,— вообще, я думаю, что ее не успели еще вскрыть... Мне бы хотелось, если только это возможно, чтобы ее не трогали. Сегодня — воскресенье, может быть, отложат до завтра, а покамест можно что-нибудь сделать для нее.

— Не умею вам сказать, милая... Подождите!.. Нет ли у меня кого-нибудь знакомого из профессоров, из медицинского мира?.. Подождите,— я потом посмотрю в своих записных книжках. Может быть, удастся что-нибудь сделать.

— Кроме того,— продолжала Тамара,— я хочу ее похоронить... На свой счет... Я к ней была при ее жизни привязана всем сердцем.

— Я с удовольствием помогу вам в этом материально...

— Нет, нет!.. Тысячи раз благодарю вас!.. Я все сделаю сама. Я бы не постеснялась прибегнуть к вашему доброму сердцу, но это... вы поймите меня... это нечто вроде обета, который дает человек самому себе и памяти друга. Главное затруднение в том,— как бы нам похоронить ее по христианскому обряду. Она была, кажется, певверующая или совсем плохо веровала. И я тоже разве только случайно иногда перекрещу лоб. Но я не хочу, чтобы ее зарывали, точно собаку, где-то за огра-

дой кладбища, молча, без слов, без пеня... Я не знаю, разрешат ли похоронить ее как следует — с певчими, с попами? Потому-то я и прошу у вас помощи советом. Или, может, вы направите меня куда-нибудь?..

Теперь артистка мало-помалу заинтересовалась и уже забывала и о своей усталости, и о мигрени, и о чахоточной героине, умирающей в четвертом акте. Ей уже рисовалась роль заступницы, прекрасная фигура гения, милостивого к падшей женщине. Это оригинально, экстравагантно и в то же время так театрально-трогательно!

Ровинская, подобно многим своим собратьям, не пропускала ни одного дня, и если бы возможно было, то не пропускала бы даже ни одного часа без того, чтобы не выделяться из толпы, не заставляя о себе говорить: сегодня она участвовала в лжепатриотической манифестации, а завтра читала с эстрады в пользу ссыльных революционеров возбуждающие стихи, полные пламени и мести. Она любила продавать цветы на гуляньях, в манежах и торговать шампанским на больших балах. Она заранее придумывала острые словечки, которые на другой же день подхватывались всем городом. Она хотела, чтобы повсюду и всегда толпа глядела бы только на нее, повторяла ее имя, любила ее египетские зеленые глаза, хищный и чувственный рот, ее изумруды на худых и нервных руках.

— Я не могу сейчас всего сообразить как следует, — сказала она, помолчав. — Но если человек чего-нибудь сильно хочет, он достигнет, а я хочу всей душой исполнить ваше желание. Постойте, постойте!.. Кажется, мне приходит в голову великолепная мысль. Ведь тогда, в тот вечер, если не ошибаюсь, с нами были, кроме меня и баронессы...

— Я их не знаю... Один из них вышел из кабинета позднее вас всех. Он поцеловал мою руку и сказал, что если он когда-нибудь понадобится, то всегда к моим услугам, и дал мне свою карточку, но просил ее никому не показывать из посторонних... А потом все это как-то прошло и забылось. Я как-то никогда не удосужилась справиться, кто был этот человек, а вчера искала карточку и не могла найти...

— Позвольте, позвольте!.. Я вспомнила! — оживилась вдруг артистка. — Ага, — воскликнула она, быстро поднимаясь с тахты, — это был Рязанов... Да, да, да... Присяжный поверенный Эраст Андреевич Рязанов. Сейчас мы все устроим. Чудесная мысль!

Она повернулась к маленькому столику, на котором стоял телефонный аппарат, и позвонила:

— Барышня, пожалуйста, тринадцать восемьдесят пять... Благодарю вас... Алло!.. Попросите Эраста Андреевича к телефону... Артистка Ровинская... Благодарю вас... Алло!.. Это вы, Эраст Андреевич? Хорошо, хорошо, но теперь дело не в ручках. Свободны ли вы?.. Бросьте глупости!.. Дело серьезное. Не можете ли вы ко мне приехать на четверть часа?.. Нет, нет... Да... Только как доброго и умного человека. Вы клеветец на себя... Ну и прекрасно!.. Я не особенно одета, но у меня оправдание — страшная головная боль... Нет, — дама, девушка... Сами увидите, приезжайте скорее. Спасибо! До свидания!..

— Он сейчас приедет, — сказала Ровинская, вешая трубку. — Он милый и ужасно умный человек. Ему возможно все, даже почти невозможное для человека... А покамест... простите — ваше имя?

Тамара замаялась, но потом сама улыбнулась над собой:

— Да не стоит вам беспокоиться, Елена Викторовна. Mon nom de guêgue<sup>1</sup> Тамара, а так — Анастасия Николаевна. Все равно, — зовите хоть Тамарой... Я больше привыкла...

— Тамара!.. Это так красиво!.. Так вот, mademoiselle Тамара, может быть, вы не откажетесь со мной позавтракать? Может быть, и Рязанов с нами...

— Некогда, простите.

— Это очень жаль!.. Надеюсь, в другой раз когда-нибудь... А может быть, вы курите? — И она подвинула к ней золотой портсигар, украшенный громадной буквой Е. из тех же обожаемых ею изумрудов.

Очень скоро приехал Рязанов.

Тамара, не разглядевшая его как следует в тот вечер, была поражена его наружностью. Высокого роста, почти атлетического сложения, с широким, как у Бетховена, лбом, опутанным небрежно-художественно черными с проседью волосами, с большим мясистым ртом страстного оратора, с ясными, выразительными, умными, насмешливыми глазами, он имел такую наружность, которая среди тысяч бросается в глаза, — наружность покорителя душ и победителя сердец, глубоко честолюбивого, еще не пресыщенного жизнью, еще пламенного в любви и никогда не отступающего перед красивым без-

---

<sup>1</sup> Мой псевдоним (франц.).

рассудством... «Если бы меня судьба не изломала так жестоко,— подумала Тамара, с удовольствием следя за его движениями,— то вот человек, которому я бросила бы свою жизнь шутя, с наслаждением, с улыбкой, как бросают возлюбленному сорванную розу...»

Рязанов поцеловал руку Ровинской, потом с непри-  
нужденной простотой поздоровался с Тамарой и сказал:

— Мы знакомы еще с того шального вечера, когда вы поразили нас всех знанием французского языка и когда вы говорили... То, что вы говорили, было — между нами — парадоксально, но зато как это было сказано!.. До сих пор я помню тон вашего голоса, такой горячий, выразительный... Итак... Елена Викторовна,— обратился он опять к Ровинской, садясь на маленькое низкое кресло без спинки,— чем я могу быть вам полезен? Располагайте мною.

Ровинская опять с томным видом приложила концы пальцев к вискам.

— Ах, право, я так расстроена, дорогой мой Рязанов,— сказала она, умышленно погашая блеск своих прекрасных глаз.— потом моя несчастная голова... Постарайтесь передать мне с того столика пирамидон... Пусть mademoiselle Тамара вам все расскажет. Я не могу, не умею... Это так ужасно!..

Тамара коротко, толково передала Рязанову всю печальную историю Женькиной смерти, упомянула и о карточке, оставленной адвокатом, и о том, как она благоволейпо хранила эту карточку, и — вскользь — о его обещании помочь в случае нужды.

— Конечно, конечно,— вскричал Рязанов, когда она закончила, и тотчас же заходил взад и вперед по комнате большими шагами, ероша по привычке и отбрасывая назад свои живописные волосы.— Вы совершаете великодушный, сердечный, товарищеский поступок! Это хорошо!.. Это очень хорошо!.. Я ваш... Вы говорите — решение о похоронах... Гм!.. Дай Бог памяти!..

Он потер лоб рукой.

— Гм... гм... Если не ошибаюсь — Номоканов, правило сто семьдесят... сто семьдесят... сто семьдесят... восьмое... Позвольте, я его, кажется, помню наизусть!.. Позвольте... Да, так! «Аще убьет сам себя человек, не поют над ним, ниже помипают его, разве аще быше изумлен, сиречь вне ума своего»... Гм... Смотри святого Тимофея Александрийского... Итак, милая барышня, первым делом... Вы говорите, что с петли она была снята вашим доктором, то есть городским врачом... Фамилия...

— Клименко.

— Кажется, я с ним встречался где-то... Хорошо!.. Кто в вашем участке околоточный надзиратель?

— Кербеш.

— Ага, знаю... Такой крепкий, мужественный малый, с рыжей бородой веером... Да?

— Да, это — он.

— Прекрасно знаю! Вот уж по ком каторга давно тоскует!.. Раз десять он мне попадался в руки и всегда, подлец, как-то увертывался. Скользкий, точно налим... Придется дать ему барашка в бумажке. Ну-с! И затем анатомический театр... Вы когда хотите ее похоронить?

— Правда, я не знаю... Хотелось бы поскорее. Если возможно, сегодня.

— Гм... Сегодня... Не ручаюсь — вряд ли успеем... Но вот вам моя памятная книжка. Вот хотя бы на этой странице, где у меня знакомые на букву Т, — так и напишите: Тамара и ваш адрес. Часа через два я вам дам ответ. Это вас устраивает? Но опять повторяю, что, должно быть, вам придется отложить похороны до завтра... Потом, — простите меня за бесцеремонность, — нужны, может быть, деньги?

— Нет, благодарю вас! — отказалась Тамара. — Деньги есть. Спасибо за участие!.. Мне пора. Благодарю вас сердечно, Елена Викторовна!..

— Так ждите же через два часа, — повторил Рязанов, провожая ее до дверей.

Тамара не сразу поехала в дом. Она по дороге завернула в маленькую кофейную на Католической улице. Там дождался ее Сенька Вокзал — веселый малый с наружностью красивого цыгана, не черпо-, а синеволо- сый, черноглазый, с желтыми белками, решительный и смелый в своей работе, гордость местных воров, большая знаменитость в их мире, изобретатель, вдохновитель и вождь.

Он протянул ей руку, не поднимаясь с места. Но в том, как бережно, с некоторым насилием усадил ее на место, видна была широкая добродушная ласка.

— Здравствуй, Тамарка! Давно тебя не видал, соскучился... Хочешь кофе?

— Нет! Дело... Завтра хороним Женьку... Повесилась она...

— Да, я читал в газете, — процедил Сенька. — Все равно!..

— Достань мне сейчас пятьдесят рублей.

— Тамарочка, марушка моя, — ни копейки!..



— Я тебе говорю — достань! — повелительно, но не сердясь, приказала Тамара.

— Ах ты, Господи!.. Твоих-то я не трогал, как обещался, но ведь — воскресенье... Сберегательные кассы закрыты...

— Пускай!.. Заложь книжку! Вообще делай что хочешь!..

— Зачем тебе это, душенька ты моя?

— Не все ли равно, дурак?.. На похороны...

— Ах! Ну, ладно уж! — вздохнул Сенька. — Так я лучше тебе вечером бы сам привез... Право, Тамарочка?.. Очень мне нестерпимо без тебя жить! Уж так-то я тебя, мою милую, расцеловал, глаз бы тебе сомкнуть не дал!.. Или прийти?..

— Нет, нет!.. Ты сделай, Сенечка, как я тебя прошу!.. Уступи мне. А приходить тебе нельзя — я теперь экономка.

— Вот так штука!.. — протянул изумленный Сенька и даже свистнул.

— Да. И ты покамест ко мне не ходи... Но потом, потом, голубчик, что хочешь... Скоро всему конец!

— Ах, не томила бы ты меня! Развязывай скорей!

— И развяжу! Подожди педельку еще, милый! Порошки достал?

— Порошки — пустяк! — недовольно ответил Сенька. — Да и не порошки, а пилули.

— И ты верно говоришь, что в воде они сразу распускаются?

— Верно. Сам видал.

— Но он не умрет? Послушай, Сеня, не умрет? Это верно?..

— Ничего ему не сделается... Поддыхает только... Ах, Тамарка! — воскликнул он страстным шепотом и даже вдруг крепко, так, что суставы затрещали, потянулся от нестерпимого чувства, — кончай, ради Бога, скорей!.. Сделаем дело и — айда! Куда хочешь, голубка! Весь в твоей воле: хочешь — на Одессу подадимся, хочешь — за границу. Кончай скорей!..

— Скоро, скоро...

— Ты только мигни мне, и я уж готов... с порошками, с инструментами, с паспортами... А там — угуу-у! поехала машина! Тамарочка. Ангел мой!.. Золотая, бриллиантовая!..

И он, всегда сдержанный, забыв, что его могут видеть посторонние, хотел уже обнять и прижать к себе Тамару.

— Но, но!..— быстро и ловко, как кошка, вскочила со стула Тамара.— Потом... потом, Сенечка, потом, миленький!.. Вся твоя буду — ни отказу, ни запрету. Сама надоем тебе... Прощай, дурачок мой!

И, быстрым движением руки взъерошив ему черные кудри, она поспешно вышла из кофейни.

## VIII

На другой день, в понедельник, к десяти часам утра, почти все жильцы дома бывшего мадам Шайбес, а теперь Эммы Эдуардовны Тицнер, поехали на извозчиках в центр города, к анатомическому театру,— все, кроме дальновидной, многоопытной Генриетты, трусливой и бесчувственной Нинки и слабоумной Пашки, которая вот уже два дня как не вставала с постели, молчала и на обращенные к ней вопросы отвечала блаженной, идиотской улыбкой и каким-то невнятным животным мычанием. Если ей не давали есть, она и не спрашивала, но если приносили, то ела с жадностью, прямо руками. Она стала такой неряшливой и забывчивой, что ей приходилось напоминать о некоторых естественных отправлениях во избежание неприятностей. Эмма Эдуардовна не высылала Пашку к ее постоянным гостям, которые Пашку спрашивали каждый день. С нею и раньше бывали такие периоды ущерба сознания, однако они продолжались недолго, и Эмма Эдуардовна решила на всякий случай переждать. Пашка была настоящим кладом для заведений и его поистине ужасной жертвой.

Анатомический театр представлял из себя длинное, одноэтажное темно-серое здание, с белыми обрамками вокруг окон и дверей. Было в самой внешности его что-то низкое, придавленное, уходящее в землю, почти жуткое. Девушки одна за другой останавливались у ворот и робко проходили через двор в часовню, приютившуюся на другом конце двора, в углу, окрашенную в такой же темно-серый цвет с белыми обводами.

Дверь была заперта. Пришлось идти за сторожем. Тамара с трудом разыскала плешивого, древнего старика, заросшего, точно болотным мхом, сваленной серой щетиной, с маленькими слезящимися глазами и огромным, в виде лепешки, бугорчатым красно-слизым носом.

Он отворил огромный висячий замок, отодвинул болт и открыл ржавую, поющую дверь. Холодный влажный воздух вместе со смешанным запахом каменной сырости, ладана и мертвечины дохнул на девушек. Они попяти-

лись назад, тесно сбившись в робкое стадо. Одна Тамара пошла, не колеблясь, за сторожем.

В часовне было почти темно. Осенний свет скупо проникал сквозь узенькое, как бы тюремное окошко, загороженное решеткой. Два-три образа без риз, темные и безликие, висели на стенах. Несколько простых дощатых гробов стояли прямо на полу, на деревянных переносных дрогах. Один посредине был пуст, и открытая крышка лежала рядом.

— Кака така ваша-то? — спросил сипло сторож и понюхал табак.— В лицо-то знаете ай нет?

— Знаю.

— Ну, так мотри! Я тебе их всех покажу. Может быть, эта?..

И он снял с одного из гробов крышку, еще не заколоченную гвоздями. Там лежала одетая кое-как в отребья морщинистая старуха с отеком синим лицом. Левый глаз у нее был закрыт, а правый таращился и глядел неподвижно и страшно, уже потерявши свой блеск и похожий на залежавшуюся слюду.

— Говоришь — не эта? Ну, мотри... На тебе еще! — сказал сторож и одного за другим показывал, открывая крышки, покойников, — все, должно быть, голытьбу: подбрапных на улице, пьяных, раздавленных, изувеченных и исковерканных, начавших разлагаться. У некоторых уже пошли по рукам и лицам сипе-зеленые пятна, похожие на плесень, — признаки гниения. У одного мужчины, безносого, с раздвоенной пополам верхней заячьей губой, копошились на лице, изъеденном язвами, как маленькие, белые точки, черви. Женщина, умершая от водянки, целой горой возвышалась из своего дощатого ложа, выпирая крышку.

Все они наскоро после вскрытия были защиты, починены и обмыты замшелым сторожем и его товарищами. Что им было за дело, если порою мозг попадал в желудок, а печенью начиняли череп и грубо соединяли его при помощи липкого пластыря с головой?! Сторожа ко всему привыкли за свою кошмарную, неправдоподобную, пьяную жизнь, да и, кстати, у их безгласных клиентов почти никогда не оказывалось ни родных, ни знакомых.

Тяжелый дух падали, густой, сытный и такой липкий, что Тамаре казалось, будто он, точно клей, покрывает все живые поры ее тела, стоял в часовне.

— Слушайте, сторож, — спросила Тамара, — что это у меня все трещит под ногами?

— Трыш-шит? — переспросил сторож и почесался. — А вши, должно быть, — сказал он равнодушно. — На мертвяках этого зверья всегда страсть сколько расплождается!.. Да ты кого ищешь-то — мужика аль бабу?

— Женщину, — ответила Тамара.

— И эти все, значит, не твои?

— Нет, все чужие.

— Ишь ты!.. Значит, мне в мертвецкую иттить. Когда привезли-то ее?

— В субботу, дедушка. — И Тамара при этом достала портмоне. — В субботу днем. На-ко тебе, почтенный, на табачок!

— Это дело! В субботу, говоришь, днем? А что на ей было?

— Да почти ничего: ночная кофточка, юбка нижняя... и то и то белое.

— Та-ак! Должно, двести семнадцатый номер... Звать-то как?

— Сусанна Райцына.

— Пойду погляжу, — может, и есть. Ну-ко вы, мамзели, — обратился он к девицам, которые туго жались в дверях, загораживая свет. — Кто из вас похрабрее? Коли третьего дня ваша знакомая приехала, то, значит, теперича она лежит в том виде, как Господь Бог сотворил всех человеков, — значит, без никого... Ну, кто из вас побойчее будет? Кто из вас две пойдут? Одеть ее треба...

— Иди, что ли, ты, Манька, — приказала Тамара подруге, которая, похолодев и побледнев от ужаса и отвращения, глядела на покойников широко открытыми светлыми глазами. — Не бойся, дура, — я с тобой пойду! Кому ж идти, как не тебе?!

— Я что ж?.. Я что ж? — пролепетала Манька Беленькая едва двигавшимися губами. — Пойдем. Мне все равно.

Мертвецкая была здесь же, за часовней, — низкий, уже совсем темный подвал, в который приходилось спускаться по шести ступенькам.

Сторож сбегал куда-то и вернулся с огарком и затрепанной книгой. Когда он зажег свечку, то девушки увидели десятка два трупов, которые лежали прямо на каменном полу правильными рядами — вытянутые, желтые, с лицами, искривленными предсмертными судорогами, с раскроенными черепами, со сгустками крови на лицах, с оскаленными зубами.

— Сейчас... сейчас...— говорил сторож, водя пальцем по рубрикам.— Третьего дня... стало быть, в субботу... в субботу... Как, говоришь, фамилия-то?

— Райцына, Сусанна,— ответила Тамара.

— Рай-цына, Сусанна...— точно пропел сторож.— Райцына, Сусанна. Так и есть. Двести семнадцать.

Нагибаясь над покойниками и освещая их оплывшим и каплющим огарком, он переходил от одного к другому. Наконец он остановился около трупа, на ноге которого было написано чернилами большими черными цифрами: 217.

— Вот эта самая! Давайте-ка я ее вынесу в коридорчик да сбегая за ее барахлом... Подождите!..

Он, крихтя, но все-таки с легкостью, удивительной для его возраста, поднял труп Женьки за ноги и взвалил его на спину головой вниз, точно это была мясная туша или мешок с картофелем.

В коридоре было чуть посветлее, и когда сторож опустил свою ужасную ношу на пол, то Тамара на мгновение закрыла лицо руками, а Манька отвернулась и заплакала.

— Коли что надо, вы скажите,— поучал сторож.— Ежели обряжать как следует покойницу желаете, то можем все достать, что полагается,— парчу, венчик, образок, саван, кисею,— все держим... Из одежды можнокупить что... Туфли вот тоже...

Тамара дала ему денег и вышла на воздух, пропустив вперед себя Маньку.

Через несколько времени принесли два венка: один от Тамары из астр и георгинов с надписью на белой ленте черными буквами: «Жене — от подруги», другой был от Рязанова, весь из красных цветов; на его красной ленте золотыми литерами стояло: «Сстраданием очистимся». От него же пришла и коротенькая записка с выражением соболезнования и с извинением, что он не может приехать, так как занят неотложным деловым свиданием.

Потом пришли приглашенные Тамарой певчие, пятнадцать человек из самого лучшего в городе хора.

Регент в сером пальто и в серой шляпе, весь какой-то серый, точно запыленный, но с длинными прямыми усами, как у военного, узнал Верку, сделал широкие, удивленные глаза, слегка улыбнулся и подмигнул ей. Газда два-три в месяц, а то и чаще посещал он с знаковыми духовными академиками, с такими же регентами,

как и он, и с псаломщиками Ямскую улицу и, по обыкновению, сделав полную ревизию всем заведениям, всегда заканчивал домом Анны Марковны, где выбирал непременно Верку.

Был он веселый и подвижной человек, танцевал оживленно, с исступлением, и вывертывал такие фигуры во время танцев, что все присутствующие кисти от смеха.

Вслед за певчими приехал нанятый Тамарой катафалк с двух лошадей, черный, с белыми султанами, и при нем пять факельщиков. Они же привезли с собой глазетовый белый гроб и пьедестал для него, обтянутый черным коленкором. Не спеша, привычно ловкими движениями, они уложили покойницу в гроб, покрыли ее лицо кисеей, занавесили труп парчой и зажгли свечи: одну в изголовье и две в ногах.

Теперь, при желтом колеблющемся свете свечей, стало яснее видно лицо Женьки. Синева почти сошла с него, оставшись только кое-где на висках, на носу и между глаз пестрыми, неровными, змеистыми пятнами. Между раздвинутыми темными губами слегка сверкала белизна зубов и еще виднелся кончик прикушенного языка. Из раскрытого ворота на шее, принявшей цвет старого пергамента, виднелись две полосы: одна темная — след веревки, другая красная — знак царапины, нанесенной во время схватки с Симеоном, — точно два страшных ожерелья. Тамара подошла и английской булавкой зашила кружева воротничка у самого подбородка.

Пришло духовенство: маленький, седенький священник в золотых очках, в скуфейке; длинный, высокий, жидковолосый дьякон с болезненным, странно-темным и желтым лицом, точно из терракоты, и юркий длиннополый псаломщик, оживленно обменявшийся на ходу какими-то веселыми, таинственными знаками со своими знакомыми из певчих.

Тамара подошла к священнику.

— Батюшка, — спросила она, — вы как будете отпевать: всех вместе или порознь?

— Отпеваем всех купно, — ответил священник, целуя епитрахиль и выпрастывая из ее прорезей бороду и волосы. — Это обыкновенно. Но по особому желанию и по особому соглашению можно и отдельно. Какую смертью представилась почившая?

— Самоубийца она, батюшка.

— Гм... самоубийца?.. А знаете ли, молодая особа, что по церковным канонам самоубийцам отпевания не

полагается... не надлежит? Конечно, исключения бывают — по особому ходатайству...

— Вот здесь, батюшка, у меня есть свидетельство из полиции и от доктора... Не в своем она уме была... В припадке безумия...

Тамара протянула священнику две бумаги, присланные ей накануне Рязановым, и сверх них три кредитных билета по десять рублей.

— Я вас попрошу, батюшка, все как следует, похристиански. Она была прекрасный человек и очень много страдала. И уж будьте так добры, вы и на кладбище ее проводите, и там еще панихидку...

— До кладбища проводить можно, а на самом кладбище не имею права служить — там свое духовенство... А также вот что, молодая особа: ввиду того что мне придется возвращаться за остальными, так вы того... еще десяточку прибавьте.

И, приняв из рук Тамары деньги, священник благословил кадило, подаваемое псаломщиком, и стал обходить с каждением тело покойницы. Потом, остановившись у нее в головах, он кротким, привычно печальным голосом возгласил:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно!

Псаломщик зачитал: «Святыи Боже», «Пресвятую Троицу» и «Отче наш», как горюх просыпал.

Тихо, точно поверяя какую-то глубокую, печальную, сокровенную тайну, начали певчие быстрым сладостным речитативом: «Со духи праведных скончавшихся, душу рабы твоея, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у тебе, человеколюбче».

Псаломщик разнес свечи, и они теплыми, мягкими, живыми огопками, одна за другой, зажглись в тяжелом, мутном воздухе, нежно и прозрачно освещая женские лица.

Согласно лилась скорбная мелодия, и, точно вздохи опечаленных ангелов, звучали великие слова:

«Упокой, Боже, рабу твою и учини ее в рай, идеже лица святых, Господи, и праведницы сияют, яко светила, усопшую рабу твою упокой, презирая ея вся согрешения».

Тамара вслушивалась в давно знакомые, но давно уже слышанные слова и горько улыбалась. Вспомнились ей страстные, безумные слова Женьки, полные такого безысходного отчаяния и неверия... Простит ей или не простит всемилостивый, всеблагий Господь ее грязную, угарную, озлобленную, поганую жизнь? Всезнающий,

неужели отринешь ты ее — жалкую бунтовщицу, невольную развратницу, ребенка, произносившего хулы на светлое, святое имя твое? Ты — доброта, ты — утешение наше!

Глухой, сдержанный плач, вдруг перешедший в крик, раздался в часовне: «Ох, Женечка!» Это, стоя на коленях и зажимая себе рот платком, билась в слезах Манька Беленькая. И остальные подружки тоже вслед за нею опустили на колени, и часовня наполнилась вздохами, сдавленными рыданиями и всхлипываниями...

«Сам един еси бессмертный, сотворивший и создавший человека, земнии убо от земли создахомся и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавший мя и рекый ми, яко земля еси и в землю отыдеши».

Тамара стояла неподвижно с суровым, точно окаменевшим лицом. Свет свечки тонкими золотыми спиралями сиял в ее бронзово-каштановых волосах, а глаза не отрывались от очертаний Женькиного влажно-желтого лба и кончика носа, которые были видны Тамаре с ее места.

«„Земля еси и в землю отыдеши...“, — повторила она в уме слова песнопения. — Неужели только и будет что одна земля и ничего больше? И что лучше: ничто или хоть бы что-нибудь, даже хоть самое плохонькое, но только чтобы существовать?»

А хор, точно подтверждая ее мысли, точно отнимая у нее последнее утешение, говорил безнадежно: «А може вси человецы пойдем...»

Пропели «Вечную память», задули свечи, и синие струйки растянулись в голубом от ладана воздухе. Священник прочитал прощальную молитву и затем, при общем молчании, зачерпнул лопаточкой песок, поданный ему псаломщиком, и посыпал крестообразно на труп сверж кицев. И говорил он при этом великие слова, полные суровой, печальной неизбежности таинственного мирового закона: «Господня земля и исполнение ее вселенная и вси живущии на ней».

До самого кладбища проводили девушки свою умершую подружку. Дорога туда шла, как раз пересекая въезд на Ямскую улицу. Можно было бы свернуть по ней налево, и это вышло бы почти вдвое короче, но по Ямской obviously покойников не возили.

Тем не менее почти из всех дверей повысыпали на перекресток их обитательницы, в чем были: в туфлях на босу ногу, в ночных сорочках, с платочками на голо-



вах; крестились, вздыхали, утирали глаза платками и краями кофточек.

Погода разошлась... Яркое светило холодное солнце с холодного, блестящего голубой эмалью неба, зеленела последняя трава, золотились, розовели и рдели увядшие листья на деревьях... И в хрустально-чистом холодном воздухе торжественно, величаво и скорбно разносились стройные звуки: «Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!» И какой жаркой, ничем не насытимой жаждой жизни, какой тоской по мгновенной, уходящей, подобно сну, радости и красоте бытия, каким ужасом перед вечным молчанием смерти звучал древний напев Иоанна Дамаскина!

Потом короткая лития на могиле, глухой стук земли о крышку гроба... небольшой свежий холмик...

— Вот и конец! — сказала Тамара подругам, когда они остались одни. — Что ж, девушки, — часом позже, часом раньше!.. Жаль мне Женьку!.. Страх как жалы!.. Другой такой мы уже не найдем. А все-таки, дети мои, ей в ее яме гораздо лучше, чем нам в нашей... Ну, последний крест — и пойдем домой!..

И, когда они уже все приближались к своему дому, Тамара вдруг задумчиво произнесла странные, зловещные слова:

— Да и недолго нам быть вместе без нее: скоро всех нас разнесет ветром куда попало. Жизнь хороша!.. Посмотрите: вон солпце, голубое небо... Воздух какой чистый... Паутинки летают — бабье лето... Как на свете хорошо!.. Одни только мы — девки — мусор придорожный.

Девушки тронулись в путь. Но вдруг откуда-то сбоку, из-за памятников, отделился рослый, крепкий студент. Он догнал Любку и тихо притронулся к ее рукаву. Она обернулась и увидела Соловьева. Лицо ее мгновенно побледнело, глаза расширились и губы задрожали.

— Уйди! — сказала она тихо с беспредельной ненавистью.

— Люба... Любочка... — забормотал Соловьев. — Я тебя искал... искал... Я... ей-Богу, я не как тот... как Лихонин... Я с чистым сердцем... хоть сейчас, хоть сегодня...

— Уйди! — еще тише произнесла Любка.

— Я серьезно... я серьезно... Я не с глупостями, я жениться...

— Ах, тварь! — вдруг взвизгнула Любка и быстро, крепко, по-мужски ударила Соловьева по щеке ладонью.

Соловьев постоял немного, слегка пошатываясь. Гла-

за у него были мученические... Рот полуоткрыт, со скорбными складками по бокам.

— Уйди! Уйди! Не могу вас всех видеть! — кричала с бешенством Любка. — Палачи! Свиньи!

Соловьев внезапно закрыл лицо ладонями, круто повернулся и пошел назад, без дороги, нетвердыми шагами, точно пьяный.

## IX

И в самом деле, слова Тамары оказались пророческими: прошло со дня похорон Жени не больше двух недель, но за этот короткий срок разразилось столько событий над домом Эммы Эдуардовны, сколько их не приходилось иногда и на целое пятилетие.

На другой же день пришлось отправить в богоугодное заведение — в сумасшедший дом — несчастную Пашку, которая окончательно впала в слабоумие. Доктора сказали, что никакой нет надежды на то, чтобы она когда-нибудь поправилась. И в самом деле, она, как ее положили в больнице на полу, на соломенный матрац, так и не вставала с него до самой смерти, все более и более погружаясь в черную, бездонную пропасть тихого слабоумия, но умерла она только через полгода от пролежней и заражения крови.

Следующая очередь была за Тamarой.

С полмесяца она исправляла свои обязанности экономки, была все время необыкновенно подвижна, энергична и необычно взвинчена чем-то своим, внутренним, что крепко бродило в ней. В один из вечеров она исчезла и совсем не возвратилась в заведение...

Дело в том, что у нее был в городе длительный роман с одним нотариусом — пожилым, довольно богатым, но весьма скаредным человеком. Знакомство у них завязалось еще год тому назад, когда они вместе случайно ехали на пароходе в загородный монастырь и разговаривались. Нотариуса пленила умная, красивая Тамара, ее загадочная, развратная улыбка, ее занимательный разговор, ее скромная манера держать себя. Она тогда же наметила для себя этого пожилого человека с живописными сединами, с барскими манерами, бывшего правоведа и человека хорошей семьи. Она не сказала ему о своей профессии — ей больше нравилось мистифицировать его. Она лишь туманно, в немногих словах намекнула на то, что она — замужняя дама из среднего общества, что она несчастна в семейной жизни, так как муж ее — игрок и деспот, и что даже судьбою ей отка-

зано в таком утешении, как дети. На прощание она отказалась провести вечер с нотариусом и не хотела встречаться с ним, но зато позволила писать ей в почтамт до востребования, на вымышленное имя. Между ними завязалась переписка, в которой нотариус щеголял слогом и пылкостью чувств, достойными героев Поля Бурже. Она держалась все того же замкнутого, таинственного тона.

Потом, тронувшись просьбами нотариуса о встрече, она назначила ему свидание в Княжеском саду, была мила, остроумна и томна, но поехать с ним куда-нибудь отказалась.

Так она мучила своего поклонника и умело разжигала в нем последнюю страсть, которая иногда бывает сильнее и опаснее первой любви. Наконец, этим летом, когда семья нотариуса уехала за границу, она решилась посетить его квартиру и тут в первый раз отдалась ему со слезами, с угрызениями совести и в то же время с такой пылкостью и нежностью, что бедный нотариус совершенно потерял голову: он весь погрузился в ту старческую любовь, которая уже не знает ни разума, ни оглядки, которая заставляет человека терять последнее — боязнь казаться смешным.

Тамара была очень скупа на свидания. Это еще больше разжигало ее нетерпеливого друга. Она соглашалась принять от него букет цветов, скромный завтрак в загородном ресторане, но возмущенно отказывалась от всяких дорогих подарков и вела себя так умело и тонко, что нотариус никогда не осмеливался предложить ей денег. Когда он однажды заикнулся об отдельной квартире и о других удобствах, она поглядела ему в глаза так пристально, надменно и сурово, что он, как мальчик, покраснел в своих живописных седирах и целовал ее руки, лепеча несвязные извинения.

Так играла с ним Тамара и все более и более нащупывала под собой почву. Она уже знала теперь, в какие дни хранятся у нотариуса в его несгораемом железном шкафу особенно крупные деньги. Однако она не торопилась, боясь испортить дело неловкостью или преждевременностью.

И вот как раз теперь этот давно ожидаемый срок подошел: только что кончилась большая контрактная ярмарка, и все нотариальные конторы совершали ежедневно сделки на громадные суммы. Тамара знала, что нотариус отвозил обычно залоговые и иные деньги в банк по субботам, чтобы в воскресенье быть совершенно сво-

бодным. И вот потому-то в пятницу днем нотариус получил от Тамары следующее письмо:

«Милый мой, обожаемый царь Соломон! Твоя Суламифь, твоя девочка из виноградника, приветствует тебя жгучими поцелуями... Милый, сегодня у меня праздник, и я бесконечно счастлива. Сегодня я свободна так же, как и ты. Он уехал в Гомель на сутки по делам, и я хочу сегодня провести у тебя весь вечер и всю ночь. Ах, мой возлюбленный! Всю жизнь я готова провести на коленях перед тобой! Я не хочу ехать никуда. Мне давно надоели загородные кабачки и кафешантаны. Я хочу тебя, только тебя... тебя... тебя одного! Жди же меня вечером, моя радость, часов около десяти — одиннадцати! Приготовь очень много холодного белого вина, дыню и засахаренных каштанов. Я сгораю, я умираю от желания! Мне кажется, я измучаю тебя! Я не могу ждать! У меня кружится голова, горит лицо и руки холодные, как лед. Обнимаю. Твоя *Валентина*».

В тот же вечер, часов около одиннадцати, она искусно навела в разговоре нотариуса на то, чтобы он показывал ей его несгораемый ящик, играя на его своеобразном денежном честолюбии. Быстро скользнув глазами по полкам и по выдвижным ящикам, Тамара отвернулась с ловко сделанным зевком и сказала:

— Фу, скука какая!

И, обняв руками шею нотариуса, прошептала ему губами в самые губы, обжигая горячим дыханием:

— Запри, мое сокровище, эту гадость! Пойдем... Пойдем!..

И вышла первая в столовую.

— Иди же сюда, Володя! — крикнула она оттуда. — Иди скорее! Я хочу вина и потом любви, любви, любви без конца!... Нет! Пей все, до самого дна! Так же, как мы выпьем сегодня до дна нашу любовь!

Нотариус чокнулся с нею и залпом выпил свой стакан. Потом он пожевал губами и заметил:~

— Странно... Вино сегодня как будто горчит.

— Да! — согласилась Тамара и внимательно посмотрела на любовника. — Это вино всегда чуть-чуть горьковато. Это уж такое свойство рейнских вин...

— Но сегодня особенно сильно, — сказал нотариус. — Нет, спасибо, милая, — я не хочу больше!

Через пять минут он заснул, сидя в кресле, откинувшись на его спинку головой и отвесив нижнюю челюсть. Тамара выждала некоторое время и принялась его будить. Он был недвижим. Тогда она взяла зажженную

свету и, поставив ее на подоконник окна, выходившего на улицу, вышла в переднюю и стала прислушиваться, пока не услышала легких шагов на лестнице. Почти беззвучно отворила она дверь и пропустила Сеньку, одетого настоящим барином, с новеньким кожаным саквом в руках.

— Готово? — спросил вор шепотом.

— Спит, — ответила так же тихо Тамара. — Смотри, вот и ключи.

Они вместе прошли в кабинет к несгораемому шкафу. Осмотрев замок при помощи ручного фонарика, Сенька вполголоса выругался:

— Черт бы его побрал, старую скотину!.. Я так и знал, что замок с секретом. Тут надо знать буквы... Придется плавить электричеством, а это черт знает сколько времени займет.

— Не надо, — возразила торопливо Тамара. — Я знаю слово... подсмотрела. Подбирай: з-е-н-и-т. Без твердого знака.

Через десять минут они вдвоем спустились с лестницы, прошли нарочно по ломаным линиям несколько улиц и только в старом городе наняли извозчика на вокзал и уехали из города с безукоризненными паспортами помещика и помещицы дворян Ставипцких. О них долго не было ничего слышно, пока, спустя год, Сенька не попался в Москве на крупной краже и не выдал на допросе Тамару. Их обоих судили и приговорили к тюремному заключению.

Вслед за Тамарой настала очередь наивной, доверчивой и влюбчивой Верки. Она давно уже была влюблена в полувоенного человека, который сам себя называл гражданским чиновником военного ведомства. Фамилия его была — Дилекторский. В их отношениях Верка была обожающей стороной, а он, как важный идол, снисходительно принимал поклонение и приносимые дары. Еще с конца лета Верка заметила, что ее возлюбленный становится все холоднее и небрежнее и, говоря с нею, живет мыслями где-то далеко-далеко... Она терзалась, ревновала, расспрашивала, но всегда получала в ответ какие-то неопределенные фразы, какие-то зловещие намеки на близкое несчастье, на преждевременную могилу...

В начале сентября он наконец признался ей, что растратил казенные деньги, большие, что-то около трех тысяч, и что его дней через пять будут ревизовать, и ему, Дилекторскому, грозит позор, суд и, наконец, ка-

торжные работы... Тут гражданский чиновник военного ведомства зарыдал, схватившись за голову, и воскликнул:

— Моя бедная мать!.. Что с нею будет? Она не перенесет этого унижения... Нет! Во сто тысяч раз лучше смерть, чем эти адские мучения ни в чем не повинного человека.

Хотя он и выражался, как и всегда, стилем бульварных романов (чем главным образом и прельстил доверчивую Верку), но театральная мысль о самоубийстве, однажды возникшая, уже не покидала его.

Как-то днем он долго гулял с Веркой по Княжескому саду. Уже сильно опустошенный осенью, этот чудесный старинный парк блистал и переливался пышными тонами расцветившейся листвы: багряным, пурпуровым, лимонным, оранжевым и густым вишневым цветом старого устоявшегося вина, и казалось, что холодный воздух благоухал, как драгоценное вино. И все-таки тонкий отпечаток, нежный аромат смерти веял от кустов, от травы, от деревьев.

Дилекторский разнежился, расчувствовался, умилился над собой и заплакал. Поплакала с ним и Верка.

— Сегодня я убью себя! — сказал наконец Дилекторский. — Кончено!..

— Родной мой, не надо!.. Золото мое, не надо!..

— Нельзя, — ответил мрачно Дилекторский. — Проклятые деньги!.. Что дороже — честь или жизнь?!

— Дорогой мой...

— Не говори, не говори, Анета! (Он почему-то предпочитал простому имени Верки — аристократическое, им самим придуманное, Анета). Не говори. Это решено!

— Ах, если бы я могла помочь тебе! — воскликнула горестно Верка. — Я бы жизнь отдала!.. Каждую каплю крови!..

— Что жизнь?! — с актерским унынием покачал головой Дилекторский. — Прощай, Анета!.. Прощай!..

Девушка отчаянно закачала головой:

— Не хочу!.. Не хочу!.. Не хочу!.. Возьми меня!.. И я с тобой!..

Поздно вечером Дилекторский занял номер дорогой гостиницы. Он знал, что через несколько часов, может быть, минут и он и Верка будут трупами, и потому, хотя у него в кармане было всего-навсего одиннадцать копеек, распорядился широко, как привычный, заправский кутила: он заказал стерляжью уху, дупелей и фрукты и ко всему этому кофе, ликеров и две бутылки заморо-

женного шампанского. Он и в самом деле был убежден, что застрелится, но думал как-то наигранно, точно немножко любуясь со стороны своей трагической ролью и наслаждаясь заранее отчаянием родни и удивлением сослуживцев. А Верка как сказала внезапно, что пойдет на самоубийство вместе со своим возлюбленным, так сразу и укрепились в этой мысли. И ничего не было для Верки страшного в грядущей смерти. «Что ж, разве лучше так подохнуть, под забором?! А тут с милым вместе! По крайней мере, сладкая смерть!..» И она неистово целовала своего чиновника, смеялась и с растрепанными курчавыми волосами, с блестящими глазами была хороша, как никогда.

Наступил наконец последний торжественный момент.

— Мы с тобой насладились, Анета... Выпили чашу до дна и теперь, по выражению Пушкина, должны разбить кубок! — сказал Дилекторский. — Ты не раскаиваешься, о моя дорогая?..

— Нет, нет!..

— Ты готова?

— Да! — прошептала она и улыбнулась.

— Тогда отвернись к стене и закрой глаза!

— Нет, нет, милый, не хочу так!.. Не хочу! Иди ко мне! Вот так! Ближе, ближе!.. Дай мне твои глаза, я буду смотреть в них. Дай мне твои губы — я буду тебя целовать, а ты... Я не боюсь!.. Смелей!.. Целуй крепче!..

Он убил ее, и когда посмотрел на ужасное дело своих рук, то вдруг почувствовал омерзительный, гнусный, подлый страх. Полуобнаженное тело Верки еще трепетало на постели. Ноги у Дилекторского подогнулись от ужаса, но рассудок притворщика, труса и мерзавца бодрствовал: у него хватило все-таки настолько мужества, чтобы оттянуть у себя на боку кожу над ребрами и прострелить ее. И когда он падал, неистово закричав от боли, от испуга и от грома выстрела, то по телу Верки пробежала последняя судорога.

А через две недели после смерти Верки погибла и наивная, смешливая, кроткая, скандальная Манька Белевская. Во время одной из обычных на Ямках общих крикливых свалок, в громадной драке, кто-то убил ее, ударив пустой тяжелой бутылкой по голове. Убийца так и остался неразысканным.

Так быстро совершались события на Ямках, в доме Эммы Эдуардовны, и почти ни одна из его жилищ не избежала кровавой, грязной или постыдной участи.

Последним, самым грандиозным и в то же время самым кровавым несчастием был разгром, учиненный на Ямках солдатами.

Двух драгунов обсчитали в рублевом заведении, избили и выкинули ночью на улицу. Те, растерзанные, в крови, вернулись в казармы, где их товарищи, начав с утра, еще догуливали свой полковой праздник. И вот не прошло и получаса, как сотня солдат ворвалась в Ямки и стала сокрушать дом за домом. К ним присоединилась сбежавшаяся откуда-то несметная толпа золоторотцев, оборванцев, босяков, жуликов, сутенеров. Во всех домах были разбиты стекла и искрошены рояли. Перины распарывали и выбрасывали пух на улицу, и еще долго потом — дня два — летали и кружились над Ямками, как хлопья снега, бесчисленные пушинки. Девок, простоволосых, совершенно голых, выгоняли на улицу. Трех швейцаров избили до смерти. Растрясли, запакостили и растерзали на куски всю шелковую и плюшевую обстановку Треппеля. Разбили, кстати, и все соседние трактиры и пивные.

Пьяное, кровавое, безобразное побоище продолжалось часа три, до тех пор, пока наряженным воинским частям вместе с пожарной командой не удалось наконец оттеснить и рассеять озверевшую толпу. Два полтинничных заведения были подожжены, но пожар скоро затухнул. Однако на другой же день волнение вновь вспыхнуло, на этот раз уже во всем городе и окрестностях. Совсем неожиданно оно приняло характер еврейского погрома, который длился дня три, со всеми его ужасами и бедствиями.

А через неделю последовал указ генерал-губернатора о немедленном закрытии домов терпимости как на Ямках, так и на других улицах города. Хозяйкам дали только недельный срок для устройства своих имущественных дел.

Уничтоженные, подавленные, разграбленные, потерявшие все обаяние прежнего величия, смешные и жалкие, спешно укладывались старые, поблекшие хозяйки и жирнолицые сильные экономки. И через месяц только название напоминало о веселой Ямской улице, о буйных, скандальных, ужасных Ямках.

Впрочем, и название улицы скоро заменилось другим, более приличным, дабы загладить и самую память о прежних беспардонных временах.

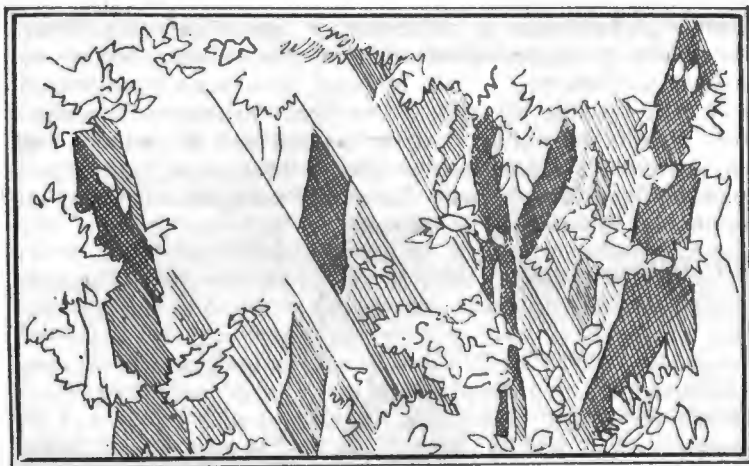
И все эти Генриетты Лошади, Катьки Толстые, Лельки Хорьки и другие женщины, всегда наивные и глупые,



Часто трогательные и забавные, в большинстве случаев обманутые и исковерканные дети, разошлись в большом городе, рассосались в нем. Из них родился новый слой общества — слой гулящих уличных проституток-одиночек. И об их жизни, такой же жалкой и нелепой, но окрашенной другими интересами и обычаями, расскажет когда-нибудь автор этой повести, которую он все-таки посвящает юношеству и матерям.

**1909—1915**





## ФИАЛКИ



а начало мая. Триста молодых кадетских сердец трепещут, переполненные странными, смешными и трогательными чувствами: азартом, честолюбием, отчаянием, смертельным ужасом, надеждой на слепое счастье, унынием, тупой покорностью судьбе... Необычайной стала жизнь, вышедшая из привычных рамок сурового военного уклада, расчисляющего по командам и сигналам каждую минуту дня и ночи... Парты вынесены из классов в длинные рекреационные залы и расставлены по вкусам соседей, которые зимою ссорятся, как пара каторжников, скованных короткой цепью, а теперь предупредительны, уступчивы и услужливы, точно молодожены. А иногда можно увидеть, что пять или шесть парт соединились вместе, образовав сомкнутую многоугольную фигуру бастиона, со стеной сзади, в виде ненарушимого тыла. Там заседает эгоистическая артель муравьев, работающая сообща и беспощадная к искательствам бездомных стрекоз.

И целый день зубрят, зубрят. Иные, закрыв пальцами глаза, уши и даже нос, как это делают трусливые купальщики, качаются взад и вперед в тягучей тоске. Первые ученики держатся твердо и уверенно, но и они побледнели и осунулись за эти страдные дни. Они хоро-

шо знают, что пройдут блестяще, но все-таки копошится тревожная и завистливая мысль: «А вдруг? Вдруг не первым, а вторым?..»

Милые дети, первые ученики, украшение корпуса, гордость родителей. Вы не хуже и не лучше других детей. Но что значит первенство и праздное честолюбие в сравнении с тем, что мимо вас прошла еще одна весна юности? Конечно, придут и другие весны, которыми вы впоследствии, на досуге, будете комфортабельно и медленно наслаждаться, сознательно смакуя их прелести на севере и на юге хоть всех стран мира. Но никогда не вернется именно эта, эта самая весна, готовая буйно и щедро вторгнуться в ваши зоркие глаза, в разверстые ноздри, в чуткие уши, в ваши жадные, наблюдательные, девственные, ничем не запятнанные умы, вторгнуться и оставить там навеки доброе семя радости и красоты земной.

Того же самого мнения и семиклассник Дмитрий Казаков. Вернее сказать, у него столько же мнения о влиянии природы на человеческие души, сколько его у жеребенка, скачущего по зеленому лугу, у журавля, пляшущего и поющего на полянке среди болот страстную весеннюю песню, у годовалой лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые из своей норы весенний волнующий воздух, у ручного кроткого верблюда, который вдруг становится весною страшным в своем весеннем бешенстве.

Просто-напросто весна с ее колдовскими ароматами, вкрадчивыми чарами и мятежными снами обволокла его душу непонятной истомой и щекочущей бессознательной радостью, от которой хочешь и плакать и смеяться, и не знаешь, куда девать себя то от непомерного острого счастья, то от сладкой скуки. Разве мог бы Казаков сказать сам себе, почему прошлым летом, живя в имении, он — солидный шестиклассник, кутивший почти открыто, басивший и лучше всех товарищей притягивавшийся к турнику на одной руке, — он вдруг, случилось, не мог преодолеть в себе безумного мальчишеского желания взять и помчаться диким галопом по высокой росистой вечерней траве, изгибая голову, брыкаясь, визжа и пьянея от острых запахов полыни, повилики, ромашки и клевера? И почему ночью, во время сильной грозы, он выскакивал из дому совсем голый, босой, торопливо просовывал ногу в лямку гигантских шагов и один, под жестоким дождем, взмывал высоко к черному небу, к грому и молниям, дрожа от иступленного вос-

торга, от беспредметного вызова, от пылкого ликования молодого тела?

Так и в эту весну он весь во власти таинственных грез, беспокойного смятения и раздражающего трепетания жизни. Где же тут учиться? Да и никогда он особенно не влезал в этот хомут. Быть средним по успехам или немного пониже — не все ли равно? На экзаменах можно овладеть своей волей, поватужиться — и все навестать. Но теперь он живет в странном очаровании, точно опоенный неведомым дурманом. Он просыпается, спешит к окну, садится на подоконник, и точно впервые, с новым удивлением — не говорит себе, а глубоко чувствует: вот синее небо, вот легкие сквозные облака, и трава, и деревья там, далеко, за зданиями. И ходит весь день вялый по огромному, вытопанному многими тысячами ног, корпусному плацу. Ложится на чаклую, жалкую, низкую траву и долго, как на сверхъестественное чудо, дивится на суетливую, загадочную беготню муравьев, на цепь сплетшихся букашек, красных с черными пятнами, медленно ползущих между былинками. Читает по десяти раз подряд одну и ту же фразу и никак не может постичь, что такое здесь написано? И, отбросив книгу, ложится ничком, смотрит в бездонное небо до тех пор, пока от движения причудливых облаков сам не начинает медленно плыть куда-то, в вечное пространство, вместе с своими воздушными мыслями.

И вот наступает самое сладкое, самое тревожное, самое чудное — вечер. Стемнело. Едва-едва пламенеет тихая заря. Зеленые сумерки. Черны и резки контуры здания с их чуждыми теперь, пустыми, неосвещенными окнами. Белые фигуры товарищей движутся, точно замороженные. Каждая веточка деревьев поразительно четка на небе, которое светлее земли. Гудят невидимые майские жуки. Стройная песня вдали. Смягченный смех и разговор. Самый обыденный звук доносится точно из другого мира. И все это, как пряное вино, вливается в каждую каплю крови и тихо-тихо кружит голову. Кто же это проходит сейчас через всю землю, незримый и неслышный? Чье дыхание подымает волосы на голове и ласкает щеку? Отчего вдруг стеснилось дыхание, и пересохло во рту, и слезы на глазах? Какое чудо должно случиться сейчас, через минуту, через мгновение?

Пора. Зовут спать. Летучие мыши низко и косо чертят черными зигзагами воздух и порою почти касаются лица... Я уйду туда, в скучные, серые стены, и без меня,

без меня совершится под темным небом великое таинство!..

Послезавтра последние, самые страшные экзамены по математике, но зато сегодня такое чудное утро, точно на небе справляются именины. И Дмитрий решительно швыряет толстого Бремикера под парту. Сегодня он удерет и побродяжничает по запретному старому дворцовому парку. Он никого не возьмет с собою, никого! Пойдет совсем один.

За завтраком он ловко утягивает из-под руки зазевавшегося служителя лишнюю котлету и, сжав ее между двумя кусками черного хлеба, сует в карман. Может быть, он опоздает к обеду, но кому же из начальства теперь, в общее беспокойное и горячее время, придет в голову доискиваться, все ли налицо?

Труден путь до парка. На углу древнего, еще Петровского Потешного земляного бруствера торчит дежурный дядька, беспалый пан Пневский, придирчивый служака и вечный доносчик. Он не спускает своих бесцветных, оловянных, но точных солдатских глаз с той единственной дорожки, по которой можно ускользнуть: прорыв бруствера, затем кувырк с горы, рядом с зимним катком, потом еще шагов тридцать — сорок по открытому месту, до пруда, а там уже вдоль зеленого, густого, как ботвинья, пруда растут непроницаемой стеной корявые, душлистые столетние ивы! Там незаметно.

Надзор бдительного дядьки берется обмануть верный товарищ. С лицемерной щедростью сует он пану Пневскому заранее припасенную утреннюю булку. У пана большая семья, и каждый кусок в ней не лишний. Затем закидывается коварная, но самая верная удочка: «На какой войне и в каком сражении пан Пневский лишился двух пальцев на правой руке?» Пан Пневский сначала недоверчиво косится. Он уже не раз клевал на эту соблазнительную приманку. Но лицо спрашивающего так простодушно, а в славных наивных глазах так много живого участия, а сама тема рассказа о том, как пан Пневский, польский шляхтич, из красавца, силача и лучшего работника сделался калекой, так неумирающе близка его сердцу, что — хватъ — и рыбка попалась.

А Казаков в это время мчит под верпой защитой развесистых ив быстрее степного ветра. Он не может

умерить своего бега до самого конца пруда и останавливается, только достигнув пригорка, на котором тесно столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жимолости. Здесь он передыхает и идет шагом мимо забытой оранжереи с уцелевшими лишь кое-где мутно-радужными стеклами, легко перепрыгивает водяной ров и спускается к узкой, но глубокой речонке.

Вода в реке кажется черной, как чернила, от кустов, которые густо обступили ее с обеих сторон и купают в ней свои свесившиеся длинные ветви. И пахнет она нехорошо от близости многих фабрик. Но другого выбора нет. Раздевшись с непостижимой скоростью, Казаков без раздумья, с разбегу бросается в воду, достигает ногам противного, коряжистого, скользкого, илистого дна, задыхается на мгновение, обожженный жестоким холодом, и ловко, по саженкам, переплывает речку без отдыха туда и обратно. И когда он, одевшись, взбирается медленно наверх, то с наслаждением чувствует удивительную легкость в каждом мускуле: точно все его тело потеряло вес, и, кажется, стоит сделать лишь самое незначительное усилие, чтобы отделиться от земли и полететь в воздухе, как большая птица.

И вот, наконец, он входит под высокие навесы парковой аллеи. Старинные липы, современницы Петра Великого, подарившего когда-то этот парк вместе с дворцом любимому вельможе, так сказочно, так невероятно высоки, что каждый человек, идя под ними, невольно чувствует себя маленьким. Здесь всегда зеленая полутьма и сыроватая прохлада. Лишь изредка там и сям на земле блещут, струятся и трепещут двойные солнечные кружочки, точно кто-то бросает сверху капризной рукой золотые монеты. И Казаков идет по широкой, тихой, величавой аллее, точно по пустому, безлюдному, холодному храму, куда он зашел случайно в жаркий полдень. Вот мраморная, изрытая временем львиная голова, точащая из пасти в плоскую чашу тонкую серебряную нитку воды. Казаков подставляет рот и с наслаждением глотает холодную сладкую влагу.

Но когда он отнимает рот, с которого падают светлые капли, то неожиданно его обоняния касается удивительный аромат — тонкий, нежный и упоительно скромный. Следя за ним, поворачивая голову в разные стороны, вдыхая воздух расширенными ноздрями, точно собака на охоте, он спускается вниз, в сырой, мокроватый овраг, куда ручейком стекает вода, переполняющая чашу. Чудесное открытие. Целый оазис наших милых, тем-

ных, маленьких северных фиалок, благоухающих, как нигде в целом мире.

Он осторожно, ползая на коленях, рвет цветы, стараясь их не мять, делает с бессознательным изяществом небольшой букетик, обворачивает его круглыми, влажными листьями и, наконец, обматывает ниткой, которую зубами выдергивает из казенного платка.

Но когда он опять подымается наверх, на полузаросшую травой дорогу, то невиданное, очаровательное зрелище заставляет его остановиться в немом восторге, почти в страхе. Прямо на него, посредине аллеи, медленно движется, точно плывет в воздухе, не касаясь земли ногами, женщина. Она вся в белом и среди густой темной зелени подобна оживленному чудом мраморному изваянию, сошедшему с пьедестала. Она все ближе и ближе, точно надвигающееся сладкое и грозное чудо. Она высокая, легка и стройна, и ее цветущее лицо прекрасно. Ее руки со свободной грацией опущены вдоль бедер. Как царская корона, лежат вокруг ее головы тяжелые сияющие золотые косы, и кто-то невидимый осыпает сверху ее белую фигуру золотыми скользящими лепестками. Теперь она в двух шагах... Каждая черта ее молодого свежего лица чиста, благородна и проста, как гениальная мелодия. Взгляд ее широких глаз необычайно добр, ясен и радостен. И цвет их странно напоминает те цветы, которые дрожат в руке неподвижного мальчика.

Но вот она со светлой улыбкой останавливается. И, точно звуки виолончели, раздается ее полный, глубокий голос:

— Какие прелестные фиалки... Неужели вы здесь их набрали?.. Как много и какие милые.

— Здесь...— отвечает чей-то чужой голос из груди Казакова. И не он, а кто-то другой, окруженный розовым туманом, протягивает цветы и произносит: — Прощу вас, примите их, если они вам нравятся... Я буду...

Горло кадета суживается от волнения. Сердце бурно бьется. Глаза готовы наполниться слезами. И сказочная принцесса понимает его. Ее лицо озаряется нежной улыбкой и слегка краснеет. Она говорит ласково: «Благодарю», — и это простое слово звучит, как литавры в торжественном хоре аптелов. И изящным движением она прицепляет скромный фиолетовый букетик к своей груди, туда, где сквозь легкое палевое кружево розовеет ее тело. Она протягивает Казакову свою милую, теплую руку, пожатие которой так плотно, мягко и дружелюбно. И вместе с ароматом фиалок мальчик слы-

нит какое-то новое, шелковое, теплое, сладкое благоухание.

Затем они говорят о пустяках, которые потом Казаков никогда не вспомнит. Остались в памяти лишь отрывки: в том училище, куда Казаков поступит, окончив корпус, она бывает ежегодно на рождественских балах, а сегодня вечером она уезжает за границу. Она спрашивает, как зовут Казакова, и неизъяснимой гармонией поет в ее устах имя Дмитрий.

Она первая отпускает его. Она смотрит на маленькие золотые часы, опять протягивает ему свою чудесную руку и говорит: «До свидания. Мне очень приятно было встретиться с вами». Да, да, да! Она так и сказала — «до свидания»! И исчезает, как сказка, за поворотом аллеи.

А вечером в спальне Казаков долго не спит, лежа в своей кровати. Он прижимает крепко руки к груди и жарко и благодарно шепчет: «Господи! Господи!...» И в этих словах наивное, но великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям, и вечной благодати, и вечной красоте... И потом он плачет долгими, радостными, светлыми слезами, которые никогда уже не повторятся в его жизни. И как бы потом ни сложилась его жизнь со всеми ее падениями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвержением, — он всегда, даже в старости, — он, позабывший имена и лица, — благодарно и счастливо улыбнется, вспомнив фиалки, приколотые к груди принцессы из сказки.

Потому что на его долю выпало редкое счастье испытать хоть на мгновение ту истинную любовь, в которой заключено все: целомудрие, поэзия, красота и молодость.

1915







## НОЧНАЯ ФИАЛКА



В Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам в сырых болотистых местах и отличается прелестным кадильным ароматом, необычайно сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалке. Ночной фиалкой его называли безвкусные дачницы и интеллигентные гости. Крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей головы, и я так и буду называть этот цветок ночью фиалкою.

Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на троицын день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят. Говорят кое-где, что пахучий цветок этот имеет какую-то связь с конокрадами, колдунами и ведьмами, но изучатели народного фольклора до этого не добрались.

Странные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим Ильич Трапезников, саратовский и царцынский землемер, мой хороший закадычный дружок, человек умный, трезвый и серьезный.

Мы тогда шли с ним на зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стерлядями и сурскими раками, и времени нам девать было некуда, а на разговор о ночной фиалке нас навела веселая девчурка лет семи-восьми, которая на небольшой пристани бойко продавала крошечные букетики этих цветов.

— Вы правы, — сказал он, — кажется, никто не знает его народного названия или очень быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевой. И стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдумано грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской, этого я — воля ваша — уяснить себе никак не могу.

Но вы послушайте-ка, что я вам сейчас расскажу об этом цветике. Удивительная история. Расскажи мне ее другой, сторонний человек — ни за что ему не поверил бы, сказал бы: «Брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает». Но в том-то и дело, что во всем, что я вам расскажу, был я и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать, плачевной жертвой. Жигулевского пивка не хватить ли нам по черепушечке? Для освежения гортани? Знатное здесь пивцо.

Ну, итак: окончил я курс в Московском землемерном институте и вышел из него землемер-инженером, с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал немедленно в Царицын, к моим папочке и мамочке, в родной угол. Папаша мой за всю свою рабочую жизнь обзавелся в нашем уезде стами тремя десятками земляшки, домиком деревянным о полутора этажей, сад разбил фруктовый и ягодный огород чудесный, цветничок хорошенький с любимой резедой. Парочку собак подружейных держал для охоты; двух сеттеров, кобелька с сучкою; их было уже двенадцатое поколение. И для рыбной ловли на всякие способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще включить домашние варенья и пастойки. Ах, Боже мой! Какая это радость приехать в милый теплый отчий дом серьезным, солидным человеком в чине титулярного советника с блестящим будущим впереди! Папочка ведь мой был всю свою жизнь землемером и только недавно дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие, еще в конце шестидесятих годов прошлого столетия, в эпоху ос-

вобождения крестьян. Ему в радостную диковину были: и мой мундир, зеленый с золотом, и моя усовершенствованная астролябия, и мой теодолит для компасных съемок, с объективом Цейса. Этот объектив (правда — великолепный) более всего поразил и удивил моего папашу, старого землемера: «Боже мой, до чего дошла современная техника! Это ведь уже не прибор для обмеривания земли, это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами. Прости за нескромный вопрос, милый Максимушка, сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?»

Я отвечал, что цены теодолиту я не знаю, так как не сам его покупал, а был он мне поднесен на выпускном акте самым директором института за примерное поведение и отличные успехи.

Тут и мамочка моя немного всплакнула от родительского умиления.

— Вот,— говорит,— как Господь Бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов праведных можно будет отдохнуть в своем собственном домишке, и тебе наследственно отцовское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту подыщем. У нас в Заволжье этого добра — непочатый край: и умны, и красивы, и работающи, и с хорошими придаными.

Но тут отец слегка перебил возлюбленную супругу свою:

— Подожди, мать моя. Успеешь с козами на торг. О жене Максиму рано еще загадывать. Всего двадцать лет ему. Пускай у нас на свободе побегает, вволю поест, попьет, воздухом свежим после столицы надышится, знакомствами обзаведется, поохотится, рыбу половит, а там уж что Бог даст. Ружье-то мое знаменитое возьми, Максим, себе на память, а я уж стар стал на охоту ходить. Пощебелил, да и за щеку.

И надо сказать, после казенной замкнутой и тесной жизни пристрастился я к охоте, как пьяница к вину. Целые дни проводил на охоте. Постоянным спутником моим, а пожалуй, и учителем был ветеринар Иванов (ударение он ставил на и — Иванов), жадный, неутомимый, опытный охотник, прекрасно набивавший ружейные патроны и бывший прежде любимым сотоварищем отца по охоте. Часто мы с ним собирались уйти из дома суток на три, четыре, и тогда ключница мамаша Агата, ее правая рука по хозяйству, снабжала наши ягдташи кое-чем съестным, на случай голода, и согревающим, на случай болотной простуды. И мы уходили куда раньше зари.

Странно: я уже лет с десять знал эту Агату (настоящее-то ее имя было Агафья, но уж мама для благозвучия стала называть ее Агатой), всегда видел ее, приезжая осенью на вакации, а потом, в Москве, никак не мог вспомнить ее лица, голоса и фигуры. Так, что-то тихое, молчаливое, опрятное, бледное и с какой-то неуловимой странностью в глазах.

Ну, а теперь подступаю ближе к моему рассказу. Как-то охотились мы с Ивановым в отдаленных болотцах на дупелей, бекасов и кроншнепов и зашли от дома довольно далеко, так что даже мой сотрудник стал вертеть головой, опознаваясь в местности. Потом увидели, что где-то на западе маячат чуть заметные деревянные столбы. Иванов говорит:

— Я, кажется, это место знаю. Это домишко, поставленный на столбы на случай весеннего разлива, но теперь он почти рухлядь, а живет в нем старая цыганка. Бабы говорят, что она будто бы колдунья. Мы с вами, как люди образованные, конечно, этим бабьим глупостям не верим, а, однако, попробуем. Пойдем, чай у нас с собой; кипятку нам вскипятят. Вот и попьем китайского зелья с устатку да измочившись на болотах.

Пошли. Приходим. Стоит, правда, хибарка рухляя, на четырех ножках. В ней старуха, носастая, черная, закоптелая. По виду цыганка. Развела огонь, вскипятила воду в медном тазу. Мы чай заварили, напились и старую ведьму угостили. Тогда она говорит, глядя на меня:

— Дай, барин, ручку, я тебе поворожу.

Иванов ворчит:

— Гоните ее, окаянную, к бесу.

А она уж завладела моей рукой и бормочет:

— Ах, барин молодой, красивый и будет счастлив и богат. Есть у тебя по левую сторону черный человек, он много тебе зла сделать хочет, а только ты его не страшись. Одна девица, молоденькая, хорошенькая, все на тебя глядит. Проживешь долго, до восьмидесяти лет...

И всю другую цыганскую обычную белиберду. Я дал ей пятнадцать копеек. Она опять пристает: позолоти, барин милый, хороший, я тебе настоящее-пренастоящее египетское гадание скажу. Приставала, приставала, — я дал ей еще полтинник. А она опять свою цыганскую молчалку жует. Надоело мне. Собираюсь уходить, а она все свое талдычит. Надел я шапку и уже перевесил ружье через плечо, — она в меня руками вцепилась.

— Послушай, барин ненаглядный. Я знаю, есть у тебя в мешке водочка-матушка. Поднеси стакачик ма-

ный — скажу тебе взаправдашнюю за семью печатями ворожбу... Чего тебе бояться и чего опасаться. Это уж по гроб жизни будет верно и неизменно.

Что делать! Налил я старухе стакан водки. Высосала она его с великим наслаждением, ничем не закусивши, и говорит:

— Больше всего опасайся, молодой барин, лошадиного и кошачьего глаза, а еще духовитой ночной травы, а еще больше — полного месяца. И теперь желаю тебе пути доброго. А если когда от этих троих моих злых недугов захвораешь, заходи ко мне в хибарку мою, я тебе отворот верный дам.

Ушли мы и больше в этот день не охотились, а когда возвратились домой, то Иванов все меня пилил за дыганку:

— Не могли ничего лучше выдумать, как фараонову отродью стакан вина стравить. Эх вы, ученые столичные!

На другой день с утра пошел дождь и заледил надолго. Пришлось оставить охоту и заняться днем чтением, а вечером винтом в общественном клубе или преферансом по маленькой с родителями.

Сам не могу припомнить, когда меня вдруг несказанно поразили глаза Агаты. Кажется, это было за столом. Случайно взглянув на Агату, я увидел, что в ее зрачках горят странные тихие огоньки. Они менялись сообразно поворотам Агатиной головы то зелеными, то красными, то лиловыми, то фиолетовыми. Такую световую игру глаз я видел иногда у лошадей и кошек в темном помещении. И вот, с этого мгновения, как бы впервые увидел Агату, которую знал, но точно не видел в течение нескольких лет. Она вдруг показалась мне и выше ростом, и стройнее, и увереннее в своих спокойных, неторопливых движениях. Сколько ей было лет, я не мог разобрать. Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Нижнюю ее губу время от времени быстро дергал небольшой тик. Она никогда не смеялась и не улыбалась, но в добрые и приятные минуты ее лицо как-то теплело внезапно на короткое время и становилось привлекательным.

Я спросил однажды матушку о прошедшей судьбе Агаты, но получил весьма скудные сведения:

— Агата (по-настоящему Агафья) — побочная дочь спившегося и обнищавшего мелкого дворянина и его служанки; круглая сирота, которую мы из милости взяли в свой дом. С детства обучали ее хозяйственному обиходу и посылали сперва в начальную, а потом в среднюю школу. Ничего себе, девчонка росла прилежная, послушная,

попятиливая, признательная за благодеяние, ей оказанное, а потом, будучи лет так одиннадцати, вдруг куда-то сгнула, так что и следов ее нельзя было отыскать. Вернулась через год. Оказывается, все время с цыганами бродила. Пришла и горькими слезами разливается: «Простите меня, ради Бога, и опять к себе возьмите. Никогда больше вас огорчать не стану». Ну, что тут сделаешь? Взяли мы ее к себе обратно. Идет время — мы Агашей налюбоваться не можем, нахвалиться досыта не устаем, чудо в нашем доме растет: уж и рукодельница она, и стряпуха первоклассная, и набожная, и смирна, и умна, и практична, и весела... И что же?.. Садимся мы с мужем за стол, я Агату к обеду кличу. Входит она, как водой облитая: голова опущена, глаза в пол смотрят. «Что такое с тобой случилось?» А она еле слышно отвечает: «Благодетели вы мои, дайте мне разрешение и благословение в Белогорский монастырь идти на святое пострижение в монашество». Господи, что за чудеса в решете? Стали мы ее всеми силами отговаривать: «Да куда тебе в монастырь, если тебе всего шестнадцать лет. Да какой у тебя может быть страшный грех, чтобы его замаливать, и тому подобное». Нет, уперлась, как бык, утром завязала в платочек все свое жалкое бельецо и испарилась. Жалели мы ее сердечно, но что поделаешь, если на девушку накатило?

Сколько лет после этого прошло, мамаша не помнила: не то семь, не то восемь, и что вы думаете, опять вдруг наша Агаша объявилась. Пала перед нами на колена, лбом об пол бьется:

— Простите меня, окаянную, заблудящую, в последний раз, последний раз прибегаю к вашей доброте ангельской, неисчерпаемой. Богом и святым Евангелием клянусь, что это уж мое последнее, распоследнее бегство. От сего дня до самой моей гробовой доски буду рабой верной и нелицемерной как вам, так и дому вашему и всему потомству вашему... — и все прочее и тому подобное...

И вот с тех пор живет она у нас, тихая, покорная, бессловесная, учтивая; ну, прямо как монахиня скитская. И даже пахнет от нее как-то смиренномудренно свечой восковой, ладаном и миром.

Вскоре и я совсем перестал обращать внимание на тихую Агату, точно она была старой мебелью или, точнее, совсем не существовала в доме, и странные огни, зажигающиеся порою под длинными ресницами ее опущенных

глаз, перестали меня удивлять и беспокоить. А я в то время подумывал уже серьезно о достойной женитьбе, покоряясь родительским настояниям. Женихом я считался по тамошним местам очень видным: молод, здоров, не урод, интеллигентен, стою на линии инженера, танцую вальс в три темпа, мазурку, краковяк и падеспань и дирижирую кадрилию на приличном французском языке. Ну, также и накопленное папенькино состояние. Кое-каких прекрасных и богатых девиц я уже имел на примете... Но вот тут-то и грянуло на меня чертовское несчастье...

Позабыл теперь, в каком году это случилось, помню только, что в пятницу, в конце июня. День выдался такой невыносимо знойный, какие бывают редкими даже у нас в Заволжье; только к позднему вечеру стало возможным вздохнуть полной грудью. Я выкупался, поужинал и пошел в наш запущенный сыроватый сад и сел на скамейку, расстегнув догола ворот рабочей рубахи. Ох, какое наслаждение после дневного истомного пекла вдыхать свежий, душистый, прохладный воздух! Стало темнеть, выкатился огромный, без единой ущербинки, круглый, серебряный, бледный месяц. Где-то засветились и задрожали крошечные светлячки. Сад стал бледно-волшебным. Я услышал чьи-то легкие шаги. Это шла Агата, вся облитая бледно-зеленым светом.

— Позвольте мне присесть около вас, Максим Ильич, — сказала она дрожащим голосом.

Я посторонился.

— Пожалуйста, прошу вас. Посмотрите, какая прекрасная ночь.

— Да, прекрасная, — отозвалась она. — Прелестная. Возьмите, вот я вам букетик цветов принесла, чудно пахнут как.

Одновременно я почуял упоительный, зовущий, возбуждающий аромат и почувствовал ее горячую руку на моей ноге. Пылкое, никогда не испытанное мною желание пробежало по всему моему телу, от ног до волос на голове. Я чувствовал, что весь дрожу, а она тихо говорила, обдавая мое лицо своим дыханием:

— Если бы вы, Максим Ильич, знали, как я привязана ко всему вашему дому! Как я люблю вас всех! И папу вашего, и мамочку, и вас люблю. Люблю, люблю люблю! О Максим Ильич, я хотела бы быть всю жизнь рабою вашей, собакой вашей, ковром вашим, подстилкой для ног ваших! О, как страшно я люблю вас! Если бы нужно было для вашего здоровья или для вашего удо-

вольствия отдать всю кровь мою и все тело мое и даже загубить навек бессмертную душу мою, я с радостью отдала бы все!

Нет! Об этой ночи словами не расскажешь! Наглый, колдовской месяц, сводник влюбленных, друг мертвецов, покровитель лунатиков, одуряющие запахи ночной фиалки и ее безумно жаждущего тела, зеленые и красные огни в ее зрачках... Она говорила, лежа, содрогающаяся, на моей обнаженной груди:

— Одна мечта моя за много лет была — поцеловать тебя в губы, в губы и умереть тут же на месте.

И мы поцеловались. Силы небесные, что это был за поцелуй. Мне казалось, что земля кружится подо мною и что я схожу с ума. А она шептала восторженно:

— Еще, еще, еще...

Я пришел в свою комнату на рассвете. Ноги мои подгибались, в голове гудел шум, все мускулы ныли, руки тряслись, лицо горело.

Мать моя зашла ко мне и спросила:

— Что с тобою, Максим, ты сам на себя не похож?

Я сказал:

— Это от жары, день был ужасно жаркий.

А она сказала:

— Нет, это не от солнца. Это лунный удар, иди скорее в постель. Сном все пройдет.

Я лег. Ночью пришла ко мне Агата, а под утро я к ней прокрался в антресоли. Так у нас и пошло каждый день, каждый час, всегда. Мы стали друг к другу голодными и никогда не насыщались.

Черт знает, откуда эта женщина, рожденная и воспитанная в диком захолустье, могла научиться этим бесстыднейшим и утонченнейшим любовным приемам, затеям и извращениям, о которых мне теперь даже вспоминать срамно. Но тогда я жил в каком-то блаженном и сладостном аду, обвязанный невидимыми тонкими стальными нитями. Оба мы, радостно-безумные, сумасшедшие, ни о чем не думали, кроме нашей любви. Мы узнавали друг друга издали: по голосу, по походке, по запаху, узнавали — и неудержимо стремились друг к другу, чтобы вновь упиться бешенством разъяренной страсти. Все кусты, амбары, конюшни, погреба и пристройки были нашими кровлями любви.

Агата хорошела и здоровела, но я радостно шел к гибели. Я стал похож на скелет своею изможденностью, ноги мои дрожали на ходу, я потерял аппетит, память мне изменила до такой степени, что я забыл не только



свою науку и своих учителей и товарищей, но стал забывать порою имена моих отца и матери. Я помнил только любовь, любовь и образ любимой.

Странно, никто в доме не замечал нашей наглой, отчаянной, неистовой влюбленности. Или в самом деле у дерзких любовников есть какие-то свои тайные духи-покровители? Но милая матушка моя, чутким родительским инстинктом, давно догадалась, что меня борет какая-то дьявольская сила. Она упростила отца отправить меня для развлечения и для перемены места в Москву, где тогда только что открылась огромнейшая всероссийская выставка. Я не мог идти наперекор столь любезной и заботливой воле родителей и поехал. Поехал. Но в Нижнем Новгороде такая лютая, звериная тоска по Агате мною овладела, такое жестокое влечение, что сломя голову сел я в первый попавшийся поезд и полетел стремглав домой, примчался, наврал папе и маме какую-то несуразную белнберду и стал жить в своем родовом гнезде каким-то прокаженным отщепенцем. Стыд меня грыз и укоры совести. Сколько раз покушался на себя руки наложить, но трусил, родителей жалел, а больше — Агатины соблазны манили к жизни. Вот тут-то самоотверженная матушка моя начала энергично разматывать тот заколдованный клубок, в нитях которого я так поворно запутался. Вначале взялась она за ветеринара Иванова, с которым мы прежде постоянно охотились. Тот рад-радехонек был прийти на помощь, чем может. Рассказал точно и обстоятельно о том, как мы зашли к цыганке, как цыганка гадала на мое счастье, как указывала, чего мне следовало бояться и опасаться, и как велела обратиться к ней за отговором в случае беды. Тогда мамаша послушно пошла к цыганке и долго с ней говорила. Уходя, совала гадалке четвертной билет, но та не взяла. «Я, говорит, Божьему делу помогаю, а за это денег не берут». К последнему сходила матушка — к соборному протоиерею, отцу Гавриилу, священнику постарелому и святой жизни. Протоиерей ее благословил и поставил.

Наступил день архангела Гавриила. Матушка заказала молебен на дому. Собрала в зальце всех домочадцев, включая и Агату. И меня научила, что мне делать и говорить. Отслужили молебен честь честью. Духовенство отбыло. Тогда мамочка начала говорить тихо и внушительно, глядя серьезно на Агату:

— Милая наша Агата, вот была ты много лет верным другом нашего дома, нашей трудолюбивой помощницей и терпеливой сотрудницей. И вот подумали мы, что довольно тебе быть приставницей у стада наших и что пора тебе обзавестись собственным домиком и собственным хозяйством. Вот в этом бумажнике, который я тебе передаю, есть крепостная на небольшой клочочек земли и сумма денег, необходимых для первого обзаведения хозяйством. Это все от мужа, а от меня двадцать выводков кур, гусей, уток и индюков. От сына же нашего Максима получишь ты необходимую мебель, а на память золотые часики работы Мозера. Вручи их, Максик, Агате.

Передал я часики, и простился с ней последним взглядом, и видел, как она смертельно побледнела. Тогда матушка взяла кропило и окропила всех присутствующих освященной крещенской водою, а сама читала трогательное воззвание к Божьей Матери: «Призри с небеси, всепетая Богородица, на их лютое телесе озлобление и утולי печаль их души...»

Вот и конец всему. А той же ночью исчезла Агата из дома, никому не сказавшись, ничего не взявши с собою из подаренных денег и вещей.

Так и пропал ее след навеки. А мать в свой поминальник включила рабу Божью Агафоклею, недугующую и страждующую, и поминает ее за каждой обедней и всенощной...

1933



## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Александра Ивановича Куприна любит его читатель. Ему нравится Куприн — открытый, мужественный, прямодушный, благородный; его привлекает дар купринского жизнелюбия и умение быть счастливым. Книги писателя выдают его горячее доброе сердце, страстную справедливую натуру. Они явились «великим благословением» жизни, людям, «вечной благодати, вечной красоты, заключенной в женщине» («Фиадки»); они заражают читателя мыслью о том, что человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он — бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле... особенно к земле с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами...» («Яма»).

В возрасте трех лет Куприн остался сиротой и более двадцати лет мыкался по казенным заведениям и службам. Вдовий дом, разного типа военные училища, офицерство — их родимые пятна он так и не смог с себя стереть дочиста. Бунтарское непокорство, внутренняя пезависимость, «свободная голова» побудили его в двадцать четыре года выйти в отставку и заново учиться жизни. Многих своих героев — интеллигентов-правдоискателей Куприн наделил собственными свойствами характера и автобиографическими чертами. Репортер Сергей Иванович Платонов («Яма») — один из них. Читая повесть, мы можем познакомиться с оригинальным и нелепым автопортретом Куприна, запечатленным в момент столкновения Платонова с недоброжелателем: «широкая, неуклюжая фигура в сером платье», «тяжелый, напряженный взгляд сквозь прищуренные веки», «широкие кисти рук, спокойно лежащие на столе», «упорно склоненная вниз голова с широким лбом», «неуклюже-ловкое, сильное тело... небрежно распустившееся на стуле, но готовое каждую секунду к быстрому и страшному толчку...» Это динамическое описание внешности Платонова поражает точностью изображения внешности и самого Куприна, и раскрывает читателю внутренний характер — темперамент, «натуру», так много значившие в судьбе не только литературного персонажа, но и его создателя.

Платонову же Куприн отдал и часть собственной биографии того времени, когда он вошел в жизнь, выйдя из армии. Рассказ Платонова точно-в-точь соответствует тому, что произошло с самим Куприным: «апархист» и «бродяга», «я... страстно люблю жизнь... Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плывал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером... И никогда не-

ня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое мое любопытство...» Платонов (но и Куприн же!) хотел бы сделаться то лошадью, то растением или рыбой, хотел бы побыть женщиной, чтобы испытать роды, хотел бы посмотреть на мир глазами тех людей, которых повстречал на пути. Творчество писателя питалось ежедневным, ежеминутным переживанием окружающей действительности. Редкий писатель поведал о своей жизни и жизни, в которую он вторгался, так искренно и увлеченно, как это сделал Куприн. Он тяготел к изображению героев простых и естественных; рассказывал об их быте, часто уродливом и разрушительном, об их труде, опасном и увлекательном, об их службе, изнурительной и оглуляющей, об их любви.

Перед читателем сборника пройдут юноши, девушки, зрелые люди и почти старики, герои жизни действительной и персонажи легенд и сказок, богачи и бедняки. Всех их объединит обращенность к любви, хотя одним написано на роду любить, другим же в любви отказано. Куприн, если воспользоваться его словами, сказанными о норвежском писателе Кнуде Гамсуне, — «поэт любви». Она для него — величайшая ценность жизни, род верования или особое мироощущение — мировосприятие — мироотношение. В ее основе лежит чувство прекрасного, означающее для «я» любящего обретение самого себя, мира, воли к жизни через слияние с «другим» — любимым. Любовь — это острое, счастливое, потенциально гармоническое, а в реальной жизни — часто трагическое чувство; через связь с любимым открывается вечно прекрасное и вечно недостижимое совершенство в природе, в искусстве, в творчестве, в человеке. В рассказах и повестях читатель найдет энциклопедическое разнообразие любви, всегда окрашенной в тона радости, часто даже вопреки тяжелым жизненным коллизиям.

В книгах Куприна, как во всяком искусстве, главные темы — жизнь, смерть, любовь. С ними непосредственно связана, из них вытекает тема творчества. Трагическая коллизия, выявляющая основное противоречие земного существования во всех «вечных» темах, — коллизия «свободы-необходимости». Человек может жить свободно до той поры, пока не придет судьбою предназначенный и неотменимый природою вещей час его кончины. Человек становится личностью, если он любит, если он творит; это возможно тогда, когда он свободен. Проблема свободы личности остро обозначилась на рубеже XIX—XX веков. Человек в творчестве Куприна — это прежде всего человек своей эпохи, эпохи «великих разочарований и страшной переоценки» («Поединок»). И тем острее он несет в себе повышенную жажду свободы духа, гармонии, совершенства; он чувствует себя «новым богом». Главный герой повести «Поединок» подпоручик Юрий Алексеевич Ромашов пришел к мысли о существовании трех гордых призваний этого «божественного человека» — науки, искусства и свободного труда. А другой персонаж повести — поручик Василий Нилыч Назанский самым ярким проявлением богоподобности человека считает его умение любить. Отношение к любви, формы проявления любви, по его мнению, проводят водораздел между старым и новым, истинным и неистинным человеком. Для великого Данте, для поэта, для избранников любви любовь — музыка, очарование, весна; для них она — «светлая религия». Для свободного человека она — «тайный позорный грех в темном углу, с оглядкой, с отвращением» («Поединок»).

Говорить о преломлении темы любви в произведениях Куприна можно бесконечно много, потому что он писал о ней на протяжении всей жизни и потому еще, что это для него важно и по-настоящему интересно. В сборник вошли рассказы и повести разных лет и различных типов. Название сборник получил по заглавию одной из ранних миниатюр — «Сильнее смерти» (1897). Это психологическая новелла, написанная в духе новелл о любви Чехова или рассказов Бунина из цикла «Темные аллеи». Кажущаяся банальной история разрыва трехлетней любовной связи, наскучившей мужчине и составлявшей смысл бытия женщины, обрывается на трагической ноте ее самоубийства. Почти магическая любовь брошенной возлюбленной из земной жизни претворилась в очищенное от суеты высокое чувство сверхъестественной силы. Живая любовь погибшей женщины возродила остывшие чувства мужчины, поначалу напоминавшего героя вполне оконченного пошлого романа.

«Сильнее смерти» — не единственное произведение Куприна о закате любви. Писателю нравилось отыскивать непохожие друг на друга концы любви. Так, вскоре после новеллы «Сильнее смерти» он написал цикл из двух рассказов с подзаголовком «Из женских писем». «Сентиментальный роман» посвящен трогательному прощанию смертельно больной женщины с любовью, на которой было сосредоточено все ее чувство жизни. «Осенние цветы» — грустная повесть о невозвратности прошедшего и радостный рассказ о том, что это безвозвратно ушедшее и воскрешенное памятью стало единственным богатством последующей жизни.

Куприн нередко прибегал к цитированию любимых поэтов, стихи которых навевали поэтическое настроение его героям, вызвали милые ассоциации. «Осенние цветы» художник сделал красивым парафразом пушкинского стихотворения «Цветы последние». Были утра, дни, вечера и ночи пьяные без вина, одной любовью; в ней воплощалось молодое счастье существования. Умерло прежнее чувство. Пришла трезвая зрелость, и чувства двух как бы умерших для любви людей обрели печальный и трогательный колорит прекрасной осени, когда, повторяя пушкинские слова, «разлуки час» стал «живее самого свиданья...».

Дважды в своем творчестве Куприн обратился к любви взаимной и счастливой: в повестях «Олеся» (1898) и «Суламифь» (1908). «Олеся» входит в цикл полесских произведений Куприна и напоминает народную легенду, вставленную в рамки жизни действительной; «Суламифь» является вольной вариацией на библейскую «Песнь песней». В обеих повестях силен элемент сказочности — это мотив счастья, не дающегося обычной жизни. Любовь обеих героинь, однако, приходит к трагическому финалу: при столкновении с жизнью и в соответствии с ее законами Олеся и Иван Тимофеевич теряют друг друга, Суламифь убита из мести посыльным царицы Астис. Катастрофы обоих финалов очистительны; они переплавляют земное, временное и гибельное в вечно прекрасное.

Люди будущего виделись Куприну равными богам античности — всемогущими, великодушными, свободными, способными самозабвенно жить, творить, любить. Куприн не раз писал, что индивидуальность человека выражается «не в силе, не в ловкости, не в уме, не в талапте... но в любви...». Любовь лесной «колдуньи» Олеся и любовь простой девушки из виноградника Суламифи крепка как смерть, а сами любящие выше царей и цариц.

Любовь Олеси делает явной ее чуткую деликатность, особенный врожденный ум, наблюдательность и такт, ее инстинктивные страшные знания тайн жизни, которые опередили точную науку на целые столетия; сверх того, ее любовь открывает огромную силу страсти и самоотвержения, обнаруживает в ней великий человеческий талант понимания и великодушия. Все сравнения Олеси с окружающими людьми возвышают ее и делают блеклыми окружающих. Колоритные фигуры полесских крестьян становятся тусклыми — нестерпимо косными, духовно порабощенными, беспричинно злобными, бездумно жестокими. В отличие от Олеси эти люди оставались под властью привычек, «привитых веками рабства и насилия». В них нет ни широты ума, ни щедрости сердца. Пронгрывает от соседства с Олесей и фигура Ивана Тимофеевича, возлюбленного Олеси, интеллигента, от лица которого ведется повествование. Гадаю ему по руке, Олеся характеризует Ивана Тимофеевича как человека «хотя и доброго, но только слабого»; признается, что доброта его «не сердечная». Сердце у него «холодное, ленивое», и тем, кто «будут его любить», принесет он, хотя и невольно, «много зла». Умом понимая их неравенство в любви, Иван Тимофеевич, если бы и хотел, не смог стать ровень с Олесей: рядом с обыкновенной, даже трогательной любовью Ивана Тимофеевича любовь Олеси — самозабвенная, могучая и прекрасная, как любовь царицы или богини.

Над «Суламифью» Куприн работал с увлечением: «Роюсь в Библии, Ренане, Веселовском и Пыляеве, потому что пишу не то историческую поэму, не то легенду... о любви Соломона и Суламифи», — сообщал он литератору В. А. Тихонову. Времени разрушения кумиров, переоценки ценностей, падения идеалов Куприн хотел противопоставить нечто непреходящее — экзотику Древнего Востока, женскую красоту и молодость, яркую страсть. «Семьсот жен было у царя Соломона и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, ибо Бог дал ему неиссякаемую силу страсти, какой не бывало у обыкновенных людей. Но лишь одну из всех женщин царь любил всем сердцем — Суламифь, девушку из виноградики». Тайна очарования Суламифи — ее горячее сердце, совершенная красота, смелость, щедрость и нежность в любви. И за это судьба одарила ее чувством такой силы, которая бывает один раз в сотни лет и которая навечно остается в людской памяти: «Тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает Бог любовь...» «Олеся» и «Суламифь» — спутники, двойники в творчестве Куприна. В них похожи друг на друга героини и их судьбы. Олеся и Суламифь — открытые, самоотверженные, глубокие натуры; смысл их жизни составляла любовь. Она поднимала их над уровнем обычных людей, она дарила им счастье, она же делала их беззащитными и вела к гибели. У обеих повестей есть еще один двойник, связанный с ними не по аналогии, а по контрасту. Это рассказ эмигрантского периода творчества Куприна «Ночная фиалка». Он уступает обеим повестям по силе художественной изобразительности, но тем не менее находится в том же ряду, что и они.

Олеся и Агата — обе дикарки — одна из Полесья, другая из Заволжья, обе связаны с нечистой силой. Но Олеся — само солнце, само добро, сама любовь. Агата же — несчастная девушка с двойной судьбой. Дочь обнищавшего мелкого дворянина и его служанки, она рано осталась сиротой и, на свое счастье, попала

на воспитание в дом землемера Ильи Трапезникова. Ее жизнь в его семье — «дневная»: Агату любят и ценят, она тиха, молчалива, утива. Смущают, но и нравятся ее загадочные глаза, радуется ее привлекательная улыбка. На беду Агаты, есть у нее и «ночная» жизнь. Не раз она явно оказывалась во власти злых сил, тогда бежала из дому, скиталась то с цыганами, то по монастырям. Ее темная страсть к Максиму Трапезникову напоминает бесовское одержание, разгул нечистой силы народных поверий и волшебных сказок. Олеся если и колдунья, то светлая, Агата же — существо, связанное с дьяволической бездной; Суламифь одержима лучезарной страстью языческих богов, Агата — страстью демонов. Судьба Агаты схожа с таинственной жизнью лесного цветка, прозванного почной фиалкой. По вечерам, как бы желая привлечь к себе человека, он благоухает прелестным кадильным ароматом. Сорванный и поставленный в воду, он начинает тяжело пахнуть, выдавать свое родство с сырым ядовитым болотом, произведшим его на свет.

У повести «Суламифь» есть своя, отдельная от других произведений Куприна, пара — повесть «Гранатовый браслет» (1910). «Суламифь», экзотической, пропитанной зноем и страстью, живущей вечностью, противостоит «Гранатовый браслет» — городская повесть о современных обычных людях, правда из высшего круга, — княгине Вере Николаевне Шейной, жене предводителя дворянства южнорусского приморского города, ее муже князе Василии Львовиче, брате Николае Николаевиче Мирзе-Булат-Тугановском, деде генерале Аносове, об их благополучном доме, устойчивом быте, теплой, заботливой семье. Спокойствие их почти безмятежной жизни было неожиданно нарушено «маленьким человеком» — чиновником, попытавшимся скрыть свое имя под буквами «Г. С. Ж.» и приславшим в подарок на именины княгине Вере старинный гранатовый браслет. Вместе с его посланием в дом князей Шейных вошла бескорыстная, самоотверженная, но ждущая награды любовь: любовь-тайна, любовь-трагедия. Равномерное обыденное течение суетной жизни было нарушено музыкальной сферой, гимном бессмертной любви, голосом всеусмиряющей смерти, вознесенными «маленького» Желткова над «большими» Шейными. Весь смысл жизни Желткова был в том, чтобы из глубины души произнести слова хвалы и молитвы, обращенные к любимой: «Да святится имя Твое...» Один из рецензентов повести обратил наше внимание на то, что «безнадежная и вежливая любовь, полная внутреннего духовного обаяния, по красоте своих психологических ситуаций, несомненно, может быть отнесена к категории эмоций высшего порядка».

В сборник произведений о любви, казалось бы неожиданно, попала одна из самых мрачных, скорбных русских книг — повесть «Яма» (1915). Вся она обращена к проблеме любви, но в ней самой нет любви. Происхождение ее названия объяснено автором на первых страницах: «Яма» — сокращенно от названия «Ямская слобода» — это место на окраине большого города, где жил ремесленный люд, в том числе и ямщики. В шутку его прозвали «Ямками» и «Ямой». Темная слава и сомнительная репутация устроившихся здесь же домов терпимости выработала и переполненное значение этого названия: «Яма» — гиблое место в этом большом городе. Сюжетное развитие повести обратило это название в жуткий символ жизненной пагубы.

Куприн предполагал, что «Яму» читатели могут найти безнравственной, и тем более он считал возможным и необходимым

посвятить ее «матерям и юношеству». Попробуем разобраться в том, почему он это сделал. «Яма» — в первую очередь повесть о женщинах. «Женское сердце, — говорил Куприн, — всегда хочет любви». Бессознательно хотели ее и обительницы двухрублевого заведения благопристойной Анны Марковны. В длинной галерее образов девиц были умные и глупые, образованные и невежественные, красивые и уродливые, веселые и скучные, и все они мечтали о любви, все «были созданы самим Богом для нежной, страстной, взаимной любви», а отдавали свое тело ежедневно и по несколько раз слюнявым старцам, мальчикам — кадетам и гимназистам, бородатым отцам семейств, влюбленным женихам, почтенным профессорам с громкими именами, вора, убийцам, беглым каторжникам, передовым писателям, офицерам, социал-демократам, сыщикам и педагогам... И всякий раз должны были имитировать жгучую любовь. И дело было не в том только, что девицы — несчастные создания, брошенные в «яму» каждая в свой срок, а в том, что «всякая другая жизнь, после дома терпимости, казалась этим ленивым, безвольным женщинам пресной и скучной». Дело в том, что для клиентов и девиц ремесло проститутки — эта «тысячелетняя наука любовных обхождений» — стало буднями, коммерческим расчетом, прозаическим, но и захватывающим обиходом. Ужас этого положения, по мнению Платонова (и Куприна), коренится в самой природе человека, в его звериности, которую по различным причинам и поводам он в себе культивирует. Платонов после длительных наблюдений убедился в том, что тяготение к греху «падения» так же органично для человека, как его искреннее тяготение к Богу, как и природное тяготение к преступлению. Социальный институт проституции опирается на противоречия природы человека, а в России еще и на парадоксы русской природы — широкой и беспечной, терпеливой и бесстыдной, наивной и отчаянной.

Вслед за Гаршиным («Надежда Николаевна»), Достоевским («Преступление и наказание»), Толстым («Воскресение»), Чеховым («Припадок»), Л. Андреевым («Тьма») Куприн с почти физической осязаемостью, с замечательным изобразительным талантом показал, как «под грубой похабной профессией» не умирает живая душа, как в самых опустившихся, заезженных, искалеченных, вроде извозчицких кляч, девках, которых судьба еще в детстве толкнула на проституцию, сохранились жалость, доверчивость и сочувствие к человеческому страданию. Возможность уничтожения института проституции и явления проституции Куприн относил к далекому будущему, ко времени духовного раскрепощения человека, коренного изменения основ общественных отношений, качественного совершенствования природы человека и его личностных свойств. Куприн написал повесть страшной обнаженной правды, без лицемерия и ханжества, с надеждой на будущее, когда люди сумеют стать людьми, когда «любовь будет абсолютно свободна... а человечество сольется в одну счастливую семью...».

Александр Иванович Куприн был очень романтическим человеком; во многих его книгах силен романтический элемент. И однако, вполне счастливая любовь отнесена им или ко времени отрочества, или к миру сказки. Одна из очаровательных миниатюр Куприна «Фиалки» (1915) рассказывает не о любви-реальности, а о миге первой любви, о прелюдии любви, которую в дар от жизни получил кадетик Казаков. Миру казенных обязанностей, иногда приятных, чаще скучных и утомительных, в рас-



сказе противостоит мир случившейся наяву сказки — таинственного парка с тенистыми липами петровских времен, с черной, обжигающей холодом рекой, величавыми и молчаливыми мраморными скульптурами, с нежными благоухающими весенними цветами и с фигурой молодой женщины; самый вид которой заставил юного кадета «остановиться в немом восторге, почти в страхе». Ночью, в спальне, Казаков, переполненный счастьем, плачет светлыми слезами: в его жизнь вошла поэзия и повернула ее в новое русло. «И как бы потом ни сложилась его жизнь со всеми падениями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвращением, — завершает рассказ автор, — он всегда, даже в старости, — он, позабывший имена и лица любивших его женщин, — благодарно и счастливо улыбнется, вспомнив фиалки, приколотые к груди принцессы из сказки. Потому что на его долю выпало редкое счастье испытать хоть на мгновение ту истинную любовь, в которой заключено все: целомудрие, поэзия, красота и молодость».

О том, что значит для читателя Куприн, можно сказать его же словами, произнесенными в адрес одного из любимых им писателей — Кнута Гамсуна: его имя «останется навсегда вместе с именами тех художников прошедших и грядущих веков, которые возносят в бесконечную высь ценность человеческой личности, всемогущую силу красоты и прелесть существования и доказывают нам, что „сила, как смерть, любовь“...».

**Л. ИЕЗУИТОВА**

## СОДЕРЖАНИЕ

Сильнее смерти  
5

Олеся  
8

Осенние цветы  
77

Суламифь  
86

Гранатовый браслет  
135

Яма  
179

Фиалки  
456

Ночная фиалка  
463

*Л. Иезуитова*  
Послесловие  
473

КУПРИН  
Александр Иванович

*Сильнее  
смерти*

Повести и рассказы  
о любви

*Составитель*  
*Иезуитова Людмила Александровна*

Зав. редакцией А. И. Белинский  
Младший редактор А. В. Богданова  
Художественный редактор Б. Г. Смирнов  
Технический редактор Г. В. Преснова  
Корректор Н. Н. Фоменко

ИБ № 5782

Сдано в набор 29.07.92. Подписано к печати 11.11.92. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.  
Гарн. об. нов. Печать высокая. Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,20.  
Уч.-изд. л. 23,48. Тираж 100 000 экз. Зак № 157. С 200

ГИПК «Лениздат», 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 59. Типография им. Во-  
лодарского Лениздата, 191023, Санкт-Петербург, Фонтанка, 57.

